05
П681

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

4
1965

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЛЕНЗ — И тогда мы услышали гром 54
ПИТЕР АБРАХАМС — Венок Майклу Удомо (Окончание) 121

РАССКАЗЫ, НОВЕЛЛЫ

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВЕНГЕРСКОЙ ПРОЗЫ 6
ЯРОСЛАВА БЛАЖКОВА — На попутных машинах 29

СТИХИ

ДА, ЛЕНИН ЖИВ! 4
АРАГОН — Меджнун Эльзы (Одержимый Эльзой) 109
МОРИС КАРЕМ — Маленькие легенды 172

КРИТИКА

Б. ПЕСИС — Арагон-поэт 175
Ц. КИН — Зловещие тени прошлого 191
О. РОССИЯНОВ — Мертвый хватает живого 197
РОЖЕ ГАРОДИ — О реализме и его берегах 202

4

АПРЕЛЬ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

МИКЛОШ САБОЛЧИ — Споры вокруг документальной литературы 211

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

А. КАРЕЛЬСКИЙ, И. ТЕРТЕРЯН, МОРИС ВАКСМАХЕР — Заметки на полях зарубежных газет и журналов 215

ДОКУМЕНТЫ

«ПУСТЬ ЭТИ ЛЮДИ БУДУТ ВСЕГДА БЛИЗКИ ВАМ...» (Последние письма казненных гитлеровцами чехословацких коммунистов) 225

К 95-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ЛАСЛО ДЮРКО — С мыслью о Ленине 238

А. ТИШКОВ — Новые иллюстрации к «Божественной комедии» (К 700-летию со дня рождения Данте Алигьери) 248

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

И. СВЕТЛОВ — Скульптура народной Венгрии 250

НОВЫЕ КНИГИ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

А. Турков — Жизнь и ее творцы ◇ Пал Корниш — В первых рядах. ◇ Дёрдь Радо — «Артисты» Габора Гараи. ◇ Леонид Мартынов — Перевожу новые стихи Гидаша. ◇ Дюла Ружа — Правдивые мемуары. ◇ М. Ульрих — Только в труде красив человек. ◇ Е. Бочарникова — Маленькие рассказы Белы Иллеша. ◇ Д. Самойлов — Свидетель правды Миклош Радноти. ◇ Р. Олегов — Гонимая поэзия. ◇ Т. Воронкина — Имре Мадач в русском переводе. ◇ Борис Слуцкий — Плутовской роман, ставший историческим 258

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ 272

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке гравюра на линолеуме чехословацкого художника ОРЕСТА ДУБАЯ «Мы хотим жить».

Рисунок кубинского художника
ОРЛАНДО ЯНЕСА

Да, Ленин жив!

СТЕФАН ПОПТОНЕВ

Рождение

В апреле много-много неба синего,
и солнце ярко,
и капели звень...
Весна — рожденье!
Видим в этом символ мы!

И каждый год в апрельский этот день
опять рождается —
чело его, безбрежное, как выси,
опять рождается —
морщинка, след его пытливой мысли,
опять рождается —
взор Ленина, что горячей пожара,
опять рождается —
мозг Ленина, рельеф земного шара.

Да, Ленин жив.
Но не в музейных зальцах,
не в мраморе,
не в мертвом веществе.
Ростки травы — его живые пальцы,
протянутые к вешней синеве,
к той, о которой мы мечтали в зимы,
что нас извечно манит новизной,
к той самой,
что вовек неповторима,
хоть с каждой повторяется весной!..

Перевод с болгарского ВИКТОРА ВИНОГРАДОВА

АДОЛЬФО САНЧЕС ВАСКЕС

Народный романс о Ленине

Делу твоему верны
И твоей высокой мысли,
В дружбе с жизнью, в вечном споре
С черной смертью, что бессильна
Их держать в своем плену.
Строя новые дороги
Средь саванн пустынных мира,
Воплощают коммунисты
Дум твоих предначертанья —
Человечества мечту...

■ ■ ■

...Мать-Испания! В темнице
И в цепях тебя я вижу.
Но с удвоенной надеждой
Прозреваю я твой путь.
Я предчувствую, я знаю:
Выйдешь ты из мук своих.
Ты питаешься одною
Кровью ран твоих глубоких,
Но близка твоя победа,
Потому что с нами Ленин,
С нами светлое дыханье
И гранит его заветов,
В нашем сердце светит ярко
Все, чему он нас учил.
Мы из рук не выпускаем
Ту кирку, которой смерть он
Прямо в сердце поразил!
Чтобы вырвать все кинжалы,
Грудь пронзившие твою,
Чтобы выдернуть все гвозди,
Пригвоздившие тебя,
Мать-Испания, как шпаги,
Напряглись в бою тяжелом
Дети смелые твои.
И дробят они, как молот,
Весь прогнивший, страшный камень,
Камень крови, преступлений,
Древней скорби — и уж близок,
Близок их борьбе конец,
Потому что с ними Ленин —
Наша жизнь, мечта, надежда,
Человечества отец!

Перевод с испанского ФЕДОРА КЕЛЬИНА

Из современной венгерской прозы

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ

СВОБОДА

Быть может, все происходило именно так из-за владевшей нами безудержной веселости.

Потому что мы были неистово веселы и молоды — тоже неистово. Много моложе своих лет. Жизнь наша до той поры проходила в ожидании; в борьбе или страданиях — все равно это было лишь ожидание. Мы стремились вперед и подгоняли время. Но не жили в нем. Когда-то, когда в нас едва только пробудилось сознание, мы поняли: эта жизнь — не жизнь, что-то другое должно прийти ей на смену. Тогда-то и ушла наша молодость, все ушло и осталось одно ожидание. Как у застывшего на линии старта бегуна: еще никто не измерил секундомером, сколько времени владеет им предельное напряжение — это неважно... Но как от выстрела срывается с места бегун, так и в нас вдруг взорвались и жизнь, и молодость.

Мы не делали никаких записей, не вели рабочих дневников. Как-то у меня мелькнула мысль: если записать все, что я делал в один-единственный день, поверил бы я этому позже?

Ранним утром на вокзале вспыхнул пожар, мы мчимся тушить! Не преступников ли это дело? И вот мы обсуждаем происшествие в полиции. Потом совещание партийного руководства, потом заседание национального комитета. Типографии нужен уголь — мы добиваемся его. На собрании жильцов двадцать седьмого блока обсуждаем вопрос о зараженной воде. Среди развалин обнаружен аптечный склад — охрану, живо! — не то его мигом растащат. Заседание проверочной комиссии в Министерстве иностранных дел. Переговоры с военным командованием, чтобы дали несколько бочек бензина — мы снесли на Вермезё четыре тысячи лошадиных трупов, необходимо их сжечь. И сотни мелких личных дел: один просит документ на проход по военному мосту, другой — разрешение на торговлю книгами; кто-то сочинил ораторию в честь освободительницы — Советской Армии и просит большой оркестр, солистов, хор из трехсот голосов и, если можно, немного муки и картофеля; у какой-то женщины муж остался на той стороне, в Пеште: взыщите же с него алименты! И, разумеется, доносы...

Если выпадала свободная минута, мы наскоро глотали в народной столовой суп и на ходу прожевывали кубик мармелада с ломтиком хлеба. Товарищ Слатинаи огромным ножом резал его для нас на равные крохотные дольки. Товарищу Слатинаи шестьдесят лет, но мы

впервые за всю его жизнь стали называть его по фамилии, до этого его звали Йожи, Йозеф, как кому заблагорассудится,— ведь он был камердинер. Он служил камердинером в этом же доме, даже в этой самой квартире. Так он и представился нам, когда явился в парткомитет с тем, что будет камердинером у нас. «Ну, что вы людей смешите!» — урезонивали мы его. «Там будет видно»,— отмахивался он. А потом показал нам потрепанный профсоюзный билет с 1912 года и удостоверение красноармейца со времени Советской Республики девятнадцатого года. «Вот чертов камердинер!» — напустился на него Лаци Печи, и с тех пор все стали говорить товарищу Слатинаи «ты», однако он, несмотря на все наши настояния, не был склонен переходить с кем бы то ни было на «ты». Итак, у нас был даже камердинер, и, честно говоря, не будь его, мы, может быть, умерли бы с голоду...

Ни разу вечером я не записал, что переделал за день. А были ли у нас вообще вечера? Просто человек мгновенно засыпал и спал мертвым сном там, где ему удалось прикорнуть: на кушетке, в кресле — где попало. Утром — бритье, умывание с головы до ног, где придется и какой бы ни было холодной водой. В этом отношении мы были требовательны хотя бы потому, что боялись вшей. Господи, каким длинным бывал один день! Даже не верю собственным воспоминаниям. Сколько все это продолжалось: четыре месяца, пять? Нет, это была целая эпоха.

Мы были веселы. Я уже говорил, безудержно веселы. И своей веселостью заражали других. Мы лихорадочно делали много хорошего и, творя хорошее, совершали немало глупостей. Мы без конца строили планы, каждое мгновение у нас рождался новый план. Иногда разумный, иногда безрассудный. Порой нам попадается пожелтевший документ тех времен, и мы — те, что были тогда, в сорок пятом, вместе,— смеясь, показываем его друг другу. Сколько раз у меня волосы вставали дыбом, когда я видел создания своих рук. Я и не поверил бы, да узнаю собственный почерк. Однажды в нашу компанию затесался какой-то негодяй растратчик. Предъявил диплом коммерческого училища и предложил свои услуги для ведения хозяйственных дел — мы, мол, в них не разбираемся! В этом он был прав, и мы сразу же доверились ему. А он и растратил деньги народной столовой. Мы собрались и приговорили его к смерти.

Окно в моей комнате было почти целиком заколочено досками, свет проникал через оставшийся осколок стекла величиной в две ладони. Напротив этого несуществующего окна должна была находиться стена, но стены тоже не было — ее заменял ковер. Я его продырявил — чистил оружие и нечаянно разрядил, пуля пробила в ковре изящную круглую дырку. На выстрел вошел инструктор центрального аппарата. «Что ты делаешь здесь?» — спросил он. «Сейчас пойдем и прикончим Капи»,— ответил я. Он так и застыл с открытым ртом, и прошло немало времени, прежде чем он смог наконец вздохнуть и вновь обрел дар речи. «Вы что, спятили?!» Я попытался придать своему лицу выражение, какое видел у Робеспьера на портрете в большом иллюстрированном издании Де Гранжа. Но понял уже, что из казни ничего не выйдет — ну и пусть, этой казни я боялся больше, чем сам Капи! Одна беда: видно, мне вновь придется мучиться, разъясняя товарищам «линию». Жужа, разумеется, была непреклонна: «К чертям коалицию! Сейчас революция, и такого типа следует расстрелять!»

А в общем-то с «линией» у нас никаких недоразумений не было, ибо мы знали: единство и революционная дисциплина — главное оружие рабочего класса. Я же отстаивал «личию» отнюдь не из чиновничьей чести или каких-либо иных побуждений — я свято верил, что мы следуем единственно правильной политике. Что было бы, если бы мы слушались Жужу? Мы видели бы вокруг себя одних врагов! Надо верить в людей.

в несчастных, беспомощных людей,— только так можно навести порядок, только так можно очистить мир. Но Капи... может быть, все-таки... В Пеште совсем другое дело! Там уже выходит газета, работает кинематограф, на Надь-кёруте такая толчея, что просто ступить негде. А у нас... воздух отравлен зловонием трупов, уныло щетинятся закоптелые стены, в единственной действующей больнице нет ни одного застекленного окна, и единственный практикующий врач на весь огромный район принимает здесь, в моей прихожей, а ассистирует ему наш неизменно корректный камердинер.

Наш единственный врач — это Густи, но уж какой он, собственно, врач! Он музыкант из джаза, и одному богу известно, каким образом умудрился он получить диплом врача, которым никогда раньше не пользовался. У него был измеритель давления крови и больше ничего — ни инструментов, ни медикаментов. Если к нему входил пациент, он измерял ему давление крови (удивительно, но некоторым это помогало). В двух уцелевших домах — и у них не хватает черепицы на крышах — не более двухсот пригодных для жилья квартир. Уже и конину нельзя было есть — так потеплело. Мы довольствовались тарелкой супа, ломтиком хлеба не толще папиросной бумаги, мармеладом и черной патокой. Варили в соленой воде оставшуюся от лошадей кукурузу, все таскали ее в карманах и жевали...

Мы проходили пешком нескончаемые расстояния — просто не понимаю, как нам это удавалось. Но и в самом деле мы были вездесущи. Впрочем, беготня по целым дням тоже казалась необычайно веселой. Скажем, в одном месте по улице Аттилы можно было пройти, лишь протиснувшись через шоферскую кабину поврежденной автомашины. Никто б сейчас не поверил, но я собственными руками перещупал весь потолок в тоннеле. Да что руками — иногда и спиной! Ведь тогда там все до самого свода было завалено обгоревшими обломками. В Крепость мы взбирались, как некогда осаждающие. Мы были могущественны и богаты — все было наше! Вот он, дворец, и нет короля! Ни королевства, ни немцев, ни нилашистов! Ни прежних учреждений! Жильцы выбирали уполномоченных от дома, те, в свою очередь, уполномоченного от блока, мы создали партийные группы и народный комитет.

Свобода! Вздымаются вверх кулаки, все говорят друг другу «ты» — да, мы были сказочно богаты и безудержно веселы, несмотря на множество неотложных забот.

«Пошли, товарищи! Глядите, вон из окна в подвале дымит печная труба, значит, там еще кто-то ютится». Мы дергаем колокольчик. Сейчас этот звон уже не напоминает о сигнале воздушной тревоги. Во двор сходятся люди, бледные, испуганные, в лохмотьях. Кто знает, что прикрывают эти лохмотья и бледные маски лиц. Ведь в тряпье ходят не только те, кому нечего больше надеть, но и те, у кого при желании нашлось бы и кое-что получше.

«Люди, вы что, нарочно себя губите? Хотите заплесневеть там, в подвале? Завшиветь? Подумайте о своих детях! Есть же у вас сердце! Смотрите, дом не так уж разрушен, лестница цела до второго этажа — принимайтесь за работу! Сначала первый этаж, потом второй, и у каждой семьи будет по комнате, по сухой, светлой комнате, а не сырой темный подвал! За дело, друзья! Фери, беги к коммунальникам, тащи кирки и лопаты! Живо!»

И вот уже на землистых лицах играет слабый румянец, в тусклых глазах появляется блеск. Работают все, даже те, кто не хотел бы,— стыдно перед другими. А как взялись за лопаты, так поверили, что им тоже хочется потрудиться. И вот уж послышались шутки:

«Здесь я и поселюсь, вон как много тут красавиц!» — «Что вам до красавиц, радуйтесь, что на ногах держитесь!»

На горе Нап, в стороне от других развалин, белеет облицованная искусственным камнем современная вилла. Она тоже разрушена и сейчас непригодна для жилья, но невольно приковывает к себе взгляд.

— Вот она! — с гордостью указывает на нее Жужа.— Я уже говорила с главным инженером. Он сказал, что вилла с точки зрения статики в порядке, надо только укрепить стены. Здесь можно устроить коммуну. Каждому по комнате, а кухня, столовая и гостиная — общие. Детская комната тоже общая. Ну, конечно, если мы поженимся и у нас будут дети,— добавляет она, смутившись.

А мне вдруг вспоминается вся та грязь, которой обливали нас Хорти и иже с ним. Слишком уж эта вилла красива. «Народ бедствует, а коммунистические лидеры роскошествуют». Нет, нет, слишком уж эта вилла красива.

— Пойми же,— энергично жестикулирует Жужа, и ее длинные волосы развеваются на ветру,— мы покажем пример рационального распорядка жизни. Мы будем здесь жить под постоянным контролем общества, в строгой моральной дисциплине.

— Я не могу с вами жить, ребята,— качает головой наш врач Густи.— По вечерам я занимаюсь музыкой и буду вам только мешать.

— Почему? — восклицает Жужа.— Мы устроим для тебя музыкальную комнату в подвале.

— В подвале нельзя заниматься музыкой. Там плохая акустика.

— Но это совсем другой подвал... Поймите же! По вечерам мы собирались бы дома, ходили друг к другу в гости и, сидя на краешке постели, обсуждали бы всевозможные проблемы, спорили бы о принципиальных вопросах. Как одна семья!

Лаци испуганно втягивает голову в плечи. Всего год назад он женился, но большую часть этого времени провел в тюрьме, потом бежал, скрывался, где придется. Ему вовсе не улыбается, чтобы Жужа по вечерам обсуждала принципиальные вопросы на краешке его постели.

— Нет! — решительно обрываю я спор. Я чувствую, что эта очередная затея Жужи опять идет вразрез с «линией». Нахожу и довод: — Заметь себе, все это затеи английской буржуазии! Самый обыкновенный boarding house, лишь переименованный тобой в коммуну.— В глубине души я, однако, сознаю, что идея Жужи не так уж плоха. Только вилла слишком красива, слишком бросается в глаза здесь, на юго-западном склоне горы.

Идемте дальше! Еще надо посмотреть «тигра» на улице Аладар — говорят, у него хороший мотор. Его бы использовать для расчистки улиц, чтоб перетаскивать обломки потяжелее.

К нам присоединяются два художника: один — график из типографии, другой — учитель рисования.

— Мы объединим художников Буды! Мы нашли дом, пойдемте поглядите!

И вот мы шагаем к бульвару Кристины! Перед нами двухэтажный дворец в стиле ампир. Снаружи он кажется почти не пострадавшим, внутри, разумеется, есть несколько попаданий. Крыши нет, окон нет, оконных рам тоже, но это естественно. Остатки оконных рам, без сомнения, отыщутся среди прочих обломков.

— Это архитектурный памятник конца XVIII — начала XIX века, ровесник дворца Шандора,— объясняет учитель рисования.— Идемте.

Опережая нас, он поспешно взбегает по лестнице, идет через лишенные дверей, полные ветра залы, показывает:

— Здесь выставочные залы, здесь клубные комнаты, студии!

Теперь загорается наш врач Густи.

— Можно будет устраивать тут и концерты, слышишь? Я организую оркестр! — и он уже сыплет именами: такой-то живет в Буде, этот

тоже.— Можно устраивать концерты каждую неделю. Деньги — в фонд народной столовой. Стены сплошь увешаем новейшими картинами для продажи, тоже с благотворительной целью. Что нужно художнику? Холст, краски, крыша над головой и кусок хлеба...

Тут и Жужа утешается после ее развеявшейся дымом мечты о коммуне.

— Здесь будет культурный центр района! Да, будет культура! Сразу все пойдет по-иному!

Во дворе мы продолжаем обсуждать детали: художник-график развертывает перед нами проект здания, утвержденный городским советом.

— По мнению Стойки, мы можем отремонтировать его за месяц.

Залы наверху пусты, зато во дворе, под галереей,— мебель, мебель, мебель, покрытая толстым слоем пыли и кусками штукатурки. А в самом конце двора мы вдруг замечаем дверь, настоящую дверь и застекленные глазницы окон — значит, там живут!

Жужа возвращается к нам бегом.

— Это старая квартира привратника, две комнаты и кухня. Там двое стариков, муж и жена. Полно хлама, набито до отказа, даже в кухне во всю стену огромное зеркало, граненое!

— Квартира привратника нам не нужна,— отмахивается график, — пусть старики спокойно доживают свой век.

— Все равно кто-нибудь будет нужен, смотритель или что-либо в этом роде...

Непонятным образом, едва мы оказываемся на улице, как нас со всех сторон начинают осаждать:

— Мы слышали, выступит Илона Надьковачи!

— Мы слышали, во дворе устроят открытую сцену и будут театральные представления!

Электричества нет, радио нет, во всей Буде действует лишь десяток телефонов, но служба распространения слухов работает безупречно. Возле церкви нас догоняет женщина, называет себя.

— У меня был собственный кинотеатр. Сохранились две киноустановки, все объективы, звукоусилители. Можно бы показывать фильмы. По крайней мере, я буду знать, что аппаратура в надежных руках.

В парке Хорват на общественных началах копают ямы, работают служащие городского совета.

— Концерты будут? — машет нам издали шляпой один из них.

— Будет картинная галерея. Гравюры, эстампы, скульптура. Постоянная выставка! И школа живописи! — ревниво отвечает учитель рисования, ведь дом как-никак нашли они, художники.

И кажется, будто все — и работающие, и владелица кинотеатра, и Густи, Лаци, Жужа,— все-все готовы пуститься в пляс.

В помещении комитета партии группа уполномоченных блоков уже обсуждает программу будущего клуба.

Вижу, что меня ждет множество людей, и передаю уполномоченных Лаци; Густи тащит в угол два стула, устанавливает измеритель кровяного давления — у него начинается прием больных.

Я вхожу в свою комнату; сквозь осколок стекла в окне на письменный стол проникает тоненький солнечный лучик. Напротив на ковре зияет дырка — символ расплаты с предателем. Слышу, кто-то топчется за дверью.

— Я хотел бы повидать господина секретаря...— доносится чей-то голос.

— Господина секретаря следует называть «товарищ». Приветствовать словом «Свобода!»,— вежливо, но решительно вразумляет пришедшего Слатинаи.

На посетителя, однако, это напутствие не производит желаемого воздействия, ибо, войдя и поздоровавшись, он осведомляется:

— Господин секретарь?..

Затем, строго следуя правилам официального этикета, отвешивает поклон, называет себя и даже сообщает свое звание: начальник управления министерства, на пенсии. Это худощавый старик с военной выправкой, у него выцветшие голубые глаза с красными прожилками и коротко остриженные седоватые волосы. Сам я стою, ему предлагаю сесть.

— Прошу извинить, я осмелился потому... Дом принадлежит мне.

— А! Отлично. Значит, мы сразу можем обсудить детали.

— Прошу вас понять: это мой собственный дом. В настоящий момент моя жена и я живем внизу, в квартире привратника.

— Вот как? Ну, это не беда. Кто-то ведь нужен... Вы, вероятно, изволили слышать — мы хотим там устроить центр культурной жизни района...

— Прошу вас понять, — сухо перебивает меня старик, — это мой собственный дом.

— Разумеется! Но сейчас его и домом назвать нельзя. Одни руины.

— Руины! Что делать? Это не моя вина! Довольно с меня и того...

— Не беспокойтесь! Мы все приведем в порядок. Дом будет отремонтирован на общественных началах при помощи районной инженерной конторы. Мы будем устраивать там концерты и вечера декламации. У нас даже есть киноустановка! Представьте себе, наконец-то в нашем районе будет... А во дворе — открытая сцена! Представляете, там, под аркадами, — зрители!

— Но позвольте, это неслыханно! Своим домом все-таки распоряжаюсь я.

— Но как же... не понимаю. Вы хотите жить в целом доме? В тридцати, или сколько их там, комнатах?!

Удивительный старик. И почему он так сердится? Вот даже срывается на крик.

— Да поймите же, наконец! Это мой собственный дом!

Какой твердолобый! В конце концов и я начинаю терять терпение.

— Я и тогда пойму не больше, если вы еще сто раз повторите одно и то же. Я очень рад. Я все равно навестил бы вас, чтобы переговорить о делах.

— О каких делах? Никаких переговоров! Дом мой!

Лишь сейчас я начинаю догадываться, в чем дело, но все еще не верю.

— Это значит, что... Быть может, вам не нравится идея? Уж не значит ли это, что вы не хотите отдать дом?

— Не хочу! Это мой собственный дом. И если понадобится, я обращусь...

— Куда?!

Он молчит. Словно его чем-то огрели по голове. Глаза бегают по потолку.

— Куда? — повторяю я ехидно. Вот только сейчас, сию минуту, посетитель понял, что податься ему, собственно говоря, некуда, и мне становится жаль его.— Ведь мы желаем вам добра. Мы приведем ваш дом в порядок. Будем платить за его аренду и следить за его сохранностью. Там будет культурный центр района. Вы спросите людей! Любого на улице...

Не подав руки, он поворачивается ко мне спиной.

— Позвольте... это, это...— И он выходит, сильно хлопнув дверью.

Что делать? Ладно, разберется потом национальный комитет... Я быстро успокаиваюсь и опять берусь за дела. Но не проходит и часа, как в дверях появляется Густи, на ходу вытирая носовым платком руки.

— Я только что оттуда, из пятьдесят седьмого.

— Этот дом не дает тебе покоя, верно? Оркестр! — говорю я ему с улыбкой.— Что, вконец надоела медицина?

Густи не отвечает на мою улыбку.

— Дело в том, что меня туда вызвали... к больному, вернее... — он встряхивает головой,— к мертвому.

— То есть?

— Он только что был у тебя. Тот, что будто кочергу проглотил.

— Что случилось?

— Кровоизлияние в мозг. Когда я пришел, все уже было кончено. Жена говорит: он вернулся домой, не успел вымолвить и слова, как ему сделалось дурно. Она его уложила, смочила лоб мокрым полотенцем. Головокружения у него и прежде бывали.

Я поднимаюсь и подхожу к осколку стекла в окне. Внизу, в парке Хорват, идут общественные работы — копают ямы. Одинаковые четырехугольные ямы. Служащий городского совета держит в руке тетрадь в твердой обложке. И еще там стоят полицейские и санитары. Кто-то диктует протокол — сквозь стекло доносится каждое слово:

— «Рядовой немецкий солдат. Неизвестный. Возраст — около двадцати лет... Аттила Режё, служащий частной фирмы, пятидесяти шести лет... адрес: улица Паулер... Мартон Киш, младший сержант, зенитчик. Сатьмаз...»

В районе еще более двух тысяч незахороненных трупов...

— Лучше бы он пришел ко мне,— бормочет Густи.— Я измерил бы ему давление. Даже дал бы лекарство!

Входит Жужа, она уже обо всем знает и полна жалости.

— У него есть коллекция. Жаль. Он мог быть хорошим смотрителем...

Но мы не можем предаваться длительным сожалениям, у нас нет для этого времени — вот и курьер из типографии. Готов малый ротатор, сейчас его пустят в ход, это же целое событие, праздник!

Густи остается.

— Вы еще услышите, как я играю Гершвина.

— Идемте же! Идемте в типографию!

Мы были тогда веселы, говорю вам, и молоды.

Перевод Е. ТЕРНОВСКОЙ

ЗОЛТАН МОЛНАР

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

Когда теперь, много лет спустя, я вспоминаю об этом дне, мне кажется, что было что-то смешное и вместе с тем трогательное в том, как я стоял один-одинешенек с потрепанным портфелем под мышкой перед огромным заводским корпусом и, заломив шапку, горделиво окидывал взглядом это здание, как бы сопоставляя его размеры с задачей, вставшей передо мной.

Была пасха, сияло весеннее солнечное утро, а шустрые ветерки разносили по городу запахи весны.

Может статься, что мне попытаются помешать, что кто-нибудь уже предупредил дирекцию и мое появление там не явится полной неожиданностью. Размышляя таким образом, я постоял еще немного, пересчитывая окна главного здания.

Ну, вперед, Балаж!

Я выдал себя за рассыльного. Привратник все-таки не хотел пропускать меня, но я ошарашил его: «Бросьте ваши глупости, мне некогда!» — и помчался вверх по лестнице, не обращая внимания на крики, раздавшиеся за моей спиной.

Я вежливо постучался в большие двустворчатые двери директорского кабинета. Не получив ответа, открыл дверь и увидел невысокую, некрасивую секретаршу в очках, с лицом, усеянным веснушками. Она ни за что на свете не хотела пропустить меня, даже когда узнала, кто я такой и зачем явился. Не знаю, показался ли я ей сумасшедшим или авантюристом, но только она никак не могла поверить, что я новый директор завода. Откровенно говоря, и для меня это было довольно странно, но я был вынужден настаивать на своем.

— Говорить такие вещи?! Я вас попрошу...— Она строго посмотрела на меня и неодобрительно покачала головой.

Но я лишь кротко улыбнулся.

— Вы что, собственно говоря, думаете? Может, если вы сейчас меня не пропустите, я уйду и не возьму на себя руководство заводом? И этот завод будет единственным ненационализированным предприятием и останется его владельцу только потому, что вы его защитили?

Она, наверно, думала что-либо в этом роде, потому что нажала на кнопку звонка, желая, очевидно, выпроводить меня с помощью служителя.

Я шагнул к двери; она одним прыжком преградила мне дорогу, но моя рука была уже на ручке двери, и ей оставалось только или вцепиться в меня, или примириться с тем, что я все-таки войду в кабинет ее хозяина.

Тому, что и директор не понял моих объяснений, я уже не удивился. Он уставился на меня ничего не понимающим взглядом.

— Что вам нужно? Как? Что это, черт побери?

Собственно, его вопросы были обращены даже не ко мне, а к растерявшейся секретарше, которая, ломая руки, стояла на пороге кабинета.

— Простите, но я... я ничего не могла сделать, только грубое насилие...

Со своей точки зрения, она была права, и я даже кивнул, подтверждая ее слова.

Директор был одного возраста со мной, только более лысый. Крепкий, коренастый, он походил на меня и по своему сложению, но казался с первого взгляда довольно экспансивным.

Я спокойно стоял у его письменного стола, обеими руками придерживая портфель, и ждал, пока он успокоится. Бегло осмотрел комнату: коричневые дубовые панели, гравюры, старинная картина, на которой изображен завод, каким он был, должно быть, лет пятьдесят назад. Тяжелые портьеры, толстый ковер и в особенности картина с заводским пейзажем олицетворяли такую уверенность и непоколебимость, что я сразу понял, сколь естественно возмущение директора. Кроме того, он, должно быть, просто не успел здраво оценить обстановку.

— Я не желаю принимать во внимание подобные бумажки! — с достоинством заявил директор, оттолкнув от себя документ, выданный мне, вообще-то говоря, самой высокой инстанцией. Он очень старался сохранить чувство собственного достоинства, которое, казалось, приросло к нему, как эмаль к кастрюле. Я решил позлить его немножко. Кроме того, разбирало любопытство, что он за птица, и я продолжил разговор.

— Господин директор,— обратился я к нему, выпрямившись и придав своему лицу примерно такое же выражение, что и у него,— наше развивающееся по пути народной демократии государство, как и следовало ожидать, с сегодняшнего дня национализировало крупные промышлен-

ные предприятия. Были назначены новые директора. Сюда, например, послан я. Что касается лично меня, то это назначение, можно сказать, совершенная случайность. Но если случай привел меня сюда, то я вынужден призвать вас не чинить препятствий в выполнении порученных мне обязанностей.

Последние слова я произнес достаточно выразительно, и нельзя сказать, чтобы они не возымели действия.

— Подобные угрозы для меня не новость,— возразил он, — но меня вы не запугаете.

Он достал связку ключей и, полуобернувшись, вставил один из них в дверцу возвышавшегося за его спиной массивного сейфа.

— Я далек от того, чтобы угрожать, — сказал я с изысканной вежливостью.— Просто я хотел бы, чтобы мы оба приняли во внимание наши исторические роли! Вам придется встать и уйти, а я займу ваше место и приступлю к выполнению возложенных на меня задач.

Он все еще сидел, не желая уступить мне место.

У меня мелькнула мысль, не схватить ли его за жилетку и не встряхнуть ли слегка, может быть, тогда он скорее поймет неотвратимость процесса исторического развития. Но я взял себя в руки, вытащил кисет и начал скручивать цигарку; я курил специальную смесь, состоявшую из табаков трех сортов. Своему собеседнику я тоже предложил табаку.

— А вы, оказывается, не лишены чувства юмора,— сказал он и посмотрел на меня, высоко подняв брови.

— Конечно,— подтвердил я,— и я готов как можно веселее провернуть это дело. Можете даже рассказать новый анекдот, хотя бы и реакционный, я не очень привередлив. У меня будет только одна, всего лишь одна просьба: распорядитесь, чтобы сюда срочно принесли главную бухгалтерскую книгу.

При этих словах он впервые усмехнулся — издевательски, высокомерно.

— Зачем она вам? Вы ведь все равно не сможете в ней разобраться.

— Это ничего не значит,— успокоил я его и закурил.

Чувствовалось, что нервы его были напряжены и он с трудом сохранял холодную чопорность, к тому же он немного боялся, конечно боялся.

— Любопытно, это действительно любопытно! — И, как бы шутя, он обратился к секретарше: — Пригласите-ка сюда главного бухгалтера!

Секретарша направилась к двери, но я остановил ее:

— Попрошу вас, барышня, не выходить из кабинета. Позвоните отсюда.

Она посмотрела на директора, тот пожал плечами.

Веснушчатая женщина осторожно подошла к большому письменному столу, украшенному резьбой, подняла трубку одного из телефонов и попросила главного бухгалтера принести бухгалтерскую книгу. Тот не понял ее или не захотел понять и начал спорить.

— Пусть немедленно приходит! — прошипел я секретарше.

— Немедленно приходите! — испуганно заморгала она, глядя на меня. — Прошу вас, такое уж положение,— попыталась она объяснить главному бухгалтеру ситуацию, но потом вдруг прошептала, словно осталась одна в пустоте: — Повесил трубку.

В этот момент на столе зазвонил другой телефон.

— Да,— сказал директор, не глядя на меня, — да, приходите спокойно.

Затем он долго, не отрываясь, смотрел на меня изучающим взглядом. По этому взгляду я понял, что сейчас он проявит себя с какой-то другой стороны.

— Уж не думаете ли вы серьезно,— сказал он тихим голосом, исполненным скорее решимости, чем чувства собственного достоинства, — не

думаете ли, что это надолго?! Вы не имеете никакого представления о международной обстановке. Эта недолговечная власть и года не продержится.— Он на мгновение задумался.— Да нет, она не продержится и полугода!

Он не трус, подумал я, все еще стоя около письменного стола. Я смотрел на него сверху вниз и безмятежно улыбался. Одновременно я раздумывал о том, допустим ли вообще подобный разговор в такой обстановке.

Я не мог без известной иронии смотреть не только на него, но и на самого себя — вот мы стоим здесь, как бы в центре истории, и скрещиваем силы и взгляды двух классов.

— В вас говорит отчаяние,— успокаивающе сказал я.— Когда-нибудь вы поймете, что мы не могли действовать иначе. Вы ведь хотели только выколачивать прибыли, а не развивать венгерскую промышленность.

Я сказал это по-отечески добродушно, хотя и несколько раздраженно, так как у меня уже начали уставать ноги. В отместку я прочитал ему небольшую лекцию, объяснив, что мы предоставили им несколько лет для доказательства этого, ведь кто помешал бы нам провести национализацию еще в сорок пятом?

Мне показалось, что его сейчас хватит апоплексический удар, несколько раз он даже пытался перебить меня, но я этого не допустил. Не следовало бы вам забывать, продолжал я поучать его, что именно мы, рабочие, наладили производство в стране, наладили, когда кругом были одни развалины да груды железного лома. Прошу извинить, я не знаю, где он находился в то время, но в сорок пятом на заводах днем с огнем нельзя было найти ни одного из подобных ему людей.

Он вскочил и уже раскрыл было рот, чтобы обрушить на меня поток возражений, но как раз в этот момент в дверях появился главный бухгалтер, на редкость высокий и худой человек. Вместе с ним вошел другой бухгалтер, пониже ростом, обеими руками обхвативший громадную книгу в полотняном в бело-голубую полоску переплете.

Они поклонились, тот, что пониже, с любопытством заморгал, глядя в мою сторону, а худощавый снял очки, чтобы лучше рассмотреть меня. Оба не произнесли ни слова.

Директор молча, одним движением руки показал, что просит положить бухгалтерскую книгу на стол.

Вошедшие приблизились, полосатая книга была осторожно водружена посреди гигантского стола. Все трое с благоговением потянулись открыть ее.

— Пожалуйста, прошу вас,— директор жестом пригласил меня подойти и даже отодвинулся в сторону, чтобы освободить мне место для беспрепятственного изучения бухгалтерской книги.

Наконец-то я оказался за директорским столом. Я встал перед священной книгой и посмотрел на собравшихся в кабинете. Все трое широко раскрыли не только глаза, но и рты в ожидании того, что же я буду делать, как подступлюсь к этому скопищу незнакомых для меня иероглифов.

Но я совершенно неожиданно для них решительным движением захлопнул бухгалтерскую книгу, поднял ее, повернулся и, отодвинув локтем наполовину закрытую дверцу сейфа, положил на одну из пустых полок. В директорском сейфе только и было что несколько тоненьких книжек, небольшая металлическая коробка да две-три пачки каких-то бумаг, перевязанных лентой. Я захлопнул массивную дверь, которая сама заперлась с глухим щелчком. Вытащив ключ с замысловатой бородкой, я спрятал всю связку в карман.

— Гм, ловко, — сказал директор.

Теперь должно было последовать то самое движение, которым завершится все это театральное представление. Вот сейчас я сяду в кресло и приступлю к руководству заводом. Но почему-то я не мог заставить себя сесть. Может быть, потому, что директорское кресло было мягким, а я не люблю мягкую мебель. Кроме того, я не люблю занимать сиденье, еще хранящее тепло человека, только что вставшего с него.

Я предпочел опереться кулаками о стол, решив посмотреть, какие рожи они скорчат, и с самым серьезным видом пристально уставился на собравшихся в кабинете.

Невысокая веснушчатая секретарша горестно вздохнула:

— Иисус-Мария...

Главный бухгалтер стоял с неподвижным лицом, а его помощник испуганно моргал. Директор старался выдавить на своем лице презрительную усмешку.

— Это тоже входит в полученные вами инструкции или вы сами додумались? Внимание, прежде всего главная бухгалтерская книга! Как бы ее не подделали эти подлые капиталисты!

Я видел, что он опустошен и взвинчен, что он уже не в состоянии сохранять чувство собственного достоинства. Может быть, все дело было в том, что прежде он сидел там, где теперь стою я, а я стоял почти на том самом месте, где он сейчас никак не мог занять надлежащую позу.

— Возьмите себя в руки,— посоветовал я ему добродушно, — я понимаю ваше настроение...

Но это только вывело его из равновесия. Он не дал мне договорить.

— Что вы понимаете? Ничего вы не понимаете! У меня как-никак были соображения, что можно сделать из этого завода, и я не радуюсь, что вы, хотя и временно, развалите производство. Надеюсь, у вас не будет достаточно времени, чтобы причинить непоправимый ущерб. А я хотел бы, когда вы уйдете отсюда, начать все сначала.

Сказано было довольно прямо. Ты тоже малый не промах, подумал я, но вот ораторствуешь напрасно.

— Не теряйте достоинства! — холодно посоветовал я ему, а потом добавил еще несколько слов. Что-то вроде того, что мы имеем неприятности не с тем или иным капиталистом, а тем более не с тем или иным директором, которые, в сущности, всего лишь служащие капиталистов, но со всем классом капиталистов в целом; однако даже этот класс мы не хотим обижать понапрасну, мы только изменяем систему производства в соответствии с направлением исторического прогресса...

Хоть и не было у меня такого намерения, но этими словами я окончательно вывел его из себя.

— Исторический прогресс! — закричал он. — Утопия мошенников! Если бы мне пришлось предположить, что все это хоть в какой-то мере надолго, я тут же пустил бы себе пулю в лоб!

Кстати замечу, что он все-таки не застрелился. В прошлом году я встретился с ним на аэродроме. Он как раз улетал куда-то в качестве представителя одного из внешнеторговых предприятий. Он сразу же узнал меня, но мы обменялись лишь несколькими ничего не значащими беглыми замечаниями о перипетиях воздушного сообщения: в нашем возрасте полеты уже утомляют... нет, нет, вы не так уж постарели... Мне захотелось было напомнить ему нашу первую встречу, но я счел более благоразумным промолчать. Однако тогда в директорском кабинете он с такой страстью говорил об альтернативе — самоубийство или возврат к старому, — что я почти поверил ему.

— Господа! За отсутствием желающих выступить в прениях председатель объявляет заседание закрытым,— решительно заявил я и даже слегка постучал по столу. В этот момент я заметил звонок и не удержался от соблазна нажать кнопку.

И тотчас вошел служитель, вероятно, тот самый, который должен был по вызову веснушчатой секретарши выпроводить меня отсюда. Он стоял в замешательстве, и мне пришлось слегка кашлянуть, чтобы обратить на себя его внимание.

— Подойдите сюда.— Я протянул ему руку и представился.— С сегодняшнего дня я являюсь руководителем этого предприятия. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто здесь председатель заводского комитета?

Он назвал фамилию.

— Сходите к нему, попросите прийти ко мне! Только прежде, чем отправиться сюда, если у него нет возражений, пусть распорядится созвать уполномоченных, потому что нам нужно будет побеседовать с ними.

Мне хотелось тут же встретиться с рабочими, чтобы почувствовать себя дома.

— Слушаюсь.

Служитель повернулся и вышел выполнять первое указание, отданное мною на этом заводе.

Я мог бы позвонить в заводской комитет, но так было более наглядно. Те трое стояли и наблюдали эту сцену. Когда служитель вышел, я подумал, что поступил не совсем правильно, познакомившись и обменявшись рукопожатием только с ним.

— Познакомимся,— обратился я к бухгалтерам. Мы пожали друг другу руки и назвали свои имена.— Надеюсь, мы найдем общий язык.

— А что же будет со мной? — спросил директор.

— Что касается вашей судьбы, то ее решение выходит за рамки моей компетенции, об этом вам сообщит министерство. А сейчас вы должны покинуть территорию завода.

Я велел служителю вместе с бухгалтером, тем, что был ниже ростом, проводить его до заводских ворот, строго проследив, чтобы он ни с кем не вступал в разговор.

Когда все покинули кабинет, а председатель заводского комитета еще не пришел, я мог на несколько минут остаться один.

Прежде всего я заменил директорское кресло другим, с жестким сиденьем, и наконец-то удобно уселся за столом.

Потом я стал рассматривать картину, висевшую на стене. Ну, конечно, это был вид завода в 1902 году.

Я позвенел ключами в кармане. Один из них запер здесь, в сейфе, книгу, содержавшую все тайны завода.

И тут я подумал, что ни одна из этих тайн мне не известна. Иисус-Мария, вздохнул я, пользуясь лексиконом маленькой дурнушки секретарши, придется мне изучить великое множество вещей, необходимых, чтобы разобраться в этих тайнах. Балаж, Балаж, ну и влип же ты!

Но я вспомнил о том, что происходило сегодня утром в профсоюзном центре металлистов, вспомнил это историческое событие, когда зал заполнило множество людей, пришедших выслушать сообщение о национализации. В воздух летели шапки, и все мы со слезами на глазах пели «Интернационал». Тут же мы получили назначения и отправились по своим заводам. Все это происходило каких-нибудь полтора часа назад, но теперь казалось мне таким далеким, словно сама история. С тех пор прошло больше десяти лет, но и сейчас я помню все до мельчайших подробностей, так же, как тогда, спустя полтора часа.

То, что я стал большим человеком, ну и деньги... Ничего такого мне и в голову не приходило. Но вот явился председатель заводского совета, и я провел совещание уполномоченных, потом пришел главный инженер, потом кто-то из района — так что я и пообедать забыл в тот день, когда начал руководить заводом.

Перевод Л. СЕРГЕЕВА

ИШТВАН САБО

ВЕСЕННИМ ДНЕМ

Едва он увидел приближавшегося ко двору человека, настроение у него сразу упало. Никакой особой причины для беспокойства как будто не было: неприятное чувство зашевелилось внезапно, он ощутил его как тошноту или усталость и ничего не мог с собой поделать. Он собрал разбросанные по одеялу листочки, завинтил авторучку, потом нехотя повернулся на бок и, опершись на локоть, ждал — такая поза казалась ему самой подходящей для приема посетителя.

Гуйбер шел с велосипедом, он вел его за руль, и штаны у него были скреплены внизу зажимами. Он ступал очень медленно, с готовой улыбкой на лице — будто вынес ее из дома и, боясь расплескать, бережно донес до Фабиана.

Прислонив велосипед к стене и продолжая улыбаться, Гуйбер шагнул к Фабиану и протянул ему руку.

— Здорово, друг!

— Добрый день, Фери,— ответил Фабиан.

Рукопожатие затянулось. Гуйбер просто не желал расставаться с рукой Фабиана. И получилось не очень ловко: Фабиан протягивал руку снизу, а Гуйбер сверху. К тому же казалось странным — здесь, в деревне, Фабиан не привык к долгим рукопожатиям. Такими рукопожатиями обычно обменивались в Будапеште. Дурное настроение, похожее на тошноту, не проходило.

— Пишешь? — поинтересовался Гуйбер, почтительно понижая голос.

— Я писал письма.

Фабиан взял листки и переложил их ближе к себе. Украдкой поглядывая на Гуйбера, он признавался самому себе в том, что старается оттянуть время и побороть смятение, и был зол на себя за это: какого черта волноваться? Для беспокойства и волнения решительно никаких причин нет.

Гуйбер все еще стоял над ним, выжидательно улыбался и, как видно, старался придумать, о чем бы еще спросить, и как можно приветливей. Сесть ему Фабиан не предложил, и Гуйбер, поколебавшись, скромно уселся на траву рядом с разостланным одеялом.

— Посижу маленько,— сказал он.

— Пожалуйста,— поспешно пригласил Фабиан,— присаживайся сюда, на одеяло.

— Мне и здесь неплохо.

— Смотри не простудись. Вчера лил дождь, я сквозь одеяло чувствую, что земля холодная. Май еще только начинается.

— Нам эти нежности ни к чему... Земля, говоришь, холодная? А мы ее согреем.

По-домашнему обхватив руками колени, Гуйбер сидел на сырой траве с таким уверенным и независимым видом, с такой широкой улыбкой на лице, словно выбрал самое лучшее место на земле и все должны ему завидовать. И Фабиану вдруг почудилось, что его место действительно хуже, что оно какое-то жалкое, неудобное, и ему захотелось, чтоб одеяло, на котором он лежал, незаметно исчезло и он тоже оказался на траве.

Фабиан начал старательно разглаживать складки на одеяле; он долго возился, с напускной заботливостью распрямляя малейшую неровность, и наконец устроился поудобней.

Гуйбер сидел рядом и не переставал улыбаться.

— Как отдыхается? — помолчав, спросил он.

Фабиан пожал плечами.

— Видать, неплохо,— продолжал Гуйбер,— от темна до темна на травке полеживать.

Фабиан хотел сказать, что валяться тоже надоедает, но, пока он искал каких-либо ничего не значащих слов, Гуйбер уже задал новый вопрос:

— Женушке писал?

— Жене... и знакомым, друзьям...— вяло пробормотал Фабиан. Ему не хотелось вникать в слова Гуйбера, он не был даже уверен, стоит ли вообще отвечать ему.

А Гуйбер и не заботился о том, что говорит Фабиан. Рассеянно кивая головой и думая, казалось, о чем-то своем, он шевелил носком сандалии и улыбался, как человек, у которого времени хоть отбавляй.

Визит Гуйбера не был для Фабиана неожиданным. Однажды они уже беседовали, и с тех пор Фабиан резонно полагал, что разговор их будет иметь продолжение — неприятное, но неизбежное: если Фабиан не пойдет к Гуйберу, то Гуйбер придет к нему, и отделаться от него будет не так-то просто.

Фабиан лежал на одеяле, сожалея о безнадежно испорченном дне, и ждал, о чем еще спросит Гуйбер, что не имеет никакого отношения к делу, какими извилистыми путями подойдет он к главной цели своего визита.

Дурацкие вопросы Гуйбера, задаваемые елейным тоном, выводили Фабиана из себя, но он не хотел ему помогать. Все эти лисьи уловки, притворство — словом, весь арсенал хитросплетений, с которым испокон веков сжилась деревня, был всегда ненавистен Фабиану, хотя и сам он в большей или меньшей степени умел им пользоваться. Обычно начинали издалека, долго ходили вокруг да около, льстили, умасливали, скрывая под маской дружелюбия жестокость и злобу, расставляли ловушки, а затем намертво их захлопывали. Неужели они никогда не научатся говорить начистоту? И Фабиан позволил Гуйберу плести сеть, надеясь развлечься и тем заглушить беспокойство.

Но Гуйбер сидел на траве с таким независимым видом, что Фабиану опять стало не по себе — им овладело чувство, граничащее со страхом: самоуверенность Гуйбера внушала мысль, что он сильнее и выдержки у него больше. Страх этот Фабиан знал давно, он испытал его уже не раз, когда входил в соприкосновение с сельскими жителями. Страх этот был беспричинным, но побороть его Фабиан не мог: он боялся, что его подомнут, боялся, что над ним возьмут верх. Он всегда заранее был убежден, что проиграет. Почему он слабее их, в чем их сила — он не знал. Зато знал твердо: они выдержат, а он нет.

Гуйбер упорно, ритмично шевелил носком сандалии: он развлекался. Сандалии были надеты на босу ногу; из-под ремней выглядывали жилистые ступни со вздувшимися венами, с загрубевшей кожей и толстыми потрескавшимися наростами на пятках. Эти две ноги, бесформенные и грязные, чем-то напоминавшие каких-то живых чудовищ, нестерпимо раздражали Фабиана. Их нагота казалась ему бесстыдной и вызывающей. И он постепенно наливался яростью: он ненавидел Гуйбера, ненавидел все, что было на нем: измятые штаны грязно-серого цвета, серый рваный пуловер, выгоревший от солнца берет и неизменные ржавые зажимы на штанах, которые носят все мужчины в селе.

Фабиан лениво вынул из кармана сигареты и протянул пачку Гуйберу, но тот немедленно вытащил свои.

— Спасибо, у меня тоже есть,— сказал он скороговоркой и протянул Фабиану свою пачку.

— Знаю, что есть, но попробуй вот эти,— терпеливо угощал его Фабиан, щелчком выбивая сигарету из пачки.

— «Симфония»?

— Да.

— У меня «Кошут». Закуривай.

Оба упрямо совали пачки друг другу под нос, наконец обменялись сигаретами и закурили. Гуйбер щелкнул медной зажигалкой, какими теперь уже никто не пользуется, дал прикурить Фабиану, потом с удовольствием затянулся, пробуя на вкус дым «Симфонии».

— Эти, по-твоему, лучше?

— По-моему, все одинаковы.

Гуйбер взглянул вопросительно.

— Все сигареты одинаково вредны,— объяснил Фабиан.

— Что правда, то правда. А цена разная. Сколько платил за свои?

— Четыре пятьдесят.

— Видать, они лучше. Ты всегда эти куришь?

— Привык к ним.

— Само собой,— кивнул головой Гуйбер, пошевелив своей чудовищной ногой.— Кто к чему привык. А для меня лучше «Кошута» нету.

— По-моему, крепковаты.

— Кому как. Кто непривычен, для того крепки. А у меня от других в горле скребет.

У Фабиана затекла рука. Он уселся на одеяле и обхватил руками колени. А Гуйберу надоело сидеть, он неторопливо улегся на бок, лицом к Фабиану, и подпер голову рукой. Сандалии его больше не шевелились, они мирно покоились рядышком на траве. Оба некоторое время выжидательно молчали.

День выдался тихий, не жаркий. В воздухе еще сохранилась влажность от вчерашнего дождя. Высоко в небе плыли белые пушистые облака.

— Дождь прошел очень кстати, верно? — сказал Фабиан.

Гуйбер с готовностью улыбнулся.

— И как еще кстати — хлебам, лугам да огородам.— Он засмеялся.— И кооперативщикам тоже.

Фабиан серьезно кивнул, потом спросил:

— А государственному хозяйству не кстати?

— Ну, госхозу-то все одно. Есть урожай, нет урожая, нам зарплата идет по коллективному договору. В кооперативе — там по-другому.

— У тебя выходной сегодня? — спросил Фабиан.

— Какой выходной! Больничный лист на два дня дали.

Фабиан взглянул: он действительно болен? Но Гуйбер, смеясь, махнул рукой.

— Э, пустое. Почему не взять, когда дают? Что, неверно? Свои дела тоже делать надо.

Решив, должно быть, что наступил подходящий момент, Гуйбер сел, в упор посмотрел на своего собеседника и сразу сделался серьезным.

— Вот и к тебе решил зайти.

Даже голос у него изменился. А у Фабиана опять засосало под ложечкой; он понял, что начинается неприятный разговор.

— Мы каждый вечер ждали тебя, как тогда сговаривались,— тихо продолжал Гуйбер.— Жена думала, уехал ты, а я говорю ей: быть того не может! Ты б наверняка зашел, если бы было что сказать. Но ты не пришел.

Гуйбер умолк, ожидая ответа.

— Да вот не собрался.

— Ну и ладно. Я сам тебя нашел,— улыбнулся Гуйбер. Фабиан молчал, и он, подождав немного, заговорил снова: — Ну, что новенького? Что тебе сказали в кооперативе?

— Ничего,— ответил Фабиан, всеми силами стараясь сохранить хладнокровие.

Гуйбер опешил. Добродушное выражение исчезло с его лица, в глазах мелькнула тень подозрения.

— Ничего? Как же так? Что-нибудь они тебе да сказали.

Фабиан отрицательно покачал головой.

— Не может быть. Ты с кем говорил?

— Ни с кем.

Гуйбер в недоумении заморгал, и тогда Фабиан объяснил:

— Я не ходил. Лень было.

Кажется, Гуйбер слабо кивнул: дескать, понятно. Физиономия его вытянулась, и улыбку с нее как рукой сняло. Разочарование, ярость оглушили его, они резче обозначили морщины, и на миг показалось его истинное, будничное лицо — злое и жадное. «На это стоит посмотреть»,— подумал Фабиан.

— Словом, ты ничего не сделал?

— Зачем зря ходить? Землю они все равно не вернут, раз она...

— Не о том речь,— перебил его Гуйбер, уже овладев собой и даже изобразив на лице некое подобие улыбки.— Тебе дадут землю в другом месте. Понимаешь?

— Как бы не так! С какой стати давать мне землю, когда я другим занимаюсь? У них и так земли в обрез, на приусадебные участки не хватает. Они же каждую пядь считают, кому и зачем дают.

— Неправда твоя. На это закон есть: хоть ты и не член кооператива и занятие у тебя другое, а землю имеешь — так она твоя. Если же, скажем, твой надел клином входит в кооперативную землю, должны нарезать тебе в другом месте.

— Не думаю,— сказал Фабиан, хотя прекрасно знал, что именно так и есть.

Он полагал, что Гуйбер с самого начала все поймет, примирится с тем, что ничего не вышло, встанет и уйдет. Но тот и не собирался уходить. И Фабиан снова пал духом: опять предстояла схватка, упорная, долгая, а он совсем не уверен, что сумеет взять верх. Гуйбер вынослив, но мозгами ворочает туго и отделаться от него не легко. Уж если он что-нибудь вбил себе в голову, то будет стоять на своем до конца.

— Под лежачий камень вода не течет, сам не позаботишься — никто тебе ничего не даст,— снова пошел в атаку Гуйбер.— Они-то к тебе наверняка не придут. Скажи, ты и правда ни с кем не говорил?

— Нет.

— Почему?

— Да так. Неохота заводиться. Смысла нет из-за полутора хольдов земли...

Гуйбер удивленно смотрел на Фабиана, уже не скрывая ни раздражения, ни презрения.

— Что-то я не пойму. Значит, ты отдаешь землю им? Вот так, задаром, без звука?

— А что делать?

— Я тебе говорил.

Фабиан не ответил.

Гуйбер исподлобья поглядел на него, помолчал немного, потом, теребя рукой траву, каким-то странным голосом глухо сказал:

— Послушай, друг!.. Если не хочешь исполу отдать землю мне, говори напрямик. Я не обижусь, уйду домой — и делу конец.

— А-а, не в этом дело.

— В чем же?

— Не нравится мне эта затея,— сказал Фабиан.

Не глядя, он чувствовал, как буравят его маленькие голубые глазки Гуйбера, но ему уже было все равно. Он знал, какую рожу скорчил сейчас Гуйбер — подозрительную, изумленную, непонимающую, потому что поведение Фабиана не укладывалось в его голове.

— Нет, не понять мне. Так легко от своего добра не отказываются. Что твое, то твое, за него крепко держаться надо. И закон на это есть. Смело иди и требуй свое. Кооперативу не отвертеться, другим же дали...

— Странно...

— Что странно?

— Что дали. Люди работают, получают зарплату, а им все мало — еще и землю давай...

— Их земля,— сказал Гуйбер,— они на эту землю право имеют.

— Это несправедливо.

— Несправедливо? Полоумным надо быть, чтоб смолчать, когда отбирают твое.

— Значит, я полоумный?

— Этого я не говорил. Да пойми ты, нельзя ничего отдавать, если есть возможность не отдавать. Самая мало-мальская возможность! Свое беречь надо!

И он с возмущением потряс головой.

— Бросить свое за здорово живешь! Да ведь это ж твое, кровное!

— Зачем же быть исключением? — пробормотал Фабиан и посмотрел на часы.

Гуйбер не обратил на это никакого внимания. Он прочно сидел на земле и, как видно, далеко не считая разговор законченным, даже не думал уходить. Фабиан опасался, что утомление в конце концов скажется и у него не хватит сил защищаться от этих хитросплетений. Выдержка изменила ему, слова Гуйбера внесли в его мысли разлад, и он начинал сомневаться в своей правоте.

— Ты неверно рассуждаешь, друг,— говорил Гуйбер.— Эта земля — твое наследство. А наследство нельзя выпускать из рук.

Фабиана передернуло.

— Ладно, будь по-твоему. Но та земля, что мне дадут, уже не наследство,— сказал он.

Гуйбер снисходительно усмехнулся.

— Так это же все одно. Земля она и есть земля. Главное, чтоб ты за землю получил землю.

— Но ты говорил о наследстве,— упорствовал Фабиан.— А то, что они дадут, уже не мое наследство.

— Ну и черт с ним. Землю у тебя взяли, землю и дадут.

— Чужую? Не хочу я быть исключением.

— Не твоя это забота. Дело законное... Ты живешь в Будапеште,— тоном сообщника добавил он,— и знаться ни с кем не будешь.

— Это не совсем так,— возразил Фабиан.

— Почему?

— Потому что хочу приезжать сюда.

«Почему я не пошлю его к черту? — тоскливо размышлял Фабиан.— Что я тут с ним рассусоливаю?» Сам виноват. Надо бы сказать несколько решительных слов и покончить с этим раз навсегда.

— Тебя послушать, так ты самому себе враг,— задумчиво говорил Гуйбер,— из собственного кармана прибыль выкидываешь.

«Из твоего тоже»,— радуясь, подумал Фабиан, но вслух сказал:

— Зато налог платить не надо.

Гуйбер взглянул на него с таким выражением, будто хотел сказать: ты что, шутки шутишь?

— Налог налогом, а тебе тоже кое-что останется. Да и не кое-что, а порядочно.

Фабиан, задумавшись, молчал, а Гуйбер осторожно усиливал нажим.

— Послушай, время вот так подпирает — потому я к тебе и пришел... Май на дворе, давно пора кукурузу сеять. Так ты не тяни, проверни поскорее, чтоб мы могли в поле выйти.— Он неожиданно засмеялся.— Знать нам все-таки не мешает, где будет твоя земля, а то засеем чужую, вот спасибо и скажут.

Фабиан вяло улыбнулся.

— Ну? — спросил Гуйбер.— Пойдешь в правление?

— Ладно, схожу на днях,— ответил Фабиан.

— Не на днях, сейчас сходи.

— Сейчас?

— Да, да. Сейчас!

Фабиан с испугом взглянул на Гуйбера. Он чувствовал свое бессилие, не знал, что еще возразить, воля его была подавлена, упорство сломлено. Ему уже хотелось одного: какого-нибудь происшествия, которое помогло бы ему освободиться от Гуйбера. Пожалуй, лучше всего сейчас встать и пойти с ним, иначе от него не отделаешься... Надо выиграть время и надеяться на чудо, иного выхода нет.

На лице Гуйбера опять заиграла ободряющая, приветливая улыбка.

— Пошли?

— Ладно, пойдем,— согласился Фабиан.

Гуйбер так резво вскочил на ноги, что Фабиану стало смешно. Медленно, с нарочитой неторопливостью он принялся собирать вещи — он тянул время, чтоб хоть так помучить Гуйбера, испытать его удивительное терпение. Конечно, эта маленькая месть имела в общем мало смысла.

— До обеда легче застать кого-нибудь в правлении,— сказал Гуйбер.— После они все уходят в поле.

Он беспокойно переминался с ноги на ногу, глядя, как Фабиан аккуратно складывает одеяло, даже сделал жест, чтобы помочь ему, но сдержался и закурил, на этот раз один.

— Ты там не очень копайся! — сказал Гуйбер вслед Фабиану, направлявшемуся с вещами в дом.

— Только переоденусь.

— Зачем? Мы ведь в крестьянский кооператив идем, а не куда-нибудь! — весело крикнул Гуйбер.— А вообще-то ты прав, так будет солиднее. С городским господином они не посмеют торговаться.

Фабиан мылся, а настроение у него было преотвратительное, Ему было стыдно, он злился на себя за то, что уступил и согласился идти в правление. Как это Гуйбер изловчился и взял над ним верх? И почему же он не умеет давать отпор подобным типам? «Нет у меня воли,— думал он,— сам я не знаю, чего хочу». Рассеянно поливая водой одно и то же плечо, Фабиан стал придумывать, что бы наплести в правлении. Он понятия не имел, как и что надо делать, и вновь и вновь поражался тому, что пошел на поводу у Гуйбера. Хорошо бы дать тягу, да в деревне не скроешься — вот беда; будь они в Будапеште, можно бы затеряться в уличной толпе, ищи его там. Фабиан криво усмехнулся, представив, как рыщет по улицам Гуйбер, потому что все его планы полетели к черту. А в действительности — в действительности он сам беспомощно барахтается, увлекаемый потоком, в который столкнул его Гуйбер, и не выплыть ему, не спастись! Да, здесь тягу не дашь. И вот наказание за

то, что поддался. Одеваясь, Фабиан думал, что давно не приходилось ему с такой неохотой собираться в путь, давно не случалось так подленько тянуть время, но это было его последнее средство защиты.

— Ну и франт! — сказал Гуйбер, когда он вышел во двор.

Как только Фабиан запер дверь, Гуйбер схватил велосипед и быстро пошел со двора. Он чувствовал себя победителем и не желал терять ни минуты. Ему невдомек было, что на душе у Фабиана кошки скребут. Он уже почти забыл о Фабиане, всецело поглощенный своими планами.

На улице Гуйбер остановился.

— Садись на раму, подвезу.

— Нет,— отказался Фабиан,— не хочу мять костюм.

— Тоже верно. Но тогда надо поторопиться, чтоб до обеда кого-нибудь застать — председателя или агронома.

Он ускорил шаг. Его парусиновые штаны странно шуршали, словно перешептывались с босыми ногами, шлепавшими в сандалиях. Фабиан не хотел идти сзади, но и спешить у него не было никакой охоты. И он шагал рядом с Гуйбером, словно привязанный невидимыми нитями. «Так мне и надо»,— думал Фабиан. Единственное утешение, что до правления идти далеко. Он все еще надеялся — а вдруг что-нибудь случится.

Гуйбер все ускорял шаги, и дома вдоль улицы быстро откатывались назад. Оба тяжело дышали. Люди, изредка попадавшиеся навстречу, смотрели на них с любопытством — их не привыкли видеть вместе. На каждом лице был написан вопрос: «Что за дела у этих двоих?» Все отлично понимали, что Гуйбер и Фабиан сошлись не случайно, что идут они по какому-то общему делу — глядите, как дружно шагают в ногу, будто солдаты. От этих вопросительных взглядов Фабиану делалось так стыдно, что он здоровался первый, с подчеркнутым оживлением.

Гуйбер больше не затевал любезных разговоров, не задавал никаких вопросов — этот этап был уже пройден. Он был весь поглощен ходьбой и собственными мыслями.

А Фабиана эта спешка приводила в отчаяние. «На плаху,— думал он,— и то людей водят медленнее». Теперь ему хотелось говорить о чем угодно, любые глупости, только бы заглушить терзавшее его чувство стыда.

— Как в госхозе, заработать можно? — спросил он.

Звук собственного голоса показался ему омерзительным, он был противен самому себе. Как мог он так низко пасть?

— Жаловаться не приходится,— рассеянно ответил Гуйбер. Уставившись на переднее колесо велосипеда, он упорно шагал вперед.

— А работа тяжелая?

— Работать в поле всегда тяжело. Сколько б машин ни пригнали, все одно поясницу ломит. Это тебе не за столом сидеть,— добавил он, улыбнувшись.

Последнее замечание взбесило Фабиана.

— Никому не пожелаю делать то, что делаю я.

Гуйбер, словно бы спохватившись, бросил на него быстрый взгляд.

— Я другое хотел сказать. Ты головой работаешь, дело тоже нелегкое. Да не такое.

Неизбежное свершилось — они подошли к центру села. Вот и почта, магазин, школа, а вон и домишко, где под одной крышей расположились правление кооператива и сельсовет. У пивной, не сговариваясь, оба замедлили шаг.

— Зайдем выпьем? — спросил Гуйбер.— Или потом, на обратном пути?

Он был в нерешительности; ему, конечно, хотелось, чтобы Фабиан как можно скорее вошел в правление, но угостить человека тоже немаловажно. Он видел, что Фабиан не в духе, его это тревожило, хотелось разрядить атмосферу.

— Который час?

— Половина двенадцатого.

— Давай зайдем, время есть,— сказал Гуйбер, прислонил велосипед к стене и поднялся на крыльцо.— Пойдем, Фабиан.

Улыбаясь, он пропустил Фабиана вперед.

Тот покорно вошел в пивную, чувствуя на спине сверлящий взгляд Гуйбера. «Сейчас он будет меня поить, потому что побежденного полагается утешить. И от этого я не посмел отказаться»,— с иронией думал о себе Фабиан.

В пивной не было ни души, в распахнутые окна струился свежий воздух, повсюду царили чистота и порядок. За стойкой, наполовину уставленной стаканами, сидел невысокий, коренастый человек с румяным лицом и листал иллюстрированный журнал. Как только посетители подошли к стойке, человек степенно поднялся, кивком ответил на их приветствие и молча ждал, что они скажут.

Гуйбер и Фабиан вопросительно смотрели друг на друга: дескать, что будешь пить? По всей повадке Гуйбера ясно было, что он решил платить во что бы то ни стало. Он так выразительно облокотился о стойку, словно заранее отвергал любую попытку со стороны Фабиана.

— Есть пиво в бутылках, Калман?

Буфетчик кивнул.

— Две? — спросил он.

— Две. А ты пиво будешь? — обернулся Гуйбер к Фабиану.

— Мне все равно.

Буфетчик открыл бутылки и смотрел на них с таким же любопытством, как и люди на улице. Фабиану опять стало не по себе. Он и Гуйбер одновременно протянули деньги через стойку, каждый по десятке. Буфетчик не взял денег ни у того, ни у другого; он спокойно ждал, чтобы они сами решили, кому платить. Гуйбер отодвинул руку Фабиана.

— Я плачу, друг.

Они подошли к столику, но не сели. Фабиан взял для себя стакан.

— Ты пьешь из стакана? — спросил Гуйбер, когда они чокнулись.

— Лучше вкус пива чувствуется.

— Бог его знает... Я из горлышка люблю...

Буфетчик уселся на свое место, взял журнал, но то и дело пытливо поглядывал в их сторону. Гуйбер это заметил и решил, что надо заговорить.

— Народу у тебя не густо, а, Калман? Что, у кооперативщиков карман пустой?

Краснощекий буфетчик не ответил.

— Видать, аванс еще не выдавали,— подмигнул Гуйбер.

Фабиан почувствовал, что хмелеет. Завтракал он рано, ел мало, а натощак его всегда разбирало быстро. Но сейчас хмель был ему приятен, и все стало казаться не таким уж страшным.

— Пей! — приговаривал Гуйбер.

Они допили пиво. Фабиан отнес бутылки и стакан и окинул взглядом полку за стойкой.

— Какой у вас коньяк?

— «Тоборзо»,— ответил буфетчик.— Два раза по пятьдесят?

— Нет. Два по сто.

В Фабиане заговорила гордость. Уж если пить, так не за чужой счет! Буфетчик недоверчиво смотрел на него, и Фабиан повторил: два

по сто. Гуйбер тоже подошел к стойке, но Фабиан уже заплатил. Они опять отошли к столу. Гуйбер подозрительно разглядывал коричневую жидкость.

— Это что? — спросил он.

— Коньяк,— сказал Фабиан.

— Крепкий?

— Мгм.

Они чокнулись и выпили. Гуйбер поперхнулся, закашлялся.

— Ух, черт!.. Такого я еще не пил.

— А ведь неплохо?

— Еще бы. Только зачем ты взял по сто?

— А чтоб не ходить дважды.

Гуйберу не терпелось уйти, но Фабиан уже забавлялся — он медленно закурил, угостил Гуйбера. Тот неохотно взял сигарету, все время поглядывая на дверь.

— В правлении не заметят, что ты выпил? — спросил он.

— Это их не касается.

— Так-то оно так, но когда приходишь по делу...

— Вот тогда и надо пить.

Фабиан веселился, глядя на озабоченную физиономию Гуйбера. Небось все поджилки трясутся от страха, что дело не выгорит. Вон ведь, как всего закрутило: только бы добиться своего! Ни о чем другом он и думать не в состоянии, он просто несчастен оттого, что они так долго здесь околачиваются. Лишь сейчас Фабиан по-настоящему рассмотрел лицо Гуйбера. Это было усталое, изможденное лицо человека, измотавшего самого себя адским трудом и одержимого всепоглощающей жадностью; лицо человека, все мысли которого сосредоточены на одном: на приобретении и собственном благополучии. В каждой жилке его запечатлелась жадность, и он уже не может ее утаить. В глазах, в словах, в движениях сквозит эта дьявольская ненасытность, вконец исковеркавшая его лицо.

Фабиан совсем не жалел Гуйбера, он испытывал к нему отвращение, даже злобу и удивлялся, как мог этот человек своими мелкими делишками причинить ему столько неприятностей.

— Фери,— внезапно сказал Фабиан, с любопытством глядя на Гуйбера,— а как ты сможешь обрабатывать эту землю? Ты же целый день в госхозе.

— Видишь ли, друг,— пустился в обстоятельные объяснения Гуйбер, вертя в руках стаканчик с остатками коньяка,— я ведь в семье не один, как-нибудь справимся. Тебе беспокоиться нечего, земля твоя пустовать не будет. Если ты думаешь, что...

— Я не потому,— перебил Фабиан.— Просто мне интересно.

— Жена на работу не ходит, она и будет вскапывать поле... А после работы и я помогу.

— Но у вас дети,— сказал Фабиан.— Сколько их? Трое? Сумеет ли Рожи и с ребятишками управляться, и в поле работать?

— Почему ж не сумеет?

— Ей сварить, постирать, в огороде покопаться да за тремя ребятишками приглядеть надо... А потом еще в поле... Не много ли для женщины?

— Много, немного,— строго сказал Гуйбер,— надо, так сделает.

— А дети?

— Побудут одни. Нам от дела отступаться нельзя. Житье у нас такое.

Фабиан пристально смотрел на Гуйбера, а тот продолжал нанизывать слова, наклоняясь вперед и говоря все доверительнее:

— С нами тесть мой живет. Был кооперативщик, теперь на пенсии. Держится еще старик, я скажу ему — пускай помогает... Пенсии у него — кот наплакал, а нам кормить его не под силу.

— Вот как!..— сказал Фабиан.

Он с такой силой сжал стаканчик, что чуть не раздавил стекло, но лицо его оставалась спокойным. Он не мог надивиться зрелищем, которое представлял собой Гуйбер. «Он и бога заставит на себя работать»,— подумал Фабиан и представил себе, как старый Вашаруш, подчинившись воле зятя, покорно бредет в поле с тяпкой на плече. Старик не возмутится, не подумает о своем покое: долгая жизнь, прошедшая в труде и заботах, притупила его сознание. Фабиан вспомнил, как мальчишкой его послали косить, а он не мог справиться с густой травой и чуть не плакал от огорчения; тогда пришел старый Вашаруш и наладил ему косу. В ушах его до сих пор звучит ласковый голос старика.

— Сколько лет дяде Имре? — спросил он.

— Семьдесят четыре,— ответил Гуйбер,— но для работы сгодится.

Он поднял стаканчик, давая понять Фабиану, что пора двигаться. Они допили остатки коньяка, и Гуйбер сказал:

— Если по совести, кипит мое сердце на старика, что не переписал он на нас свою землю, пока это было можно. Мне бы ее оставили. А теперь ищи ветра в поле. Раз он сделал такую глупость, пускай теперь гнет спину.

— Так,— сказал Фабиан. Из хмельного тумана возникал перед ним образ старого крестьянина: вот он плетется по пыльной дороге, и тяпка у него на плече, как крест, который тащил Иисус Христос. Он идет копать поле и ни о чем не думает; глаза его мутны, как глаза покойника.

— Слушай, я еще за то имею зуб на кооператив,— снова заговорил Гуйбер,— что он все мои расчеты перепутал. Да двух стариков на шею посадил.

Фабиан задумчиво кивал головой. Он смотрел в лицо Гуйберу, но едва ли видал его: перед глазами его носились совсем иные картины. Ему казалось, что Гуйбер здесь и в то же время нет его, а пивной зал превратился в зачарованный замок. Грудь Фабиана постепенно наполнялась отвагой и счастьем, ему стало покойно, как будто все, что случилось, было вовсе не с ним.

— Ну, теперь нам и в самом деле пора,— сказал Гуйбер.

— В правление?

— Ступай один, а я тебя подожду.

Фабиан засмеялся, сначала тихо, потом все громче и громче. Гуйбер был ошеломлен — с чего бы такая перемена?

— Ты что?

— Ступай в правление сам. Скажи, что я тебя послал.

— Брось дурить, Фабиан. Земля твоя. Ты и должен...

— Ничего я не должен. Мне и тут хорошо, даже сказать не могу, до чего мне тут хорошо. Выпьем еще по стаканчику коньяка, тебе ведь он тоже понравился. Куда нам спешить?

— Мы же шли не сюда... Не для того мы...

— С чего ты взял? Может, я тебя просто пошел проводить!

— Дураком прикидываешься? — спросил Гуйбер.

— У меня хорошее настроение. И коньяк хорош.

— Вижу. Не надо было сюда заходить до того, как... Этак в правление не ходят.

— Боишься, что старому Вашарушу не придется землю копать? А ты подай жалобу на кооператив, раз уж он во всем виноват.

Краснощекий буфетчик отложил журнал. Он что-то переставлял на стойке, всем своим видом показывая, что не обращает на них внимания. Гуйбер бросил на него беспокойный взгляд.

— Выходит, одурачил ты меня? — сказал он совсем тихо.

Фабиан с сияющим лицом беззаботно пожал плечами.

— Я? Да я к тебе не ходил. Помнится мне, что ты ко мне пришел.

Гуйбер, бледный от ненависти, с осунувшимся лицом, долго смотрел на Фабиана, на его белоснежную рубашку, серебристый галстук.

— Не думал я, что ты такой... ни за что б не поверил.

Фабиан безмятежно улыбался.

— А что случилось? Хлеб я у тебя не отнимал. Ты же зарплату получаешь в госхозе... По коллективному договору.

Гуйбер пошарил в кармане, вытащил двадцать форинтов и бросил на стол.

— Выпей еще этого самого,— сказал он хрипло,— порядочный человек такого не пьет, а для тебя в самый раз... Для таких, как ты, которые понаберутся в городе того-сего, потом сюда приезжают дурачить бедных людей. Но ты еще за это поплатишься.

Фабиан смахнул со стола деньги, но Гуйбер этого не видел — круто повернувшись спиной, он пошел к двери. Буфетчику он кивнул кое-как, зато с силой захлопнул стеклянную дверь, так что стекла зазвенели. Он прошел по улице несколько шагов, потом вскочил на велосипед и, яростно крутя педали, исчез в облаке пыли.

Фабиан подошел к стойке.

— Есть у вас еще тот самый коньяк? — спросил он, улыбаясь.

Непроницаемое лицо буфетчика сделалось наконец приветливей.

— До рождества не выпьете. Здесь его не очень покупают, даже держать не стоит.

— В таком случае я вам помогу.

— Пятьдесят или сто?

— Сто.

Буфетчик наполнил стаканчик и отсчитал сдачу.

— В отпуск приехали? — спросил он.

— Побездельничать немного да сил понабраться в деревне.

Буфетчик покосился на бумажку в двадцать форинтов, валявшуюся на полу.

— У вас с ним какое-нибудь дело было?

— Нет! — смеясь, ответил Фабиан.— Просто разошлись во мнениях.

Буфетчик понимающе кивнул.

— Люди-то разные. Так уж устроен мир.

Фабиан поднес стаканчик к губам и, зажмурившись, выпил все до последней капли. Он даже крякнул от удовольствия; сквозь выступившие на глазах слезы он больше не видел валявшейся на полу бумажки в двадцать форинтов — последнего напоминания о Гуйбере. Коньяк приободрил Фабиана, заглушил недовольство, снял камень с его души — словно хороший отдых после одержанной победы. Он дружески простился с буфетчиком, закурил и пошел домой, вдыхая полной грудью чистый майский воздух.

Перевод Е. БОЧАРНИКОВОЙ

ЯРОСЛАВА БЛАЖКОВА

На попутных машинах

НОВЕЛЛА

Перевод со словацкого
И. БОГДАНОВОЙ

Мать выскочила следом за ним и завизжала:
— Робино, Робино!

У Фурманов моментально взлетела штора. Во втором окне, поверх гераней, заколыхалась ядовитая головка старухи Байзовой, вся улочка насторожилась. Мать взвыла, как сирена, но Робино прикинулся глухим, втянул голову в плечи и прибавил шагу. Наконец она умолкла. Он живо представил себе, как она возвращается, хлопает дверьми, злые слезы стекают по жирным щекам в кастрюлю с солодовым кофе. Неблагодарность. Чистой воды неблагодарность. Она попрекала его неблагодарностью всякий раз, когда он отказывал ей в пустяке — в абсолютном повиновении. Но ведь он не может до бесконечности оставаться грудным младенцем, которого она носила в белой шерстяной шали. И которого любила, потому что он не умел говорить «дай», а тем более «нет». Любое возражение вызывало у матери нервный приступ, который выливался то в бурных слезах, то в ярости и упреках. Мать любила только слабые создания, какими бывают дети до года, или бессловесных тварей, если их бессловесность сочеталась с полезностью: козу, поросенка. Коровы у них никогда не было, но если б они смогли ее купить — мать любила бы ее больше всего на свете.

Робино свернул за угол, скрылся от взоров улочки. У Фурманов теперь говорят:

— Опять у них цирк!

Старуха Байзова развела канитель насчет теперешней молодежи, а мать, заряженная возмущением, словно электрическая батарейка, гонит братьев с постелей. Старшему даст подзатыльник, младшего чмокнет — для равновесия.

— Помолиться! Одеться! Поесть и марш с гусями! — командует она, и в голосе у нее одни восклицательные интонации. А они смекнут, что Робино, значит, все-таки ушел, потихоньку схватят хлеба — и айда во двор. Им неохота слушать причитания. В загородке гогочут гуси, но мальчики спрячутся за сараем, где устроила себе жилье кошка. Матери не пролезть в эту щель, она их не видит, они для нее недосягаемы. Они не откликнутся, хоть раззовись. Эти, дружище, уже из другого теста. Мать огорченно сморкается в синий платок, но какое же удовольствие горевать без зрителей? Она забудет, что до нее никому нет дела, и отправится к Фурманам жаловаться на то, что такая жизнь никуда не

годится, что горек вдовий хлеб и что самое неблагодарное на свете дело — иметь детей.

Робино миновал перекресток и пошел вдоль забора, по которому вились бобы с красными и вьюнки с белыми цветами; он любил их, было лето, каникулы, тысячи причин быть счастливым, но он по-прежнему держал голову втянутой в плечи и шагал так, что со стороны это было похоже на бегство. Он не мог не думать о матери. О том, как она сидит на кухне у Фурманов, похожая на перекисшее сдобное тесто, и подробно рассказывает, что он ушел, как ушел, почему ушел, и потом эти речи о жизни, вдовстве и неблагодарных детях. Робино на ходу ежился от стыда, он терпеть не мог, когда она говорила о нем. Еще мальчиком он не знал ничего хуже этого. В конце учебного года он всегда получал награду — трижды «Детей Ченковой»* и дважды Кукучина **, и она таскала его с книжкой по соседям. И всюду показывала надпись, выведенную красивым каллиграфическим почерком учителя Дунаевца: «Роберту Липке за примерное прилежание», дата, подпись директора школы и круглая печать.

Получив третий экземпляр «Детей Ченковой», он в сердцах запустил книжкой вместо футбольного мяча. Исключительно из-за этого паломничества по соседям. На душе и без того было паршиво, да еще обо всем узнала мать. Потом она таскала его с причитаниями:

— Видали вы такого негодника? Вот что получается, когда в семье нет отца. Горек вдовий хлеб, и самое неблагодарное дело — иметь детей.

Она держала его сзади за шиворот и показывала всем его красную физиономию, как будто он был редкий экземпляр жука, наколотого на булавку. Ему никогда не удавалось объяснить ей, каково это. Впрочем, ему ничего не удавалось ей объяснить. Он весь взмокал от напряжения, а когда у него пересыхало в горле, она опять принималась за свое. Для нее так было лучше. Ведь она мать!

В садах пламенели георгины, их золотисто-красные головки жарко сияли в холодном утре. Над тропинкой свесилась ветка с яблоками, которые называют бумажным ренетом. Он огляделся вокруг и сорвал одно. Оскоминой сводило зубы, он снова чувствовал себя деревенским сорванцом. Он швырнул огрызок в столб, перекинул дождевик через плечо и вышел на шоссе. Справа, аккуратно подвязанные к колышкам, выстроились виноградные лозы, а впереди, до самых Медзилаборец, тянулась лиловая чернь асфальта. Желтая табличка кричала голубям, единственным немоторизованным живым существам: «Идите с левой стороны!»

Робино перешел на правую сторону. За спиной услышал тяжелое дыхание машины. С монашеским выражением на лице он поднял руку. Из кабины отсалютовали трое в приплюснутых кепках, автомобиль исчез в облаке сгоревшего бензина. Навстречу неслись грузовики с мешками, цистернами и загадочными станками — снабженцы, работяги дорог. Через двадцать минут они будут в Братиславе. Он представил себе общежитие, коридор, где Януша жестом королевы позволила ему поцеловать ей руку. Теперь в общежитии пусто, по коридорам бродят только пятикурсники, оставшиеся в городе на практике, да стершиеся отзвуки лекций. Королева Януша — в Медзилаборцах, а перед ним вьются километры асфальтированной дороги.

Послышался мягкий рокот «седана». На этот раз Робино принял вид утомленного путника и помахал, но мужчина в пустом лимузине притворился слепой старухой на перекрестке.

---

* Повесть для детей словацкого пролетарского писателя Ф. Краля (написана в 1932 г.).

** Мартин Кукучин (1860—1928) — словацкий классик, писатель-реалист.

— Чтоб ты напоролся! — пожелал ему Робино и вновь вспомнил о матери. В какое негодование привела бы ее эта картина: идти и останавливать машины. Солидный человек никогда себе этого не позволит. Ее представлениям о солидности претили клетчатые рубашки, гитара — все, что отдает веселым бродяжничеством, а Робино от этих представлений мороз пробирал по коже. Такая серенькая солидность могла носить подтяжки, но никоим образом не перчатки. Мужчина в перчатках непременно мошенник. Солидность не дружит, не доверяет знакомым, а тем более незнакомым — словом, она ни с кем не имеет ничего общего.

По асфальту с натугой тащила свою отдельную однокомнатную квартиру улитка. Робино поднял ее, моллюск втащил склизкую ножку в домик. Робино с отвращением бросил его в траву. Тоже один из солидных. В спину парню коротко завыла машина. Колеса затормозили раньше, чем он успел придать лицу какое-нибудь выражение.

— Подвезете меня немного?

— Садитесь.

Он взобрался на кожаное сиденье, захлопнул дверцу, шофер тронул с места. У него была массивная голова, нос, словно перебитый на ринге, короткие толстые пальцы, в которых он держал руль и сигарету огнем к ладони.

— На прогулку?

Робино с готовностью принялся сочинять:

— Домой, на каникулы.

— Студент?

— Да.

Шофер смерил взглядом его потертые джинсы, дождевик, полупустой портфель и сморщился, как при виде дохлой рыбы.

— Денежки пропустили через горло, на поезд не осталось, так?

— Примерно.

— Студенты — шайка разбойников. Делать ничего не делают, государство платит этим лодырям, а они выучатся на господ и опять ничего не делают. — Он говорил без тени юмора, лицо его жестко хмурилось.— Дать всем по лопате, сразу бы выучились.

— Согласны поменяться со мной? — спросил Робино. — Вам хотелось бы учиться?

Шофер скривил рот.

— У меня голова не так устроена. Не для меня это. — И добавил со злостью: — Вы бы лучше остановили какую-нибудь «шестьсот-тройку»*.

Робино подумал: «Этот под стать матери». И сказал:

— Жизнь ни черта не стоит.

Боксерский нос стал поприветливей.

— Факт, ни понюха табаку.

Наконец-то они нашли общий язык. Мимо рысью бежали дорожные столбы, рожь и тени сосен. Робино думал о том, с каким упорством мать смаковала неприятности, даже те, которые придумывала сама. Например, что ее никто не ценит, все ее обижают. Она упивалась своей отверженностью и кричала:

— Ну, да вы скоро вздохнете с облегчением. Сведете меня в могилу.

Мысль о могиле всегда доводила ее до слез, потоки их бороздили карминные щеки, и Робино в свое время, перепуганный насмерть, скулил у нее на коленях.

Братья уже были другие. Едва она начнет — хлоп, они уже за сараем.

Мужчина за рулем хмурился, как Вельзевул.

---

* Имеется в виду одна из легковых автомашин чехословацкой марки.

— Жена у вас есть? — спросил его Робино.

— Все женщины — чудовища.

Версия матери гласила: все мужчины — чудовища. Все, кроме отца, а он назло ей умер.

Робино хорошо помнил отца. Тот любил пошутить и звал мать Анчи. Однажды он подарил ей на именины ежа с яблоком на иглах. Но самым значительным в нем было то, что он женился на матери. Робино считал, что это с его стороны подвиг.

Что заставило его жениться? Задавая себе этот вопрос, Робино уже думал не об отце, а о себе. Собственно, о Дануше. Он мог представить ее Офелией, нищенкой из оперы Брехта, только роль жены ей не подходила. Ворчать на детей, варить — для Дануши ли это? Из нее выйдет актриса, у ног корзины с цветами, дикие маки. Королевам к лицу пурпур.

На дороге возникло стадо коров. Шофер принялся ругаться, неистово трубил среди коровьих задов и флегматичных рогов.

— Скотина. Сволочь. Ослы.

Робино продолжил в тон ему:

— Твари. Верблюды. Христопродавцы.

Человек посмотрел на него подозрительно. Ругаться следует без удовольствия, с ожесточением. Наконец поток коров расступился, грузовик заворчал среди зеленых стволов кукурузы. Вдали выросли пики городских труб, и шофер затормозил:

— Мне в сторону.

— Большое вам спасибо. — Паренек спрыгнул. — Желаю счастья!

Из кабины донеслось что-то, может быть, «осел», а может быть, вежливое «спасибо». Взметнулась пыль, голубой нос машины пробивал себе путь в ароматах картофельного поля.

Робино глубоко вздохнул. Солнце мерцало над нивой, и мир был так великолепен, что Робино от одного этого почувствовал голод. Он опустился на межу, вытащил хлеб и сало, которые утащил у матери, и жадно вонзил зубы в горькую вдовью корку.

■

Второй шофер был похож на Фернанделя. Милое лошадиное лицо, зубы-лопаты. Ему во что бы то ни стало хотелось развлечься, но грузовик смешивал слова в кашу:

— Вчера, умбай, умбай, умбай, грк.

— Простите?

— Вчера, умбай, умбай, умбай.

— Ничего не слышно.

— Что?

— Не слышно!

Шофер вытер рот, обогнал цистерну с цементом и со смехом заметил:

— Если б вы, умбай, умбай, умбай.

Робино тупо кивнул. Было жарко, он вспотел. Его товарищи валялись теперь на пляже, подрабатывали в бригадах кроны или спускали родительские. Он им не завидовал. Человек за рулем что-то напевал по-испански или по-румынски:

— Карамба, ракия, умбай, умбай.

Робино высунул из кабины руку, в нее уперся ветер. Он не мог понять, почему мать так боится неопределенности. Ему было хорошо на прыгающем сиденье, с портфелем, где лежали плавки, запасная рубашка, хлеб и томик Шекспира. А в кармане сто двадцать крон из телевидения. Сто двадцать крон исключали неопределенность. Впереди простиралось шоссе, по шоссе бежали колеса. Повсюду были люди. В чем же

неопределенность? Это только мать придумала себе буку и дрожала перед ней, как ребенок в темном чулане. Ее вечно преследовали катастрофы: курица Фурманов похозяйничала в горохе, младший расшиб себе голову, поросенок не жрал. Он не сдох, но мог сдохнуть. Она страшилась любых перемен. Если бы она правила миром, люди за милую душу добывали бы огонь с помощью кремня и не было бы никаких путешествий. А если б и были, то только поезда с точным временем прибытия согласно расписанию. Робино подставил ветру лицо и блаженно прикрыл глаза. Мимо пробегали символы новой эры — красные строения и символы традиции — мальчишки-гусопасы и кладбища. Голосовые связки шофера мужественно противостояли рычанью мотора:

— Карамба, ракия, умбай, умбай.

■

Снова он стоял на шоссе. «Спартаки» с отпускниками мчались в Татры, он их не останавливал. Частники не берут. Автомобиль подменил собой исконную любовь к усадебке, домику, коровке. Автомобиль, ревнивый и балованный, требует услуг, тиранит, диктует образ жизни. Подобрать чужака — значит, увеличить груз. Мотор срабатывается, жрет больше бензина, шины снашиваются.

Он ехал на пятитонке, на грузовике, на чихающем тракторе. И снова пятитонка, пахнущая ванилью и медовыми пряниками. Она возила продукты в гастроном. Шофер сосал карамельку и задал первый вопрос из анкеты благодушных водителей:

— Куда?

Анкета была неизменной, как милицейский бланк, и парню наскучило твердить одну и ту же ложь.

— К зазнобе, — ответил он.

— Ну! Не сказал бы.

— Почему?

— Вы же еще мальчуган. — Он посмотрел на него взглядом, который Робино отлично знал. Так на него смотрели инспекторы, когда хотели представить себе первого ученика. И так глядели на него в училище, когда он зашел проститься. Не его вина, что у него такой вид, тихоней ведь он не был.

Мать отправила его в училище, когда ему исполнилось четырнадцать, не помогли и свидетельства учителя Дунаева о «примерном прилежании». Она верила только в конкретные вещи, хотела, чтобы он как можно скорей стал на ноги, приносил деньги. Деньги были первой и десятой заповедью ее веры. Помимо всего, слесарное дело всегда сулило многообещающее будущее.

Робино ничего не имел против слесарного дела. Ему мешала только определенность: свидетельство об окончании, работа, деньги, служба в армии и где-то в перспективе солидная невеста по выбору матери. Жизнь, в которой все наперед точно расписано рукой, заботящейся только об его благе, была ему неудобна, словно сапоги с ярмарки. Тайком он подготовился на аттестат зрелости, а потом его приняли на режиссерский факультет. У матери причитания застряли в горле. Ее сын, ее самое послушное дитя — и бунт! Ее поразила даже не эта школа комедиантов. Неопределенность царила в мире, собственных детей не узнать. Одно она заявила с гранитной твердостью: «Из дома копейки не жди!»

Шофер угостил его карамелью, а Робино сказал:

— Внешность обманчива. Чехи говорят: «Внешний вид кого хошь перехитрит», знаете?

Шофер кивнул, восхищенный.

— Это верно. У нас был один, только крыльев ему не хватало. Святой, иначе его и не назовешь, а он возьми да и сопри вдруг у соседа копченый окорок из трубы. Прямо из трубы!

— Так ведь ему как раз только крыльев и не хватало!

Они засмеялись, шофер весело подмигнул:

— Какова она?

— Кто?

— Да эта ваша зазноба.

Робино на миг заколебался. Потом восстановил в памяти описание мельничихи из Гранады и соврал:

— Подходящая бабочка. Чернявая, в теле, — он сделал несколько движений, показывающих, где именно она в теле, и шофер зачмокал:

— Ой, ой!

— Она разливает вино в одном трактире за Кралёванами.

— В какой деревне?

— Чтобы я пустил козла в огород на мою капусту, да?

Шофер посмотрел на него с еще большим изумлением, потом сунул руку под сиденье и вытащил круглую жестяную коробку.

— Возьми-ка.

Там были похожие на облатки медовые пряники, посыпанные апельсинной корочкой.

— Боишься, как бы кто-нибудь ее у тебя не того, пока тебя нет?— Обращение на «ты» было своего рода повышением в ранг стоящего парня.

Робино с полным ртом пробормотал:

— Это добро незачем брать с собой.

Шофер восхищенно перевел дух, похлопал его и насыпал ему пряников в дождевик.

— Забавный ты парень. У меня тоже раз была трактирщица, в Моравии.

Позади засигналил «седан». Шофер вывел машину на самую середину шоссе и выпустил полную струю отработанного газа прямо в нос собственнику.

— Сигналь себе, сигналь... Ну и зазнобушка была, скажу я тебе, пальчики оближешь... Прямо как моравские пончики с вареньем.

«Седан» заскулил, огорченно обнюхивая зад пятитонки то с одной, то с другой стороны. Клаксон тявкал, но водитель грузовика невозмутимо держался середины шоссе.

— Когда она несла поднос с пивом, в ней все играло. Как у кобылок в цирке. Шикарный номер.

Приближался поворот, «седан» вознамерился хитро проскочить сбоку. Шофер степенно сунул в рот еще одну карамельку и круто повернул руль, чудом не столкнув соперника в придорожную канаву. Робино казалось, что он слышит зубовный скрежет у себя за спиной.

— Золотые руки. Повариха, достойная царского двора. Так, как она, никто не зажарит гуся. Ее гусь — это же поэма. Туда полреспублики хаживало.

— На гуся или к трактирщице?

— И за тем, и за другим. Вот где готовили! Печенка по-домашнему, буженина — что масло. А рубленые котлеты! Не из отходов, из чистого мяса, наверху шкварочки, кудрявая петрушечка — не налюбуешься. Для меня всегда была порция с баранью ногу.

— А моя из Кралёван, — вдохновенно сочинял Робино, — мастерица на индейку. Прибавить для вкуса можжевеловых ягод, майоран, чеснок и хорошо посолить...

«Седан» истерично выл, в зеркальце они видели лицо его водителя, красное, как петушиный гребень.

Шофер гастронома снизил скорость до двадцати пяти километров. Рядышком тащились пыльные столбики, обвитые мышиным горошком, в цветах гудели пчелы. Робино напряженно ждал, когда водитель «седана» выскочит и прибежит разбить им головы. При скорости, с которой они заставили его двигаться, он легко мог это сделать.

— Я пойду на смерть за копченый окорок. Или свинину с капустой,— шофер причмокнул и проглотил карамельку. — Или холодное мясо, кусок хлеба и хрен.

— Вареники со сливами тоже неплохо. Посыпать творожком...

— Э-э, я специалист по мясу. Кусочек подшейка, заяц в сметане, черт возьми! Залезь-ка в боковой карман, у меня там кусок рубца.

Он повернул машину к краю, остановился. «Седан» промчался мимо, как ужаленный, только мелькнул в окне поднятый кулак и пронеслись проклятия, от которых почернел бы козел.

— Сверни себе шею, — добродушно пожелал шофер из врожденного антагонизма водителей грузовиков к владельцам легковых автомобилей. Потом он развернул бумагу и честно разделил рубец поровну.

Кушанье пахло кореньями, волосатые складки рубца мерзко хрустели на зубах, Робино твердил про себя пословицу о дареном коне. Чтобы сдобрить завтрак, они заедали рубец булочками и сказочными виденьями ветчины, мяса на вертеле по-цыгански и сладостных женских прелестей.

— Я люблю блондинок, — сказал шофер. — Но только таких, у которых есть за что ущипнуть.

На пшеничном поле одуряюще стрекотали цикады, дорожная пыль оседала на рубце.

— А я брюнеток, — сказал Робино, чтобы был предлог для дискуссии. — Они, дружище, страсть горячи. — И он вспомнил Данушу.

Цвет ее волос напоминал посеревший весенний снежок. Ребята сперва не обращали на нее внимания. Она была незаметна на фоне красивых актрис, но только до тех пор, пока не заговорит. Робино впервые увидел ее на школьной сцене, среди занавесей, изъеденных молью. Она изображала девушку, которая страшно торопится, а поезд все не идет и не идет. Другие как-то по-школьному заикались, а от нее веяло таким неподдельным беспокойством, что молодой рабочий сцены, на обязанности которого было давать занавес, то и дело смотрел на часы и за кулисы, откуда должен был появиться паровоз; когда она изображала маркизу, то от кружева ее видавшего виды костюма исходил аромат лаванды и эпохи Моцарта; рядом с ее сибирячкой замерзали чернила в авторучке.

На первый взгляд она была маленького роста, с воробьиными волосами, но мало кто это замечал. По желанию, она могла стать высокой или толстой, графиней или комсомолкой, ей ничего не стоило изобразить и эту чертову мельничиху из Гранады или Кралёван.

Шофер смолол в своих челюстях последний кусочек и жестом фокусника извлек откуда-то бутылку минеральной воды.

— Пиво продрало бы получше, но в такую жару оно ударит в голову.

Робино ударила в голову и минеральная вода. На него опьяняюще действовали мотор, поле клевера, солнце, шофер, существование Дануши где-то в Медзилаборцах, рубец. Ему хотелось закричать: «Эге-гей!» — но он только воспитанно вытер пальцы бумагой, а потом вместе со шкурками швырнул ее в межу полевым мышам.

— Женщины — это мед,— вытянулся во весь рост шофер и открыл новый пакетик с карамелью.— До тех пор, пока не заморочат человека окончательно.

■

Они ворвались в деревню, цыплята и ребятишки бросились врассыпную. Магазин был закрыт. На луковицеобразной башне пробило два.

— Где моя хозяюшка? Моя курочка? — напустился шофер на какую-то беззубую бабку. Та показала кривым пальцем куда-то вдоль улицы.

Они увидели заведующую на гумне за варкой повидла. Поспел ренклод, над избами стояли медовые пары и тучи ос.

— Сейчас, Феринко, сейчас, вы очень торопитесь?

Феринко галантно оскалил облепленные карамелью зубы.

— Возле вас, душенька, хоть до судного дня.

Она захлопотала, как квочка, и положила им в тарелку янтарного месива.

— Отведайте!

Шофер облизнулся со знанием дела:

— Из ваших ручек все сладко. Жаль, что мы не познакомились с вами раньше. Я бы не был такой тощий.

У нее из горла вырвался клохчущий смех, она без стеснения ткнула его в живот.

— А это? Сало из вас так и течет.

— Это не сало, душенька вы моя. Одна вода. Это затаенные слезы, которые я по вас лью.

— Ой, ну не потешный ли? — Она метнула в сторону Робино быстрый взгляд.— Вам дали напарника?

— Это я сам себе его взял. Он слесарь. Будет чинить мне колодец.

— Слесарь! — она заломила руки, будто увидела медведя или архангела.— Уже два месяца, как у нас сломалась соломорезка, а наш старик никак не может найти, кто бы починил. Голубчик, вы ведь взглянете на нее, правда?

— У меня нет с собой инструментов,— Робино смущенно посмотрел на шофера.

— Для моей разлюбезной все найдется.

— Только взглянуть,— умоляла она, и Робино подумал, что мать кое в чем была права: «Слесарное дело — золотое дно». Стала бы заведующая суетиться вокруг него, если б узнала, что он учится режиссуре?

Феринко вытащил ящик с инструментом, и заведующая повела их в сарай, где накрытая парусиной, словно мертвец, покоилась соломорезка.

— Такая хорошая машина, двадцать лет монтер ее не касался, и вдруг стала.

Робино провел пальцем по пыли, покрывавшей машину:

— Ладно, попробуем ее на зуб.

Женщина исчезла, но тотчас же появилась снова с домашней колбасой, нарезанной большими кусками, с хлебом, белым, как женская ладонь, и бутылкой черного пива.

Феринко с головой ушел в содержимое тарелки.

— Вот это ягодки по моему вкусу, ей-ей! — Куски колбасы исчезали в нем, как в колодце, женщина суетливо, по-куриному трясла юбками. Потом они ушли выгружать продукты. Робино остался один. Из углов несло горячими запахами мякины, возле бревен копошилось нечто живое. Он чувствовал себя неспокойно. Посмотрел на соломорезку, потом себе на руки. За два года театральной школы они стали мягче, изуродованные ногти очистились и округлились. Он осторожно потрогал машину:

— Ну, так что же у тебя болит?

— Ох, сынок!

Робино вздрогнул, как от укуса собаки. За его спиной вдруг появилась старуха. Вся ее фигура состояла из живота. Только наверху,

словно засохший бутон, торчала головка с моргающими глазками-слезками.

— Тут вот у меня все хрипит да ноет, хвороба проклятая. Только смерти нет и нет.

— Зачем же вам умирать? — сказал он неуверенно.

— Так ведь нету мне помощи,— ответила она обиженно и села на колоду. Только сейчас обнаружилось, что у нее есть и ноги, целиком ушедшие в войлочные башмаки.

— Теперь, по-моему, каждому найдется лекарство. Доктора много знают.

Бабка совсем осерчала.

— Нету мне помощи,— повторила она, и Робино вспомнил мать, точно так же говорившую о своем желчном пузыре. Как будто болезнь была знаком отличия, и чем тяжелее, тем более почетным.— Из больницы отправили меня домой. Доктора. Вся-то болезнь у меня из-за камня, он и колет, моченьки нет. Пресвятая дева, собирались его вырезать, но не могут. Вся душа у меня в него ушла.

Робино взглядом коснулся ее вздутого живота. Его очень интересовало, где там помещается душа. По-видимому, в желудке, потому что бабка благоговейно мяла его и рассеянно обращалась к кукурузе, развешанной под крышей:

— Хоть бы уж мне помереть, хоть бы уж конец пришел!

Робино включил мотор, тот заработал вхолостую. Он вытащил из ящичка французский ключ и принялся за гайки, на руках остались масляные пятна.

— Помереть,— сказал он, красный от натуги,— мы всегда успеем. А потом что? — И, злодейски прищурив один глаз, процитировал Гамлета: «Умереть, уснуть. Уснуть! И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность: какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум...»

Он снял крышку, постучал молотком.

— Это неизвестно. Умереть — ничто. А только что за смертью?

Бабка вскочила с невероятной быстротой и, полная жизни, заорала:

— Мне — царство небесное, а тебе — смола в преисподней! Я уж знаю, провалиться мне на этом месте, ты — адово отродье! — И исчезла.

Робино прыснул. Повеселевший, он стучал по мотору, из утробы которого так и сыпались перепуганные поколения пауков.

Снаружи квохтала заведующая, Феринко обольстительно смеялся, мякина благоухала красным летом. Робино нажал рычаг. Мотор заработал, соломорезка защелкала зубами. Он вытер испачканные маслом руки и крикнул во двор:

— Готово!

■

Порожняя пятитонка по-мальчишечьи подпрыгивала на ухабистой дороге. С гор опускались полосы сумерек, укладывались, словно живые зверята, в овсах и холодным дыханием окрашивали их в лиловые тона.

Робино гладил живот, набитый колбасой, ощутил в кармане приятное тепло двадцатипятикроновой бумажки. Что сказали бы об этом в школе? Если б узнали, что он бродяжничает и подрабатывает халтурой? Он засмеялся, а Феринко понимающе подмигнул ему:

— С женщинами надо уметь.

Минуты не прошло, как он доел копченый окорок, а рот его опять был занят карамелью, и от него снова запахло леденцами, как от кондитерской фабрики.

— С женщинами надо уметь.

■

Ворота были открыты, и они вошли в маленький дворик.

На крыльце сидели два полуголых карапуза с круглыми птичьими глазенками.

Из хлева вышла женщина в городском платье, которое полоскалось у пяток, словно рубашка. Она посмотрела в лицо мужу, Робино и снова мужу, как будто хотела их сглазить или проверить, не пахнет ли спиртным. У нее было худое лицо Викторки из пьесы «Бабушкина плотина».

— Это приятель, слесарь. Завтра он починит тебе колодец,— сказал Феринко и весь как-то сник.

Женщина взяла на руки малыша:

— Входите!

В кухне вспыхнул желтый свет. Там было чисто, стояла новая мебель. В углу улыбалась фарфоровой улыбкой дева Мария, окруженная ночными фиалками. Женщина посадила девочку на лавку, мальчик вскарабкался сам и устроился рядышком. Они неподвижным взглядом уставились в лицо Робино.

— Пойдем умоемся,— сказал Феринко и взял полотенце, расшитое розами.— Придется идти к соседям. Вот нелепость.

Тьма была жаркой, как тулуп разбойника. В крапиве мяукал кот, гармонь по местному радио вторила ему. Робино качал воду, и шофер долго плескался под черной струей. Над головой у них выскочили звезды, у Робино начала кружиться голова. От Млечного Пути или из хлева пахло молоком.

— Ох-хо-хо,— вздыхал Феринко, кроткий и молчаливый. Это «ох-хо-хо» было красноречивей любых объяснений.

Когда они пришли обратно, на столе стояли тарелки с мешаниной, которая в народе неспроста носит грозное имя «гренадермарш».

Женщина смотрела на них, стоя у плиты, дети гудели, как пчелки, Феринко бросил взгляд на фарфоровую Марию и покорно принялся за картошку, облепленную лапшой.

■

Робино постелили на тахте в парадной комнате. Впрочем, она называлась уже не парадной, а по-городскому — жилой. Мебель у них была ореховая, включая секретер, на котором сиял символ подлинного благосостояния — большой розовый попугай.

Дамастовые наволочки сухо и приятно шуршали под головой. Робино вспомнил мать, которая никогда не спала на чужой постели, и пожалел ее. Потом представил себе Данушу. Вечером он всегда представлял себе ее, королеву рождественского бала, в белом платье из дешевой тафты по четырнадцать крон за метр. Она шила его вместе с подружками в общежитии, у корсажа прикололи красные маки. Дешевенькая блестящая тафта, из-под нее выглядывали черные лодочки с тоненькими ободранными каблучками, и все же она была королева, и ребята готовы были на все ради нее. Девчатам поперек горла стала зависть. Они толпились у стойки, продавали фруктовую воду и вино дядюшки какого-то третьекурсника из Рачи и шептались за фужерами:

— И что они в ней нашли?

Дануша-королева переходила из одних объятий в другие. Он танцевал с ней «Императорский вальс». Потом в коридоре она позволила ему поцеловать ее руку. Собственно, даже перчатку. У ней были перчатки по локоть, позаимствованные у двоюродной сестры, которая сама зарабатывала. И он поцеловал эту перчатку, пахнущую одеколоном и ветчиной, и у него закружилась голова. Должно быть, от рачанского.

Робино повернулся на другой бок, дамаст слабо захрустел. Всякий раз, как он вспоминал об этом, у него снова кружилась голова, хотя он пил только чистую колодезную воду. В спальне тяжко вздыхал Феринко. Его странная жена шлепала босыми ногами по кухне, над деревней вкрадчиво светили звезды. Робино видел их в окно и вдыхал тишину, которую прорезал агрессивный блеск розового глаза фарфорового попугая.

■

Удовольствие, которое доставила ему работа ранним утром, сделало более аппетитной лапшу с маком. Колодец был изъеден ржавчиной, от обшивки и следа не осталось, поршни пришли в негодность. Рядом с Робино сидели на траве оба карапуза, уставившись ему в лицо совиными глазами. Феринко умчался, его босоногая жена суетилась в доме, хлопая длинной юбкой. Она принесла тарелку лапши с маком и убежала, как будто стыдясь чего-то. Когда она бежала, Робино заметил у ней синяк на лодыжке. Точно такой же красовался и выше локтя, на шее — царапины.

«Видимо, он ее бьет,— подумал Робино.— Добродушный Феринко, любитель копченого окорока и женщин».

Он трудился над поршнем, синяки не выходили у него из головы. Малышка наконец осмелела, сделала два шага и потрогала его, как будто хотела узнать, из мяса он или из миндального теста.

— Хочешь? — предложил он ей лапшу.

— А у меня есть красивая Аничка!

— Покажи.

Она убежала в сад и принялась что-то искать в горохе. Мальчик продолжал сидеть не шевелясь. Робино вернулся к поршню, как вдруг над забором вынырнула круглая голова в чепце.

— Бопомощь!

— Спасибодоброслове,— вежливо ответил он.

— У меня пресс сломался,— сообщила она.

— Случается.

— Коли почините, дам вам парочку яиц.

— Не выйдет, я здесь ненадолго, в гости.

— Свеженькие, желтки с яблоко.

— Рад бы, но...

— А может, лучше сало?

— Говорю вам...

— Ну, раз так не хотите, я заплачу. Уж как-нибудь столкуемся.

Робино вздохнул, женщина подняла две планки и пролезла через щель во двор.

— Я вижу, тут все проржавело.

— Да.

— Надо новые покупать. Вот эти. Или нет? Автобус уходит в одиннадцать, до этого вы пять раз успеете взглянуть на мой пресс. Сало-то домашнее. Тает во рту, как масло.

Громкоговоритель местного радиоузла закашлял, кто-то постучал по микрофону, и старческий надтреснутый голос с трнавским выговором объявил:

— Граждане и гражданки! Требуется пять женщин на овощи. Бросьте стряпню и давайте к нам! А то у нас может все погореть. Повторяю: граждане и гражданки, немедля идите к местному совету...

— Вот видите,— укоризненно сказала женщина.— Я бы пошла, но пока вы здесь, не могу. Или мне притащить пресс сюда?

Робино знал эти натуры. Мать была той же породы, отказываться было бесполезно.

— Несите. Но я ничего вам не обещаю. Мне не приходилось чинить прессы.

Женщина сразу же стала любезной:

— Вы можете у нас пообедать. У меня дома дочка, тоже не из последних. Учится на медсестру, приехала домой на каникулы. И поговорить умеет, не то что эта, тряхнутая.

— Он бьет ее? — невольно полюбопытствовал Робино и покраснел.

— Может быть. Кто ж его знает! Да и каково жить с бабой, которая знай молчит? Будто запертый сундук. Никто не знает, что там внутри.

Прибежала девочка и протянула Робино маковый стебель, одетый в платьице.

— Ты принесла мне цветочек?

— Это Аничка!

— Видите, и у ребятишек-то здесь не в порядке,— женщина постучала пальцем по лбу.— Так я пойду за прессом,— и она снова протиснулась между планками наружу.

Робино высыпал спички из коробка и положил в него Аничку.

— Посмотри, она тут будет спать.

Ребенок посмотрел на Робино, точно на сказочного Иван-царевича. Мальчик выглянул из-за спины сестренки, и оба на цыпочках убежали. Робино вновь углубился в колодезное нутро.

Мать договорилась об устройстве его в бригаду на кирпичный завод. С той поры как она примирилась с его изменой слесарному делу, она уже гордилась его новым будущим. Сын у нее будет паном, в два счета заработает большие деньги, выплатит долг за дом, купит садик, а может, и новую свинью.

Работа в бригаде тоже предполагалась господская. Он должен был скрипеть пером в конторе у Виктора Крагульчика, который приходился ему крестным отцом и посулил шесть сотенных в месяц. По вечерам обязанностью Робино было поправить забор, вскопать виноградник и натаскивать по арифметике дочку бухгалтера местного совета. Вскоре дочка отпала, потому что от отца она унаследовала только рябой нос. А ведь от этих уроков тоже могло кое-что перепасть, на худой конец, не лишнее иметь хорошие отношения с народной властью. Случись нужда поставить новый хлевушок, кто поможет с разрешением?

В конторе Робино было бы неплохо, да и матери пригодились бы шесть сотенных. Она продумала все до деталей. А он сказал «нет». Чтобы не слышать ее криков, он скрылся в убежище братьев за сараем, где помещалось жилье кошки.

Мать причитала: «Если б, по крайней мере, что-нибудь верное. Какая-нибудь работа или отдых, а то как последний бродяга с клюкой по шоссе. От неустроенности к неустроенности...».

Робино вытер со лба пот, который приманивал золотистоголовых мух. Перед ним лежал обнаженный поршень с ржавыми коленами. Два года он учился и два года забывал, но ему казалось, что процесс забывания длится дольше. Он осторожно трогал трубки, пальцам недоставало былой уверенности в обращении с металлом.

Феринкова жена несла ему кружку молока, следом за ней семенил старикан в сапожищах с дом.

— До меня дошли слухи, что к нам наведался мастер,— сказал он, и Робино узнал голос из громкоговорителя.

— Всего лишь слабый ученик, какой там мастер.

— Моя фамилия Юричка. Из кооператива. Я пришел просить вас починить нам косилку. Заедает что-то.

Робино засмеялся. Деревенский беспроволочный телеграф работал безукоризненно. Обескураженный Юричка истолковал его смех по-своему:

— Правда, заплатить мы не сможем, у нас нет фонда для частников. Но я вижу, что вы человек молодой, наверняка с радостью поможете общественному хозяйству. Раньше к нам ходил механик МТС, но он женился и уехал к чертям на кулички, за Кошице, и как раз теперь, когда у нас косовица, у него родилась дочка.

Над забором вынырнул чепец:

— Только после меня, Юричка, я пришла раньше! Всюду эти трнавчане суют свой нос.

— Идите-ка лучше на капусту. Частному сектору во вторую очередь.— Он авторитетно кивнул, сапожища его затопали.

Робино вытер руки о старый Феринков комбинезон и позволил себя увести. По улице их сопровождала стая ребятишек, женщины здоровались с ним, как будто он прожил здесь двадцать лет. Он подумал о матери: «Неустроенность? Где?».

■

По кооперативному двору, среди культиваторов и луж навозной жижи, прогуливались павлины. Они сверкали глазками хвостов и мельтешили перед серенькими самочками, которые презрительно показывали им спины, словно трудящиеся женщины пустым франтам.

Дед повел Робино к зданию, обвитому диким виноградом. Они заглянули в окно, где под оленьими рогами сидел рыжий толстяк и щелкал костяшками счетов.

— Я его уже привел! — крикнул Юричка басом старого служаки-ротмистра.

— Идите прямо в мастерскую. Я подойду потом.

— Наш председатель,— прошипел старик и зашагал по-строевому с левой.

Над зданием мастерской раскинуло веерообразную листву тропическое дерево, в гроздьях красных цветов гудели пчелиные орга́ны. За мастерской простирался парк, засаженный серебристыми елями, диким каштаном и развевающимися на ветру пеленками. Их вывешивало босоногое создание с бронзовыми плечами и ногами.

Юричка подкрутил несуществующий ус, втянул в себя живот и молодецки поздоровался с девушкой. Робино улыбнулся, но старик втолкнул его в помещение:

— За работу, парень, за работу!

■

Он лежал под машиной, в рот ему стекали капельки пота с жирным привкусом колесной мази. Вошел председатель, голова у него светилась в три солнца, но круглое лицо было строгим:

— Вы тот самый любитель? Ну как? Пойдет?

— Думаю, пойдет.— Робино высунул голову из-под ножей и принял вид смущенного подмастерья.

Председатель смотрел ему на руки. Помолчали. Через крышу сюда проникали горячие пальцы солнца, в них дрожала пыль. Она щипала в носу, Робино дважды чихнул. Где-то на башне отбивало двенадцать.

— Выходите, пойдем поедим!

— Вы же еще не знаете, заработаю ли я обед.

— Да и одной доброй воли достаточно.

Робино вылез и отряхнул сухой куриный помет, приставший к комбинезону. Он старательно разыгрывал роль заправского слесаря.

Председатель остановился в дверях и смотрел на группу стариков, возвращавшихся с поля. Бабки молодцевато несли мотыги на плечах, старики опирались на ручки мотыг.

Старик, похожий на комара, вел лошадь, а та всхрапывала.

— Что поделаешь, раз молодежь бежит из кооператива? — сказал председатель в ответ на немой вопрос Робино и посмотрел ему в лицо:— Ведь и вы не слесарите.

Робино поперхнулся:

— Откуда вы знаете?

— У меня глаза есть.

— И очень зоркие! — Он смущенно добавил: — Я был слесарем. Теперь учусь.

— Вот видите!

Колонна ветеранов поравнялась с двором, и рыжий крикнул:

— Ну так как, девчата, сколько успели?

— До ручья!

— Хорошо, девушки. Я за это завтра с каждой потанцую.

«Девушки» оттерли Робино, окружили председателя и скалили на него щербатые зубы.

За слесарем увязался дедок с фарфоровой трубкой в зубах и голубиным голоском заворковал:

— Он с ними умеет. Дипломат. И хорошо делает, потому что, дорогой товарищ, пришло время женщин. Как в каменную эпоху, или как там, если вы изучали книги. Придешь в магазин — женщина. В учреждение — женщина, к врачу — женщина, в поле — под каждым вилком женщина. Даже в парикмахерские пробрались. Спокойно садишься в кресло, не успеешь оглянуться, а она уже с бритвой у горла. Потом пой, петя-петушок! Уж и на мое ремесло точат зубы.

— Какое ремесло?

— Церковный служка я, прошу покорно,— он запыхтел трубкой и продолжал: — Развели лесть и сплетни, человек по важному делу к нему и не пробьется.— Он кивнул в сторону председателя.— Но если б не они, его на второй срок, может, и не выбрали бы.

— Почему не выбрали бы?

— Потому что мужчины — реалисты, известное дело. А женщины падки на сладкое, особенно на цветистое. Они ему и павлинов простили.

Старикан сплюнул коричневую слюну и доверительно склонился голубиной головкой:

— Наш председатель, известное дело,— экспериментатор. Он развел петухов инванковской породы — таких хохлатых, в папахах, как казаки,— пинцгаузских коров, потому что он любит все красивое. Потому и клубники насадил. У каждой на карточке название: «Королева Луиза», «Принц Юлий Эрнест», «Мадам Муто». «Мадам» — значит женщина, известное дело. Всякие там чачки-мачки. «Принц» и «королева», аристократы, в наши-то дни! Если вы изучали книги, то это называется «поэтичная натура», из-за нее он и павлинов сюда натащил. Доходная, мол, птица, но он-то их притащил — ни для кого же не секрет — за их проклятые перья. Влечет его мирская суета, вот и женщины с ним заодно.

— Хозяйство, выходит, дохода не дает?

Дед погладил трубку:

— Сказать правду, доход оно приносит. Даже с этими чертями.

Выхоленный павлин, как будто его звали, взлетел на сарай и запел голосом, с которым мог бы соперничать разве что сыч.

— Он притащил пару, теперь их уже полтора десятка, и никому они не нужны. Дармоеды. Только каркают да каркают, должно быть, в них сидит сам Люцифер. Уж лучше б гусей купили.

— А у вас, собственно, что общего с кооперативом?

— У меня? Я в нем, прошу покорно, работаю.

Робино недоверчиво посмотрел на него.

— Кооперативный пономарь?

— Пчеловод, дорогой товарищ, пчеловод. У нас пятьдесят семей. Церкви мало-помалу придет аминь. В кои веки служба, иной раз свадьба, а на звонницу посадили какого-то недотепу. Он и при крестинах прислуживает. Вот так обстоит дело.

Кольцо женщин около председателя тем временем раздалось, пономарь пробрался к нему и голубиным голоском попросил телегу. Надо перевезти ульи к клеверу.

■

Павлины лениво уступали дорогу косилке, уверенные, что никто не посягнет на их великолепие. Солнце вспыхивало у них на хвостах зелеными и синими огоньками. Агроном сказал:

— Пойдет дело. Завтра можем косить.— Это был сгорбленный человек с тоскливо повисшим над скобкой губ носом, похожим на нарост у индюка на клюве. Робино определил было по этому признаку, что он пьет, но деревенская служба информации доложила ему, что синий нос — это фамильная черта, а тоскливое выражение — неподдельная печаль по жене. Она умерла несколько лет назад, другой на его месте уже давно бы чертил хвостом за юбками, но агроном постоянно в черном и каждое воскресенье ходит с цветами на могилу жены.

Робино вспомнил мать. Она тоже, с тех пор как схоронили отца, каждое воскресенье собирается на кладбище, в черном траурном платье с плюшевым воротником. С мученической истовостью поливает анютины глазки и предается самолюбованию. Горький вдовий хлеб. Дорога с кладбища уже легче. Мать останавливается со знакомыми, обходит заросшие могилы тех, о ком забывают неблагодарные ныне здравствующие. Она не забудет вовек, что бы ни случилось. Она всегда урвет минуту для покойного или пятак на свечку.

Косилка победоносно завершила свой путь у самого двора, и агроном сказал:

— Говорят, вы студент?

Робино пробовал извернуться как-нибудь, но ничего не вышло.

— Студент и слесарь.

— А что вы изучаете?

— Театр.

Тоскливый нос насторожился.

— Будете актером, да?

— Режиссером. Знаете, этот, кто...

— Вы думаете, я не знаю? Я и сам игрывал. Но это уже быльем поросло. Тогда мы давали представления еще в корчме. Зал был в шестьдесят квадратных метров, сцену мы сколотили из досок. А теперь у нас прекрасный дом культуры, и никто не играет.

— Почему?

Агроном пожал плечами.

— Молодежь вымерла, что ли?

— Эта?.. Футбол еще куда ни шло...

Они установили косилку под навес, лепестки красных цветов опадали им за шиворот и одуряюще благоухали.

— Знаете что? — Агроном выпрямился, даже кости хрустнули.— Заходите вечерком к нам на телевизор. Раз вы приобщились к театру, разопьем смородиновку. Такой вы еще не пили!

«Ну видишь, мама,— подумал Робино.— Я не пропаду на свете и как режиссер».

■

Когда он подошел к дому, у него было впечатление, что там ссорятся. Из окон, затененных изгородью вьющегося муската, рвался крик, но это был нормальный разговор. С агрономом жила его мать, замужняя дочь, незамужняя дочь и внучка в колыбели. Четыре женщины. Становилась понятной понурость его согбенных плеч.

Робино ввели в комнату, где на почетном месте красовался телевизор, перед ним были расставлены стулья, а для бабушки — кресло. Агроном радовался гостю, но молодым человеком уже завладели женщины. Шум, гром — и вот перед ним полная сковорода яичницы и гранатовый пурпур смородиновки. Это было гостеприимство от всего сердца, не то что у них дома. Он будто слышал свою мать: «До чего бы я дошла — угощать чужих. Мне тоже никто ничего не даст».

Робино осторожно спросил:

— Не надо ли вам починить что-нибудь?

— Починить? Почему вы спрашиваете об этом?

— Так просто.

Но они в самом деле угощали его бескорыстно.

Бабушка командовала:

— Девчата, еще соль, масло и перец! Может, они любят острое,— и она принялась сердечно потчевать Робино.

Она сидела напротив, обе младшие сели рядом и с любопытством, сосредоточенно наблюдали за тем, как он открывает рот, откусывает хлеб. Даже малышка в кровати на мгновение замолчала, высунула красную мордашку и уставилась на него выпуклыми глазками. Робино чувствовал себя как на торжественном приеме. У него слегка вспотели ладони. Мимо окон пастух гнал стадо, море коров мычало.

— Так вы, говорят, при театре? — спросила замужняя.— Может, вы знакомы с Дибарборой?

— Мы недавно видели пражский Национальный,— сказала бабушка, но незамужняя перебила ее:

— Я хотела бы хоть раз побывать на съемках фильма.

— Какие предметы проходят в театральной школе? — подал голос агроном из угла.

— Послушайте, а эту, такую маленькую блондинку, красивую такую, вы не знаете? Она еще играет в «Жестком дереве»...

— Ой, один там был хорош!

— А правда ли, что каждый актер имеет машину?

— Я однажды познакомился...— сделал вторую попытку агроном, но это было безнадежно. Внучка заплакала, женщины кричали, радио ревело «Песенку о хорошем настроении», где-то снаружи мычал отбившийся теленок, во дворе лаяла собака. Агроном схватил шапку: — Я загляну еще к председателю.

— Ох, уж этот мой сын,— сокрушалась бабушка,— минуту дома не посидит, праздник ли, будни ли, в жару или в мороз. Только и видим его, когда уходит утром.

Мордашка в кроватке исходила истошным криком.

— За кооператив он душу отдаст.

Робино это не удивляло.

Потом началась передача по телевизору. Все взоры прилепились к экрану, только внучка что-то бурчала, и бабушка терпеливо трясла ее,

как будто хотела сбить в масло. От обстановки в комнате веяло достатком, посредством экрана они общались с государственными деятелями, с Конго, с американскими избирателями, с передовиками труда. Робино подумал, что сейчас он столкнулся с явлением, которое было известно ему под газетным термином «расширяющийся кругозор простых граждан». Он невольно сделал попытку выразить это, но бабушка перебила его:

— Вы думаете, что в деревне люди глупы? Мы всегда знали, что к чему на белом свете. Мой покойный дед был дротаром*, так они зашли раз аж в ту страну, где с быками-то дерутся.

— В Испанию?

— Да, да. Отец бывал в Америке, муж сражался на Пьяве, один сын погиб в армии генерала Свободы**, второй работает меховщиком в самой Праге, только этот, средний, бедняга, сидит сиднем дома.

■

Он шел обратно мимо освещенных окон, тени парочек впереди него растворялись во тьме. Обрывки музыки из радиоприемников перемешивались с назойливой трелью сверчка. В голове шумело. Луна, красная, как аристократка-клубника, раскачивалась над лесенками телевизионных антенн. «Королева Луиза». Королева Дануша. Когда он станет рассказывать об этом путешествии, он сделает из него юмореску.

— Если вы изучали книги,— изобразил он пчеловода-пономаря и засмеялся про себя. Дануша будет смеяться. Когда она смеется, то становится похожей на школьницу, девочку, которая пасет гусей.

Робино растер в ладонях стебелек полыни и вдохнул ее горький аромат. Кто знает, как выглядят эти Медзилаборцы. В центре площадь, от нее расходятся улочки низких домиков, кое-где отмеченных следами войны. И откуда ни возьмись он увидит ее ситцевое платье.

«Как ты сюда попал?» — спросит она и зальется краской. «Да так. Путешествую в этих краях».

Пройдет мимо мороженщик в красной феске, и Робино спросит у нее: «Хочешь?» — и купит две большие порции. Приятный вкус клубники охладит рот.

Размечтавшись, он споткнулся о кочку и едва не вывихнул ногу. На кооперативном дворе прокричал во сне павлин. Робино отряхнул пыль с колен.

— В нем и правда сидит Люцифер, старик прав.

■

Суббота в недельном спектре отмечена белым цветом. Робино открыл глаза, наткнулся на стеклянный взгляд попугая и не спеша поднялся. Одевшись, он растворил окно навстречу петушиному кукареканью. В кухне Феринко хлебал молочный суп.

— Ешь, дружище,— печально пригласил он. Карапузы в рубашонках сидели у него на коленях.

— Я сегодня закончу ремонт и отправлюсь дальше,— сказал Робино.

— И не думай! Вечером пойдем вместе на танцы.

---

* Дротары — странствующие ремесленники из крестьян, занимавшиеся отхожим промыслом, в том числе и за границами старой Австро-Венгрии, в состав которой входила Словакия до 1918 г.

** Генерал Людвик Свобода возглавлял Чехословацкую армию, сформировавшуюся на территории Советского Союза для борьбы с гитлеровцами.

Неслышно, словно грозовое облако, перемещалась по дому его жена. Они черпали ложками сладкий суп с клейкими клецками и избегали смотреть в тот угол, где сидела она. На лавке лежало новое колено для колодца и кружки обивки. Шофер передал их Робино в объятья, будто букет невесте, и прошептал:

— Вечером в доме культуры закажем себе гуляш. Или петушиные гребешки. С перцем! — Потом приветственно помахал рукой, и перед домом затарахтел мотор его машины.

Робино вышел в белый субботний рассвет. Его ждали колодец, пресс и новые впечатления для медзилаборецкой юморески.

В доме тетки с прессом кружились в пляске бабочки и голубки.

Среди тюльпанов, яблочек, фантастических цветов, которые вышивальщицы зовут «розами», бисерными стежками прыгали желтые и красные птицы. Они карабкались по занавесям, по скатертям, по супружеским кроватям, широким, точно луг. Потому что тетка первым делом повела Робино в спальню. Отперла ее и с порога показала ему это буйство фантазии и высоко взбитых перин. Потом скинула шлепанцы и на цыпочках побежала по новому ковру, распахнула дверцы массивного шкафа. Там лежали, перевязанные лентами, наволочки и полотенца, отбеленные, накрахмаленные, пересыпанные нафталином.

— Все это получит моя девочка!

Медсестра «не из последних» доваривала на кухне обед. Мать торжественно представила ее:

— Вот это моя Маришка. Она учится в Жилине.

У Маришки были черные, как смоль, волосы и смелый вырез. Из обтянутого по-городскому платья выпирали здоровые деревенские формы. Она без смущения подала Робино руку и окинула его внимательным взглядом:

— Вы и есть тот знаменитый слесарь? Шикарно... Садитесь есть.

В супе плавала лапша, желтая, как канарейка. Блестки жира отражали смущенное лицо Робино. Хозяйка отхлебнула супу и приступила к расспросам:

— Слесарям теперь неплохо живется, верно ведь?

Слухи о его режиссуре сюда еще не докатились, но он все-таки ответил уклончиво:

— Теперь, я думаю, никто не жалуется.

— А вы откуда?

— Из Братиславы.

— Шофер родня вам?

— Нет, просто знакомый.

Это ее удовлетворило. Она подула на ложку и продолжала уже более доверительным тоном:

— Родители у вас живы? Кто был ваш отец? У вас свой дом? И сад есть? И поле? Сколько же вас детей? В армии уже отслужили? А позвольте спросить: вы протестант или католик?

— Я неверующий,— признался он, полагая, что у тетки пропадет интерес к нему.

— Теперь таких много,— ответила она спокойно и перешла к самому главному: — И сколько же вы зарабатываете в месяц?

— Тысячу триста,— выпалил Робино.

Лицо под чепчиком вытянулось:

— Вы еще молодой. Со временем будет лучше, у нас ребята зарабатывают до двух тысяч!

Медсестра убрала тарелки и пошла за вторым, а ее мать утешала Робино, точно он уже получил отказ:

— Не в обиду будь сказано, я желаю своей дочери только добра. Послала ее учиться, одела и еще всего накуплю. Когда я умру, дом то-

же ей останется. На нем ни копейки долга. Я ей не препятствую — пусть выберет, кого хочет. Если инженера какого — будет пани. А если ремесленника, так пускай, по крайней мере, приносит деньги, что вы на это скажете? Разве я не права?

— На тысячу процентов,— заверил ее Робино. С первых же слов было ясно, что ему по всей форме устроен экзамен на кандидата в женихи, хотя они с Маришкой не знакомы и не стремились познакомиться поближе. Но если бы он сдал экзамен в первом туре, наступила бы следующая фаза. В их деревне появилась бы неприметная женщина, обошла бы соседей и порасспросила бы, порядочная ли семья, нет ли в ней пьяниц, драчунов, нет ли у них долгов, внебрачных детей, падучей и прочих наследственных заболеваний. Только после этого мать Маришки навестила бы его мать, и Робино живо представил себе их встречу. Глубокое взаимопонимание этих двух осторожных женщин, которые желают своим детям только добра.

Он украдкой взглянул на девушку. Она элегантно, можно сказать, даже чересчур грациозно держала нож и вилку и отрезала малюсенькие кусочки. Она не перебивала мать, только по едва заметной гримасе можно было догадаться, что у нее совсем иные планы. Робино переводил взгляд с одной на другую, с головы в чепце на головку с новомодной жуково черной прической. Он вспомнил библейское «кровь от крови моей» и слегка ужаснулся. Неужели и мы будем такими же нетерпимыми к своим детям? Никогда, никогда, решил он со всем пылом, свойственным двадцатилетним, и проглотил последний кусок жареного кролика.

■

В конторе кооператива, бывшей столовой местного захудалого графа, висели оленьи рога, план территории с границами участков, плакат о вреде медведки зеленой, голова дикого кабана, старые телеграммы-молнии и в углу карта Словакии. Робино пальцем измерял по ней расстояние Пухов — Медзилаборцы. За столом председатель отстукивал благодарность:

— Заплатить мы вам не можем, но я дам вам вот это.

В благодарственной бумаге говорилось, что свезак * Липка, по имени Роберт, помог строительству социализма починкой косилки в сельскохозяйственном кооперативе Старый Двор, чем предупредил осыпание семян фуражных трав и ненужные потери, за что ему настоящим выносится благодарность, и так далее и так далее. Председатель старательно печатал на машинке, морщил лоб, потому что суббота — это белый день только для тех, кто получает в свое распоряжение послеполуденное время. Для председателя это черный день. День шуток, сводок в район и регулярных скандалов с женой.

Робино измерял карту, за три дня он прошел едва лишь четверть пути, но у него впереди еще целый месяц. А благодарность он покажет в школе. Это была мысль, достойная матери, и поэтому он немедленно от нее отказался.

У него впереди еще месяц, длинная дорога, оканчивающаяся кружочком Медзилаборец, встреча с Данушей. Он рисовал себе улицу, раскаленную добела, где он, откуда ни возьмись, увидит ее в ситцевом платье, или еще лучше — он придет во время ночной грозы и постучит в дверь, как в «Риголетто» или в драмах Шиллера. Она откроет, босая, в голубоватом свете узнает его и побледнеет. Не говоря ни слова, возьмет его за руку, поведет по деревянной лестнице, которая будет скрипеть и пахнуть сухим ельником.

* Член Чехословацкого союза молодежи.

У него была целая коллекция подобных картин, одна избитее другой, да и у кого любовные грезы были умными?

Председатель подышал на печать и протянул Робино бумагу:

— Еще раз, товарищ, благодарю тебя от лица всего кооператива. Не хочешь ли выпить пива?

Они вышли в прозрачную теплынь, томительную и раздражающую. Тучи пыли закрыли солнце.

— К дождю дело,— сказал председатель. Его рыжая голова пылала, хоть прикуривай от нее сигарету.

Мужская половина деревни высыпала из пуховского автобуса, на углу поджидала дочка обладательницы пресса, желтая блузка откровенно обтягивала затянутую грудь.

— Товарищ слесарь,— позвала она, и председатель улыбнулся.

— Ловкий ты парень. Наплюй ты на учебу и оставайся у нас. Устроим тебе кооперативную свадьбу. Скоро мы начнем строить типовые домики.

Робино состроил одну из своих испытанных гримас:

— Посмотрим...

Председатель удалился покачивающейся походкой, а медсестра подала слесарю сверток.

— Мама вам послала. Почта еще открыта.

Она смерила его внимательным взглядом, словно жалея, что он недостаточно высок. Голова Робино была чуть выше желтых пик ее груди.

Робино взял вознаграждение. Вместо яиц или сала они сошлись на пяти килограммах ячменя. Медсестра шагала рядом с ним и исподволь посматривала на окна, из которых за ними наблюдали невидимые глаза. Мужчины, едва сойдя с автобуса, переодевались в своих ореховых гостиных из рабочей шкуры в деревенские сермяги. Их поджидала рубка дров и белые морды коров за гумнами. Холостые парни уже отказались от этой метаморфозы. Они стояли в воротах в рубашках огненных расцветок и поглядывали, навострив уши, в сторону костела, где ревела «Ява» без глушителя. Из громкоговорителя доносился солдатский бас старого Юрички:

— Граждане! Я обращаюсь к тем, кто как раз вернулся в родную деревню,— придите помочь нам с силосом! Нам каждая минута дорога. Мы будем ждать вас у склада с инструментом. Повторяю: все здоровые мужчины, приходите немедля к складу, пойдем бригадами силосовать!

— Тоска зеленая,— сказала Маришка и окинула ледяным взором подростка, который закричал:

— У Маришки новый кавале-е-р!

Девица на почте, выцветшая, как старая почтовая марка, пожертвовала Робино конверт. Он сунул в него сотню из телевидения, потому что мать могла утешиться только деньгами. На клочке бумаги он написал:

«У меня все благополучно. Посылаю несколько крон и зерно для поросенка. Надеюсь, что ему хорошо, как и вам всем. Будьте здоровы. Робино».

Медсестра подсматривала из-за плеча, и глаза ее, уже познавшие грех, засмеялись:

— А вы, однако, порядочный нахал.

— Нахал?

— Разве так пишут маме?

— Ага. Я бы должен объяснить вам это.

— Объясните мне это сегодня на танцах. А то у нас и так мало парней.

Почтовая девица негодующе спрятала нос за окошечко. На улице трубила машина.

— Это, должно быть, Феринко. Бежим!

Они выбежали на улицу и вскочили на подножку. Девушка касалась его коленом. Оно было горячее.

— Вы завтра уезжаете? Жаль.— Она зевнула.— Здесь так мало развлечений.— Глаза у нее по-кошачьи блестели, и в Робино просыпалось озорство. Машина въехала во двор, и девушка спрыгнула раньше, чем он успел что-нибудь сказать.

Феринко стрельнул в нее взглядом и причмокнул:

— Недурна, а?

У отремонтированного поршня они наткнулись на его жену, и хорошее настроение у него как рукой сняло. Она подошла ближе и всмотрелась, точно хотела их сглазить или проверить, не пахнет ли спиртным. Феринко ушел за кабину и оттуда сдавленным голосом спросил:

— Что ты мне настряпала вкусненького? Суббота — наполовину праздник и...

— Шарлотку.

Он в отчаянии хлопнул дверцей и понуро побрел за женой. Робино последовал за ними.

■

Танцы были в доме культуры.

Мимо репродукции «Ручьев» художника Вотрубы лилась потоком принарядившаяся деревня. Прилизанные дядюшки в выходных двубортных костюмах деревянно здоровались — им давили туго накрахмаленные воротнички. Девушки, согласно моде, шуршали силоном, выставляли себя напоказ жадным взорам мужчин и желчным замечаниям старосветских кумушек.

Робино двигался в этом потоке, испытывая чувство благодарности к Феринко. Готовясь к вечеру, они побрились, по-братски пользуясь одной мисочкой; карапузы восторженно взирали на их намыленные щеки.

— А теперь давай наденем парадные костюмы.

У Робино весь «парад» составляла запасная рубашка в зеленую клетку. Он надел ее со спокойной совестью и удовлетворенно оглядел себя в стекло секретера.

— Вполне приятный молодой человек. Не находишь? — спросил он попугая. Тот блеснул фарфоровым глазом. — Положительно недурен!

Феринко отнесся к этому иначе:

— В таком виде ты не можешь пойти!

— Почему?

— В клетчатой рубахе?!

— В Братиславе так не пойдешь, разве что в какой-нибудь роскошный ресторан.

— То Братислава, а тут деревня.

Он притащил несколько костюмов.

— Едет к зазнобе и не имеет приличного костюма, — ворчал он на Робино. — Такой слесарь, как ты, должен иметь парадную тройку — куда тебе, в противном случае, девать деньги?

Робино примерял пиджак цвета сливы и бормотал в оправдание:

— Там сплошь туристы. Там на это не смотрят.

— Факт, — согласился Феринко, — туристы типичные подонки. Я в прошлый раз подвез одних — она в штанах и какой-то кофтенке, на нем тоже что-то вроде этого, у обоих рюкзаки и — можешь себе представить? — они шли прямо из ратуши! На мне, когда я женился, был костюм из английского сукна. Шестьсот крон за метр, приятель! Двести человек гостей. Играла музыка, закололи по этому случаю двух свинок,

теленка, уток три десятка, а кур без счету. Эх, и веселье закатили — на три дня!

На пороге появилась жена, его воодушевление сразу испарилось.

Кофейный костюм эпохи Феринковой холостяцкой жизни пришелся Робино впору, только брюки надо было немного подтянуть. Рубашку и галстук ему также одолжил шофер, лишь мокасины, слегка ободранные, Робино должен был надеть свои.

И теперь он, расфранченный, шел рядом с Феринко и пел хвалу студенческому легкомыслию, которое способно признать элегантным лыжный свитер и с легкой душой одалживать что угодно. В общежитии так часто комбинировали одежду друг друга, что в конце концов забыли, кому что принадлежит. А после с огромным удовлетворением выслушивали проповеди преподавателей о чрезмерном щегольстве.

На великолепной сцене, которой с лихвой хватило бы человек на сто статистов-оруженосцев, сидели пятеро музыкантов. Для начала они развлекали слушателей попурри из Легара, народных песен и «Славянских танцев» Дворжака. В их распоряжении были скрипка, саксофон, гармоника, цимбалы и барабан. Такая комбинация инструментов обладала рядом достоинств: репертуар охватывал цыганские напевы, классику, музыку для духового оркестра и то, что называют «джазом».

Феринко свернул к свободному столику. В мгновение ока он заказал две порции густо наперченного гуляша и с волчьим аппетитом набросился на него. На столе появилось вино, и Робино обратил внимание, что Феринко пьет с такой жадностью, словно до смерти измучен жаждой. После двух стаканчиков шофер порядком захмелел.

Заиграли танцевальную музыку, на паркете началась давка, флирт и топтанье на одном месте, именуемое танцем. Робино увидел медсестру. На ней было шелковое платье, усыпанное желтыми подсолнечниками, которые тесно жались к груди и бедрам. Она заметила Робино и многозначительно посмотрела на него.

— Не беспокойся, приглашу тебя, — пробурчал он про себя. — Я ведь ел ваш обед.

Феринко находился в стадии хмельной меланхолии:

— Дружище, несчастный я человек. С самого раннего детства. Однажды я тонул, потом меня укусила собака. Гав! — и я весь в крови. Дважды я попадал в аварии; если тебе показать, так у меня все тело — сплошной шрам. А потом я женился.

Музыканты грянули своеобразное буги, Феринко горестно закрыл глаза, и Робино направился к медсестре. Она навалилась на него подсолнечным шелком так, что он аж застонал. Ему бросилась в глаза рыжая голова председателя, который кивал ему и понимающе подмигивал.

— Наплюй на учебу, оставайся у нас!

Девушка толкала Робино, желая во что бы то ни стало вести его сама, и нос его оказался плотно прижатым к ее груди, твердой, точно из картона. Ох, Дануша, Дануша! Может быть, он потому и влюбился в нее, что она такая маленькая и легкая в танце, как пушинка. Ей никогда не пришло бы в голову вертеть партнером. Она не нуждалась в силе мышц, достаточно было и взгляда. Настоящая королева.

Робино пыхтел и обливался потом.

— А не пойти ли нам на улицу? — предложил он. — Здесь жарко.

— Чудно, пойдем.

Над деревней излучали лимонный свет звезды, у забора невнятно бормотала чья-то неустойчивая тень.

— Напрасно ты ввязался судиться, дубина. Верхний луг —мм-мой. Мой! — Нетвердой походкой тень вышла на середину дороги. — Я тебе с него и травинки не дам щипнуть!

— Агроном? — удивился Робино.

— Он. Это у него вроде болезни. Ему немного надо, и всякий раз, как выпьет, скандалит из-за луга. Он когда-то судился с одним из-за него.

— Так он же в кооперативе, разве нет?

— В том-то и цирк! Вступал одним из первых, а выпьет стаканчик — и ругается на чем свет стоит. У него уже и неприятности из-за этого были.

— Подсознание, — изрек Робино. — Вы что-нибудь проходили о подсознании?

— Знаете, мы обыкновенные медики, а не какие-нибудь там мастера искусств.— Она обратила к нему лицо и беззастенчиво растянула рот в улыбке.

— Вам уже сказали?

— В деревне ничего не скроешь. Я прослышала это, еще когда вы ремонтировали пресс. А теперь нас наверняка уже поженили!

У ручья тропинка стала совсем узкой. Маришка побежала впереди, во тьме сказочно мерцали ее подсолнухи, в тростнике посвистывал коростель.

— Но маме вы не сказали?

— Зачем? У нее, бедняжки, и без того полно хлопот с женихами.

На востоке вспыхивали грозовые зарницы, а девушка посматривала на него греховными глазами. В болоте квакали лягушки.

«Надо бы поцеловать ее»,— подумал он угрюмо, потому что ему совсем этого не хотелось. Она ему нравилась, но целоваться с девушкой выше себя ростом — неудобно. И потом — Дануша. Хотя у него и не было никаких обязательств перед ней, они были друзьями в том смысле, что она относилась к нему трезво, а он был влюблен. И все же было бы лучше, если б рядом была Дануша. Они гуляли бы, слушали бы лягушек и тишину ночи, ссорились бы из-за дадаистов или она что-нибудь играла бы, а он подыгрывал.

— Тоска зеленая,— сказала медсестра. Она остановилась на мостках, выгнулась, как кошка; конечно, она уже решила про себя, что он рохля.

— Могу я называть вас Маришка? — спросил он мягко.

— Лучше не надо. В училище меня зовут Марина.

— Тогда Марина, ладно? Меня зовут Робино.

Она подала ему руку.

— Идет!

— Послушай, Марина, — сказал он, — тебе хочется замуж?

Она расхохоталась.

— Уж не собираешься ли ты посвататься? Вышитая спальня приглянулась?

— Я просто так спрашиваю.

— Или наговоришь с три короба про женитьбу, чтобы всего-навсего поцеловаться со мной? Я читала про это в одной книжке. Но думала, что в жизни так не бывает.

— Брось! Меня действительно это интересует. С психологической точки зрения, поняла? Как девушки смотрят на эти вещи? Мне, например, брак кажется совсем ненужным.

В ее голосе заиграли насмешливые нотки:

— Тогда ты не будешь иметь успеха у девчат. Все хотят замуж. А больше всего те, кто говорит: ни за что на свете.

— Ну хорошо, а почему?

— Это же так просто. Каждый ищет, где лучше. Когда я найду себе мужа, то смогу сидеть дома, не надрываться на работе в больнице, и в кино будет с кем ходить...

— Ты это серьезно? Тебе не хочется работать? Не нравится медицина?

— А тебе понравилось бы выносить судна и перевязывать чирьи?

— Зачем же ты тогда пошла в училище?

— Мама так хотела.

— Разве ты не могла объяснить ей? Ведь она же тебе только добра желает!

— Чудак. Конечно желает. Думаешь, мне было бы лучше киснуть в этой глупой деревне? Так я хоть свет увижу. А если даже придется работать, так, может, выйду замуж за врача.

— Как пить дать. То-то рад будет!

Девушка вдруг ни с того, ни с сего разразилась смехом и побежала. Робино в темноте топал за ней, пока не заметил, что тропинка сворачивает в деревню, неподалеку от того места, откуда они начали свой путь.

Она остановилась у самого дома культуры и посмотрела своими кошачьими глазами прямо ему в лицо:

— И еще я тебе скажу: никогда не верь тому, что говорят девчата. Психолог!

Смех ее зазвенел на ступеньках, и она скрылась в дверях.

Он стоял как вкопанный.

«И впрямь я рохля»,— подумал он, испытывая неприятное чувство при мысли, что все девушки — слегка Дануши, комедиантки, двуликие янусы. Он никогда не сможет сказать, как Феринко, что разбирается в них.

Феринко тем временем прикончил бутылку, и его мрачный хмель сменился самокритичным:

— Растяпа я, приятель, ты это уже понял, факт, понял?

— Я тоже растяпа, — ответил Робино и посмотрел туда, где на паркете плыла жуково-черная прическа над желтыми подсолнухами.

— Пошли домой!

Они молча шагали по дороге, на которую лился лимонный свет звезд.

Прохлада освежила Феринко, вернула ему чувство собственного достоинства:

— Я, приятель, мужчина, ты не думай. Я кое-что могу. Двухметровку возьму, не веришь? Скажи, не веришь? Гляди. — Феринко подбежал к бочке с дождевой водой, которая стояла под водостоком ближайшего дома, но Робино потащил его дальше. — В Михаловцах — я туда возил товар — был один борец, мужик с гору, сплошь татуированный, все перед ним тряслись, а я как обхватил его в поясе, шварк — он и грохнулся, скорая помощь его увезла. Фи-и! Я, если захочу, могу быть страшным! Но тебе нечего бояться. Ты мой товарищ.

Чем ближе к дому, тем больше Феринко падал духом. У порога он опять стал кротким.

Его странная жена уже ждала их в кухне, без единого слова сняла с мужа пиджак, разула его и увела в спальню. Робино, как мышь, пробрался в гостиную и стал потихоньку укладываться. Из соседней комнаты доносилось только бормотанье Феринко, как вдруг — хлоп, хлоп! Он выпрямился — опять: хлоп! Она его била.

— Вот это да!

Розовый попугай злорадно сверкал глазом, и Робино снова овладело такое чувство, что люди — это нечто такое, чего он никогда не поймет, не постигнет, не раскусит, не...

На этот раз, против обыкновения, он уснул без всяких мыслей о Дануше.

Вопреки предсказаниям, утро вылупилось из ночи розовым и чистым. Робино больше не позволил себя задерживать.

— Зазноба ждет!

Феринко высадил его за Жилиной на перекрестке. Он подарил ему жестяную банку круглых медовых пряников, свою карамельную улыбку, исполненную бодрого сознания собственного достоинства, и помахал из кабины пятитонки.

— Привет трактирщице, не теряйся там, смотри!

— Привет всем красоткам по пути!

— Вспомни обо мне, когда будешь есть индейку, дружище, и приезжай опять. Ты всегда...

Мимо промчался «икарус» с отпускниками, мотор разметал слова Феринко. Пятитонка возвращалась в Старый Двор. Робино, слегка утомленный, зашагал по направлению к Кралёванам, над головой с шумом промчались синица и реактивный самолет. Земной шар можно облететь за два часа. Только Медзилаборцы далеко.

Он шел и шел. Ему подумалось, что этими дорогами некогда ходили штуровцы * со словацкими книжками в узелках. Они шагали по травянистым тропкам, не ведавшим никакого асфальта, и распевали «Гей, славяне». Робино почувствовал себя романтиком и попробовал придумать для себя какую-нибудь святую цель, нечто возвышенное. К примеру, изучение жизни. Он вспомнил председателя, который разводит клубнику с поэтичными названиями и покупает павлинов для красоты, пчеловода-пономаря, печального агронома, угнетенного засилием женщин и воспоминаниями о родовом луге. Его кольнуло воспоминание о насмешливых глазах над смелым вырезом и о замкнутом лице странной Феринковой жены. Вот он ходит, смотрит и все-таки ничего не знает. Вспомнилась и мать с ее программным недоверием ко всему и вся и опять же ее пресловутая неопределенность.

Ему стало смешно. Неопределенность. Где? Мир безопасен, как мужественное рукопожатие.

Из-за поворота затарахтел трактор.

— Эй! — закричал Робино и вскарабкался на прицеп.

Тракторист казался моложе его.

— Ну и денек хорош, — сказал он. Потом нажал рычаг и так рванул с места, что прицеп подпрыгнул. Трактористу хотелось показать, на что он способен. Остались позади и перекресток, и штуровская тропка, Робино пришлось сжать зубы и обеими руками вцепиться в борта. Из него вытрясло все мысли, только страх заставлял его поднимать голову, когда они лихо мчались на поворотах лоб в лоб грузовикам. Скрежетали тормоза, от перегревшихся шин несло вонью чертовых одежек. Жутко и радостно.

Тракторист то и дело оборачивался, обнажая в улыбке всю верхнюю челюсть.

— Чудо-денек!

«Чудо-денек, чудо-денек»,— идиллически стрекотали перепелки во ржи. Но Робино слышал только выхлопы мотора да смех этого зубоскала, который уверенной рукой направлял бешеный бег восьми колес меж солнцем и землей.

---

* Так условно называют школу словацких романтиков предреволюционных сороковых годов XIX века по имени ее идеолога Л. Штура (1815—1856), среди лозунгов которой было: изучать родной народ, поднимать в нем национальное самосознание, создавать национально-самобытную культуру.

ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЛЕНЗ

Тогда мы услышали гром

РОМАН

Перевод с английского
В. ЛИМАНОВСКОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

«И тогда мы увидели молнию, и это были пушки. И тогда мы услышали гром, и это были большие пушки. И тогда мы услышали ливень, и это были капли крови, падающие на землю. А когда наступила жатва, урожаем нашим были мертвецы. ГАРРИЕТ ТАБМЕН, беглая рабыня, аболиционистка, разведчик армии северян и борец за свободу, так описала одну из битв гражданской войны, свидетельницей которой она была.

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕЙ МАТЕРИ, И ГАРРИЕТ ТАБМЕН, которая в моей личной Галерее Славы возвышается на целую голову над большинством американцев, и моим товарищам, павшим и живым, и Чаку, и Барбаре, и молодежи всего мира. Пусть они никогда не услышат грома, сотворенного человеком, и не увидят страшной молнии.

Часть первая

СЕВ

Глава 1

«Ядя Сэм не женщина, но он может отнять у тебя твоего милого...» Это была очень, очень забавная песенка. Ее пел, подражая Лэдбелли и подыгрывая себе на гитаре, какой-то весельчак, когда Солли Сондерс — только что обвенчанный и уже призванный в армию — принимал у себя гостей.

А потом начался медовый месяц — в четырехкомнатной квартирке на Манхэттене, которую уступил им один из белых свободомыслящих приятелей,— и три дня и три ночи были заполнены любовью, сном, едой, болтовней... В промежутках были два спектакля на Бродвее, а потом снова любовь, и нагота, и взаимный очарованный восторг, и планы о том, «что будет, когда кончится война» и Солли вернется, и поступит обратно на юридический факультет, и закончит его при содействии своей

очаровательной честолюбивой жены, которая будет неустанно направлять его и тихонько подталкивать вперед и вверх, неизменно вверх. Они предавались любви с таким неистовством, словно все должно было кончиться с окончанием медового месяца. Это пугало его. Он еще не мог представить себе своей брачной жизни иначе, как продолжение медового месяца.

Когда настала последняя ночь перед разлукой, они лежали на постели, сбросив с себя все, и отдыхали, утомясь от любви. Он говорил о работе в городском управлении, которую ему пришлось оставить. Он говорил ей, что, кроме него, в его отделе нет ни одного цветного и пока что отношение к нему неплохое. Он старался, чтобы голос его звучал не слишком горделиво — он был скромен по натуре.

Она перебирала пальцами крутые черные завитки на его груди. В ее больших светло-карих глазах, всегда широко раскрытых, всегда понимающих, светилась сейчас откровенная гордость им, ее мужем, ее красивым, только что обвенчанным с ней мужем.

— Чудесно... Будем надеяться, что так все и останется по-старому, когда ты вернешься,— сказала она.— Если их примут слишком много в ваш отдел, тебе будет труднее выдвинуться. Пока их нет, белые хорошо относятся к тебе. Верно? Ты продвигаешься по службе — так оно и должно быть. Это потому, что ты там только один, и у тебя красивая внешность и приятные манеры. Если бы ты был черный и безобразный, как некоторые другие, и разговаривал, как Эмос и Энди *, твои дела шли бы не так гладко.

Милли теснее прижалась к нему своим прохладным обнаженным телом и поцеловала его за ухом, и он почувствовал, как его обдало изнутри жаром, мышцы напряглись и по животу прошла дрожь.

— Ты стройный, красивый, глянцевито-коричневый,— сказала она,— и образованный, и умный, и тонкий, и честолюбивый.

В ее устах это звучало как любовная песня.

— Тебе повезло, мой дорогой. Ты пойдешь далеко. Ничто не сможет тебе помешать. У тебя есть все, что нужно для успеха.

Он был счастлив, и все ее слова звучали прекрасно, и тем не менее они почему-то раздражали его. В них несомненно была доля истины, он это отлично понимал, и все же порой эта ее особая манера говорить все напрямик вызывала в нем такое чувство, словно его царапают по коже наждачной бумагой. Ему не хотелось портить последнюю ночь глупым спором, который в лучшем случае будет лишь бессмысленным упражнением в красноречии, потому что сам Солли стремился к тому же, к чему он, по ее мнению, должен был стремиться. Великий американский миф. Все возможности преуспеть, продвинуться, добиться признания и материального достатка... Собственный дом, автомобиль, элегантная подруга жизни. Одним словом, *положение*. Но ему хотелось самому написать свою историю, своим собственным языком и не греша против совести. У него было неспокойно на душе, возникало тревожное чувство, что его могут причислить к «выскочкам», «шарлатанам». Сам он пользовался более тонкой терминологией: его цель не «успех», а «достижения». Он не «честолюбец», а «борец за принципы». Он два года учился на юридическом факультете и, помимо того, надеялся стать писателем. Он любил спокойную речь, приятную игру слов, хорошую метафору. «Слова — это камни и цемент, с помощью которых возводится здание жизненной философии,— не раз говорил он себе,— и пользоваться ими следует осторожно и точно». Но сегодня ночью он должен пренебречь этими тонкостями. Так ли в сущности велика разница? Роза — это роза, это роза, как ее ни назови, и воробей в конце концов тоже птица. Так что бросим этот разговор. Бог

* Известные негритянские клоуны.

весть, когда еще доведется ему снова быть вместе с этой чудесной, этой восхитительной женщиной. Так говори же с ней о любви, дурак! Люби ее, и к черту риторику и все эти липовые тонкости.

И все же он услышал свой голос, который против его воли произносил совсем другие слова:

— Но послушай, Милли, ведь я все-таки черный. О чем ты толкуешь? Я никак не могу сойти за белого — разве что надену тюрбан. Смотри на вещи прямо — оба мы черные. Право же, наш брак уж никак нельзя назвать смешанным.— Он постарался смягчить свои слова шуткой: — Иначе у меня были бы основания для развода.— Он засмеялся и хотел поцеловать ее.

Она мягко отстранилась от него, улыбнулась ему всеми своими ямочками, встала с постели и остановилась перед ним, подчеркнуто гордясь своей блистательной медово-золотистой наготой. Словно иллюстрация из «Эсквайра» — специального журнала для мужчин. Так хороша, что даже неловко.

— Погляди на меня, милый. Разве я черная? — Она прошлась перед ним как манекенщица, демонстрирующая красивый наряд.

Он понимал, что она хочет сказать. С тех пор как из унылых трущоб средней школы он вознесся на сияющую вершину, в «мир прекрасного будущего», под названием Нью-йоркский городской колледж, все изменилось, как по волшебству: когда он входил в аудиторию, женщины провожали его взглядами, и он читал в них одобрение, а в устремленных на него взглядах мужчин — неприкрытую враждебность белых. Внезапно ему открылось, что он красив и красноречив и его мнение может кого-то интересовать, а порой с ним могут и считаться, а на последнем курсе он даже стал капитаном баскетбольной команды. И все же каждый вечер — и этого ему не забыть,— когда заканчивался маскарад и шум стихал, он неизменно возвращался к себе в Гарлем, где находился его родной дом — все еще находился с того самого дня, когда его мать вместе с ним, тогда еще совсем мальчишкой, добралась сюда, в Нью-Йорк, из далекого Драй-Крика в штате Джорджия.

«Я молодой, подающий надежды юноша,— думал он,— и когда-нибудь буду танцевать в величественном зале отеля «Уолдорф», но, однако, и тут не потеряю связи с моим народом, который все еще будет отплясывать в «Савойе».

Она остановилась возле него и ждала. Сказала воинственно:

— Что ж ты молчишь, разве я черная? Отвечай! Цвет моей кожи не зависел от моего выбора, но я, конечно, не хотела бы, чтобы он был темнее. Ведь тогда я не могла бы работать секретаршей в адвокатской конторе на Уолл-стрите. Я единственная там, ты это знаешь. И ты тоже не черный, и тоже это знаешь. Ты темно-коричневый, и у тебя нежные, тонкие черты лица, и ты необыкновенно красив, и все это имеет огромное значение для белых, и ты это тоже прекрасно знаешь. И это чрезвычайно облегчает нам возможность попасть в тот мир, который они для себя создали.

Ну прекрасно, прекрасно! И вот, благодаря этому он преуспел и на хорошем счету в конторе — ну да, потому, что у него приятная внешность, и он образован, и прочел все книги, какие они читают, и говорит так же, как они, и его манера смеяться ничем не отличается от их манеры. Во многих отношениях он отлично им подражает. Ну так что из того? Порой Милли будила в нем противодействие, которое дремало где-то в глубине его души, и это причиняло ему боль — словно задели обнаженный нерв в зубе. И он крикнул сердито:

— Кому, к черту, это нужно — попадать в их мир?

Она подошла, присела на край постели, сжала его лицо в своих ладонях:

— Нам нужно, милый. О, как я тебя люблю! Всем нам, образованным неграм, это нужно. Ведь для этого мы учимся в университете, разве не так?

Она была права, на семьдесят пять процентов права, быть может, даже на восемьдесят пять, на девяносто, он знал это и все же крикнул:

— Нет, черт побери! — А потом сказал: — Прости. Оставим это.

Она всегда подчеркивала свою честность, прямоту, свою прямолинейность. И свой трезвый взгляд на вещи. Никто не бывает честен до конца. Про себя он во всяком случае это знал.

Она сказала:

— Хорошо, милый.— И легла рядом с ним, и они заговорили о войне, и она сказала: — Я уверена, что в армии ты не станешь держаться вызывающе и лезть на рожон. Забудь о расовой проблеме хотя бы на время. Будь американцем, а не негром, думай только о том, чтобы выиграть войну, и старайся продвигаться по службе совершенно так же, как ты это делал в конторе.

Он рассмеялся, обнял ее и стал целовать ее глаза, и нос, и зовущий влажный рот.

— Можешь не беспокоиться обо мне, малютка. Я знаю, что к чему. Я знаю, куда и зачем я иду, и знаю, что мне нужно.

Даже идиоты не бывают честными до конца. А Милли отнюдь не идиотка. Все дело в том, что она всегда вела обеспеченное существование в негритянской буржуазной семье и привыкла принимать все как должное, в то время как его жизнь была лишь борьба, борьба и еще раз борьба за существование. Ему ничто не доставалось само собой, а он хотел получить все.

Когда они оба уснули, ему приснилось, что у них продолжается этот разговор, но во сне все как-то спуталось, а затем неожиданно из стены вышло двое белых — супруги, которые одолжили им эту квартиру,— и моложавый, коротко подстриженный блондин сказал: «Милли совершенно права. Американцы должны забыть все свои разногласия и объединиться против общего врага. Когда в доме начинаются свары...»

Солли повернулся к этому человеку и произнес: «Не суйте нос не в свое дело, черт побери. Я не желаю, чтобы меня обучали патриотизму».

На этом сон оборвался.

Медовый месяц кончился.

«Отныне я солдат. И буду лучшим солдатом во всей американской армии, черт побери!»

Глава 2

— Сондерс, Соломон...

Он стоял вместе с другими новобранцами на большой, посыпанной песком площадке, окруженной странными, похожими на двухпалубные суда зданиями. Уже был на исходе первый час его пребывания в армии, а он еще не снял своей гражданской одежды. Из окон двухпалубных казарм на них смотрели старые солдаты и скалили зубы. Но он был дома со своей Милли. Его сердце, его мозг, его душа были дома, с Милли. Его ноздри вдыхали ее запах, он ощущал ее вкус во рту, его руки сжимали ее в объятиях. Она была с ним, она была в нем.

— Сондерс, Соломон!

Он не слышал, как сержант выкрикнул его имя. Он нежно улыбался своей Милли.

— Сондерс, Соломон! — Сержант орал уже во всю мочь, голос у него был гулкий.

Солли вздрогнул и шагнул вперед — из грезы в действительность.

— Я здесь! Я хотел сказать, здесь, сэр!— Он был уже в армии. Он должен стоять навытяжку и покончить с грезами.

— Черт тебя раздери! Ты что, заснул, солдат, забыл, что ты солдат? — загремел сержант.— Ты не вчера родился на свет, пора бы запомнить свое имя.

Старые солдаты покатывались со смеху. Даже новобранцы нервно посмеивались. Пусть себе смеются. Солли быстро акклиматизируется здесь. У него есть сноровка. Он знал, на что идет.

Какой-то солдат крикнул из окна казармы:

— А, видать, этот Соломон Сондерс уже начал беспокоиться о своей старухе и Похабнике Джоди! Они, видать, уже начали являться ему среди бела дня. А он еще даже не успел напялить на себя казенную одежу. Да ты, приятель, не грусти, дай себе передышку. Побереги здоровье. Это вещь хрупкая.

Старые солдаты снова загоготали и заулюлюкали. Еще один из них крикнул:

— А я бы им показал передышку. Я бы этому Похабнику Джоди шею свернул, будь он проклят! Я б ему показал, как становиться в мое стойло!

— Вольно, ребята!

Высокий широкоплечий негр с нашивкой на рукаве остановился перед новобранцами и начал отдавать распоряжения; голос его грохотал и перекатывался, словно уголь, сыпавшийся в бункер. И все они куда-то двинулись и весь божий день, как в страшном сне, переходили под палящим солнцем из одного места в другое, и каждому вонзали в руку иглу — то в одну руку, то в другую, и так раз шесть или семь, они уже потеряли счет,— и самый высоченный из всех новобранцев, Роберт Линкольн (шесть футов пять с половиной дюймов), потерял сознание и грохнулся на пол, а из руки у него все еще торчала игла. Но даже обморок его не спас. Через десять минут он уже снова шагал из одного помещения в другое вместе с Солли и всеми остальными, исполнял приказания солдата с двумя нашивками, и еще одного солдата с тремя нашивками, и еще одного— совсем без всяких нашивок. И чем меньше было нашивок у старого солдата, тем грубее он обходился с новобранцами, так, во всяком случае, показалось Солли, и он уже подумал было, что, чем меньше нашивок, тем больше чин. И тут он услышал:

— Давай, солдат, пошевеливайся, или у тебя свинец в заднице? Ты теперь не на Сто двадцать пятой улице *.

И в эту ночь он лежал на своей койке в каких-нибудь ста милях от Нью-Йорка, в странном, совершенно новом для него мире двухпалубных казарм, и нашивок, и повиновения приказам. Он был так взволнован и так утомлен, что не мог уснуть. Он прислушивался к разговору солдат.

— Не верю я, чтобы уж так все здесь было скверно. А кормят нас здорово, это факт.

И в самом деле, все было совсем не так плохо, как можно было ожидать. Солли испытывал большое облегчение от того, что это так и что для него все оказалось не слишком трудным.

— Вот что мне нравится,— сказал другой солдат,— это как лихо здесь все налажено. Понимаете, что я хочу сказать? И в столовой, и в амбулатории, и здесь, и там — все прямо как на колесиках. Понимаете, что я хочу сказать?

Он щелкнул пальцами. Это был здоровенный, круглощекий, круглоголовый коричневый негр около шести футов ростом; выпуклые карие глаза, казалось, хотели выпрыгнуть из его круглой головы. Его звали

---

* Улица в Гарлеме, на которой расположены торговые и увеселительные заведения.

Уильям Роджерс, и он производил впечатление чрезмерно старательного. Солли улыбнулся. Роджерс слишком спешит стараться. Ну что ж, Роджерс не одинок. Но у Солли был свой собственный план. Он хотел выиграть эту Войну за Демократию. И все так здорово сходилось одно к одному: его отношение к войне, его идеализм, его образование, его стремление пойти далеко вперед. Все совпадало: прошедшее, настоящее, планы будущего.

Он приподнялся и сел, свесив ноги с койки. Невысокий, коренастый солдат, лежавший напротив него, читал книгу. Джо Тейлор все время читал книгу, с первой минуты как попал в армию,— даже в нью-йоркском поезде, даже в грузовике, который вез их из Трентона в форт Дикс. Солли достал бумагу из вещевого мешка и принялся писать письмо Милли. Почему бы не написать, все равно он не мог уснуть.

«Дорогая Милли, я ужасно по тебе соскучился...»

Он перестал писать и поглядел вокруг. Ну как это он мог ужасно по ней соскучиться? В этот первый день в армии у него не было времени даже наведаться, не торопясь, в отхожее место. Все делалось вдвое быстрее нормального. Все, как сумасшедшие, старались проявить расторопность. Но он все же не вычеркнул — «я ужасно по тебе соскучился». Ему было приятно это писать, а ей будет еще приятнее прочесть.

Какой-то старый солдат, громко стуча башмаками, подошел к ним.

— Здоро́во, ребята. Добро пожаловать в нашу роту. Рад с вами познакомиться, право слово. Есть среди вас игроки в покер, в кости, богачи-акулы, дающие деньги в рост? — Все молчали.— Кто хочет, не теряя времени, заработать нашивку, кто хочет дело делать, смотрите на меня. Я сержант Каллоран. По кличке Деловой Малый.

Взгляд Каллорана перебегал с одного новобранца на другого. Роджерс встал с койки и вытянул руки по швам, словно перед начальником штаба. Сержант с минуту глядел на круглоголового, пучеглазого солдата и наконец велел ему стать вольно. Роджерс сказал:

— Слушаюсь, сэр!

Лукавые глаза сержанта задержались на Солли.

— Черт побери, солдат! Едва попал в казарму, и уже пишешь письмецо домой. Думается мне, там никто еще не успел тебя заменить — ни свой, ни кракер*,— чего это ты так торопишься... Да и почему не дать бедному Джоди порезвиться?

Солли даже не поглядел на сержанта, он сидел, уставясь в начатое письмо. Сержант отвел глаза от Солли, молча окинул взглядом остальных новобранцев и громко рассмеялся.

— У меня есть все, что может потребоваться солдату. Воскресные пропуска, увольнительные, белые билеты по восьмой статье, аттестации, брюнетки, блондинки и дамы всех промежуточных мастей. Есть на все вкусы. Толстые и тощие, высокие и коротышки. Есть даже несколько хорошеньких жирных мальчиков для тех, кто понимает в этом толк. Ясно вам? Все есть для бедных новобранцев, что только душа пожелает.

«Вот гад! Здоровенная грубая скотина! — подумал Солли.— Хоть бы таких, как этот сержант, оказалось поменьше среди армейского начальства». Каллоран громко расхохотался им в лицо и направился в другой конец казармы. А у новобранцев на секунду даже язык отнялся. Наконец Джо Тейлор нарушил молчание:

— Откуда взялся этот паскудник?

Роджерс сердито воззрился на Тейлора:

— Вот ты больно шустрый, объясни мне одну штуку. Кто, черт побери, этот Джоди, о котором все толкуют?

Джо Тейлор оторвал глаза от книги.

---

* Презрительное прозвище белых, бытующее среди негров в южных штатах США.

— Похабник Джоди — это любой штатский, любой негодный к военной службе счастливчик, который спит с твоей старухой, пока ты здесь отбываешь военную службу. Короче говоря, Джоди — это какой-нибудь бедняга с плохим здоровьем, какой-нибудь незадачливый жеребец, который исполняет за тебя твои супружеские обязанности в то время, как ты стремишься умереть за родину.

Солли торжественно произнес:

— Человеку не дано познать стремления более высокого.— Ему нравился этот маленький крепыш солдатик.

Новобранцы ухмылялись и посмеивались, некоторые не совсем уверенно.

— Мою домашнюю работу никто не будет исполнять за меня,— сказал Роджерс.

— Ишь ты какой,— сказал Тейлор.— Каждый дурак может стать под пулю, а вот много ли таких, кто способен так трудиться, как Джоди? А по-моему, так это очень благородно с его стороны — исполнять кое-какую домашнюю работу за бедного солдата. Ведь это, наверно, совсем нелегко. Мы должны выразить ему коллективную благодарность, вот что. Это же тяжелая работа, а Джоди за нее никто не повесит медаль на шею.

Теперь уже смеялись все без стеснения.

— А, заткнись ты, Коротышка! — сказал Роджерс.

Свет в казарме погас ровно в одиннадцать часов, но Солли далеко за полночь лежал одетый на своей койке, глядя в темноту, вдыхая непривычный резкий запах казармы — запах армейских одеял, табачного перегара, потревоженного сна, кишечных газов. И всю ночь в казарму возвращались старые солдаты и раздевались в темноте, негромко бранясь себе под нос, а где-то в другом конце казармы всю ночь украдкой играли в покер при свете электрического фонарика. Солли закрыл глаза и постарался снова перенестись домой. Если все его начальство будет вроде этого сержанта Каллорана (вот, кстати, почему, черт побери, должен он поскорее сам стать начальством!), так, пожалуй, ему никогда не научиться слепо выполнять приказы. Ну, а отправлять свои естественные потребности в компании с шестью-семью другими солдатами, в то время как остальные стоят у тебя над душой, ждут и мелют всякий вздор,— к этому он со временем привыкнет.

И все же что-то ему здесь нравилось. Нравилось, что он все-таки здесь, что он в армии, и особенно нравилось ощущение товарищества — почти всю жизнь он был очень одинок,— и, что ни говори, а ведь война идет, и это не такая война, как в четырнадцатом году, это Война за Демократию, и он постарается воевать как можно лучше. И постарается получить офицерское звание и все прочее.

Ему казалось, что он только что заснул, как вдруг:

— Эй вы! Эй вы! Кто тут живой?.. Кто тут живой?.. Вставай, зады отлежите!

Секунду Солли продолжал лежать, отчаянно стараясь вернуть сон. Затем сел, протирая глаза, стараясь понять, где это он, черт побери, находится. А Милли где? За окном тусклый свет утра с трудом пробивался сквозь упрямый ночной мрак, и по всей казарме еще горели фонари, совсем как на перекрестке Шестой авеню и Двадцать третьей улицы зимой, когда в пять часов уже темно. И неожиданно в поле его зрения, расплываясь, возникла грузная фигура сержанта.

— Эй вы! — ревел сержант, словно дюжина сирен в тумане.— Давай! Давай! Чего пялишь на меня красные свои глазищи... Ты мне не нужен, только марш с койки! — И не успел Солли опомниться, как койка была перевернута, и он очутился на полу.— Давай, давай, застилай койку, солдат! Может, тебе снится, что ты дома или в другом каком бараке?

Солли вскочил с пола и, разозленный, шагнул к сержанту. А Каллоран повернулся и направился к круглоголовому Роджерсу, чья койка уже выглядела так, словно он на нее и не ложился. Да и сам Роджерс был уже почти в полном порядке. Его большие круглые глаза прямотаки вылезали из орбит от такого необычайного проворства и усердия.

— А ты, я вижу, и впрямь расторопный солдат, черт тебя побери. Как тебя зовут?

Солдат стал навытяжку и отдал честь, нервно хлопая ресницами, словно застенчивая шлюха.

— Моя фамилия Роджерс, сэр. Уильям Томас Роджерс, сэр.— Он говорил быстро и правильно, с едва уловимым вест-индским акцентом.

Сержант рассмеялся:

— Ладно, капрал Уилли. Присмотри, чтобы все солдаты в твоем отделении заправили койки, умылись, оделись и спустились вниз через пять минут.

— Слушаю, сэр!

— Ты отвечаешь за это, капрал!

— Так точно, сэр!

Сержант поглядел на свои часы.

— Ладно,— сказал он.— Сейчас без трех с половиной минут шесть. Мне нужно, чтобы все эти ребятишки, каждый двоюродный племянничек твоей младшей троюродной тетки спустился вниз и построился, как положено, ровно в шесть ноль-ноль. Чтобы, когда проиграют сбор, пыль от ваших копыт уже оседала, а вы стояли, как врытые. Ну, живо, пошевеливайтесь и вниз по лестнице, и чтобы пыль столбом, мать вашу, и строиться в две шеренги, и чтобы, когда пыль осядет, ни один осел не шелохнулся. Ясно?

— Ясно, сэр!

Сержант зашагал прочь. Роджерс повернулся к солдатам и взвизгнул:

— Эй вы! Эй вы!.. Кто тут живой!.. Эй ты, солдат! Ты, ты, шевели задом!

У Роджерса установка правильная, но он пересаливает и делает все слишком напоказ, подумал Солли. Сам он быстрее продвинется по службе, думал Солли, но сделает это спокойнее и не станет лизать зады казенного образца. Он будет быстро постигать военную науку и вести себя так, чтобы завоевать уважение офицеров, равно как и солдат.

— Эй ты, солдат, ты! Давай!

Солдат-коротышка, не расставшийся с книгой, поглядел с койки на Роджерса. Он был никак не выше пяти футов пяти дюймов, но крепко сбит, коренаст, с мускулистыми могучими плечами тяжеловеса.

— Брось, Роджерс. Дядя Сэм забрал тебя в свою армию в один час со мной. Не забивай свою большую дурацкую башку разными глупостями из-за того, что ты понравился сержанту. Ты еще не капрал. Ты еще даже не ефрейтор. Ты и рядовой-то еще еле-еле.

Кое-кто из солдат хмыкнул, кое-кто рассмеялся.

Заиграл рожок, и все посыпались вниз по лестнице, кто в чем был, и выстроились на площадке, совершенно так же, как десятки других, едва продравших глаза солдат из всех других казарм. Было еще темно, но на востоке уже разгорался пожар — там медленно, и как будто тоже сонно, поднималось солнце, словно и оно услышало сигнал. По мнению Солли, сигнал во всяком случае был достаточно громок. А потом так и пошло: побудка и перекличка, и всех погнали на жратву в столовую и назад в казармы, а через две минуты обратно из казарм, и снова перекличка, и скоро он уже утратил ощущение и времени, и пространства, потерял счет и часам, и дням. Ему казалось, что они маршируют уже через весь земной шар и все время куда-то страшно спешат, и только

одежда на них все еще прежняя и даже ботинки — обычные, на тонкой подметке (а ему очень не терпелось надеть военную форму), и одна проверка следовала за другой, и одно освидетельствование за другим, и, наконец, была проверочная инспекция, где вы стоите в чем мать родила, а все, что на вас было надето, разложено перед вами, и розовощекие офицеры производят проверку. Солли ощущал мучительную неловкость во время этой процедуры в залитой солнечным светом комнате, битком набитой голыми мужчинами, рослыми и щуплыми, всех оттенков кожи — от черного до светло-коричневого,— проходившими, словно на смотру, перед розоволицым лысеющим лейтенантом с бесстрастным взглядом; он вдыхал резкий мужской запах возбужденных, вспотевших тел, видел суровые, смущенные, сконфуженные лица.

— Ладно, сынок. Довольно,— насмешливо сказал лейтенант медицинской службы усердному Роджерсу.— Ты уже большой мальчик. Порезвился и довольно, надевай свои штанишки...

— Так точно, сэр! — сказал Роджерс, и все солдаты покатились со смеху.

А затем были еще всевозможные проверки, и выявление склонностей и способностей, и учет, и классификация, и строевая подготовка на учебном плацу под беспощадным солнцем. И все это тянулось и тянулось, и казалось, что в этом нет ни складу, ни ладу и что никогда не кончится. У Солли подошвы ныли, как больные зубы. На второй день, около четырех часов пополудни, они получили солдатское обмундирование и распрощались со своей штатской одеждой. И Солли был просто счастлив, когда они маршировали назад в казарму,— он словно растворился в общей безликой массе, и от этого возникало ощущение какой-то надежности. Никто не мог бы сказать теперь, что они — зеленые новобранцы, а не старые служивые люди. Теперь они действительно стали солдатами американской армии.

В этот вечер в расположении гарнизона Солли встретил знакомого парня, который жил когда-то на одной с ним улице, и тот пошел вместе с Солли к нему в казарму и, усевшись на его койке, болтал и шутил с новобранцами и посвящал их в армейскую жизнь.

— Вот что, друг,— сказал Джим Джексон Солли в присутствии всех, кто столпился вокруг его койки,— от добра добра не ищут — тебе бы надо оставаться на твоем юридическом факультете. Американская армия самая что ни на есть...

— Ничего страшного,— сказал Солли.— Я чувствую, что легко могу все это одолеть.

Роджерс сказал серьезно:

— И мне тоже здесь пришлось по душе.

— Это потому, что ты спелся с сержантом Каллораном,— сказал Тейлор, коренастый солдат. Солдаты уже окрестили его Книжный Червяк.— И рад стараться — лизать сержантский зад.

— Придержи язык, солдат,— сказал Роджерс. Он здорово обозлился.— Смотри, как бы тебе не получить пинка в зад! Я шутить не люблю.

Джим Джексон рассмеялся.

— Сержант Каллоран? Джесс Каллоран никакой не сержант.

— А кто же он? — неуверенно спросил Роджерс.

— Такой же рядовой, как все мы. И в армии-то всего две-три недели. Лезет из кожи вон, чтобы заполучить сержантские нашивки — это точно,— но пока что он еще обыкновенный дерьмовый рядовой. Кое-кто из этих молодчиков так старается и выслуживается, чтобы остаться здесь, на приемно-распределительном пункте. Думают, что смогут провалandаться тут всю войну. Лишь бы их не послали за океан.

Все солдаты рассмеялись, а Книжный Червяк Тейлор отложил свою книжку в сторону и повернулся к Роджерсу:

— Если он не сержант, тогда ты, значит, не капрал и, значит, брось заноситься! Ты! Лупоглазая лягушка!

— А здесь все заносятся и лезут из кожи вон,— заверил их Джим.— Вы бы поглядели на этих гадов, которые окопались здесь, на приемно-распределительном. Рядовые лезут в ефрейторы, ефрейторы лезут в капралы, капралы — в сержанты и так дальше, и так дальше, вплоть до самих генералов. Белый ты или черный, совесть тут у всех одного цвета.

Тейлор сказал:

— А этот парень едва переступил порог казармы, как начал всюду совать свой нос. Вот подонок! Я не знаю, чего он так старается, только это подхалим, каких мало!

Все рассмеялись, кроме самого Тейлора и Роджерса.

— Придержи свой вонючий язык,— сказал Роджерс,— или я вышибу тебе зубы.

— Ну еще бы, даром, что ли, ты такой пучеглазый, господин Вышибала,— без улыбки отвечал ему Книжный Червяк.

Солли сказал:

— Там, куда нас пошлют, драки будет вполне достаточно. Не тратьте порох зря.

— А ты так и норовишь запустить свои гляделки в этот чертов военный устав,— сказал Роджерс Книжному Червяку.— Верно, очень любишь интересные книжки? Вызубришь, а потом тоже будешь лезть из кожи вон, как последний осел.

— Вот это правильно, это как раз то, что я собираюсь сделать,— негромко пробормотал Книжный Червяк.— Даже как полоумный осел. Буду брыкаться и лягаться, как полоумный осел, лишь бы вырваться из этой американской армии для белых американцев.

— Зря ты это, так нельзя,— сказал Солли Книжному Червяку.

— Ну, восьмую статью здесь получить нелегко,— сказал Джим.— Нужно быть буйно помешанным, чтобы ее добиться.

Солли сказал Тейлору:

— Вот видишь, какое дело, дружище. Так что ты лучше брось эту затею и бери пример с меня. Учитывай обстоятельства. Ты — свободолюбивый американский гражданин, а Гитлер — враг всего, что нам дорого.— Солли очень пришелся по душе этот маленький крепыш, только мозги у него были слегка набекрень.

— А кому это «нам», черт побери? — спросил Линкольн.

А Тейлор добавил:

— Ты это всерьез? Или это у тебя такой способ зарабатывать восьмую статью? Здорово ты заливаешь, гладко. Можешь даже задурить голову и капитану.

— Раз ты служишь в армии,— сказал ему Солли серьезно,— так нужно верить в то, за что сражаешься. Я нисколько не шучу. Если Гитлер победит Америку, неграм придется в сто раз хуже, чем сейчас. И потом, все мы — американские граждане, и наша страна находится в состоянии войны, и мы ей сейчас нужны, а когда возвратимся домой, тогда мы никому не позволим забыть, что сражались не хуже других. Эта война — не то что первая мировая. На этот раз мы воюем за настоящее дело, черт побери. И наш главнокомандующий — лучший президент со времен Авраама Линкольна.

Длинный Линкольн встал, вытянулся во всю длину своих шести с половиной футов и, вскинув к плечу воображаемую скрипку, сделал вид, что водит смычком по струнам.

— Гимн! Кто запевает?

Солли не сдавался:

— Ну а что еще нам остается делать, в конце-то концов? Мы обязаны быть в армии. Это — наша страна, ничуть не меньше наша, чем чья-то еще. Она построена на костях наших предков.

Тейлор сказал:

— Как только Гитлер пожелает здесь высадиться, будь я проклят, если не укажу ему дорогу. Покажу все бугорочки и даже посвечу.

— Не будь ослом,— сказал Солли.— Ты же хочешь пользоваться всеми правами и привилегиями наравне с прочими американцами, хочешь, так?

Тейлор уставился на Солли.

— Да, черт побери,— сказал он сердито,— но...

Солли сказал:

— Прекрасно. Значит, когда эти права в опасности, ты должен сражаться за них, как всякий другой. Ты же не думаешь, что дядя Сэм позволит тебе всю войну тихонечко просиживать штаны где-нибудь в уголке, а когда все будет кончено, скажет: «Вот и отлично, а теперь вы, цветные, можете получить свою свободу, хотя вы палец о палец не ударили, чтобы ее сохранить, в то время как мы защищали ее против нашего общего врага». Ты же не думаешь, что свобода завоевывается так легко? Ты же не считаешь дядю Сэма таким круглым идиотом?

Тейлор покачал головой, внимательно глядя на Солли:

— Что-то ты крутишь.

— А ты лучше послушай тех, у кого есть голова на плечах,— сказал Роджерс.— Ты еще молокосос, много ты понимаешь!

Роджерс подошел вплотную к Солли и зашептал ему на ухо. Голос у него был какой-то нагловатый.

— Я тебя раскусил, старик. Все эти олухи нас не понимают. Они понятия не имеют, о чем ты им толкуешь.

Солли озадаченно поглядел на Роджерса. Он чувствовал его дыхание на своей щеке.

— А что *ты-то* хочешь этим сказать?

Роджерс сказал:

— Война войной, а пока что ты, негр, глядишь, и выбьешься на первое место в этих белых джунглях. А все это дурачье — им до тебя далеко. Это не та марка. Короче, ты мне нравишься, парень, я вижу, ты твердо знаешь, чего ты хочешь и как этого добиться.

Солли отшатнулся от Роджерса. Ему почему-то вспомнилась Милли, и он почувствовал досаду.

— Не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь,— сказал он и подумал про себя: «Прекрасно ты понимаешь, о чем он говорит, черт бы тебя побрал! И о чем Милли говорила — тоже».

Роджерс рассмеялся:

— Зато я понимаю, о чем ты говоришь, хоть ты и больно сладко поешь. Да, да, не беспокойся, понимаю. Ты можешь одурачить этих олухов своей патриотической болтовней, но только не меня, я такой же, как ты,— тоже шкура порядочная, будь я проклят. Мне только малость не хватает твоего лоска.

Солли стало жарко и показалось, что ворот рубашки ему тесен. Этот солдат сумел задеть его за живое. Солли повернулся к Джиму Джексону:

— Пойдем на воздух, друг. Я провожу тебя до твоей казармы.

Он направился вместе с Джимом к выходу. А Роджерс расхохотался и все хохотал и хохотал.

На следующее утро после завтрака их всех построили для формирования, и какой-то краснощекий офицер, с блестящими серебряными полосками на плечах и интеллигентным голосом, с чуть заметным, не до конца изжитым южным акцентом, начал выкликать их фамилии, но не

назвал ни Солли, ни Роджерса, ни Книжного Червяка Тейлора, ни Линкольна. Солдаты, чьи имена были упомянуты, получили приказ выйти из строя на шаг вперед, и бегом обратно в казарму, и в два счета приготовить к осмотру инспекции все свое обмундирование и экипировку, и после осмотра сложить его снова в вещевые мешки, одеться и быть готовым к отправке... по месту назначения. И так продолжалось весь день. И все время в мозгу Солли, где-то в глубине сознания, порой всплывая на поверхность, жила мысль о Милли и маме, и о маме и Милли, и о том, что вдруг его имя тоже назовут и отправят его бог весть куда, прежде чем он успеет еще хоть раз повидать их, и, быть может, ему не удастся даже позвонить им по телефону. Строевое учение, муштра, муштра. Он постигал ее лучше всех среди новобранцев. Направо, кругом, марш! Налево, кругом, марш! Это было легко, и даже нравилось ему. Он овладевал этой премудростью быстрее всех.

В этот день за обедом Солли, Книжный Червяк Тейлор и Длинный Линкольн купили липовые пропуска у липового сержанта Каллорана и собирались вечером отправиться домой в самовольную отлучку, и никакая сила не могла бы их удержать... Но сразу после обеда началось: «Выходи! Выходи! Все, кто есть...» И капитан выкрикнул имя Солли, и имена всех остальных — тех, что прибыли в один день с ним, и еще нескольких, которые прибыли позже, и даже кое-кого из тех, кто прибыл только вчера. Невысокого роста капитан с бледным, словно меловым, лицом поглядел в список, потом перевел взгляд на серьезные лица солдат.

— Ладно, ребята, вольно, бегом в казарму и быть готовыми к перекличке через пятнадцать минут.— Он говорил почти не разжимая губ, слова со свистом проскальзывали между его гнилыми зубами. Его голубые глаза обежали безмолвные, напряженные лица.— Есть вопросы? — Новобранцы стояли, вытянувшись в струнку перед капитаном, и молчали.— Нет никаких вопросов ко мне? У тебя, малый? У тебя? Отлично...

Книжный Червяк Тейлор поднял руку, его большие, широко открытые глаза смотрели невинно.

— Я им всем сейчас покажу,— шепнул он стоявшему рядом с ним Солли.— Вот сейчас увидишь: восьмая статья — это специально для меня.

— Ну давай, что у тебя там? — спросил капитан.

— Я только хотел спросить, капитан, простите, сэр, мы — армия?

— Что это значит: мы... вы — армия?

— Я хочу сказать, капитан, простите, сэр, мы — это армия? Армия Соединенных Штатов?

— Нет, вы не армия Соединенных Штатов.

— Я так и подумал, что нет, сэр. Но, с другой стороны...

— Вы не армия Соединенных Штатов. Вы призваны в армию Соединенных Штатов.

Книжный Червяк Тейлор уставился на капитана с видом полнейшей невинности и чистосердечия.

— Одну минуточку, капитан, простите, сэр. Вы нас теперь совсем запутали. Вы хотите сказать, что мы в армии?

Новобранцы переглядывались исподтишка. Роджерс таращил глаза и нервно хлопал ресницами. Солли изо всех сил старался сохранять бесстрастный вид. Холодное меловое лицо капитана розовело и наливалось гневом на глазах.

— Конечно, вы не армия, ребята. Вы не являетесь регулярной армией Соединенных Штатов, как я уже вам сказал, но вы в армии Соединенных Штатов. А где же вы, по-вашему, черт побери? Может, вы думаете, что это отряд бойскаутов?

Книжный Червяк сказал вкрадчиво, таким сладеньким голоском, словно вылизывал из вафельного стаканчика мороженое:

— Я сначала думал, что мы в армии, капитан, простите, сэр, поскольку нам дали эти солдатские курточки и все прочее и опять же эти «ать, два, три, направо, налево, вставай, ложись», и вся эта чертовщина, и опять же маршируем мы взад и вперед с утра до вечера, но только вы нас все время — «малый» да «малый», «ребята» да «ребята», вот я и подумал: может, это не армия, а еще что-нибудь... Я читал в «Дейли ньюс», что сам мистер Рузвельт, наш главнокомандующий, сказал, что он не будет призывать в армию никого, кроме мужчин. Значит, он ребят не тронет. Так что, если я малый, я только хотел спросить, не могли бы вы как-нибудь устроить, сэр, чтобы мне вернуться домой к папе и маме. Я очень, очень по ним соскучился, и притом я слишком юн, чтобы сложить голову на чужбине. И опять же зеленоватый цвет мне не к лицу. Так что, вы понимаете...

Теперь уже вся шеренга смеялась неудержимо. Но Солли внезапно перестал смеяться. Всему есть предел. Червяк зашел слишком далеко.

А Червяк стоял тихий, кроткий, невинно улыбаясь, вытянув руки по швам. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Линкольн согнулся пополам и хлопал себя по ляжкам, трясясь от хохота. Солдаты, проходившие мимо, останавливались и смотрели на них во все глаза.

— Не вижу ничего смешного,— громко сказал Червяк, ни к кому персонально не адресуясь.— Мне на самом деле очень не идет зеленый цвет.

— Вольно! — крикнул капитан.— Вольно, черт бы вас побрал! Молчать! Смир-р-рно! Два шага вперед, солдат, и стать перед фронтом, в центре шеренги.

Рядовой Тейлор стоял навытяжку, тихий, спокойный, серьезный, и не двигался.

— Эй ты, солдат! Ты! Ты слышал приказ, солдат? Два шага вперед, живо!

Червяк Тейлор с самым наивным видом поглядел на Солли, стоявшего рядом с ним слева, и у Солли заныло под ложечкой от усилия удержать смех.

И вместе с тем ему было страшно за Тейлора. Затем Червяк посмотрел на солдата, стоявшего по правую руку от него, и выражение лица у него при этом было прямо-таки ангельское — казалось, он вот-вот развернет крылышки и воспарит к небесам, где обитают херувимы и серафимы и никто не изучает военное дело.

— Ты, солдат, ты! — уже не своим голосом кричал капитан.— Нечего оглядываться на других! Я *тебе* приказываю!

— Мне? — удивился Червяк, тыча пальцем себе в грудь. Нет, конечно, капитан никак не мог адресоваться к рядовому Джозефу Тейлору. Он был единственным солдатом, который не смеялся.

— Да, тебе! Живо!

Червяк шагнул вперед, сделал красивый поворот через правое плечо, согнул в локтях руки, сжал кулаки, словно изготовившись к кулачному бою, мелкими шажками, как заправский старый служака, добежал до середины шеренги, сделал такой четкий поворот через левое плечо, что любо-дорого смотреть, встал навытяжку перед капитаном и лихо отдал честь.

— Рядовой Тейлор выполнил приказ как положено, сэр.

Капитан сказал:

— Вот что, солдат, мы здесь не станем тер...

— Капитан, простите, сэр, простите, вы что-то забыли. Честное слово, вы забыли.— Ангел кротости, да и только.

— Солдат, черт тебя...

— Капитан! Простите, капитан, простите, вы забыли ответить на мое приветствие.— Можно было поручиться, что во всей армии Соединенных Штатов не найдется второго такого славного, симпатичного солдата.

— Ты разговариваешь с офицером, солдат. Ты...

— Капитан, *я вас очень прошу...*

Капитан отдал приветствие; его нахмуренный лоб побагровел, словно перезревший гранат.

— Вот так-то уже лучше,— сказал Червяк.— Я знал, что вы умеете это делать.

Солдаты смеялись теперь без всякого стеснения. Долговязый Линкольн просто выл от смеха, согнувшись пополам.

Капитан отвернулся от Червяка.

— Уберите его отсюда! — взвизгнул он и махнул рукой двум солдатам.— Отведите на гауптвахту. Я его научу, как разговаривать с офицером.

— Вы только обращайтесь со мной, как с мужчиной, и от меня получите такое же обращение, капитан, простите, сэр! — крикнул Червяк, когда его уводили.

Солдаты возвратились в казарму и стали готовиться к отъезду. Солли не покидала мысль о том, что сделают теперь с Червяком Тейлором. Ему хотелось, чтобы этот коротышка остался в их роте. Хотя он решительно не одобрял попытки Червяка заработать восьмую статью, все же этот солдат чем-то ему нравился; было в нем что-то настоящее, человечное и воинствующее. Какая-то честность и прямота, возбуждавшие в Солли легкую зависть.

Капитан поднялся к ним на второй этаж и, переходя от солдата к солдату, стал записывать их имена; он собирал свидетелей против рядового Тейлора. Койка Солли находилась далеко от входа, в самом углу, и он надеялся, что капитан наберет достаточно свидетелей, прежде чем очередь дойдет до него. Ему не хотелось свидетельствовать против этого храброго коротышки-солдата, да и вообще, что это будет за рота и какая в ней будет спайка, если они в первую же неделю пребывания в армии все скопом ополчатся против одного из своих товарищей? Он принялся возиться возле койки и укладывать свой вещевой мешок, а когда затянул шнурок и выпрямился, капитан стоял в пяти шагах от него.

— Фамилия, личный номер?

С такими людьми, как этот капитан, надо ладить, если ты хочешь добиться продвижения по службе в армии; значит, скажи ему свою фамилию и номер так, будто не знаешь, зачем ему это понадобилось, и потом, когда дело дойдет до свидетельских показаний,— что же, ничего не поделаешь, придется пойти и на это. Ведь ты юрист, умеешь мыслить логически. Ты прекрасно понимаешь, черт побери, что это глупо — на первых же порах прошибать лбом стену. Он почувствовал, что от волнения у него вспотел лоб, а в кишках заходило ходуном.

— У тебя что, уши заложило, солдат? Я спрашиваю твою фамилию и личный номер.

Солли поглядел на раскрасневшееся лицо капитана, украдкой облизнул нижнюю губу и глотнул слюну пересохшим горлом. Он чувствовал, что остальные солдаты прислушиваются, ждут его ответа.

— Мне кажется, сэр, что просить, чтобы солдаты в первую же неделю пребывания в армии свидетельствовали против своего товарища-солдата, да к тому же еще против солдата из одного с ними подразделения,— это самое что ни на есть опасное дело, ибо может чрезвычайно плохо повлиять на их моральное состояние. Я полагаю...

На лбу капитана вздулись жилы, похожие на веревки.

— Я у тебя ничего не прошу, солдат. Я требую. И *я приказываю* тебе немедленно сообщить мне свою фамилию и номер!

Солли судорожно вдохнул спертый воздух казармы.

— Меня зовут Соломон Сондерс, номер 33-052-176, сэр.

— Запомни раз и навсегда, малый... солдат,— сказал капитан,— тебя призвали в армию не потому, что здесь не могут обойтись без твоих высоких мыслительных способностей. Рассуждать — это вне твоей компетенции. Ты здесь для того, чтобы выполнять приказы, и только. Ясно?

— Ясно, сэр.— Он свалял дурака. Все эти разглагольствования для армии не годятся. Здесь надо по-другому.

Капитан повернулся и сказал, обращаясь к солдатам:

— Ну, все. В вашем распоряжении еще пять минут.— И сердито зашагал к выходу.

Солли смотрел ему вслед и думал о том, что, верно, таких, как этот капитан, не так уж много или же армия отчаянно нуждается в хороших офицерах. Тем более, значит, надо постараться поскорее получить повышение.

Когда солдаты уже собрались спуститься вниз, несколько человек подошли к Солли. Длинный Линкольн сказал:

— Ты прав, старик. Я тоже не стану свидетельствовать против Червяка. Я считаю, ты здорово отрапортовал, лучше не скажешь. От белых добра не жди, черт бы их побрал.

Солли сказал:

— Нельзя всех белых валить в одну кучу. Я...

Бык Роджерс сказал:

— Чтоб он сдох, этот Червяк! Чего он валяет дурака! А тебе тоже нужно научиться держать язык за зубами,— повернулся он к Солли.— Дивлюсь я на тебя. Мне казалось, у тебя есть голова на плечах. А ты разошелся — совсем как какой-нибудь болтун с Юнион-сквер *.

Клинт Мур, тихий, спокойный солдат, сказал:

— Никто из нас не станет против него свидетельствовать. Во всяком случае, в форте Дикс. Через пять минут мы уже будем далеко отсюда.

«Клинт прав,— подумал Солли.— Я позволил разным глупым эмоциям задурить мне голову, и они взяли верх над рассудком. Этого надо остерегаться».

Сигнал строиться прозвучал только через полчаса, и они посыпались вниз с лестницы и выстроились перед казармой, подняв облака пыли, и стояли так, готовые к отправке, еще минут пятнадцать в ожидании дальнейших событий. Затем приехал лейтенант, сделал перекличку, и подкатили грузовики.

— Отлично, можно отправляться.— С этими словами лейтенант повернулся к другому лейтенанту, поговорил с ним о чем-то, залез в «джип» и снова куда-то уехал.

Длинный Линкольн весело проворчал:

— Вечно в этой треклятой армии сначала спеши, а потом жди!

И солдаты стояли, ворча, и бранясь, и пересмеиваясь, и потея под полуденным, раскаленным добела солнцем, которое с остервенением жгло и людей, и казармы, и ярко-зеленую траву, словно хотело превратить все в один пылающий костер. Минут через двадцать снова подъехал лейтенант, и солдатам, наконец, велели лезть в грузовики, и Солли злился и чувствовал свою беспомощность, и думал о Милли и о маме и о том, что Червяк Тейлор останется здесь, и в эту минуту подлетел капитан на

---

* Площадь в Нью-Йорке, на которой обычно происходят митинги левых рабочих организаций.

«джипе», и рядом с капитаном сидел Червяк, и Червяк выскочил из «джипа» и помчался вверх по лестнице, а через несколько минут спустился обратно, и полез в грузовик, и уселся рядом с Солли. Солли рассмеялся и сказал:

— Книжный Червяк Тейлор, ну, ты даешь жизни! Заставляешь ждать всю армию Соединенных Штатов Америки.

— Я еще не раз буду давать жизни, пока эта волынка не кончится,— сказал Червяк.

— Тебе повезло, что они не упрятали тебя на гауптвахту.

Червяк рассмеялся сердито:

— Мне бы это совсем не повредило. Я не против остаться в Диксе еще на несколько денечков. Мог бы прогуляться отсюда в Нью-Йорк. Я спросил капитана, когда он пришел за мной: «Извините, сэр, разве вы не хотите посадить меня на гауптвахту?» Он так взбесился, что даже ничего не ответил.

Солли рассмеялся и откинулся к борту грузовика. И вот они уже покидали лагерь, совершенно таким же порядком, каким прибыли сюда несколько дней назад — в колонне тяжелых военных грузовиков, в вихре пыли. Казалось, протекло так много времени и столько произошло событий, и вместе с тем Солли по временам вдруг охватывало сомнение: вот он уже и в армии, а разве что-нибудь изменилось? И он махнул рукой дружелюбно улыбавшимся лицам горожан — белым лицам, среди которых мелькали иногда и черные.

— Задайте им жару, ребята!

Тяжелые грузовики подпрыгивали и грохотали по выбитым мостовым старого Трентона, где когда-то происходили другие бои — бои за Великую Революцию*. Ему было приятно сознавать себя частицей этой борьбы. Он думал о доме, и о маме, и о Милли, и о Милли, и о маме, и об юридическом факультете, и о любви, и о будущем, и о своей карьере, и об успехе, который его ждет, и... И все это казалось таким далеким, и отходило все дальше и дальше на задний план, и, быть может, уже не имело даже значения. Все его будущее осталось в прошлом. А настоящее с бешеной силой поглощало все. И настоящее и будущее — это была армия и жизнь солдата. И Война Во Имя Спасения Демократии. Это была и его война, и он верил в нее, и готов был отдать ей себя. И он постарается как можно быстрее получить повышение и стать офицером. И еще надо будет потолковать с Червяком. У него совершенно неправильный подход.

В выпученных глазах Роджерса впервые промелькнула тревога:

— Хотелось бы мне знать, куда это нас везут.

Солдаты неуверенно рассмеялись. Червяк сказал:

— Если они отправят нас прямо в Читлинг-Суич, в Миссисипи, Роджерсу будет неплохо. Он там будет как рыба в воде. Он из тех краев, из какого-нибудь маленького городишка, где, стоя на центральной площади, можно помочиться за черту города. Сразу видно, что он мальчик с Юга. Побыл на Севере ровно столько, чтобы приобрести городской лоск и подцепить кое-какие словечки.

Все рассмеялись, словно у них немного отлегло от сердца, рассмеялся даже Роджерс, но лица были у всех встревоженные.

— А меня очень радует, что я — британский подданный,— сказал Роджерс.

— Вот что ты подданный, это верно,— сказал Червяк.— Тебе уж, верно, не раз наподдавали под зад.

---

* Битва при Трентоне 24 декабря 1776 года, в которой Джордж Вашингтон одержал победу над англичанами.

И вот они стояли в зале Трентонского вокзала, и Солли оглядывался по сторонам и посматривал на две двери, выходившие на платформу. Он повернулся к Роджерсу и к Тейлору.

— Через несколько минут мы будем знать, куда нас отправляют. Если мы пройдем на платформу через ту дверь, что направо, значит, можете не сомневаться, что нас пошлют в один из лагерей на Севере, а если мы пройдем через ту, другую дверь, это уже будет обидно.

В зале появился мальчишка с воздушной кукурузой и горячими сосисками, и солдаты столпились вокруг него. И в эту минуту Солли вдруг что-то вспомнил, быстро поглядел по сторонам и заметался по залу, словно спасаясь от погони.

— Там, в том конце!— крикнул ему Червяк.

— Нет, мне не то,— сказал Солли и неожиданно увидел предмет, который он искал, бросился к газетному киоску, схватил мелочь и прыгнул в телефонную будку.

В будке было абсолютно нечем дышать. Солли казалось, что он тут испечется, как в духовке.

— Междугородная?..— машинально он назвал номер.

«Лишь бы она была дома! — думал он.— Лишь бы она была дома, родная, любимая, черт бы ее побрал! Лишь бы она была дома, ведь сегодня суббота...» Он услышал далекий голос:

— Нью-Йорк слушает...

Сердце у него дико колотилось, одежда взмокла и прилипла к телу, словно он попал под ливень. Почему она так долго не подходит к телефону? Раздался свисток — капитан уже собирал солдат,— и в эту минуту Солли услышал ее голос, и поистине он прозвучал как райская музыка, и Солли засмеялся и заговорил одновременно, и почувствовал, как его просто распирает от восторга, а капитан снова засвистел в свой свисток. Она была так рада, что Солли позвонил. Еще минута, и он бы ее уже не застал. Она собиралась в магазин. Свисток раздался снова, а она теряла драгоценное время, лопоча что-то о бакалейном магазине, а им нужно было так много сказать друг другу, но в конце концов это не имело значения, все равно у них уже не было времени говорить о важных вещах.

— Береги себя, Солли. О нас с мамой не тревожься. У нас все будет в порядке...

— Я люблю тебя,— сказал он.

— Я знаю, глупенький,— сказала она,— и я люблю тебя и знаю, что у тебя в армии все будет в порядке и ты быстро получишь повышение...

— Я люблю тебя и, пожалуйста, не беспокойся — я буду самый что ни на есть отличный солдат во всей американской армии, черт побери, и теперь дни Шикльгрубера уже сочтены. Дайте мне только до него добраться!— Он физически ощущал ее присутствие здесь, рядом с ним, в этой будке, чувствовал его на запах, и на вкус, и на ощупь, и одновременно с этим мучительно остро сознавал, как она далеко от него, и ему казалось, что она уходит все дальше и дальше — отступает куда-то, как пески Кони-Айленда.

Свисток надрывался, резкий, нетерпеливый... Дверь будки распахнулась, и Червяк потянул его за рукав.

— Пора, друг. Командир тебя ищет.

Солли сказал Милли:

— Я должен идти. До свидания. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя! — Она тоже сказала «до свидания», а он стоял молча и ждал, чтобы она повесила трубку.— Я должен идти! — повторил он с отчаянием в голосе. Хоть бы уж она сама повесила трубку!

Она сказала:

— Я люблю тебя.

Червяк снова потянул его за рукав.

— Пойдем, пойдем, пока они не упрятали тебя на гауптвахту. Теперь я вижу, что мне придется за тобой присматривать, иначе ты влипнешь в какую-нибудь неприятность.

Солли еще раз повторил в трубку:

— Я должен идти!.. До свидания, любимая.

И Милли сказала:

— До свидания, дорогой. Береги себя.

И он повесил трубку и с минуту стоял неподвижно, глядя в одну точку, и ему казалось, будто он только что распрощался со всем самым для него дорогим на свете и армия сомкнулась вокруг него и отгородила его от мира навсегда.

Солдаты уже подняли свои вещевые мешки и потянулись за лейтенантом к двери, ведущей на платформу справа. И вот они уже все стояли на платформе, и солнце играло на их вспотевших лицах, и почти все они неуверенно улыбались.

— Нас отправляют на Север,— негромко воскликнул Роджерс.

Да, их отправляют на Север, улыбаясь про себя, подумал Солли, и, быть может, их лагерь будет недалеко от Нью-Йорка, и от Милли, и от мамы, и его жизнь в армии будет совсем как праздник, лучше даже, чем он мечтал. Может быть, их отправят в лагерь, который будет даже ближе, чем форт Дикс к Нью-Йорку, и к Милли, и к маме. Он самый везучий солдат на свете! Ну, Гитлер, теперь держись! Берегись, Тодзио! Он едва не крикнул: «Аллилуйя!» — едва не заплакал от радости.

Но тут снова раздался свисток — с платформы напротив. Солли оглянулся и увидел капитана с меловым лицом и серебряными нашивками, сверкающими на солнце, и капитан махал рукой лейтенанту.

— На эту платформу, лейтенант. Ведите своих солдат сюда.

Глава 3

— Адово пекло — вот что такое Джорджия,— сказал Книжный Червяк Тейлор на следующий день.

И они все сошли с поезда, и уселись в грузовики, и покатили по красным, плоским равнинам южной Джорджии, мимо пятнистых, похожих в своем камуфляже на призраки бараков, и добрались наконец до расположения роты, и выстроились по щиколотку в пыли, на глинистом красном плацу перед новым командиром — длинным, тощим офицером с узким лицом и худой красной шеей, который расхаживал перед ними, то и дело подтягивая локтями сползавшие брюки. Брюкам не на чем было держаться из-за полного отсутствия бедер. А ступни у командира были столь миниатюрны, что казалось совершенно непонятным, как они могут таскать такое длинное тело.

— Солдаты, я рад сказать вам: добро пожаловать в роту «А» Пятьдесят пятого транспортного полка,— начал он. Определить по его говору, из каких он мест, было нелегко. Средний Запад? Нет. Бостон? Нет. Юг? Быть может. Похоже, но не очень.— Я — старший лейтенант Чарльз Резерфорд, ваш командир. Лейтенант Барнем — начальник автотранспорта. Лейтенант Сэмюэлс — помощник командира. Мы надеемся, что наше подразделение будет лучшим в Пятьдесят пятом транспортном полку.

Несколько дней пролетели с головокружительной быстротой, и все шло как по маслу и выглядело так здорово, что Солли Сондерса прямо шатало, как пьяного. А ведь и капли виски не было у него во рту. На третий день к вечеру он лежал на своей койке и старался отдышаться и восстановить в памяти события трех промчавшихся галопом дней. Как-нибудь он улучит время и все это запишет, говорил он себе.

■

В ПЕРВЫЙ ЖЕ ВЕЧЕР мы с Червяком Тейлором познакомились с хорошенькой девушкой в гарнизонном баре, и Червяк был сражен наповал. Она и вправду очень хорошенькая, я и сам мог бы в нее влюбиться, если бы не был женат. Нет, черт побери, она даже не хорошенькая — она самая настоящая красавица. Наши глаза встретились раз или два, может быть, даже раза три, но ведь я теперь солидный, женатый человек. Надо выкинуть это из головы. А Тейлор — мой самый лучший товарищ.

НА ВТОРОЙ ДЕНЬ УТРОМ наш длинноногий командир знакомился и беседовал с каждым из нас в отдельности. Потом мы весь день маршировали по дикому солнцепеку Джорджии. Эта девушка в гарнизонном баре все-таки очень хорошенькая. Желаю тебе удачи, старина Тейлор. Меня назначили старшим по строевой подготовке отделения. Я, кажется, не теряю времени даром.

ВЕЧЕРОМ ВТОРОГО ДНЯ начальник пищеблока пригласил меня поужинать за столом сержантского состава. Я старался держаться спокойно и непринужденно. Но один здоровенный, сероглазый, похожий на борца сержант-автомеханик задал мне перцу, прежде чем я успел сесть за стол и собраться с мыслями.

— Отчего ты такой чванливый-спесивый, Юный Новобранец, ты чем-нибудь прославился?

— Простите?

— Может, ты расскажешь нам, что у тебя за секрет такой, отчего это тебя так заносит?

Я слышу смешки и вижу ухмылки. Но продолжаю держаться непринужденно.

— Простите, я вас не совсем понимаю.

— А тебе совсем не нужно меня понимать. Ты только отвечай на мои вопросы. В моторах разбираешься? Можешь завести трехтонку одной рукой, если другую руку привязать тебе сзади пониже спины?— Смех. Я его слышу, и меня бросает в жар, но я сохраняю хладнокровие.— Знаешь что-нибудь по части снабжения? Можешь составить суточную ведомость? Устав знаешь? Внутренний распорядок? Ну и все прочие штуки?

— Я... я...

— Что, черт побери, ты знаешь?

Они смеются надо мной, смеются теперь уже громко. Я начинаю подниматься из-за стола, чтобы заставить эту паскуду отвязаться от меня. Старший сержант хочет за меня заступиться и говорит что-то вроде того, что «он может читать по написанному и писать по прочитанному, а многие из вас, дубины, и того не могут». Солдаты смеются, но на этот раз не надо мной. Старший сержант говорит:

— И, кроме того, он еще юрист, так что смотрите в оба, а обижаться нам на него нечего, потому что он набрал сто сорок очков при квалификационном испытании, а никто из вас и до пятидесяти не дотянул.

Сероглазый сержант говорит мне подчеркнуто учтиво:

— Капрал-новобранец, сэр, вам совершенно не место в какой-то дерьмовой транспортной роте. Вам бы по военно-судебному ведомству пойти или еще куда-нибудь в таком же роде. Вы слишком образованный для таких, как мы,— темных, малограмотных негров-солдат.

Теперь уже смеются все. Я встаю. Я так взбешен, что еще немного и запущу в него тарелкой.

— Есть с вами за одним столом, ребята,— это уж не такая высокая честь, чтоб вы знали. Особенно с таким, как этот здоровенный...

Старший сержант говорит спокойно:

— Сядь, Сондерс, и ешь свой обед. Нечего лезть в бутылку.

Сержант Перри, начальник пищеблока, говорит:

— Легче на поворотах. Тебе, знаешь, еще ползти да ползти.

Я сажусь, беру вилку. Я знаю, что мне еще ползти да ползти, но только ползти я не собираюсь. Я собираюсь вскарабкаться наверх, и притом как можно быстрее.

В ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР, ПОЗДНЕЕ Тейлор уговаривает меня пойти с ним в гарнизонный бар, но я остаюсь в казарме и пишу письмо Милли. Вернувшись, Тейлор говорит мне:

— Слушай, она справлялась о тебе.

— Кто справлялся обо мне?

— Фанни Мэй Брэнтон — молодая особа из бара.

— Очень мило с ее стороны.— Меня слегка бросает в жар.

— С ней была ее подружка, почти такая же хорошенькая, как она.

— Ну и что же? Меня это не интересует.

НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ УТРОМ меня вызывают в канцелярию, и лейтенант Резерфорд сообщает мне, что, учтя мое образование, меня назначили ротным писарем — временно, разумеется. Итак, я продвигаюсь по служебной лестнице, и довольно быстро. Я заберусь наверх под самым носом у всех ухмыляющихся сержантов. Я слушал слова командира и думал о тебе, Милли. Я был доволен, очень доволен и рад!

— Вы, Сондерс, с вашими редкими для негра способностями можете далеко пойти в армии. Послушайтесь моего совета. От вас требуется только одно: выработать в себе правильное отношение ко всему и во всем придерживаться установленного порядка.— Мне не нравится выговор этого офицера, с едва уловимым, хорошо замаскированным южным акцентом, в котором все же проглядывает Техас, да и совет его мне не очень-то по душе. Впрочем, долой предубеждения. Какого черта...

В то же утро старший сержант Андерсон объясняет мне, что такое суточная ведомость.

— Это довольно сложно,— говорит старшой,— и когда ты это делаешь, нужно думать о том, что ты делаешь, но тебе, с твоими способностями, вероятно, будет нетрудно все это освоить.

Старшой очень славный малый. Плохо только, что он уже пятый год в армии, а нет у него настоящей военной выправки. Он как-то не принимает армию всерьез. Но это его личное дело.

В тот же вечер разговор по душам с лейтенантом Сэмюэлсом. Это офицер, с которым я работаю в канцелярии. Он помощник нашего командира. Белый и тоже из Нью-Йорка, как и я. Очень смуглый, загорелый. Скажете, мне не везет? Этот тип людей мне знаком. У меня в Нью-Йорке есть немало друзей, похожих на него. Это либерал. Может быть, даже розовый.

— Мы с вами должны сойтись,— говорит он мне доверительным тоном, предлагает сигарету и щелкает зажигалкой.— Мы люди одного круга. Нью-йоркский городской колледж, юридический факультет.

— Чудесно, лейтенант,— говорю я ему. А почему бы и нет?

Он сам со своим флоридским загаром вполне может сойти за цветного. Он рассказывает мне, что прибыл сюда всего на три дня раньше меня — прямо из офицерского училища.

— Вы должны попасть в офицерское училище,— говорит он.— У вас для этого все данные.

Что ты на это скажешь, моя дорогая Милли? А ты, толстогубый Бык Роджерс? Нет, я не теряю времени даром. Пусть Червяк волочится за хорошенькой особой из гарнизонного бара. Я к этому не расположен, да и времени у меня нет. Я человек женатый, и дел много, всюду надо поспеть. Да еще выиграть войну.

Было девять часов утра, и солдаты выстроились перед казармой, чтобы отправиться в автопарк на занятия. Старший сержант привел в канцелярию невысокого широкоплечего солдата-негра с очень пышными усами.

— Капрал Сондерс, приглядите за этим солдатом, пока я не вернусь из автопарка. Его зовут Джерри Скотти. Хуже его нет солдата во всей армии. Был в самовольной отлучке свыше трех недель. Сейчас он находится под арестом, и я оставляю его на вашу ответственность.

— Слушаю, сэр,— ответил Солли, чувствуя, как его бросило в жар и напряглись все мускулы. Миллионы вопросов завертелись в голове, вытесняя друг друга. Ему была известна репутация Скотти.

— Когда я вернусь, нам надо будет составить о нем донесение. На этот раз ему уже не избежать военно-полевого суда. Сядь, Скотти.

— Хорошо, сержант,— покорно ответил Скотти.

— Помните, вы отвечаете за него,— сказал старший сержант.— Если арестованный убежит, вы отбудете его срок в каторжной тюрьме. Армия не должна нести потерь.— И с этими словами старший сержант повернулся, вышел из канцелярии и зашагал вниз по лестнице, а Солли стоял, глядя на невысокого рыжего солдата с буйной черной растительностью над верхней губой и веселой усмешкой, притаившейся в углах рта. Что-то во внешности этого коренастого солдата напомнило Солли льва. То ли его массивная голова, то ли его злые оранжево-желтые глаза, то ли недюжинная сила его могучей груди и широких плеч. Голос старшего сержанта донесся к нему словно из необъятной дали:

— РОТА, СМИР-Р-РНО!— А затем он услышал удаляющийся топот сапог: рота «А» Пятьдесят пятого транспортного полка удалялась, оставляя его, вооруженного до зубов автоматическим пером, карандашом и пишущей машинкой, один на один с преступником, за которого он отвечает головой, так как армия не должна нести потерь. Он сел за свой стол. Ему очень хотелось кинуться вниз по лестнице и догнать свою роту. Шел четвертый день его пребывания в лагере имени Джонсона Генри, и он внезапно почувствовал, что счастье ему изменило.

Он принялся перепечатывать на машинке продовольственную ведомость, время от времени поглядывая на улыбающегося, довольно безвредного с виду узника. Каждый нерв, каждый мускул у Солли был напряжен. Стоило солдату кашлянуть или двинуть ногой по полу, и Солли подскакивал на стуле. Ему уже стало чудиться, что арестованный — это он, а Скотти сторожит его, вооруженный до зубов. Черт побери, неужели такие парни, как этот Скотти, не в силах понять, что им не одержать верха над армией!

— Ты кто — новый ротный писарь?— спросил арестованный.

— Так точно,— отвечал Солли.

— А я самый лучший повар в части. И во всем этом дерьмовом полку. Просто я не люблю эту дерьмовую армию, вот и все. Слишком все расписано, мать их за ногу. Совсем как в тюрьме.

Солли сказал:

— А мне нравится в армии, я доволен. И это же не навсегда.

— Да ты, кажется, славный малый,— сказал Скотти.— А я что тебе плохого сделал?

— Ничего.— Почему это он так спросил?

Скотти рассмеялся:

— Смекаешь, что я хочу сказать? Я никогда тебе не делал зла, и ты никогда не делал мне зла, а вот ведь я сижу здесь, вроде как у тебя под арестом, и ты должен меня сторожить, пока они не удосужатся упря-

тать меня на гауптвахту. Транспортные части — это не армия. Один-единственный солдат транспортных частей был убит в первую мировую войну, и тот погиб не от пули. Мешок с картофелем свалился ему на голову и свернул шею.— Он поглядел на Солли и захохотал, шлепая себя по ляжкам, и Солли неожиданно рассмеялся тоже. Но и смеясь, он был все время начеку, зная, что лев может прыгнуть. Этот зверь пользуется дурной репутацией — ему это было известно.

— А погляди-ка на себя: смышленый, образованный малый, должен бы сам, своей головой, соображать, что к чему, а получается не так. Я под арестом, и ты меня сторожишь. Если я удеру, тебе придется отбыть мой срок, а они не дали тебе даже самого крохотного автоматика, чтобы меня сторожить. Ну что, скажешь, это не бред собачий? Представь — я захочу удрать. Как ты можешь мне помешать? Я вот схвачу что-нибудь, что подвернется под руку, да как трахну тебя по башке — и не встанешь. Так неужто ты не чувствуешь себя дураком? Во всяком случае, выглядишь ты дурак дураком.— Он хмыкнул.— У меня нет зла на тебя, понимаешь? Только больно уж глупый у тебя вид. Ты похож на Послушного-Неда-Из-Моего-Первого-Букваря.— Лев смотрел на Солли, хлопал себя по ляжкам и рычал от хохота.

Солли весь кипел. Он стучал на машинке и лепил ошибку за ошибкой. И отчетливо сознавал, какое у него глупое выражение лица — недаром это бросилось в глаза Скотти. Он чувствовал, как соленые капли пота скатываются со лба на переносицу, заползают в глаза. Внезапно Скотти умолк, и в наступившей тишине стрекот пишущей машинки пистолетными выстрелами отдавался в ушах Солли, но мысли его были сосредоточены на этом, внезапно притихшем коренастом солдате. А что, если Скотти вдруг бросится бежать, что тогда делать? Пожалуй, надо повернуть стол и велеть Скотти сесть так, чтобы можно было не спускать с него глаз. Он бросил взгляд на бумагу, но перед глазами у него была не продовольственная ведомость. Когда он учился печатать на машинке, то всегда для практики брал речь Линкольна.

Скотти откашлялся:

— Послушай, капрал Сэнди, ты меня, конечно, прости, но я должен спуститься вниз по нужде. Может, ты составишь мне компанию? — Он ухмыльнулся.— Я хочу пи-пи.

Солли это совсем не казалось забавным. Этот малый явно над ним измывается, и весьма успешно притом. Может, это уловка с его стороны!

— Уж ежели мне приспичит, так приспичит. Даже армия не может запретить, если кому приспичило. Пошли, капрал Сэнди. Я тебе ничего плохого не сделаю.

Солли выбранился про себя и встал.

— Ладно, пошли.— Они вместе спустились вниз. Солли остановился у двери.— Я подожду здесь.

— Ты бы лучше зашел. Я могу выпрыгнуть в окно, и тебе придется отсидеть мой срок за меня, а мне, ей-богу, это будет очень неприятно. Мне бы хотелось поглядеть, как ты будешь продвигаться по службе. Как ты станешь знаменитым цветным начальником в *армии белого Чарли* *.

Солли снова беззвучно выбранился, и вошел в уборную, и стал ждать, а потом они вместе поднялись наверх, и Скотти все время трещал, ни на секунду не закрывая рта, а Солли что есть сил колотил по машинке, стараясь заглушить его голос. Он тяжело дышал, ему было жарко и душно, кроткие глаза его потемнели от злости, и наконец он поднял голову от машинки:

---

* Чарли, капитан Чарли — так негры-невольники называли между собой плантаторов.

— Вот что, капрал Скотти. У меня работа. Я попрошу тебя сидеть тихо. В конце концов, я не виноват, что ты влип. Я тебя вижу впервые в жизни. Так что кончай трепаться, идет?

— Ладно, приятель. Вы с Чарли держите весь мир в кулаке.

Он и в самом деле примолк — минуты на две. А затем опять пошло, и пошло, и пошло; он болтал без конца, ни на секунду не умолкая. Минут через десять он сказал:

— Ух ты, мне опять нужно вниз. Это все проклятое пиво, которое я пил вчера вечером.

И они снова спустились вниз, а потом опять поднялись наверх. С каждой секундой Солли свирепел все больше. Еще через десять минут Скотти опять попросился вниз. Солли поднял глаза от работы и сказал:

— Ступай и тотчас возвращайся.

Но как только Скотти ушел, Солли пожалел, что не пошел вместе с ним. Скотти ничего не стоит выйти из казармы, пройти через расположение роты, и — ищи ветра в поле, а ему придется вместо Скотти отбывать срок. И все его планы полетят к черту. Это было несправедливо, это было просто глупо со стороны армии, что его, зеленого новичка, заставили сторожить такого закоренелого преступника, как Скотти, и даже не дали никакого оружия, чтобы его можно было в случае чего остановить. А может быть, они просто испытывают его. Хотят поглядеть, на что он годен — стоит ли его производить в сержанты. А может быть, и не только в сержанты, может быть, даже присвоят ему офицерский чин указом президента. Он старался сосредоточиться на продовольственной ведомости, но мысли его возвращались к Скотти. Почему его так долго нет?.. Он почувствовал, что весь вспотел, и у него мучительно заныло под ложечкой. Может, спуститься вниз и поглядеть, почему он там застрял. Он вскочил со стула и услышал шаги на лестнице. Может быть, это Скотти. Он молил бога, чтобы это был Скотти. Он стоял и ждал, затаив дыхание. Отворилась дверь, и появился Скотти.

— Какого черта, ты так долго там торчал? — с облегчением и досадой спросил Солли.

— Я помочился, вот и все. Я всегда долго мочусь, и законом это не запрещено, и даже уставом, слава тебе господи.— Скотти опять расквакался.— Армия, туда ее... Велели тебе меня сторожить. Да если бы я хотел убежать, зачем бы я, черт побери, пришел сюда обратно? Ведь так? У них голова совсем не варит. Это, если хочешь знать, хуже всего: ты должен исполнять все, что эти офицерские мундиры тебе прикажут, даже если это сплошная нелепость, а у них тут сколько угодно дурачков-молокососов с этими идиотскими полосками на плечах, можешь мне поверить, я знаю, что говорю.— Он умолк, и Солли почувствовал на себе насмешливый взгляд его сердитых глаз.— Мне опять нужно вниз, капрал Сэнди, право слово, нужно.

Он спустился вниз, а Солли продолжал стучать на машинке, стараясь отогнать от себя беспокойные мысли и делая опечатки. Этот проклятый Скотти совершенно задурил ему голову. Ну, да ладно. Минут через десять он поглядел на часы. Какого черта он там столько валандается? Ладно, он все равно не позволит этому Скотти вывести его из себя. И он впился глазами в работу, стараясь сосредоточиться, чувствуя, как пот затекает ему в глаза, а в животе урчит, и в эту минуту в канцелярию вбежал с метлой в руках новобранец — дежурный по второму этажу.

— Капрал Солли! Капрал Солли! Он удрал! Он удрал!

Солли выскочил из-за стола и опрометью кинулся к двери, весь мокрый от пота с головы до пят, чувствуя, что стук сердца отдается у него в висках; он уже видел, как нагромождаются друг на друга дни,

месяцы, годы, которые он будет отбывать в тюрьме вместо Скотти и... О господи, господи! Он же никогда не получит повышения!

— Кто убежал? Где он?

— Арестованный! Я глянул в окно, а его зад уже мелькает на плацу, возле леса. Он небось норовит выскочить на шоссе и махнуть в Эббенсвилль!

— О черт! Будь он проклят! — пробормотал Солли. Он уже видел себя перед военно-полевым судом, чувствовал, как смыкаются вокруг него стены тюрьмы, а его великолепные мечты разлетаются, как дым.

— Говорю, он улепетывает со всех ног,— сказал Уилли Джонсон.— Действуй, Сондерс, да побыстрее.

Солли ринулся вниз, прыгая через две ступеньки. Но, не добежав до низу, остановился и вернулся в канцелярию. Он не мог догнать Скотти, который опередил его на десять минут. Что же ему делать, черт побери? Он услышал, как кто-то поднимается по лестнице. Ему показалось, что вся казарма крутится колесом у него в голове. Армия хотела его испытать, и он провалился. Опозорился начисто.

— Что случилось, капрал? — спросил лейтенант Сэмюэлс.— Где арестованный?

— Он... Он убежал, сэр...— Солли чувствовал себя последним идиотом и готов был лопнуть от злости.

— Убежал?! Да вы понимаете...

— Он попросился в уборную, а потом кинулся бежать через плац и скрылся в лесу. Как я могу его стеречь, когда у меня ничего нет, кроме автоматической ручки?

— Ладно... Ладно... Ступайте за мной. Может быть, мы еще перехватим его на «джипе».

Они загрохотали вниз по лестнице, прыгая через две-три ступеньки, вскочили в «джип» и помчались по дороге, взметая к небу столбы красной пыли.

Они выехали на Эббенсвилльское шоссе.

— Вон он, вон он, капрал!

Но Солли уже сам заметил Скотти, который копытил дорогу впереди, поднимая облака пыли.

Они быстро догнали его, и, когда почти уже поравнялись, он остановился и поднял руку, тыча большим пальцем в сторону Эббенсвилля. Он не мог разглядеть, кто они такие, за плотной завесой красной пыли. Они начали притормаживать, и, когда проезжали мимо, Скотти крикнул:

— Эй вы, подвезите, а, друзья! — Они остановились немного впереди. Скотти припустился к ним.— Вот спасибо-то...— Тут он разглядел Солли и прирос к месту.— А, чтоб тебе...

— Ладно, солдат,— деловито сказал лейтенант, словно ничего не произошло,— полезай, поехали.

— Что-то мне неохота ехать с вами. Я лучше пройдусь. Больно плотно позавтракал утром.

— Полезай в машину, солдат,— сказал лейтенант, не повышая голоса и стараясь не уронить своего достоинства.

— Я — капрал! — резко выкрикнул Скотти.— Вы что, не видите моих нашивок? Если вы не уважаете меня, так уважайте мое звание.

— Полезай в машину, солдат, черт бы тебя побрал! Можешь быть спокоен, тебе не долго теперь носить эти нашивки.— Загорелое лицо офицера побагровело от возмущения, небольшие его глазки стали совсем как щелки.

— Они пока еще на мне, и я требую, черт побери, чтобы вы относились к ним с уважением и воздержались от брани. Кто вы такой, леший вас возьми, что вы так о себе воображаете?

Лейтенант перевел взгляд со Скотти на Солли и обратно на Скотти.

— Ты будешь выполнять приказ? — Сорокапятикалиберный, уютно умостившись в своей кобуре, ласково прильнул к бедру лейтенанта.

Солли сказал:

— Капрал Скотти, смотри, как бы тебе не было худо. Лучше полезай в машину, как приказал лейтенант.

Скотти, что-то бормоча и чертыхаясь, залез в «джип». Солли развернул машину и погнал ее обратно в лагерь. Всю дорогу Скотти держал их под прицельным огнем своей брани — вполголоса, но достаточно громко, чтобы они могли слышать. Солли слышать не хотел.

— Знаешь что, заткнись,— не выдержал наконец лейтенант.— Немедленно.

— А какое вы имеете право кричать на чистокровного американского солдата, черт побери! Вы, трехмесячное чудо *! Вы мочились мамочке в коленки, когда я был уже в армии.

Солли хотелось заткнуть себе чем-нибудь уши и забить Скотти кляп в рот. Он не желает быть всему этому свидетелем. Это было похоже на какой-то бредовый фильм, который его заставляли смотреть против воли, привязав к стулу. А главное — он не хотел быть участником этих событий, развивавшихся со скоростью ста миль в минуту.

Они подъехали к ротной казарме, и Солли притормозил, но лейтенант сказал:

— Не останавливайтесь. Поезжайте прямо к штабу батальона. Я должен взять чистые бланки для военно-полевого суда.

— Военно-полевого суда? — как эхо повторил за ним Скотти.— Вы просто осел, лейтенант. Я же был в отлучке всего пять или шесть дней. Как долго я был в отлучке, капрал Сондерс? Растолкуйте этому дураку.

Когда они остановились у штаба батальона, лейтенант Сэмюэлс выскочил из «джипа» и направился к штабу, затем повернулся и шагнул обратно к машине.

— Капрал Скотти, оставайтесь в машине, пока я не вернусь. Понятно?

— Не орите на меня,— сказал Скотти.— У меня уши не заложило. Я их мою каждое утро.

— Вы отвечаете за арестованного, капрал Сондерс,— сказал лейтенант, повернулся на каблуках и поспешно зашагал к штабу.

Прежде чем Солли успел вымолвить: «Как же так, лейтенант, опять?» — тот уже скрылся за дверью. Дважды за один этот проклятый день! А что он может сделать, если Скотти взбредет на ум выскочить из «джипа» и припуститься по дороге? Он может, конечно, погнаться за ним, как дурак, и поймать, и потащить обратно в штаб... Он может...

Внезапно Скотти расхохотался — так оглушительно, что Солли вздрогнул. Коротыш заливался хохотом, уставя указательный палец в Солли.

— Ну, малый... ха-ха-ха... ты силен!.. Ха-ха-ха...— По щекам Скотти катились слезы, его корчило от смеха.— Ну и полицейский, до чего ж страшен — я еще отродясь такого не видел... Только пистолет дать позабыли... ха-ха-ха... Даже самой маленькой дубинки не дали... Ха-ха-ха... ооо-ох... ха-ха-ха! Да, малый, вот это американская армия, туда ее в душу... эх-хех-хе-хе... э-хе-хе-хе...

И он хлопал себя по ляжкам, и тряс головой, и тыкал пальцем в Солли, а у Солли кровь все жарче приливала к лицу от гнева, и он злился на Скотти, и на лейтенанта, и на первого сержанта, который так это все складно говорил и втравил его в эту скверную историю... И на

---

* Так называли в Америке тех, кто окончил краткосрочные трехмесячные курсы младших офицеров.

всю эту чертову армию, будь она проклята! Скотти рычал от смеха, а Солли хотелось съездить его по зубам.

Какой-то военный вылез из-под командирской машины, и Солли сразу, по кленовому листку у него на плече, увидел, что это майор, и догадался: это, должно быть, батальонный командир, майор Дэвидсон, про которого говорили, что он не дает в обиду цветных солдат. Он был высок, футов шесть росту, богатырски сложен; у него было смуглое лицо и серо-черно-белые, как соль с перцем, волосы, не старившие его, несмотря на седину.

— Спокойней, солдат, не так громко. Здесь штаб батальона. Там люди работают. Постарайся сдержать свой приступ веселья.— Майор стоял шагах в двадцати от «джипа».

Скотти перестал смеяться и мгновенно бросился в атаку. Он обернулся к Солли:

— Какого черта все эти белые привязываются ко мне сегодня со своими разговорами, капрал?

Солли закрыл глаза, словно это могло помочь ему не слышать голоса Скотти.

— Пошли вы вместе с вашей Джорджией...— Рев мотора заглушил конец фразы и некоторые подробности адреса, по которому Скотти направлял майора. Солли поддавал газу, заставляя мотор рычать, чихать и кашлять, и тем не менее голос капрала, сидевшего в «джипе» за спиной Солли, прорывался к нему сквозь весь этот шум.— Попадитесь вы мне у нас на Сто двадцать пятой! Хорошо будет качаться ваш жирный зад на фонаре перед отелем «Тереза»!

Солли включил скорость, рванул «джип» вперед, осадил назад, развернулся и выехал на дорогу. Он сам не знал, как это у него получилось; ему хотелось только одного — убрать Скотти подальше от майора, пока он сам не увяз вместе с ним еще глубже, не увяз по самые уши, как добивался этого Скотти. С самого первого дня в армии Солли, не переводя дыхания, мчался вперед по Военной Дороге Успеха и вдруг из-за этого Скотти споткнулся о корягу. Удача внезапно повернулась к нему спиной.

— Куда это мы направляемся, папаша? — спокойно и вежливо осведомился Скотти, словно просто из приличия решил завязать разговор.

Солли ничего не ответил. В конце улицы он молча развернул машину и покатил обратно к штабу батальона.

Скотти широко, многозначительно улыбнулся.

— Вот оно что! — Он рассмеялся Солли прямо в лицо.— А ты далеко пойдешь. У твоей мамаши, видать, все детишки были смышленые.

— А ты просто кусок первосортного дерьма, черт бы тебя побрал,— сказал Солли.— И, пожалуйста, сделай мне одолжение, отвяжись от меня, понятно?

Он весь кипел от злости. Едва он поставил машину на прежнее место, как из дверей вышел лейтенант.

— Куда это вас носило, Сондерс? Вы заставили меня волноваться целую минуту.

— Просто прокатился до угла, чтобы капрал немножко поостыл,— сказал Солли.

— Вы не должны были трогаться с места, пока я не вернусь,— сказал лейтенант Сэмюэлс. Он покачал головой и прибавил: — Ладно. С вас, как я понимаю, на сегодня хватит. Что ни говори, а выступать в роли безоружного представителя военной полиции, должно быть, не так-то приятно.— С этими словами он залез в «джип», и они покатили к своей ротной казарме.

Теперь Скотти всю дорогу молчал. Солли было не по себе, когда они входили в казарму — он с лейтенантом по бокам, посередине «опасный преступник», маленький крепыш-капрал, едва доходивший головой им до плеча, улыбающийся, поблескивающий светло-карими глазами, в которых притаились смешок и презрение.

Когда они поднялись наверх в канцелярию, лейтенант повернулся к Солли и сказал:

— Все в порядке, капрал. На сегодня ваши обязанности по части несения военно-полицейской службы окончены. Теперь я буду управляться сам. Ступайте подкрепитесь.

— Слушаюсь, сэр.— С чувством невыразимого облегчения Солли вышел из канцелярии и направился к своей койке достать ложку. Солдаты столпились вокруг него и не отставали ни на шаг, пока он шел в столовую; они забрасывали его вопросами о капрале Скотти, самом распоследнем солдате во всем полку. Солли не хотелось бы встретиться с ним снова и через сто лет.

■

После обеда лейтенант Сэмюэлс и Солли писали донесение о Скотти. «Это не моя вина,— говорил себе Солли,— что Скотти находился в самовольной отлучке свыше двадцати дней. Я не имею никакого отношения к этому военно-полевому суду. Я просто помогаю написать донесение. Я в армии для того, чтобы выполнять приказы и исполнять свои обязанности, и в эти обязанности входит составление рапортов». Солли очень хотелось, чтобы лейтенант Сэмюэлс перестал заглядывать к нему через плечо. В конце концов, Солли решительно ничего не имел против Джерри Авраама Линкольна Скотти (он едва-едва его знал), если б только тот не усердствовал чересчур, строя из себя идиота, и не воображал о себе невесть что.

У Солли на лбу выступили капельки пота; он старался подогреть в себе холодную, чистую ярость против этого солдата. Ему хотелось, чтобы лейтенант перестал дышать ему в затылок. Перед глазами у него отчетливо вставало львиноподобное насмешливое лицо Скотти. В ушах все звенел и звенел его голос. Солли казалось, что он всегда, всю жизнь будет звенеть у него в ушах. Такие вот, как Скотти, мешают таким вот, как он, Солли, которые хотят честно делать свое дело, мешают им выиграть войну и покончить со всем этим. Мешают таким неграм, как он, которые глубже понимают смысл и значение войны. И не лишены честолюбия.

Солли закончил донесение, и лейтенант Сэмюэлс пробежал его глазами.

— Отлично, капрал. Прекрасно. Я бы сам не мог написать лучше.

Солли сказал:

— Спасибо, сэр.— Ведь он, по правде сказать, всегда не выносил и не выносит таких вот безмозглых идиотов, лодырей, трусов, дрожащих за свою шкуру, мошенников, уклоняющихся от призыва, чтобы другие отдувались за них. А Джерри Скотти, собственно говоря, такой и есть. Это не герой, это мошенник и дезертир. И он доволен, что принял участие в составлении этого донесения. Настроение у него было просто превосходное, какие тут могли быть сомнения!

Сэмюэлс сказал:

— Да, в самом деле. Мы ведь с вами почти однокашники. Я же окончил юридический факультет всего за два года до того, как попасть в армию.

Солли ответил без особого энтузиазма:

— А мне еще год остался.

Сэмюэлс положил руку Солли на плечо.

— Мы с вами понимаем друг друга, капрал. Мы оба занимаемся этим делом для того, чтобы создать новый, лучший мир для всех нас. Я еврей и не хочу сказать, что хорошо знаю ваш народ, то есть знаю, так сказать, досконально, все трудности, какие испытываете вы, но...

Рука Сэмюэлса тяжело, словно чугунная, давила Солли на плечо. Солли встал, прошелся по комнате.

— Я понимаю, что вы сейчас чувствуете,— сказал лейтенант Сэмюэлс.— Но вы ни в чем не виноваты перед капралом Скотти и не должны винить себя. Такие, как он, всегда стоят на пути прогресса.

Солли сказал спокойно:

— Не тревожьтесь за меня, лейтенант. Я не испытываю никаких угрызений совести от того, что перепечатал на машинке это донесение. Это входит в мои повседневные обязанности.

Сэмюэлс внимательно на него поглядел.

— Ну что ж, отлично,— сказал он.

Солли добавил, все так же спокойно:

— У меня абсолютно правильный подход ко всем этим вещам.

Глава 4

«Ноги уже отказываются волочить мой зад по матушке-земле»,— думал Солли, пользуясь образным языком своего друга Червяка Тейлора. Во всяком случае это совершенно точно соответствовало его состоянию. Во всем теле у него было такое ощущение, словно его исколошматили дубиной, а голова готова была лопнуть. Сначала он писал рапорт, потом продовольственную ведомость, потом ротную ведомость на выдачу жалованья, потом носился как угорелый из канцелярии в штаб батальона, из штаба батальона в штаб полка и обратно к себе в канцелярию и так целый день, а примерно часов около четырех, когда под черепом у него уже так трещало, словно кто-то, нацепив ролики, откалывал там чечетку, его дружок, его закадычный приятель лейтенант Сэмюэлс, припомнил, что Солли сказал как-то: «Хорошо бы и мне разок-другой пробежаться с ребятами на воле, а то ведь, сидя в этой канцелярии день-деньской, недолго и геморрой нажить», пришел в канцелярию и объявил Солли, что у него есть возможность уважить его просьбу и он разрешает ему провести остаток дня вне стен канцелярии, вместе с остальными солдатами, у которых сейчас будет тренировочный бег с препятствиями. И Солли вытянулся в струнку, задрав кверху подбородок и выдвинув вперед нижнюю челюсть, и сказал: «Слушаюсь, сэр», или «Благодарю вас, сэр», или еще что-то, и вышел из канцелярии, и навьючил на плечи вещевой мешок, и взял незаряженную винтовку, и пошел вместе с остальными солдатами перемахивать канавы, и перелезать через десятифутовые ограды, и проползать на животе под колючей проволокой, и под заборами, и свалился в ручей, и едва не утонул, что, разумеется, не входило в программу строевого обучения. Все остальные перепрыгнули через ручей. А он был не в форме. Он, Солли Сондерс, король беговой дорожки, гордость баскетбольной команды факультета!

Он присел на койку, и в его усталом мозгу возникло туманное видение — образ Милли на фоне нью-йоркских улиц, где-то там, далеко-далеко, за сотни километров, в какой-то, казалось, совсем другой стране. А может быть, все это было даже в другом мире? Вчера пришло письмо от Милли — она спокойна за Солли, он легко освоится с жизнью в армии, его ждет успех, продвижение, офицерский чин... все вперед и выше... и все такое прочее... Временами эта вечная ее присказка «покажешь се-

бя — будешь офицером» начинала действовать ему на нервы. Очень уж у нее все это получалось просто... Она старается занять себя делом, чтобы не чувствовать беспрерывно, каждую минуту его отсутствие. Она надумала для себя три занятия и не знала, что выбрать: то ли поработать в добровольном обществе Красного Креста, то ли в местной противовоздушной обороне, то ли взяться дежурить в войсковом гарнизонном клубе. Потом решила, что в клубе ей удастся принести больше пользы в смысле благотворного влияния на нравственный уровень американских солдат. Она не сомневается, что Солли одобрит ее решение. В этом клубе ей часто приходится встречаться с такими одинокими солдатиками, и, танцуя с кем-нибудь из них, она неизменно думает о Солли... Как это мило с ее стороны, черт побери, что, танцуя с другими солдатами, она думает о нем...

Невольно его мысли обратились к Скотти. Его приговорили к тридцати дням заключения на гауптвахте. Что такое эта гауптвахта? Но что бы там ни было, никто в этом не виноват, кроме самого Скотти. А дела Солли в ротной канцелярии пока что шли неплохо, несмотря на Скотти. Пока что всю работу за старшего сержанта исполнял он. А Милли в каждом письме подзуживала его: он должен продвигаться по службе, должен стать лейтенантом, а потом капитаном... Все время напоминала ему, что для человека с его внешностью, образованием, способностями, с его энергией и обаянием не существует никаких преград. И все же он еще был не капралом, а только «исполняющим обязанности» капрала. Лейтенант Сэмюэлс каждый день заверял его, что ему не о чем беспокоиться. «Вы держитесь за меня, дружище, и мы с вами вместе даже здесь, в Джорджии, горы своротить можем. Мы с вами научим их петь «Янки Дудль»!» Сэмюэлс неплохой малый. Он только действовал Солли на нервы по временам.

■

— Сапог Тодзио прямо-таки приклеился к хорошенькому розовенькому заду мистера Чарли! — проник в сознание Солли голос Червяка, который распинался, словно только что обращенный в веру язычник.

— Да ты-то чего так стараешься? Чего ты разорался, как полоумный? Тебе японцы тоже накладут по твоей жирной заднице, дай им только до тебя добраться! — загудел, как контрабас, голос Роджерса, и Солли еще плотнее закрыл глаза.

— Нет, я им не нужен! — Червяк обернулся наконец и удостоил Быка вниманием.— Мне японцы ничего худого не сделали, и они знают, что я им тоже не хочу зла. Я люблю японский народ. А все-таки сердце радуется, верно, Солли? Всякий раз, когда я беру газету и читаю, как наши линчеватели, наши толстозадые кракеры удирают, теряя штаны... И если ты за равноправие негров, и умеешь ворочать мозгами, как мы с Солли, и можешь читать между строк, ты поймешь, что они еще не всё пишут. Растолкуй ему, Солли. Растолкуй этому лупоглазому идиоту, что к чему.

— Тебя могут посадить за решетку за такие речи,— сказал Бык.— Ты — американский солдат, в конце-то концов. Я допускаю, конечно, что ты — жалкое исключение из общего правила, но как бы там ни было, ты все-таки носишь военную форму, хотя она и сидит на тебе, как на корове седло.— И Бык снова расхохотался и затопал ногами по полу.

Шли бы они со своими идиотскими спорами вниз, в уборную или в какое-нибудь другое подходящее для них место, подумал Солли. Куда угодно — лишь бы подальше от его койки... Он бы легче добился здесь, в армии, всего, если бы мог каждый вечер видеться с Милли. Эта мисс Брэнтон так мучительно напоминала ему Милли, что у него начинало

сосать под ложечкой... Все-таки Скотти болван, ведет себя так, словно может один противостоять всей армии Соединенных Штатов Америки.

— Никакие мы не солдаты. Растолкуй ты ему это, капрал Солли. Ты за равноправие негров, так поговори с этим допотопным идиотом. Мы — отдел обслуживания американской армии. Ты что, не знаешь, что ли, тупица, что наш полк — это полк обслуживания. Я думал, что хоть это ты в состоянии себе уяснить. Каждый дурак знает, что белые служат в американской армии, а цветные — служат в обслуживании.

Смех доносился уже из всех углов барака, и Солли тихонько вздохнул про себя. Он был как в осажденной крепости. Спасения уже не жди. У Червяка появились слушатели, и теперь он как завелся, так и пойдет, и пойдет, и пойдет... В следующий раз в гарнизонном баре нужно будет подойти к стойке с содовой и сказать просто: «Добрый вечер, мисс Фанни Мэй. Вы ужасно напоминаете мне мою жену. Клянусь вам богом. Не согласитесь ли вы занять ее место, пока я торчу здесь в этом лагере и так одинок?»

Он глотнул воздух, и мысль о Фанни Мэй проникла в него глубоко-глубоко. Даже когда он шутя вел этот воображаемый разговор, ему делалось не по себе, и теплая дрожь предчувствия пробегала по спине. И никакого в этом не было греха — думать о ней просто так, в шутку. Затаенная где-то глубоко, в нем жила тоска по Милли.

Солли поднялся с койки, зевнул и потянулся так, что по всему телу у него прошла дрожь сладкой истомы. За последние две недели он ни разу не был в гарнизонном баре. Червяк, сияя от удовольствия, отправлялся туда каждый вечер, словно к себе домой после работы. Червяк был уже безнадежно влюблен в девушку за стойкой бара.

Бык повернулся к Солли:

— Не будете ли вы так добры, капрал Солли, разъяснить этому тупоголовому пустомеле, что ему совершенно нечего веселиться, так как японцы убивают наших чистокровных американских солдат, угрожают нашей стране свободы, и нашей борьбе до победного конца, и домашнему очагу наших славных воинов, и... ну, словом, вы сами знаете все, что положено знать,— всю эту муру из арсенала нашей Великой Демократии. Может, он послушается вас, капрал Солли.

— *Нашей* стране свободы? — Червяк рассмеялся.— Хотел бы я посмотреть, как ты посмеешь повторить, что это *твоя* страна, здесь, в Джорджии, здешним линчевателям!

Солли вытянулся во весь рост, высокий, стройный, прижал к сердцу пилотку, закрыл глаза:

— ...Это правительство народа, для народа и с народом и никогда не исчезнет с лица земли... Аминь...

— Авраам Линкольн,— выкрикнул кто-то.

— Ладно, к чертовой матери, капрал Солли, разъясните этому жалкому недоразумению, мнящему себя человеком, этой случайной промашке его не слишком строгой маменьки, разъясните ему, для его же пользы, что к чему,— не унимался Бык Роджерс.

Солли сказал:

— Шутки в сторону, Червяк, вся эта болтовня про японцев тебе вовсе не к лицу. Прежде всего ты — американский гражданин, совершеннолетний, имеешь право голоса, здоров и, по-видимому, у тебя, как у всякого другого американца мужского пола, имеются все прочие качества, необходимые призывнику...

Червяк стал «смирно», иронически благоговейно склонил голову.

— Слушаюсь, ваша честь. Признаю себя виновным. Исполните свой долг и прикажите расстрелять меня на заре.

— Кроме того,— продолжал Солли,— ты не должен грызть себя из-за японцев только потому, что они тоже цветные. Посмотри, сколько

этот Тодзио убил китайцев. Мы ведем не расовую войну. Это война демократии против фашизма, это же просто и ясно, и тот, кто защищает Тодзио, тот защищает и Гитлера. Этим все сказано. А господин Шикльгрубер сказал, что негр ниже обезьяны. Я не требую, чтобы ты верил мне на слово — прочти «Mein Kampf».

— Вероятно, он был лично знаком с нашим Книжным Червяком Тейлором,— сказал Бык.— Но он, разумеется, ошибся. И нисколько-то Червяк не ниже обезьяны. Он самая настоящая обезьяна.— И Бык загрохотал и завыл от хохота, и затопал ногами по полу, и повалился на койку Червяка, и скатился с нее на пол, и заболтал ногами в воздухе, словно ехал на велосипеде. А Червяк глядел на Быка Роджерса с отвращением и сердито покачивал головой.

— Опасное это дело, когда бесхвостый медведь срывается с привязи,— сказал он.

— К черту, ребята, весь этот бред собачий! Кто все это затеял? Пошли в гарнизонный бар, Солли, поглядим, чем там сегодня угощают. Брось ты этого шута горохового!

— Это я тебе могу сказать, не двигаясь с места: ничем там не угощают.— Солли снова растянулся на койке.— А ты лучше прекрати свою болтовню насчет японцев, не то тебя так угостят, что ты своих не узнаешь. Побеседуй еще немножко в таком духе с добрым нашим капралом Быком, и он живо подведет тебя под военно-полевой суд.— «А мне,— подумал Солли,— придется писать донесение».

— Вставай, Соломон Сондерс,— сказал Червяк.— Отродясь еще не видал такого парня, как ты. Целый божий день просиживает штаны в канцелярии, а потом валяется на спине и глазеет то в пол, то в потолок или пишет письма... Проснись, слышишь, встряхнись! Пойдем в бар, пропустим стаканчик.

— Ладно, сейчас пойдем,— сказал Солли.— Но ты не должен закрывать глаза на факты. Гитлер, Тодзио и Юджин Толмедж * — они все в одной упряжке. Все трое — враги твои и мои. Глупо защищать одного, а других побивать камнями.

Бык Роджерс с нескрываемым восторгом воззрился на Солли, рассмеялся и покачал головой.

— И до чего ж это гладко у тебя получается, растак твою душу! Низкий мой вам поклон, папаша. Здорово язык подвешен... Далеко пойдет Солли Сондерс! И долго ты этому учился, чтобы так все подлаживать одно к одному — и факты, и басни, и всякую дерьмовину,— и все себе на пользу?

— Поди ты к черту, сгинь! — сказал ему Солли.

По дороге в гарнизонный бар Солли хотелось объяснить приятелю, почему он вдруг надумал пойти туда. Вот уже две недели, как Червяк каждый вечер звал его в бар, но Солли всегда отказывался.

— Знаешь, Червяк, дружище, ей-богу, я рад, что ты вытащил меня в бар сегодня. Куда ни куда, лишь бы подальше от этого сумасшедшего дома.

— Вся американская армия — сумасшедший дом,— сказал Червяк.— А твоя беда в том, что ты все принимаешь всерьез. Ты принимай жизнь легче, бери ее как она есть.

В баре они прямиком направились к стойке, за которой, сияя всеми своими прелестными ямочками, очаровательная, как всегда, стояла прекрасная леди, а вокруг, глупо ухмыляясь, растягивая рты до ушей, толпились солдаты всех мастей и комплекций. Солли и Тейлор постояли с краю минуты две, наконец Червяку удалось привлечь к себе внимание

---

* В описываемый период Юджин Толмедж, ярый расист, был губернатором Джорджии.

мисс Фанни Мэй. Она обернулась к ним, как к пропавшим без вести друзьям или возлюбленным.

Рябило в глазах от разудалого веселья одетых в одинаковую форму солдат, пианола-автомат пробивала барабанные перепонки «Голубыми птичками над белыми утесами Дувра».

— О,— произнесла мисс Фанни Мэй, обращаясь к Червяку Тейлору, но не сводя глаз с Солли,— я вижу, ваш друг все-таки решился нанести нам еще один визит. Мы очень польщены, капрал Сондерс.

Солли видел ее всего второй раз в жизни.

— Как вы поживаете? — Он улыбнулся ей своей нервной угловатой улыбкой, взволнованно отметив про себя, что она запомнила его имя.

— Великолепно,— ответила она и рассмеялась.— Просто великолепно.— Глаза у нее были даже еще темнее, глубже, теплее, чем ему казалось, когда он их вспоминал, а ее пухлый, красиво очерченный рот был чуточку слишком пухлым, слишком красивым, и его обдало жаром, когда он заметил, как под блузкой обозначалась ее нежная грудь, и блузка чуть колыхалась от дыхания. И все это так трогало его потому, что она напоминала ему Милли.

— Ага! — сказал Червяк хвастливо.— Этот мой приятель — он ведь у нас ротный писарь. Страсть какой занятой человек. По правде, это он вершит все дела у нас в роте. Без него американская армия и шагу бы ступить не могла.

Солли сказал:

— Вот что, рядовой Тейлор Джозеф, закажите этой леди, что вам требуется, и не отвлекайте ее от дела вашей дурацкой болтовней.— Рот у Милли меньше, чем у Фанни Мэй, и глаза не такие темные.

— Мне, как всегда,— сказал Червяк.— А моему приятелю то же, что мне.— И когда она повернулась к ним спиной, он продолжал, не понизив голоса: — Она знает, что́ я пью, дружище. Я ведь торчу здесь каждый вечер. Как-нибудь на днях она позволит мне проводить ее домой.

Солли шутливо поддразнил его:

— А что, если я не выпишу тебе пропуск? Полицейские в воротах будут молотить тебя по башке, пока не набьют на кулаках мозоли.

— У моей дамы свой автомобиль, дружок. И она уезжает отсюда каждый вечер вдвоем со своей подружкой. Ну же, встряхнись, наконец!

Они примолкли, когда барышня вернулась к ним с двумя порциями молочного коктейля, и торчали там, среди этого адского шума, болтая о том, о сем и тотчас принимаясь за новый стакан, как только расправлялись с предыдущим, пока не пришло время закрывать. И Солли познакомили с подругой Фанни Мэй, которую звали Салли Энн Уолтерс и которая работала в табачном киоске. У нее была светло-коричневая кожа, серые глаза и каштановые локоны, мягкой волной сбегавшие с покатых плеч. Она была чуточку выше ростом, чем Фанни Мэй.

— Очень рада познакомиться с вами, капрал Сондерс. Ваш товарищ так много рассказывал нам про вас, что мне кажется, будто я вас уже давно знаю.— Глаза у нее были очень большие и полные тревожного любопытства. Солли подумал, что, вероятно, ее находят хорошенькой.

Они все уже вышли из бара, когда Червяк повторил свой вопрос: не разрешат ли дамы проводить их домой?

Фанни Мэй рассмеялась.

— А вы нелегко теряете присутствие духа, мистер Тейлор.— Она обернулась к своей приятельнице: — Ну, что ты скажешь, Салли Энн? — Было похоже, что они уже обо всем договорились заранее.

Салли Энн сказала, скромно потупив взор:

— Я ничего не имею против.— Но от Солли не укрылось, что ей этого хочется: голос и украдкой брошенный на него взгляд выдали ее.

Червяк сказал:

— Салли и Солли — неплохое сочетание.

И Солли захотелось свернуть ему шею и повторить эту операцию еще разок для круглого счета.

Салли Энн принужденно рассмеялась. Все четверо направились к площадке, где стоял автомобиль Фанни Мэй. Подразумевалось, что Солли, понятное дело, поедет вместе со всеми, так сказать, за компанию. Теперь они уже стояли возле автомобиля, и Червяк прямо-таки из кожи вон лез, уговаривая Солли.

— Поехали, друг! — твердил он.— Не будь паразитом.

— Право, я бы очень хотел, но не могу, Джо. Я не притворяюсь. Ей-богу, я бы с удовольствием.

— Ну что ж, девушки, я сделал все, что мог,— сказал Червяк, воздевая к небу руки.— Может, вам удастся уговорить его.

— Мне кажется, мы не должны навязывать наше общество капралу Сондерсу. Раз у него дела, значит, ничего не поделаешь,— сказала Фанни Мэй, поглядев прямо в глаза Солли, и от ее взгляда ему стало жарко, и он почувствовал себя довольно глупо.

Они стали садиться в машину, и после небольшого замешательства Червяк сел впереди, рядом с Фанни Мэй, а мисс Уолтерс — одна на заднее сиденье. Прежде чем тронуться в путь, обе девушки попрощались с Солли, а Червяк сказал блаженно-самодовольным голосом, словно он забрался в теплую постель и уютно устроился на ночь, натянув одеяло до подбородка и подоткнув его со всех сторон:

— Увидимся в казарме, малыш. Не перегружай себя работой.

Солли сидел на своей койке и думал о Червяке, и Фанни Мэй, и о том, что они сейчас делают, и о том, какое ему, черт побери, дело до того, что они сейчас делают. Теперь он уже и сам толком не знал, почему не поехал с девушками и с Тейлором. Может быть, он боялся, что военная полиция поймает его без пропуска за воротами гарнизона, а он хотел сохранить незапятнанным свой военный послужной список, не хотел рисковать карьерой. А может быть, он заранее знал, что Червяк сядет впереди с Фанни Мэй, а ему придется сидеть сзади с мисс Уолтерс, и, может быть, он просто немножко ревнует Фанни Мэй к рядовому Джо Тейлору — к рядовому Джозефу Тейлору, просто рядовому, не исполняющему еще даже обязанностей капрала. Ладно, черт подери, может быть, он действительно ревнует. Он подумал было, не написать ли письмо Милли, но почувствовал, что сегодня у него не лежит душа к письмам. Милли сейчас, вероятно, в войсковом клубе, и, быть может, в эту самую минуту она танцует с каким-нибудь солдатом и слушает, что он там ей напевает, и, быть может, она улыбается, глядя ему в глаза, и, быть может, даже назначает ему свидание — просто чтобы поддержать его и свой боевой дух на должной высоте.

Он все еще лежал, не раздеваясь, на своей койке, когда вернулся Червяк. Солли закрыл глаза и слушал, как он возится, шебуршит, снимает башмаки, а может быть, рубашку. Во всей американской армии, вероятно, нет более шумливой скотины! Солли мучительно хотелось пошевелиться. Но вовсе не хотелось выслушивать отчет о любовных похождениях рядового Джозефа Казановы Тейлора.

— Ну-ка, солдат, выкладывай, где тебя черти носили? — Солли услышал, как Длинный зашлепал огромными босыми ступнями к койке Тейлора.

— А где, по-твоему, могли они меня носить?

— Да ладно тебе, Червяк, рассказывай! Где был? Что делал?

Солли медленно открыл глаза и сел на койке.

— Почему вы, дьяволы горластые, не даете людям спать?

— А я так и знал, что ты валяешь дурака, прикидываешься! — радостно заявил Червяк.— Жаль, что ты не поехал со мной, малыш. Девчонки эти обе хороши — твоя ничуть не хуже моей.

— Как это понять — «твоя»? — спросил Солли.

— Ты гулял с девками, Червяк? А ты молодец, парень, не теряешься! — Длинный присел на койку рядом с Солли.

— Все это никак тебя не касается. Отвяжись от меня,— сказал Червяк, но было совершенно ясно, что он до смерти доволен, и Солли опять невольно бросило в жар.

Длинный старался схватить Червяка за руку, а тот отмахивался.

— Сказано, отстань ты от меня, гусеница! — Червяк положительно действовал Солли на нервы своей широкой ухмылкой на широком простоватом лице.

— Старина Червяк охулки на руку не положит!

Образ прелестной Фанни Мэй встал перед глазами Солли, и он почувствовал, как его гнев растет.

— Здесь в городе организовано отделение НААСПа *, и моя подружка выбрана председателем Совета молодежи.

— Твоя подружка? — не выдержал Солли.

— Ясное дело, это его подружка,— вступился Длинный.— Раз она сейчас была с ним, значит, его. По крайней мере до тех пор, пока она не пустит другого жеребца к себе в стойло.

— Моя подружка у них председатель,— повторил Червяк.— А Салли Энн, я хочу сказать, мисс Уолтерс,— секретарь, кажется, или что-то в этом роде. Я сказал им, что это особенно заинтересует тебя, Солли. Так же, как разные там ихние разговоры о борьбе на два фронта до победы и всякое такое прочее. Это их лозунг. Она вроде тебя. Называет себя антифашисткой. Насквозь и даже глубже.

— К черту всю эту муру! Слушай, Червяк, расскажи нам лучше про свою кошечку. Нечего таиться от товарищей.

Тейлор поглядел на Солли и отвел глаза. Потом взглянул на Длинного и стыдливо улыбнулся. Солли вдруг увидел — словно смотрел на себя со стороны,— что он встает и смеется прямо в лицо Книжному Червяку Тейлору. Собственный голос странно прозвучал у него в ушах.

— Слушай, Тейлор, ты ведь даже не знаешь, что делать с женщиной, ты же девственник.— Он смотрел на Червяка сверху вниз, и гневная усмешка кривила его губы, а Червяк глядел на него снизу вверх, и на широком простодушном лице его застыло неподдельное изумление. На секунду он просто онемел.

Солли продолжал:

— Может, ты оставишь в покое эту барышню из гарнизонного бара? Ты прекрасно знаешь, черт тебя дери, что она на тебя ноль внимания. Да она тебя на пушечный выстрел к себе не подпустит.

Червяк проговорил упавшим голосом:

— Что с тобой, друг? Ты никак ревнуешь?

— Ревную? — переспросил Солли.— Я? Ревную к этому девственнику? Я же знаю, что ты еще бережешь себя. Спорим, кто желает. Ставлю десять против одного.— Он окинул взглядом лица солдат.— С любым держу пари.

Теперь уже все солдаты посмеивались, глядя на Червяка, а тот так был поражен этим неожиданным наскоком, да еще со стороны кого — своего лучшего закадычного дружка Солли Сондерса,— что никак не мог прийти в себя от изумления и растерянно пробормотал:

---

* Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.

— В чем дело, старик?

— Прекрати свои грязные намеки по адресу этой девушки из бара, больше ничего. Если девушка мила и дружелюбна, это еще не дает тебе права делать из мухи слона.

— Я же не сказал ничего непочтительного по ее адресу.

— Не советую и впредь, господин Червяк,— отрезал Солли, повернулся, в полном молчании прошел через всю казарму, направился в канцелярию, сел и написал письмо Милли, а потом маме.

Он кончил писать, поднял голову и прямо перед собой увидел лицо Фанни Мэй. Он закрыл глаза, и чувство одиночества заполнило собой все. И тоска по Милли. Она поглотила его целиком; его глаза, руки, горло, грудь, спина, живот, чресла — все призывало Милли. Он слышал, как солдаты в казарме все еще продолжали говорить о женщинах, и смеялись, и топали ногами. Он открыл глаза, и Фанни Мэй снова была здесь перед ним: она смотрела на него большими темными глазами, и на полных ее губах играла нежная улыбка... И в этот миг произошло что-то странное. Он услышал музыку. С минуту он прислушивался к ней, словно в упоительном полусне, а потом схватил перо и начал писать. С самого детства, с тех пор как он себя помнил, овладевала им по временам эта странная одержимость, эта неукротимая потребность писать, излить что-то на бумаге, и в десять, в одиннадцать, в двенадцать лет он уже писал стихи и прозу, один как перст в маленькой кухоньке однокомнатной квартиры, в одиночестве Нью-Йорка, в то время как его мать с утра до поздней ночи стелила чужие постели в гостинице на одной из центральных улиц Манхэттена. В школе и в колледже его писания печатались в школьных и студенческих журналах. В ящике его письменного стола валялся целый ворох присланных из редакций отказов.

Кровь прилила к его лицу, стало жарко в груди, дрожащими пальцами он сжал перо и начал писать:

Этот мир — слишком грустное место
Для счастливой улыбки твоей,
Сердце чистое слишком глубоко
Для коварного мира скорбей,
Опасайся его, Фанни Мэй!

Он поднял глаза на Фанни Мэй. Она больше не улыбалась.

Он стал писать дальше. Ему было хорошо, когда он писал. Он чувствовал себя мужчиной. Настоящим мужчиной. Полноценным. Целеустремленным. Зрелым.

Нежный облик твой — взору отрада.
Но спастись невозможно от яда
Слишком яростно мстящего мира.
Чистота твоя слишком нежна,
Беззащитна и обречена...

Он бросил перо и разорвал бумагу на мелкие клочки. Что он, собственно говоря, о ней знает? И что он смыслит в стихах? Просто ему очень одиноко, вот и все. Одинокий человек в шумной, чужой пустыне. Она красива, а он одинок. Вот и все, и ничего больше. Он бы свыкся с военной службой, если бы ему не было так одиноко почти всегда. Надо взять себя в руки. Может быть, Тейлор прав. Может быть, он относится ко всему слишком серьезно. Он все время взвинченный, все время как на иголках. Может быть, нужно так, как говорит Тейлор, относиться ко всему легче, брать жизнь, как она есть? Он чересчур старается преуспеть. Может быть... может быть, надо почаще наведываться в бар? И не мешает иногда пропустить стаканчик-другой молочного коктейля. И немного развлечься.

Глава 5

Солли сидел в канцелярии и просматривал проспект офицерского училища. Когда Удача постучится к нему, он должен распахнуть перед ней дверь не мешкая. Было уже за полночь, и у него слипались глаза, но он боролся с дремотой, так как хотел удостовериться в том, что Книжный Червяк Тейлор все-таки вернется ночевать в казарму. Червяк опять отправился провожать домой барышню из бара и запаздывал больше обычного. Солли услышал наконец, что он поднимается по лестнице — с грохотом, как всегда. Солли уже привык узнавать его шаги. Он отбросил брошюру и вскочил на ноги, когда Червяк ввалился в канцелярию — неуклюжий, словно тяжеловоз.

— Черт! Что случилось?

Червяк был похож на несчастный случай, который ищет места, где бы ему произойти. На рассеченных, вздувшихся губах запеклась кровь, одежда разорвана, галстук болтается на спине, рубашка вылезла из брюк. Пилотка исчезла.

— У тебя есть пистолет, Солли? Есть у тебя пистолет? Я пристрелю этого сукиного сына, даже если мне придется охотиться за ним всю ночь.

Солли взял Червяка за руку и сделал попытку усадить его на стул.

— В чем дело, старик? Что с тобой?

Червяк отпихнул Солли.

— Не важно, что со мной. Мне нужен пистолет, и я пойду и убью этого сукиного сына к чертовой матери! — Губы у него дрожали от ярости. По опухшему лицу катились слезы. Он вытер нос трясущейся рукой, потом рукавом.

— Постой, постой. Сядь и возьми себя в руки.— Солли потряс Червяка за плечи и снова попытался усадить на стул, но Червяк снова вырвался.

— Некогда мне тут рассиживаться. Я должен пристрелить этого сукиного сына сегодня же ночью. Ты слышишь, что я говорю?

— Ну хорошо, хорошо. Значит, ты собираешься пристрелить этого сукиного сына. Но успокойся на минуту и расскажи мне, что случилось.— Солли достал из ящика санитарную сумку и пузырек с йодом. Червяк взвыл от боли, когда йод коснулся его разбитых губ.— Ну, а теперь выкладывай, что произошло.

— Ты мой друг, Солли, верно?

— Конечно, я твой друг.

— Тогда помоги мне достать где-нибудь пистолет, потому что я должен его убить.

— Кого убить?

Может быть, Червяк нарвался на какого-нибудь дружка Фанни Мэй? У него был такой вид, словно он сражался с трехтонкой.

— Я проводил Фанни Мэй домой,— у Тейлора слезы бежали ручьем и текло из носа,— и зашел в «Прилежную пчелку» — там закусочная и бар,— и решил пропустить стаканчик перед сном. В «Прилежной пчелке» все было тихо-мирно, пока не появились два кракера из военной полиции и не начали задирать солдат и приставать к женщинам. Хорошо еще, что Фанни Мэй со мной не было. Я бы уже давно был покойником, если бы они посмели ее тронуть. А теперь я сам отправлю на тот свет одного из этих кракеров, это как бог свят. Они, понимаешь, подходят к стойке, где я пью, и говорят: «Ну-ка, малый, двигай, двигай отсюда». Я говорю: «Дядя Сэм не держит малых у себя в армии». А они мне: «Ладно, брось задаваться». Я говорю: «Никто не задается. Это вы задаетесь». Тут один из них говорит: «Заткни свою вонючую

глотку». А я говорю: «Может, вы, гады, оставите меня в покое?» Тут они навалились на меня с двух сторон, запихнули в свой «джип», отвезли в какой-то глухой закоулок и исколошматили, будь здоров. Я так заехал одному из этих ублюдков в живот, что у меня рука ушла по локоть.

— Они тебе больше ничего не повредили, кроме физиономии?

— Они меня били по чем попало, живого места не осталось,— сказал Червяк,— и чтоб мне пропасть, если я до них не доберусь.

— Ладно,— сказал Солли.— Пока что тебе надо принять душ, лечь в постель, выспаться, а утром доложим, что ты заболел. Надо, чтобы тебя осмотрел врач. Ты утром головы поднять не сможешь.

У Червяка снова из глаз покатились слезы.

— Скажи, где мне достать пистолет?

И Солли тоже захотелось плакать. И ему тоже захотелось раздобыть пистолет и пойти и прострелить черепушку какому-нибудь полицейскому. В этой армии из кожи вон лезут, чтобы доказать солдатам-неграм, что это не их война. Но черт подери, он-то верит в эту войну. И они ему голову не задурят. И он станет офицером, вопреки всем кракерам из военной полиции города Эббенсвилля и из лагеря имени Джонсона Генри. И вопреки Скотти и Червяку Тейлору тоже.

Червяк сказал:

— Это армия или не армия? Где-нибудь, черт их дери, должно же быть какое ни на есть оружие? Ведь предполагается как будто, что это армия.

Солли старался говорить без раздражения:

— Нет у нас никакого оружия, и никто нам его не даст, и...

— Армия это или не армия?

— ...и если мы отправимся туда сейчас, ночью, они просто-напросто изобьют до полусмерти нас обоих, чтобы мы не были в следующий раз идиотами. Ты же *проштрафился,* понимаешь, был в самовольной отлучке, и тебе еще повезло, что они не спросили у тебя пропуска, которого у тебя не было.

Червяк засопел, проглотил слезы и поглядел на своего друга.

— Так, значит, мне повезло? Они избили меня, как последнего сукиного сына, а мне, значит, еще повезло, что они не убили меня совсем? Вероятно, я должен сейчас пасть на колени и возблагодарить всевышнего! Ты, как видно, просто влюблен в эту поганую американскую армию. Ты любишь ее больше, чем меня. Ты так ее защищаешь, черт ее дери, словно вложил в нее свой капитал.

Теперь Солли вскипел:

— Можешь понимать это, как тебе угодно. Ты сам еще пока что служишь в американской армии и будешь служить и дальше, значит, служи честно и не марай себя.

— А я-то думал, что ты мой закадычный друг...

— Я и есть твой друг,— сказал Солли.— Но когда мой друг не прав — он не прав, хоть он и мой друг. А ты сам лез на рожон, когда отправился без пропуска в этот город белых расистов.

Солли отвел Червяка вниз, заставил его принять хороший горячий душ и уложил в постель. Червяк уснул, едва голова его коснулась подушки, и богатырский его храп мог бы мертвого поднять из могилы.

А Солли лежал на своей койке, рядом с койкой Червяка, и глядел на белый потолок казармы. А может, действительно надо было раздобыть пистолеты, пойти в город и перестрелять этих подонков? Быть может, Червяк по-своему прав. Ты, Соломон Сондерс,— такой же дядя Том, только на новый лад, похитрее, а по существу ты отбросил только негритянский диалект из его старого арсенала, и все. Взгляни правде в глаза. Твоя военная карьера для тебя дороже дружбы твоего товарища,

только ты не хочешь, чтобы товарищ тебя раскусил. А какого черта? Все так живут. С волками жить — по-волчьи выть. По-волчьи, по-волчьи. Милли видит его насквозь. Он хочет, чтобы белые допустили его в свой мир, но не хочет, чтобы свои заметили, как он этого добивается. Лишь бы Червяк не отвернулся от него.

Кого, черт побери, думаешь ты обмануть, Солли Сондерс? Не так уж ты озабочен тем, что подумает о тебе Червяк. Его ты сумеешь убедить в том, что от тебя пахнет фиалками, даже если вылезешь прямо из выгребной ямы. Он твой лучший друг и слишком близок к тебе, чтобы видеть тебя во весь рост. А вот этот ухмыляющийся Бык Роджерс действует тебе на нервы, потому что ты его боишься, боишься, что он-то видит тебя насквозь. Как Милли. И ее ты тоже боишься. Бык — тот по крайней мере откровенный жулик и пошляк. А ты прикидываешься борцом против расизма, антифашистом... поборником Войны за Демократию... Солли вскочил, шагнул к Быку Роджерсу, от которого его отделяли три койки, и уставился на круглолицего солдата, спавшего мирно, как младенец в колыбели — невинный младенец, не ведающий угрызений совести. Солли захотелось хорошим ударом кулака сбросить этого ублюдка с койки на пол. Он оглянулся, потом снова взглянул на спящего солдата и смущенно попятился. Потом повернулся и вышел на площадку лестницы, где стоял бак с холодной водой.

Глава 6

Осень поздно пришла в тот год, как, впрочем, всегда в штате Джорджия, но, придя, она обрушилась сразу и золотом, и багрянцем, и густой сепией. В четверг после полудня зарядил дождь, и солдаты с обеда до полуночи таскали в казармы красную жидкую грязь на своих башмаках. Всю ночь дождь лил так, словно небеса хотели излить на землю всю свою влагу до последней капли. Часам к шести утра ливень прекратился, и промокшие деревья стояли, роняя капли, и, казалось, умирали медленной смертью, и в этом осеннем умирании была особенная пронзительная красота: темно-зеленые листья становились красновато-золотисто-бурыми, и плакали, и умирали, и падали, падали, падали, и кружились над всем лагерем, над всей Джорджией, и в это утро Скотти выпустили с гауптвахты, и он вернулся в роту. Словно вставший из могилы мертвец.

Солли принес командиру роты суточную ведомость на подпись, когда появился Скотти, волоча за собой мешок с постельными принадлежностями. Он сдернул с головы пилотку и лихо отдал честь сначала командиру роты, потом Солли и тут же с самым смиренным видом попросил командира дать ему увольнительную на десять дней, а когда командир, которого едва не хватил удар, отказал ему, Скотти обратился к Солли.

Солли пристально поглядел на солдата и покачал головой:

— Я ничем не могу тебе помочь.

В тот же вечер Скотти припер Солли к стенке и обозвал его дядей Томом.

— Зачем ты трусишь перед белыми? Они тебя не укусят.

Пылая холодным бешенством, Солли сказал ему, не повышая голоса:

— Хочешь строить из себя идиота — валяй на здоровье, только меня в это не путай. Веселись один.

■

Все и вся действовало Солли на нервы. На следующее утро Сэмюэлс зашел в ротную канцелярию, бросил мимоходом взгляд из-за плеча Солли на продовольственную ведомость в машинке, полистал папки, по-

хвалил Солли за порядок, в котором содержится у него ротная документация, и предложил сигарету.

— Что такое происходит у вас в роте, капрал?

Лейтенант уселся за стол старшего сержанта.

— Я бы попросил вас не называть меня капралом, лейтенант. — Солли почувствовал, как кровь прихлынула у него к лицу. Он глубоко затянулся сигаретой.

— Вы исполняете обязанности капрала и будете произведены в капралы, как только из полка поступит приказ. Как только полковник его подпишет. Вы сами его печатали. Я рекомендовал лейтенанту Резерфорду...

— Я печатал приказ и знаю, что мне присваивается звание ефрейтора. Семь солдат произведены в капралы. Среди них ни одного рядового по фамилии Сондерс.

В открытое окно со двора донесся пронзительный голос командира роты:

— ...БОЛЬШЕ НЕ ПОТЕРПЛЮ НИКАКИХ БЕЗОБРАЗИЙ! Я ВАС НАУЧУ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАРЯДЫ, ЧЕРТ БЫ ВАС ПОБРАЛ! Я ВАМ ПОКАЖУ, КАК УВИЛИВАТЬ, КАЖДОМУ ИЗ ВАС, ПЕРСОНАЛЬНО, ШЕЮ СВЕРНУ! И ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ РАЗ ПОЗВОЛИТ СЕБЕ КАКОЕ-НИБУДЬ БЕСЧИНСТВО В ГОРОДЕ, Я УПРЯЧУ ЕГО НА ГАУПТВАХТУ И ПОЗАБУДУ, ЧТО ОН ТАМ!

Солли подошел к окну и поглядел вниз, где Резерфорд, высокий, тощий, краснорожий и кувшиннорылый, расхаживал перед ротой молчаливых солдат, подтягивая локтями сползавшие брюки, и орал во всю мочь своего теноровo-дискантового голоса, а кадык так и перекатывался снизу вверх и сверху вниз на его костлявой шее. Солли внезапно почувствовал себя как-то легко и свободно, словно воспринял мудрость, которой так любил щеголять Червяк Тейлор. Похоже было, что командиру роты здорово всыпали пониже спины в штабе полка. Сейчас его южный акцент был слышен весьма отчетливо.

— ...ЭТО НЕ УГРОЗА, Я СВОЕ СЛОВО СДЕРЖУ, ЧЕРТ БЫ ВАС ПОБРАЛ!

Солли отошел от окна и снова сел за машинку. Он коротко, сухо рассмеялся.

— Старший лейтенант Чарльз Резерфорд — вот поистине великий наставник по части солдатской морали.

Дверь отворилась, вошел Резерфорд.

— Сондерс, приказываю вам тотчас разыскать старшего сержанта Андерсона и сказать ему, что я отдал распоряжение всей роте быть готовой к маршу на десять миль сегодня после обеда. Всем солдатам до единого, включая дежурных по кухне и столовой и всех прочих, а также сержантов-автомехаников и заведующего пищеблоком.

■

Солдаты в походной форме с полной выкладкой и незаряженными винтовками выстроились на ротном плацу и начали марш. Черные и коричневые, блестевшие от пота лица были насуплены и угрюмы, пока солдаты не достигли леса, примерно в полумиле от казарм. Здесь лейтенант Сэмюэлс дал приказ идти вольно, и солдаты тотчас сломали строй, сбились с ноги и начали переговариваться.

Смех, ворчание, возгласы, брань. Палящий зной, беспощадное солнце и пыль Джорджии, красная раскаленная сверкающая земля, клубы красной пыли от тяжелых армейских башмаков, клубы красной пыли в воздухе, красная пыль на потных лицах, красная пыль везде, на всем.

Полное походное снаряжение все сильнее и сильнее оттягивает плечи. Солли уже кажется, что он тащит Червяка Тейлора у себя на закорках. Они с Тейлором шагают бок о бок. В глазах, в ушах, во рту — пыль и пот.

От тяжести ноши за плечами Солли кажется, что у него сейчас хрустнут шейные позвонки. И вместе с тем как-то хорошо у него на душе сегодня. Он чувствует себя как-то ближе к Червяку и к остальным товарищам.

Впереди колонны кто-то затянул песню, и ее сразу подхватили все:

Слава, слава, аллилуйя,
Слава, слава, аллилуйя,

Слава, слава, аллилуйя,
Его правда не умрет...*

Оборвалась песня, затих смех, и Солли внезапно снова вспомнил, что он вьючное животное. У него ломило спину, во рту и в горле пересохло от жары и пыли, точно ком грязи застрял в глотке. Еще немного, и он бы, верно, упал, но тут старший сержант поравнялся с ними и скомандовал привал, а лейтенант скомандовал разойтись и разрешил покурить и все прочее — только не выходить из поля его зрения. Кто-то повалился на землю, где стоял, прямо у дороги, другие отошли на несколько шагов в сторону, в зеленую прохладу леса, и растянулись на лоснящейся от солнца траве, прислонившись спиной к толстым стволам деревьев. Тейлор примостился у высокой сосны, а Солли, обливаясь потом,— рядом с ним на траве и утонул взглядом в бездонной синеве в просвете между вершинами деревьев. Он медленно, глубоко затянулся сигаретой и ощутил блаженство — ноздрями, ртом, горлом, плечами, грудью, животом, ощутил блаженство и такую безграничную усталость, что казалось, это уже навсегда.

Из темно-зеленой глуби леса тянуло удушливо пряным запахом, на землю, кружась, падали золотисто-коричневые листья.

Смуглый, почти бронзовый человек, стоял, глядя сверху вниз на группу темнокожих людей, добрых и злых, обладающих всеми многообразными особенностями, присущими человеческому роду. Он закурил сигарету, медленно, глубоко затянулся, швырнул ее на землю и начал нервно затаптывать своей большой ступней. Затем подобрал ее, затушил и отшвырнул снова. Солли следил за каждым движением этого человека, лейтенанта Сэмюэлса, его дружка, ловкого обманщика из города Нью-Йорка, скороспелого офицеришки — олицетворенная энергия, ни секунды без дела. Порой лейтенант нравился ему, помимо его воли. А может быть, даже не просто нравился. Может быть, он за что-то им восхищался, невольно его полюбил.

— Солдаты, — начал этот смуглолицый белый,— мне кажется, я немного догадываюсь о том, как вы себя чувствуете...

Кое-кто из солдат переглянулся, кто-то откашлялся.

— Никому из нас не хочется служить в армии. Никому из нас не нравится война. Каждый был бы рад вернуться домой к мирной жизни...

Бык Роджерс пробормотал вполголоса:

— Мало кто из этих подонков знал прежде такую хорошую жизнь, как в армии. Вам теперь под дулом пистолета не заставить их убраться отсюда. А на некоторых и это не подействует. Придется вам застрелить их для начала. — И он снизу вверх устремил пытливый взгляд на лейтенанта. Кое-кто из солдат опустил голову, подавляя смешок.

— ... Каждый из нас должен выполнить, что положено, и чем скорее это будет сделано, тем раньше сможем мы вернуться к мирной жизни.

---

* Из песни об аболиционисте Джоне Брауне.

Не мы начали эту войну, но кончать ее придется нам. Силы, которые затеяли войну, враждебны всему, что мы привыкли считать естественным и непреложным. Если они победят, тогда спаси господи нашу демократию. Гитлер, Геббельс и Розенберг вбили немецкому народу в голову, что он — Herrenvolk — раса господ, и стараются огнем и мечом навязать этот взгляд всему человечеству. Вот почему мы ведем эту войну. — Лейтенант сделал паузу, взгляд его перебегал с одного лица на другое. — Я знаю, что у каждого из вас накопилось кое-что на сердце. Почему бы вам не воспользоваться сейчас случаем и не высказать всего напрямик?

Солли с надеждой поглядел по сторонам. Нет, никто не клюнул. Солли почувствовал, как в нем растет злоба на товарищей — вот так они, вот так его народ всегда: ворчат себе под нос, а когда приходит время заговорить в открытую, у них внезапно отнимается язык.

— Я хочу, искренне хочу, чтобы вы, ребята, были со мной откровенны. Задавайте любые вопросы, какие у вас на уме. Пусть у нас сегодня будет час разговора по душам.

Солдаты переглядывались. Из чащи леса повеял легкий ветерок; он низко пролетел над самой травой, и все травинки и былинки заплясали отчаянную румбу, а в воздухе закружились золотисто-коричневые листья и стали опускаться на примолкших солдат. Головастый Бейкер крякнул, прочищая глотку, и все навострили уши, и все лица застыли в ожидании, но ничего не произошло. Зеленовато-серая белка скользнула вниз по стволу сосны, приостановилась на мгновение, поглядела на солдат и, презрительно вильнув хвостом, скрылась в высокой зеленой траве.

— Офицера не может не интересовать настроение его солдат. Он должен пользоваться их доверием, иначе он никудышный офицер. Я знаю, что у вас тысячи вопросов вертятся на языке. — Лейтенант снова помолчал, выжидая. — Ну хотя бы у вас, капрал Сондерс?

Солли опустил глаза на танцующие у его ног на ветру былинки. Почувствовал, как по разгоряченному телу снова полыхнуло жаром. Почувствовал тяжесть устремленных на него взглядов солдат. Поднял глаза и посмотрел на своего командира. Потом встал и поглядел вдаль на пыльную дорогу, видневшуюся в просветах между темно-зеленой, почти черной чащей леса. Какая-то тяжесть была разлита в воздухе и давила на плечи, и во всем теле у него тоже была тяжесть. И усталость. До изнеможения.

— У меня нет никаких вопросов, лейтенант.

— Тогда, может быть, вы хотите что-нибудь сказать?

Солли поглядел на дружелюбное, напряженно ждущее, дубленное солнцем лицо белого офицера, потом оглянулся на черные, коричневые и светло-коричневые лица. Нервно откашлялся. Почему этот офицер не может оставить его в покое? Почему люди не дают ему спокойно жить?

— Я буду говорить с вами совершенно откровенно, лейтенант, потому что, как я понимаю, именно этого вы хотите.— Он-то ведь не офицер. Он ефрейтор, исполняющий обязанности капрала.

— Абсолютно правильно! — сказал Сэмюэлс. — Иначе мы будем попусту тратить драгоценное время и затягивать войну.

— Так вот,— начал Солли, — я согласен с вами в том, что касается Гитлера, и Herrenvolk, и тому подобного. Я читал «Mein Kampf» и так же, как вы, ненавижу все, за что ратует Гитлер, но... но... но тут есть еще другая сторона дела. Существуют американцы, которые тоже верят в Herrenvolk. Вся американская армия проникнута духом Herrenvolk.— Сначала Солли сам не знал, что́ он собирается сказать. Голос его дрогнул, когда он воспаленным, пересохшим горлом глубоко вобрал в легкие свежий, зеленый, лесной воздух. Еще вчера он не промолвил бы ни слова.— Тем не менее, даже став на узконациональную точку зрения негритянского населения Америки, я должен признать, что эта война ждет от

нас своей лепты. Я опасаюсь... я даже уверен: если Гитлер победит, негры потеряют все, чего им удалось добиться.

— Вы совершенно правы, капрал. Именно в этом все дело.

— Ну, а теперь о моральном состоянии солдат, и нашей роты в частности. Вся грязная работа достается нам. И кто-то берет на себя труд докладывать о нас в штабе полка. При этом наша рота получает куда меньше пропусков, чем любая другая. И вам, конечно, известно о том, как эббенсвилльские полицейские и военная полиция обращаются с нашими солдатами, стоит только им попасться кому-нибудь на глаза в городе, однако никто ничего по этому поводу не предпринимает, если не считать того, что нас же еще гоняют на десятимильные марши, чтобы, как видно, остудить наш пыл.

Кто-то из солдат язвительно рассмеялся. Солли умолк.

— Продолжайте, капрал.

— Я все сказал, лейтенант. Я целиком согласен с вами и так же, как вы и как всякий другой, заинтересован в крепости духа наших солдат. — Он опустился на землю рядом с Тейлором, растянулся на спине, и легкий ветерок, шелестевший в траве, овеял его разгоряченное лицо. Дурак он, надо ж было так распустить язык! Чего он этим достиг?

— Благодарю вас, Сондерс. Можете мне поверить, я глубоко ценю вашу прямоту. Теперь мы уже добираемся до конкретных причин. — Сэмюэлс снял очки и обвел глазами сидевших на земле солдат. — Кто хочет еще что-нибудь сказать?

Тейлор поднял руку, и Солли закрыл глаза и затаил дыхание.

— Как это получилось, что в Пятьдесят пятом транспортном полку нет ни одного цветного офицера?

Сэмюэлс снова надел очки и долго, пристально глядел на Тейлора. Солли казалось, что он видит ставшие серьезными лица солдат, и до его слуха долетел чей-то приглушенный смешок. Иронический и вызывающий. Какого черта! Почему он жалеет этого офицерика? Сэмюэлс достал из кармана носовой платок цвета хаки и вытер лоб. Голос его внезапно прозвучал как-то глухо.

— На этот вопрос я не сумею вам ответить. Знаю только, что во многих военных частях нет цветных офицеров, и наш полк как раз и является одной из таких частей.

Некоторые солдаты теперь уже смеялись открыто, а Длинный Линкольн пробормотал негромко, но достаточно отчетливо:

— Ох и заливает же!

Лицо лейтенанта внезапно из бронзово-смуглого сделалось кирпично-пунцовым.

— Спокойно, ребята! — Лейтенант откашлялся. — Конечно, конечно, я понимаю сам... в том, что я сейчас сказал, есть некоторая недооценка современного положения вещей, и это нельзя считать ответом на заданный мне вопрос. Что ж... я не стану отрицать — в нашей армии существует дискриминация и даже в больших размерах. Мы все это знаем. Но если вы, ребята, поможете мне поднять на высоту нашу роту и постараетесь сделать так, чтобы мы могли по чести ею гордиться, одно я во всяком случае могу вам обещать: я сделаю все, что только в моих силах, чтобы наша рота пользовалась всеми правами и привилегиями, как и всякая другая в этом лагере. — Лейтенант помолчал. — Ну как, ребята, по рукам?

Он переводил взгляд с одного лица на другое, потом поглядел на часы. Он ждал, но никто не проронил ни звука. Солдаты были не в настроении заключать сделки. Солнце уже клонилось к закату, и длинные рваные тени беззвучно проползли между деревьями, проникли в зеленую чащу леса и углубили тягостно нависшее молчание.

Головастый сказал:

— Мы постараемся, сэр.

Большинство солдат рассмеялось. Головастый был первый мошенник и пустомеля на всю роту.

Глава 7

Воскресенье после полудня. Ленивое южное воскресенье в октябре. Ясное, тихое, прогретое солнцем, совсем как летом. Жизнь не простая штука, думает Солли. Люди миллионами отдают богу душу. Немцы целыми ночами бросают бомбы на Лондон, и эти англичане со своей хваленой невозмутимостью, и Черчилль со своей сигарой и своим «V»*— своей борьбой до победы. И Сталин со своей Москвой и Сталинградом. И прелестная мисс Фанни Мэй Брэнтон со своей борьбой на два фронта.

Солли вышел из автобуса в Эббенсвилле, прошел в зал ожидания для цветных и отыскал ее номер в телефонной книге. Чего ради торчать в лагере в такой чудесный день, раз командир оставил у него на столе в канцелярии пропуск на его имя? Если Скотти, Тейлор и Линкольн еще не разобрались до конца, за что они воюют, это не причина, чтобы он тоже сидел и морочил себе голову. Ладно, дружище, ты оставайся в казарме со своей борьбой на два фронта, а мы навестим твою подружку и посмотрим, на чьей стороне окажется победа. Адью!

В телефонной будке было жарко и душно — набирая номер, он сразу вспотел от волнения. Он был бесконечно одинок, сидя у себя на койке в пустой казарме, в то время как все остальные пропадали в гарнизонном баре, или в клубе Объединенной службы организации досуга войск, или еще где-нибудь. Одинок и подавлен, глубоко, глубоко подавлен. Гудок в трубке вернул его к действительности. На мгновение ему показалось, что он все еще продолжает звонить в Нью-Йорк, куда он звонил в этот день утром из гарнизонного бара, но не дозвонился — никого не было дома. Но он был в Эббенсвилле, в душной телефонной будке и звонил Фанни Мэй. Просто ему подумалось — может, она будет не прочь его сегодня повидать. Скажу ей: «Я сейчас в городе и думал забежать к вам на минутку». А если она занята, так и ладно. В трубке прогудело раз шесть-семь, и он уже хотел дать отбой, решив, что, как видно, сегодня никто на свете не сидит дома, но в эту минуту услышал женский голос:

— Хэлло? — Однако это была не Фанни Мэй. — Говорит мать Фанни Мэй,— сказал голос,— а Фанни Мэй сейчас в церкви на собрании Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Хотите ей что-нибудь передать? Может быть, вы скажете, кто это звонит?

— Нет, благодарю. Не стоит вас затруднять,— пробормотал Солли и тупо уставился на трубку, поспешно повешенную на место. Он вдруг почувствовал огромное облегчение. Словно приговоренный к казни, которого помиловали в последнюю минуту.

Он вышел из автобусной станции на пустынную площадь и огляделся по сторонам. Что делать ему в этом маленьком южно-белом городишке Эббенсвилле? По-воскресному приодевшиеся люди двигались по площади туда и сюда — спокойно, не спеша, в ногу с этим прощальным ясным днем уходящего лета. Два-три дня назад Солли казалось, что уже настала осень, но это была ложная тревога.

Кругом — только белые лица. В глубине площади один за другим проползли несколько автомобилей — медленно, словно погребальный кортеж. Внезапно тоска по Нью-Йорку охватила Солли. Где же цветное население Эббенсвилля? Если бы он застал Милли дома,

---

* V — первая буква слова «Victory» — «Победа».

когда звонил ей из гарнизонного бара, он не приехал бы сегодня в Эббенсвилль. Он поговорил бы с ней, и успокоился, и вернулся бы назад в казарму, и написал бы ей письмо. Черт бы побрал Тейлора!

Он вернулся на автобусную станцию, отыскал в телефонной книге адрес церкви, снова вышел на площадь, поймал такси для цветных пассажиров и поехал в церковь. К свиньям собачьим Тейлора, да и Роджерса в придачу!

Когда он вошел в церковь, ему показалось, что Фанни Мэй сделала очаровательную гримаску. А может быть, это была просто его фантазия. Она вела собрание, и, прежде чем его закрыть, попросила Солли встать, и представила его собравшимся. Он уловил горделивую нотку в ее голосе. Она сообщила всем, что до призыва в армию Солли вел большую работу в нью-йоркском отделении ассоциации.

— Я хотела бы заверить вас, капрал Сондерс, и всех ваших товарищей, что солдаты лагеря Джонсона Генри очень близки и дороги сердцу цветного населения города Эббенсвилля.

Потом они сидели в павильоне с мороженым на той же улице, где церковь, и Солли смотрел и смотрел на Фанни Мэй и испытывал странное чувство, словно все это уже было когда-то. Даже еще там, в церкви, он почувствовал, как в нем сталкиваются и переслаиваются два противоречивых ощущения — домашней привычности и странной ирреальности всего происходящего. Витраж девы Марии с младенцем на руках нежно сиял в тускнеющих лучах солнца. Колышащиеся бумажные веера молящихся. Запах мыла, духов, пота. Казалось, он и тогда уже знал, что потом они будут сидеть в павильоне на углу, словно задумал это заранее. И лицо ее было таким знакомым-знакомым. Быть может, подумал он, я знал ее, когда жил здесь, в Джорджии, и был еще мальчишкой, а она маленькой девочкой. Он снова пристально поглядел на нее, отвел глаза и потянул через соломинку шоколадный коктейль.

Она сказала:

— Я так рада, что вы пришли сегодня. А где Джо Тейлор и остальные ваши товарищи?

Лицо ее было прелестно и светилось радостью. Он почувствовал, как больно сжалось у него сердце.

— Вы уроженка Эббенсвилля? — спросил он. Быть может, их жизнь начиналась где-то рядом в Драй-Крике...

— Вся моя жизнь, за исключением четырех лет, проведенных в колледже, протекла здесь. Жаль, что вы не привели еще кого-нибудь из ваших товарищей на наше собрание.

— Кто рассказал вам, что я работал в Национальной ассоциации?

Спрашивая это, он подумал: «Надо было сразу сказать ей, что только я один мог получить пропуск. Я — командирский любимчик. Вот почему я здесь, а все остальные — в казарме». Оттого, что она была с ним, у него появилось ощущение, что он долго-долго путешествовал где-то в чужих краях и наконец вернулся домой. Что ж, теперь отдыхай. Сними башмаки. Сядь в кресло-качалку, закури трубку. И в то же время рядом с ней он еще острее чувствовал свою вину, чем рядом с Милли, Тейлором, Скотти и Роджерсом, вместе взятыми. Она хотела все в нем принимать за чистую монету. Даже Тейлор и тот не настолько наивен. Великий боже, как она очаровательна, это дитя!

Она подняла голову над своим шоколадным коктейлем, и лицо ее осветилось улыбкой.

— Джо Тейлор рассказывал мне про вас. Вы там у себя были боевым руководителем молодежной группы. Но он мог бы ничего не сообщать мне. Я почему-то была в этом уверена.

— Ну, не совсем руководителем,— сказал он.— Слишком много приходилось работать днем и заниматься по ночам.— «Слишком уси-

ленно тренироваться перед гонками,— подумал он,— чтобы оставить позади всех остальных».

— И наряду с этим активно работали в Национальной ассоциации! Боже мой, какая кипучая деятельность!

«Что я ни скажу, она ладит свое — хочет сделать из меня героя»,— подумалось ему. А тебе, дружок, так ли уж хочется, чтобы этот мыльный пузырь лопнул? Ну скажи ей, что ты женат и на особом положении у своего командира. А быть может, она просто считает своим долгом проявлять доброе отношение ко всем, кто отбывает воинскую повинность? Подбадривать, как положено, солдатиков. Быть может, она не делает никаких различий ни для кого. И поет одну и ту же песенку всем солдатам без разбору. И Червяку Тейлору, и Солли Сондерсу...

Она сказала:

— Вы в Нью-Йорке ведете борьбу на два фронта до победы — до победы над фашизмом за океаном и над кракерами здесь.

Ему не хотелось говорить с ней ни о войне, ни о политике, ни о борьбе на два фронта до победы, ни о Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. И вообще ему не хотелось разговаривать. Хотелось просто сидеть, и смотреть на нее, и чувствовать, как ему хорошо с ней... просто быть с ней, и радоваться, что ему так хорошо, и ни о чем не думать. Но неожиданно для себя он произнес:

— Как можем мы победить врага и выиграть войну, если будем воевать друг с другом?

Она была очень удивлена сначала и даже как будто задета. Ее большие глаза сразу потемнели, стали почти черными, она потупилась и, медленно посасывая коктейль через соломинку, сказала спокойно:

— А где наш враг? Кто наш враг? Должны ли мы делать исключение? Фашист — везде фашист, и кракер — всегда кракер. И война всюду, где они еще существуют.

Спор с ней давал ощущение физической близости. Его обдавало жаром и тревогой. Ему хотелось сжать ее дивное лицо в ладонях, чтобы оно так горело и светилось всегда-всегда. И в то же время ему хотелось возражать ей, разбить все ее благочестивые воззрения, низвергнуть всех ее кумиров, чтобы они валялись в прахе у ее ног, а она поклонялась только ему. Слепо следовала за ним повсюду с лицом, таким сияющим, как в эту минуту, всегда сияющим. И одновременно не хотелось спорить, не хотелось прогневить ее. Забыть войну, забыть борьбу на два фронта. Улыбнись снова, моя прелесть, дитя, девочка. Рассердись, улыбнись, рассердись, улыбнись.

Он сказал:

— Взгляните на вещи менее отвлеченно. Дом, в нем семья — мы с вами. Между нами семейная размолвка. Некто, весьма опасный для нас обоих, пытается проникнуть в дом и завладеть им. Что делаем мы? Продолжаем сражаться друг с другом и позволяем ему завладеть домом? Или прекращаем нашу размолвку и объединяемся, чтобы прогнать врага и разрешить наши семейные разногласия потом? — Он невольно повысил голос.

— Пусть завладеет домом! — сказала она гневно.— На что он мне, если я не могу в нем свободно дышать? Пусть сравняет его с землей, он мне не нужен.

Ее гнев разбудил в нем желание. Он сказал:

— Вы несерьезно это говорите, дорогая.— Когда он назвал ее «дорогая», мурашки пробежали у него по телу, и его обдало теплой волной с головы до пят.— Простите, Фанни Мэй, я...

Она, верно, уже понимает, что его тянет к ней. Но он тут же сказал себе, что для него все ее обаяние — в интеллекте, и только.

Обращенное к нему взволнованное лицо было прекрасно.

— Я говорю серьезно, можете мне поверить,— сказала она.— Такой дом нужно сравнять с землей и построить новый.

А эти капельки пота у нее на носу!

Она впряглась в одну упряжку с Тейлором и Скотти и всеми остальными, кто был против него. А ему так отчаянно нужно было, чтобы кто-то согласился с ним! Но не циник Бык, и даже не Милли с ее вечной песенкой,— нужна была она, Фанни Мэй. Сегодня, сейчас он нуждался в простой поддержке. Он был поддельным камнем в шестнадцать карат, но хотел, чтобы она принимала его за бриллиант чистой воды. Он хотел, чтобы она была на его стороне и рядом с ним, совсем рядом. Ему необходимо было отстаивать свою точку зрения и заставить Фанни Мэй принять ее. Безоговорочно. Он должен был завоевать ее душу. Он сказал:

— Обратимся к фактам. Что будет, если все американские рабочие станут на вашу точку зрения? Все обещания воздерживаться от забастовок будут аннулированы, забастовки вспыхнут повсеместно, и мы не сможем выиграть войну, так как производственная программа останется невыполненной. И вся страна будет деморализована.

Она покачала головой:

— Если страна может быть так легко деморализована, это значит прежде всего, что она серьезно больна. Борьба на два фронта поможет оздоровить ее и сделает сильнее для предстоящей битвы.

Она начинала сердиться на него: почему он ей противоречит?

«Только не надо воевать со мной!» — едва не сорвалось у него с языка. Как возник этот дурацкий спор? Разве он за этим приехал в город? А теперь он был раздражен, и ему было жарко, и он вспотел и уже ясно видел, что он делает и зачем. Лезет из кожи вон, чтобы оправдать свою позицию, свое поведение, самое свое существование. И ведет с ней нечестную игру. Он понимал это, но не заставил себя остановиться. Он понизил голос.

— У нас слишком много поставлено на карту в этой войне. Мы — те американцы, которые ценят свободу больше всех остальных американцев. Быть может, потому, что у нас ее никогда не было.

Она слушала его, не сводя с него глаз. Он так четко формулировал свои мысли и был так красив, и то, что он говорил, звучало вполне разумно — она не могла этого не признать. Она должна обдумать его слова, хорошенько обдумать, вникнуть в их смысл, сделать выводы и тогда снова обсудить с ним все. И ей хотелось, чтобы это «снова» произошло. И повторилось еще не раз. Он почувствовал, что она слабеет, и на мгновение коснулся кончиками пальцев ее щеки. Ему хотелось схватить ее в объятия. Он вел себя безрассудно. Она вспыхнула.

— В какой-то мере вы правы, конечно,— сказала она.— Но с другой стороны...

Он нравился ей, она не хотела восстанавливать его против себя. Он такой неуравновешенный юноша. Возьмет и не приедет больше в город. Что было с «другой стороны», осталось невыясненным. Как-никак, а он в чем-то прав, и убедить его не так просто. И ей хотелось, чтобы он приехал снова.

— Когда страна в трудном положении,— сказал он,— нельзя на этом играть. Нельзя пользоваться этим для личной выгоды.

— Давайте изберем более приятную тему,— сказала она.— Можно мне еще один молочный коктейль?

Он победил, но его триумф не доставил ему радости. Это была липовая победа. Они выпили еще по одному молочному коктейлю и переменили тему, и поболтали о том, о сем — о музыке, о книгах, о спорте, о фильмах и еще о чем-то в таком же роде. Он отчаянно ста-

рался вернуть то настроение, которое возникло в начале их встречи, но теперь Негритянский вопрос и Война неотступно стояли между ними, и так это и осталось до последней минуты, когда она отвозила его в своей машине на автобусную станцию.

■

Командир роты остановился в дверях, глядя на склоненную над бумагами голову Солли Сондерса. Солли был занят, он составлял суточную ведомость. Наконец он поднял глаза, и командир махнул ему рукой, чтобы он продолжал заниматься своим делом. При этом командир улыбнулся. Улыбка была дружелюбной.

— Хорошо провели время в городе, Сондерс?

Солли ответил:

— Да, сэр.— Еще бы, он повеселился вовсю: затеял серьезный спор с самой хорошенькой девушкой в Эббенсвилле.

— Я слышал, там есть такие горячие лошадки шоколадной масти, что сами рвутся на скаковую дорожку,— сказал командир. Он явно старался держаться на дружеской ноге, но выдержка уже изменяла Солли.

Он не ответил ни слова. Опустив голову, он уставился на суточную ведомость. Командир рассмеялся:

— Я попрошу вас составить завтра приказ. Мы производим в капралы еще одного солдата.— Он сделал паузу. Солли ждал.— Постарайтесь не ошибиться, когда будете писать его имя и фамилию. Его зовут Соломон Сондерс.

Командир снова помолчал. Теперь, когда Солли увидел, что и в самом деле начинает продвигаться вверх, он не знал, что сказать. Наконец он пробормотал:

— Слушаю, сэр.— Вот оно как!

Командир сказал:

— Старайтесь только не проштрафиться, друг мой, а все остальное — не ваша забота. Полковник говорит, что наша канцелярия подает пример всему полку, черт побери.— Он понизил голос.— И, между нами, могу сообщить вам еще кое-что: они хотят создать в гарнизоне цветной полк, с цветными офицерами и всякое такое прочее. Думают сформировать его примерно в марте. А через месяц хотят послать на курсы подготовки младших офицеров по одному солдату из каждой роты Пятьдесят пятого полка. Но я еще не решил, стоит ли мне лишаться хорошего ротного писаря ради того, чтобы новый цветной полк получил посредственного младшего офицера.— Он рассмеялся — все так же дружелюбно.— Что вы об этом думаете? — спросил он.

Солли сказал:

— Конечно, сэр.— Ему вдруг стало легко, и во всем теле ощутилась приятная прохлада. Он был окрылен. Не к чему себя обманывать. Ему очень хотелось стать офицером. Он не смог сдержать улыбки на этот раз.

— О том, что я вам сообщил,— молчок,— сказал Резерфорд.— Делайте свое дело, берегите свой послужной список, и вам никогда ни о чем не придется пожалеть.— Он постоял немного, наблюдая за Сондерсом, потом повернулся и направился к двери.

— Слушаюсь, сэр! — Солли хотелось крикнуть: «Аллилуйя!»

Три дня спустя он был произведен в капралы. Он написал Милли и маме о своем продвижении по службе и великих своих планах на будущее. Армия не такая уж скверная штука в конце-то концов... в конце-то концов. Фанни Мэй Брэнтон не понимает, она очень упрощает все. Быть может, виной тому этот Юг, где она выросла. Но она слишком

красива, чтобы так ожесточаться. Впрочем, что ему за дело, понимает она или нет. Ведь ей нет места в жизни новоиспеченного молодого капрала.

Кого ты хочешь обмануть, Солли Сондерс? Кого ты хочешь обмануть, дружище?

Глава 8

Резерфорд тоже получил повышение. Он был произведен в капитаны, и эти серебряные нашивки были чрезвычайно дороги его сердцу. Он давал каждому их заметить. У него образовалась привычка сидеть за столом с сигарой во рту, положив ноги на стол и откинувшись на спинку своего вращающегося кресла, и, если при этом он вел с кем-нибудь беседу, взгляд его перебегал с одного плеча на другое, как бы скользя украдкой по сверкающим нашивкам. По мнению Солли, он был похож на болельщика, следящего за полетом теннисного мяча. Он даже пытался басить, но ниже тенора, бесстыдно срывавшегося на дискант, голос его спуститься не мог. И все же он был капитан Резерфорд, командир роты, и он был тот, кто щелкал бичом — крак-крак,— а Солли был капрал Соломон Сондерс, ротный писарь. Солдаты роты «А» единодушно прозвали ее Адова рота, но солдаты других рот этого полка называли ее «резерфордовской плантацией», а ее солдатам дали кличку «резерфордовских рабов».

Он чувствовал себя отлично, отлично, этот новоиспеченный капрал. Сегодня с утра он был в штабе полка, только что вернулся в свою казарму и уже поднимался по лестнице на второй этаж, когда услышал громкий голос какого-то солдата. Он хотел было повернуть обратно, но что-то остановило его.

— Я был дома, где ж мне еще быть? Надо же мне поспать с моей миссис Скотти?

Дверь приоткрыта, но они тебя еще не видели. Скорей спускайся вниз и ступай в штаб батальона за этим особым приказом, который тебе велено получить. Ступай, пока не поздно. Ступай! Ступай!

— Что ты сказал? — взвизгнул командир роты, бледнея от злости.

Скотти рычал, как лев:

— Я сказал, что ездил домой поспать с миссис Скотти — вот что я сказал. А вы чего хотите, лейтенант, чтобы я начал приставать к солдатам, или как? Небось у вас ваша старуха с вами, в гарнизоне. Небось вы спите с ней каждую ночь.

Солли не мог шевельнуться, словно к месту прирос.

— Вон отсюда, паршивый негр! Черт бы тебя побрал! Счастье твое, что у меня нет при себе пистолета. Я бы разнес твою черную башку на куски!

Скотти вдруг запрыгал на месте.

— Ага! Ага! Ага! Я так и знал! Я так и знал! Так и знал. Я знал, что выведу вас на чистую воду рано или поздно. Я знал, что вы — кракер, расист! Постыдились бы! Вы! Капитан армии Соединенных Штатов Америки, офицер демократической страны и президента Рузвельта! Постыдились бы называть меня, бедного, несчастного цветного солдата, паршивым негром!

— Уберите его отсюда! — визжал капитан.— Эй, кто-нибудь! Уберите его отсюда!

— И не стыдно пользоваться своим положением! Когда я вам понадобился, так вы притащили меня сюда, в свою Джорджию, а теперь... Я оскорблен в своих лучших чувствах, лейтенант! Право, я обманулся в вас. Я был о вас лучшего мнения... Я...

— Сондерс! Сондерс! Сержант Андерсон! Эй, кто-нибудь! Ну, кто тут есть!

Теперь Солли хотелось припуститься вниз с лестницы так, словно он что-то украл, но было уже поздно, и он быстрым шагом вошел в кабинет командира роты.

— Что случилось, капитан Резерфорд?

Лицо капитана приняло оттенок переспелой моркови; он шумно, тяжело дышал и с трудом выговаривал слова. Казалось, его большой кадык застрял где-то внутри его тощей шеи и законопатил ему глотку.

— З-з-заберите этого солдата и не выпускайте его никуда, пока я не вернусь. Не отлучайтесь от него ни на секунду.— Лицо его понемногу белело и словно бы вытягивалось, худело на глазах. Теперь уже у него был такой вид, точно из него выпустили все кишки и всю кровь из жил. Только на лбу вздулись синие вены, и казалось, они вот-вот лопнут.— Уберите его отсюда!

Солли повернулся к маленькому темнокожему солдату с пышными усами:

— Пошли, Скотти!

Скотти сказал кротко:

— Хорошо, капрал Сондерс. Я думаю, как мы с тобой оба цветные, так ты не захочешь мне зла.— И он последовал за Солли в канцелярию.

С минуту они стояли молча, глядя друг на друга и прислушиваясь, не донесется ли до них какой-нибудь звук, какой-нибудь признак жизни из кабинета командира роты, но только пугающая тишина оглушительным гулом отдавалась у них в ушах.

Солли сказал:

— Почему ты не прекратишь безобразничать? Почему не подчинишься порядку? — Он прошел к своему столу, опустился на стул и уставился на расписание нарядов в караул. Может, с капитаном в самом деле удар? Может, надо позвонить в госпиталь? Или взять «джип» и доставить капитана туда?

Спустя несколько минут капитан неслышно вошел в канцелярию. Он был изжелта-бледен, как пресная галета, на апоплексическом лбу залегли длинные глубокие складки. На Скотти он даже не поглядел.

— Держите арестованного здесь. Я опаздываю на собрание в штабе,— произнес он слабым, бесцветным, каким-то чужим голосом.—Не спускайте с него глаз. Ни на секунду. Я пришлю кого-нибудь с оружием караулить его. Как только полковое собрание закончится, я вернусь и составлю донесение. Но пока вас не сменили, вы несете за него ответственность. Вы поняли?

— Понял, сэр.

Капитан повернулся, вышел из канцелярии и начал спускаться с лестницы.

Они услышали, как хлопнула внизу дверь, и Скотти расхохотался, а Солли сказал:

— Не понимаю, что ты находишь в этом смешного, черт тебя дери! На этот раз ты влип. Они притянут тебя к ответу, и я этому не удивлюсь. Ты сам напросился.

Скотти сощурил сердитые глаза и ухмыльнулся.

— А ты рассуди так: что, черт подери, может сделать мне Долговязый? — Прежде чем вопрос дошел до сознания Солли, Скотти уже ответил на него сам: — Ни черта! Самое большее, что они могут со мной сделать,— это засадить за решетку. Я натворил еще недостаточно, чтобы они могли меня расстрелять. Для этого я себя слишком люблю. Я ни разу не дезертировал, я только был в самовольной отлучке. Я всякий раз возвращался сам, прежде чем они успевали схватить меня. Ну а тюрьма или армия — не все ли равно? Что в лоб, что по лбу, как гово-

рится. Я еще так поверну, что заставлю этих идиотов отправить меня года на два, на три в Ливенвортскую тюрьму или запрятать еще куда-нибудь, а тем временем и война может кончиться. Доходит? Они-то понимают, на что я бью, а сделать ничего не могут. Когда они забрали меня в свою армию и заставили дать им присягу, я дал присягу самому себе. Я присягнул *себе,* что не поеду никуда, где будет идти стрельба. А уж еще того меньше в штат Миссисипи, или в штат Джорджию, или в какое-нибудь подобное местечко в Благословенных Разъединенных Штатах. А я своему слову никогда не изменяю.

Солли сказал:

— Ты все понимаешь шиворот-навыворот. Пусть даже это расистская армия, война-то ведь не расистская. Это война *против* расизма. И мне наплевать, что это за война с их точки зрения,— это *наша* война, черт побери!

Скотти ухмыльнулся:

— Ладно, ладно. Чего ты раскипятился, смотри, кишки лопнут. Я вижу, тебя все-таки сделали наконец капралом. Это то, что тебе надо.

Солли сказал воинственно:

— И это еще не все. Посмотришь, кем я стану, пока ты будешь задрипанным рядовым.

— Вот я никак в толк и не возьму, почему такой ученый парень, как ты, может держаться за эту вонючую армию. Слушай! Если бы у меня в голове было столько всего понапихано, как у тебя, я бы раздобыл себе хорошую работу где-нибудь в конторе и наяривал бы там вовсю. Но, верно, чем ученей становишься, тем больше перенимаешь все от белых. Ты похож на черного раба, которого взяли в услужение в Большой Господский Дом. А я работаю в поле.

Солли встал. Он так обозлился, что готов был затеять хорошую полноценную драку прямо здесь, в канцелярии. Он сказал:

— Послушай, приятель, твои мнения меня нисколько не интересуют. Сделай одолжение, заткнись и помолчи минуты две, пока за тобой не прислали полицейского. Мне надо работать. Если ты влип, это твое личное дело, в конце-то концов. Ты слишком много треплешь языком. Командир притянет тебя к ответу, и я его за это не виню. И не взыщи, если мне придется печатать донесение. Законы выдумал не я. Мое дело — сидеть и печатать.

Скотти смотрел на него и улыбался.

— Ладно, капрал Сэнди, вы и белые — над всеми хозяева.

■

Невзирая на все предостережения капитана не совать свой нос куда не следует, это оказалось не так-то легко. Невозможно жить только для себя и довольствоваться самим собой. Живешь с людьми — особенно в армии. А кто-нибудь непременно должен проштрафиться, и кому-нибудь непременно нужно вовлечь в это и тебя.

Сержант Грир, автомеханик со злыми глазами, получил как-то вечером пропуск, отправился в город, напился в дым, а трое белых солдат из военной полиции хотели увести от него девушку, и он решил задать им жару, всем трем сразу, и в три часа утра вернулся в казарму весь в синяках, в крови, плача и матерясь. На утро командир роты, призвав сержанта к себе в кабинет, обвинил его в нарушении устава и не пожелал выслушать его объяснений. Донесения, полученного из военной полиции, было для него достаточно. Грир, все еще чумовой от виски и полицейских дубинок, нецензурно обругал капитана и назвал его лжецом прямо в лицо. Резерфорд вышел из-за своего стола, скомандовал: «Сержант Грир, смирно!» — сорвал сержантские нашивки у него с рукава, скоман-

довал: «Рядовой Грир, вольно!» — и приказал Солли отвести рядового Грира вниз и поставить, не снимая с него формы, под холодный душ.

На другой день старший сержант Андерсон собрал группу ефрейторов, чтобы идти к капитану заступиться за разжалованного сержанта, который считался лучшим автомехаником в полку. Он и Солли втравил в это дело. Солли попытался было увильнуть — не хотел участвовать в делегации, но Андерсон сказал ему спокойно:

— Если мы, солдаты, не будем стоять друг за друга, грош нам цена, да и армии такие не нужны. Так?

Солли сказал:

— Так-то оно так, да...— Его прошиб пот. Все только и делают, что ставят его в затруднительное положение.

— Уж, кажется, со мной поладить легче легкого, но когда самого лучшего моего солдата разжаловали только за то, что он показал себя мужчиной, я говорю: вся наша рота в одну неделю развалится к свиньям собачьим, если мы немедленно не опротестуем это дело.

Солли сказал:

— Может, тебе следует самому поговорить с капитаном. Ты — старшой, может, он тебя и послушает.— Не проходило дня, чтобы кто-нибудь не подстрекал его на что-нибудь.

Старшой сказал, не горячась:

— Ладно, я тебя не виню, тебе, конечно, неохота подставлять свою шею. Не такой уж я сопляк, чтобы не понимать, что к чему. Ладно, ничего, все остальные ребята согласны пойти, все, кроме Роджерса.

Солли пошел вместе со всеми. Ни он сам, ни старший сержант Андерсон не отдавали себе отчета в том, в какой мере упоминание о Роджерсе понудило его к этому. Впрочем, как он и предвидел, никакой пользы никому это не принесло.

Командир роты просто не пожелал их выслушать. Их было восемь человек, включая сержанта Перри, заведующего пищеблоком. Командир сказал, что они бунтовщики и ему придется сделать вид, что они к нему не приходили. Он сказал сержанту Андерсону:

— Я поражен вашим поступком. Вы — старый кадровый солдат. Вы — мой старший сержант. Если у вас есть какие-то соображения, вы должны высказать их мне в личной беседе, прийти ко мне, как старший сержант моей роты, а не во главе банды организованных бунтовщиков. Это относится и к вам, Сондерс, поскольку вы — мой ротный писарь. Я бы должен послать вас всех на пятимильный марш. Можете быть свободны и считайте, что счастливо отделались.

В тот же день капитан призвал Солли к себе в кабинет и отчитал его там персонально, с глазу на глаз, и — почти что по-отечески.

— Вы хотите стать офицером, Сондерс?

Солли с трудом глотнул слюну пересохшим горлом и ответил:

— Да, сэр.

— Вы избрали для этого весьма странный способ.

— Вы недовольны моей работой, сэр? — Он был лучшим ротным писарем в полку и знал это.

— Работаете вы превосходно, но это еще не все, и вы сами прекрасно это понимаете. Можете ли вы пожаловаться на мое отношение к вам, Сондерс?

Вопрос был поставлен в упор, и Солли взглянул на него прямо, а потом посмотрел с одной стороны и с другой, но не стал заглядывать сзади и сказал:

— Нет, сэр.

— Тогда, черт побери, слушайте меня. В армии нет таких понятий, как «справедливо» и «несправедливо». Есть приказ, и есть дисциплина.

Одни распоряжаются — другие выполняют. Вы должны решить для себя, где вы предпочли бы находиться. Вы поняли?

Солли ответил:

— Да, сэр.

Командир роты вдруг чуть-чуть напомнил ему Милли. У нее тоже все либо так, либо этак, все упрощено до предела. А жизнь куда сложнее. Жизнь далеко не это и не то, не просто белое или черное. Жизнь черно-бело-серая.

В тот же вечер их собралось несколько человек вместе с Солли в канцелярии, и они толковали о том, что японцы отступают на Тихом океане, а русские дают жару немцам на Восточном фронте, а цветным солдатам дают жару на Южном фронте, особенно в городе Эббенсвилле и в лагере Джонсона Генри, а пуще всего — на «резерфордовской плантации».

Головастый Бейкер сказал:

— А! Что там говорить, курица не птица, и солдат не человек, а скотина.

Червяк присовокупил:

— Да еще черная скотина, не забудь.

Солли сказал шутливо:

— Может, Скотти не такой уж дурак в конце-то концов. Забронировал себе постоянное местечко на гауптвахте. Выйдет, съездит домой, вернется в лагерь и — обратно на гауптвахту. Может, в этом есть свой смысл.— Но он, конечно, так не думал, даже в шутку. Нес какой-то вздор, просто чтобы расположить к себе ребят. Он совершенно не понимал такого поведения. И даже не хотел понимать. Он боялся понять.

Бык Роджерс заявился с бутылкой. Он поднес горлышко бутылки Червяку к носу, и Червяк пошел за ним и покинул канцелярию, и остальные пошли за Червяком.

Они все устроились на койках Солли и Червяка и стали передавать друг дружке бутылку.

Вскоре бутылка опустела, солдаты были немного под хмельком, и разговор неизбежно обратился снова к растреклятой «резерфордовской плантации». У Солли от виски зашумело в голове и настроение поднялось. Лицо Фанни Мэй неотступно маячило перед глазами. Головастый сказал:

— Да уж чего там! Чарли распоряжается здесь, как на своей плантации, а вы все — его рабы, и ни черта вы тут сделать не можете. Не можете же вы восстать против него и устроить революцию.

Бык Роджерс сказал:

— Чтоб мы здесь этого слова не слышали! Это же Америка, дурья твоя башка. Ты соображай, что говоришь, толстая задница. Может, эти чертовы койки куда-нибудь подключены.— И он вскочил, перевернул одну из коек и принялся ее обследовать.

Солдаты смеялись. Бык всегда валял дурака, когда начальства не было поблизости.

Головастый сказал:

— Чарли только щелкнет бичом, а вы уже кричите во всю глотку: «Хозяин, пусть сломан мой хребет, мой дух не сломлен!»

Солли сказал:

— А он похлопает вас по плечу и вытянет еще разочка два по спине.

Солдаты ухмылялись и посмеивались. Солли продолжал:

— Но, ребята, когда ноша станет чересчур тяжела, а путь кремнист, вспомните, вспомните, ребята, о том, что мы воюем за демократию.— У него было хорошо на сердце в эти минуты — он чувствовал их товарищество, и что-то ширилось в груди.

Головастый сказал:

— С кем воюем? Ни с кем мы не воюем. Ты думаешь, эти кракеры пустят тебя на фронт стрелять в других кракеров? Они не дают тебе винтовки даже для того, чтобы нести караульную службу. Белые часовые расхаживают с винтовками, а цветные — с палками. Нет, друг, черный не человек, никогда не был человеком и никогда не будет.

Червяк обернулся к Головастому.

— Вот такие, как ты...— он крепко выругался,— и тащат весь наш народ назад! — Он снова повернулся к Солли: — Что-то, верно, мы можем все-таки сделать, чтобы этот техасец Резерфорд не ездил на нас верхом. Обратиться, например, в НААСП, чтобы они помогли нам в нашей борьбе на два фронта до победы. Ты бы поговорил с Фанни Мэй Брэнтон. Эта девушка положительно все знает.

Бутылку опорожнили до конца, и в парах эббенсвилльской «Белой молнии» все предстало в новом свете. При упоминании имени девушки из гарнизонного бара перед глазами Солли поплыли видения: церковь, павильон с мороженым, Фанни Мэй. Он чувствовал свое товарищество с солдатами. Все, все в эту минуту словно сговорилось против него. Не успев поразмыслить как следует, он сказал:

— Мы можем написать письмо в одну из негритянских газет. Рассказать, как в лагере Джонсона Генри в городе Эббенсвилле, в штате Джорджия негритянские солдаты воюют за демократию. Сорвать маску с этих чертовых лицемеров. Рассказать всему миру о «резерфордовской черной плантации». А что они могут нам сделать? — Едва эти глупые слова слетели у него с языка, как он уже пожалел о них. Ведь он кусает руку, которая хочет его накормить.

— Они могут поотрывать нам всем головы,— сказал Роджерс, мгновенно трезвея.— Здесь не бойскаутский лагерь. Вы призваны в армию Соединенных Штатов Америки, и Америка находится в состоянии войны. Учтите: вы сейчас даже не «граждане второго сорта», вы — «солдаты второго сорта».

— Ладно уж, хватит тебе, дядя Том,— презрительно сказал Червяк.

Головастый сказал:

— Негры никогда не умели держаться сплоченно. Белым достаточно кинуть вам маисовую лепешку и бутылку дрянного виски и...

Роджерс сказал серьезно:

— Я удивляюсь тебе, капрал Солли. Такое мог еще сморозить Тейлор, чугунная башка, но ты человек образованный. Ты знаешь, что нельзя выкидывать такие штуки в армии. Верно, тебе виски в голову ударило.

На минуту в голове у Солли прояснилось. Он признался:

— Да, видно, это было скверное виски.

Червяк потянул его за рукав:

— Пойдем, Солли. Пойдем напишем это письмо. Не обращай внимания на всякую мразь.

Солли пробормотал:

— Я хватил лишнего... хватил лишнего...

Он поднялся с койки и плюхнулся обратно. Голова у него кружилась. «Я пьян,— сказал он себе,— нахлестался эббенсвилльской «Белой молнии» и не понимаю, что к чему. А я хочу стать офицером. Я пьян и хочу стать офицером. А Червяк Тейлор никогда ничего не достигнет». И Фанни Мэй понимает разницу между ним и Червяком. Будьте покойны, она понимает разницу.

Червяк снова потянул его за рукав. Так потянул, что почти поднял с койки.

— Пойдем. Не трусь. Ты же не из тех, кто зря треплет языком.

Головастый сказал:

— Капрал Солли немножко выпил, но он совсем не дурак. Он дорожит своей работой. Он прилип своим красивым задиком к ротному канцелярскому стулу, и это его вполне устраивает.

Роджерс сказал:

— Ты прав, черт побери! Капрал Солли и я — мы единственные во всей этой идиотской роте, кто по своим умственным способностям может стать офицером в этой чертовой армии. Он учился в Нью-йоркском колледже, а я — в Йеле.

Червяк сказал презрительно:

— Ты был в Йеле со шваброй и помойным ведром в руках. Входил через парадный вход, а выходил через черный.

Солдаты рассмеялись.

— Пойдем, Солли! — Червяк обхватил его за плечи.

Они направились в канцелярию. Червяк притворил за собой дверь.

— Ладно, Солли, давай примемся за дело.

Они стояли, глядя друг на друга. Солли сказал:

— Может, лучше отложить до завтра, а сейчас проспаться как следует? — Милли права. Никогда нельзя доверяться своим чувствам. Они всегда тебя подводят.

— Давай, давай, старик! — Червяк старался подтолкнуть Солли к стулу за пишущей машинкой.— Ты же знаешь, ничего нельзя откладывать до завтра. Если мы не сделаем этого сегодня, так уж не сделаем совсем.

Солли сказал:

— Сегодня я слишком много выпил. У меня в голове шумит.— Почему Червяк не может оставить его в покое? Ему было так хорошо там, с товарищами, и это хорошее чувство завело его слишком далеко.

Червяк стоял на своем:

— Если мы не напишем это сегодня, так уж никогда не напишем.

Солли сказал:

— Будь добр, сделай мне, пожалуйста, одолжение, ладно? Пойди ты к черту, а не то так еще подальше.

Он прошел мимо Тейлора, вышел из канцелярии и направился к своей койке. Заседание было еще в полном разгаре. Трибуной завладел Роджерс. Солли остановился, повернулся, вышел на лестницу, сбежал вниз, прыгая через две ступеньки, и окунулся в сырую осеннюю свежесть, которая остудила его разгоряченное тело и бурлившую в нем злость.

Время было позднее, пора закрывать, но в баре еще бесились последние гуляки, и в радиоле надрывался Эл Купер: «А ну давай еще разок!» — а двое накачавшихся пивом рядовых выплясывали под джаз перед стойкой Фанни Мэй в полукольце хлопающих в ладоши, хохочущих, орущих солдат. Солли направился прямо к телефонной будке. Он крутил диск и чувствовал, как пот проступает сквозь все поры его налитого злобой тела. Сцена в канцелярии снова всплыла перед его глазами, и он увидел Тейлора и себя, а потом Роджерса, и нервная дрожь досады прошла у него по животу, а сознание каким-то краем регистрировало тем временем слащавый голос междугородной телефонистки в Эббенсвилле, вызывающей Нью-Йорк. Откуда, черт возьми, взялось у Червяка право судить, кто честен перед собой и кто нет? Захотелось написать письмо, пусть сам и пишет. Голос телефонистки с нью-йоркской междугородной сразу воскресил в памяти домашние обеды, и Седьмую авеню, и «Пойдем потанцуем в «Савой», и вальс-бостон «Ист-сайд, Вест-сайд». Он умеет драться за права негров не хуже всякого другого сукиного сына в лагере Джонсона Генри. Он совсем не то, что Роджерс. Вот это Червяк никак не может взять в толк. Он — за эту войну, а Червяк и Скотти настроены против. Для них ты либо здесь, либо там. Они не видят дальше своего носа. Он — антифашист, а эта война ведется против

фашизма. Где-то далеко, на севере, нью-йоркская телефонистка повторила его номер, и его снова бросило в пот, когда в трубке загудело. Сердце застучало, как кузнечный молот. Сейчас она возьмет трубку, и они снова будут вместе — он и Милли. И вдруг он почувствовал, что сегодня ему не хочется слышать ее голос. Он не в форме сегодня, и ему будет не под силу проглотить великую американскую присказку «все вперед и все выше и выше», до бесконечности и до тошноты. Эту утешительную грезу сегодня не принимала его душа. Когда в телефоне чувственно и сонно прозвучало «хэлло», его рука уже отстранила трубку от уха и тихонько повесила ее на рычаг. Милли — очень честное создание, но это была честность не той марки, в которой он нуждался сейчас, здесь, именно в этот короткий отрезок времени на этом клочке земли.

Направляясь к стойке с напитками, он слышал, как в будке за его спиной настойчиво затрещал телефонный звонок, и в ту же секунду радиола исторгла из своего чрева популярную песенку Дьюка Эллингтона, отбывающего в экспрессе. Фанни Мэй, должно быть, заметила его, как только он вышел из будки. Когда он подходил к стойке, она уже почти кончила сбивать его излюбленный шоколадный коктейль. Она встретила его улыбкой — открытой и задушевной, и сердце у него сжалось.

— Вот это называется отличным обслуживанием,— нервно усмехнувшись, сказал он и взял у нее бокал с коктейлем.

— Мы стараемся быть внимательными ко всем.— Она испытующе поглядела на него снизу вверх и опустила глаза. Потом снова бросила на него взгляд и сказала: — Простите, одну минуту.— И отвернулась, чтобы обслужить другого солдата. После той воскресной встречи в Эббенсвилле он еще не виделся с ней ни разу.

Он положил деньги рядом с нетронутым стаканом и, пробормотав почти про себя: «Нет, не сегодня», отошел от стойки как раз в ту минуту, когда Фанни Мэй снова обернулась к нему. Сегодня ему хотелось чего-нибудь позаористей. Он направился к пивному киоску и торопливо проглотил несколько кружек крепкого — одну за другой.

(Продолжение следует)

АРАГОН

Меджнун Эльзы
/Одержимый Эльзой/

С французского

На бирже рифм

Все поэты Гренады приходят сюда где прохладна вода рассуждают
и спорят доколе себя не исчерпает солнце
В этом городе столь их сколь в поле куропаток
Разве не привыкаем к стихам мы раньше нежели к чтению даже Корана
С той поры что народ сей собою наполнил Испании чашу
И не помнят уж более воины вони верблюдиц
Даже дети увидев то что им кажется дивным
Излагают свое удивленье в стихах устами цвета дождя
Место это покоится в раме деревьев от века глядящихся в пруд
Видно им как они же растут в нем но вниз головами
Где ж еще как не здесь собираться ученость являть и судить и рядить
О поэтических вольностях о согласованье согласных и гласных
Столь искусно что самые юные в страхе
Показаться невеждами слова не молвят безгласны

Один из старших встал как речь его ясна
Слетаются к нему слова непринужденно
Он птицам петь велит по своему закону
В его устах всегда для яблони весна

Поэзия слуга царей их знаменосец и певец корона их и багряница
Чтоб стих твой был царям под стать ты рифмами его укрась пусть он
от прозы отличится
Эмира богу уподобь пусть как в зерцале божество в его деяньях
отразится
Пусть мечет искры взор его сжимает меч его десница
Пусть он сразит орла и льва и лани даст из рук напиться
Не выходи из колеи проложенной сквозь времена его победной
колесницей
Легенду с былью сочетай пусть плач и стоны заглушит твой барабан
твоя цевница
Пусть день гренадских королей твоим радением зажжен не зная вечера
продлится
Их благородные тела елеем умастить сумей и торжеством омой их лица
Пусть в черноту бессонниц их проникнет твой глагол как луч
тьму раздвигающей денницы
И пусть грядущее придет мурлыча песенку свою у их подножья
примоститься

Тот кто его прервал бормочет как во сне
Какому соловью в себе внимает он
Так ангел говорит спустившийся в притон
И чужд его язык живущим в сей стране

О возвратите мне о возвратите невнятицу души и смуту недр где бьется
крик о возвратите бесцельный вопль псалом нелепый где плещутся
и пляшут тени и мрак муаровый пленяется собою о возвратите мне
глубинный лепет в коем покоем наслажусь забуду муку неправды
и подчинения и раболепства вещей
Там только там безбрежный океан иль если предпочтете прорва
бездонная которую мы можем поэзией назвать
Поэзией я называю столкновенье губ с вихрями смешение глагола
с молчаньем огорченье времен разгром дотла
Поэзией я называю равно стон наслаждением исторгнутый из уст и слово
раздавленное камнем
Поэзией я называю также то что разгаданным не хочет быть и то
что требует от слуха возмущенья
Но вашу поэзию о нет Ее поэзией не назову

Однако живо его прервали гомон суета все зажужжали разом
У каждого своя как видно красота и правила свои и собственный свой
разум
Труп мальчика-певца что песнею истек
Они несут галдя им мнится будто бьется
Ребенок в их руках и просто невдомек
Что телу мертвеца их дрожь передается
Здесь на лугу есть отроки чьи очи как самоцветы
Здесь есть придворные уж эти ловко за хвост хватают что зарю
что ураган чтоб ими препоясать властелина
Здесь люди есть которые так долго слова полировали что давно одно
от прочих отличить не могут
И есть такие что восхищаются малейшим звоном в них расцветающим
Есть странники что ищут вдохновенья его не находя Теперь они присели
отдохнуть
Есть одержимые забыв об омовеньях они лишились права на молитву
Есть столь хилые калеки что их поэмам необходимо плечо носильщика
Есть женщины с пурпурными перстами
Есть безумцы что собственных речей в толк не возьмут

Для начала старик опутанный тенетами морщин тончайших словно
тканных пауком
Присутствующим предлагает темой для диспута стихи вот эти
И рифмы их и лад достойны наилучших образцов

Песнь Баб-аль-Бейры*

Ты помнишь ясный день когда у врат Эльвиры
Перед глазами стен ты принял этот бой
И отблеск красноты цвет крови и порфиры
В вишневости зрачков следивших за тобой

Зеркальный окоем к тебе летел огромный
Он ветер отражал дробя его как дождь

* Баб-аль-Бейра — арабское название ворот Эльвиры в Гренаде.

Ты помнишь ли коней и конников колонны
И юности своей заносчивую мощь

У всадников был вид мальчишек приодетых
Что собирались в смерть как в первый школьный класс
И каждый сквозь напев всех песен недопетых
Услышал как созрел и тяжко пробил час

Ты помнишь ли озноб зловещих предвкушений
Овеявший тебя за крепостной стеной
Мгновенье тишины над армией в движенье
Покрывшее твой лоб мгновенной белизной

Но грянул барабан и ринулись отряды
Так стая гончих псов косым огнем летит
Когда ты принял бой перед лицом Гренады
Качнулся небосклон и выронил свой щит

Тут начался переполох кузнечиков Любой
Стрекочет разбирая осуждая
Ритм образ приблизительность сравнений цезуры стертый грош
Один хотел бы цвет одежды другому конский топот подай
А женщины скучают ведь о любви не сказано ни слова
И удивляются отсутствию Кеиса
Меджнуном прозванного Несмотря на годы он
Наверное последний в этом крае поцелуи слагающий
На кой он шут нам этот шут
Нелепый и юнцы швыряют стих как плоский камешек пусть прыгает по луже
А знают ли они как много слез в нем а знают ли
Что заставляет воина вздыхать
Вот вот стоит он за пределом спора бледнея опираясь на копье

Ему-то до размера до созвучий и дела нет
Что там Мустаф'илун иль Мафа'илатун
Лишь смысл жестокий слов ему понятен
Как лезвие ножа под веками блеснувшее
Пусть будет стих шатром и укрепите его скорей чтоб не свалило ветром
Он собственную юность вспоминает и как держал он под уздцы коня
Властителя Насридов в то время
Как Руми черным роем окружали вороного и ржание его
О воин схожий с утром чью росу еще не осушило солнце
Откуда долгий след слез на твоем лице
Шесть лет как видно на нем еще не выдубили кожу
Однако этот стих невзрачен беден
Как нищего ладонь у двери кабака

Однако неловок он и полон до краев воспоминаний
И устаревший ритм его должно быть
В архив певцами нынешними сдан

Но вместе с ним мне не забыть то время
Когда был Боабдиль в плену у христиан

Алькайсерия

Щель улочки тесна — в ней не расправишь плеч
Она скользит ужом меж сундуков пузатых
Сквозь гам и спрос и сбыт сквозь рук и взглядов речь
Меж тканей и ковров и шалей полосатых

Востоком в обиход введенные цвета
Нефрита бирюзы сапфира и коралла
Шафрана Плотность их прозрачность пестрота
Под солнцем теплых зим сливается в хоралы

Дерутся моряки крик шум на весь базар
Зеваки бродят так где что почем сегодня
Еврей глядит на свет и щупает товар
И евнухи снуют и сводничают сводни

На шахматной доске не занимать фигур
Ремесленник купец в своем квадрате каждый
Сапожник средь чувяк и живодер средь шкур
Орудуют Над всем притягивая жажду
Баранины дымок
Танцоры продавцы

Молитв горшечники чеканщики-умельцы
Старьевщики ткачи цирюльники слепцы
В невольничьих рядах рабы и их владельцы
Курчавый раб-арап и раб-христианин
Тот город где он жил сравняли мы с землей
Не мускулы а сталь дотронься господин

Но вот идут идут щебечущей толпой
Запястьями звеня ребячливо смеясь
Бубенчики цветы очей очарованье
Как вынести огонь сурьмленых этих глаз
Багряноперстых жен в пурпурных одеяньях

Кто может устоять пред красками красот
О не сияйте так явите эту милость
Не властен над собой ни я ни он ни тот

Вся кровь во мне кипит душа моя раскрылась
Как йеменская шаль в девических руках
Ткач первый побледнел а стеклодув тот даже
Как собственная печь разинул рот свой Ах
Лишь мяснику смешно сейчас он что-то скажет

— ГЛЯДИ-КА СТАРЫЙ ШУТ ЧТО ЭЛЬЗОЙ ОДЕРЖИМ
— КОТОРЫЙ
НУ И НУ
Хватаясь за живот
От смеха чуть дыша они следят за ним
Безумным стариком что о любви поет

Что думают маленькие люди

Дни маленьких людей текут привычно Все так же звучно звенят
кувшины и кони ржут а пальцы плетут корзины
И крик погонщика все так же зычен и сух подошв стук и голос слепца
гнусав
И в долине где бег воды людьми положен в ложе из глины гул пчел
и нежных нитей наматываемых
То снежный ветер колеблет ветви шелковицы в питомнике где шелк
растят живой

Что где-то там война обычно их не касается Она
Никак не скажется пожалуй на рассыпчатости риса который со сладким
перцем они едят
На днях усталых что идут себе подряд под тяжкой ношей за киркой
за счетом кип товара

И пахнут жареной бараниной
А оттого что где-то там убитые и раненые что может измениться и разве
распрямится портной и сбросит груз носильщик уймется крик
родильницы
Война не наше дело а дело тех кто в крепостях кто в башнях в атлас
одет клинком играя заводит шашни с нею и мудрит как над
мудреной рифмой рифмоплет

Тех дело кто цветы кто изваянья
Террас когда в час лунного сиянья прохлада с гор бурнусом легким
касается их плеч
Тех чей пот благоухает мускусом и амброй а дыханье желтофиолью
Они без всякого сомненья средь пенья женского и смеха о той войне
в своей Альгамбре держат речь
Сраженья задуманные ими в поэмах прозвучат и те под их ногами
шелками персидскими расстелятся
Они живут над нами их дни подобны долгой дроби тамбурина ах нет
Скорее барабанной дроби подобны
Нет вернее касаньям миртовых ветвей цветов лилеи
А может схожи с невесомыми прыжками босых танцоров и каждый день
Изнеможенные гонцы к ногам их слагают вороха вестей а нам
от новостей лишь крохи

И каждый вечер гордясь подсчитывает днем убитых
Как в одеждах неладно скроенных и сшитых так в этом всем
не разобраться нам
Как будто бы стою я голый и не пойму где тут подол рукав иль ворот
Как будто на базар попал где продают неведомые мне плоды
как знать что для еды пригодно
Присядем на землю и постараемся понять все эти ссоры благородных
Великолепно жестокие раздоры они начинены
Великими событьями делами словами мы с вами запоминаем их
неимоверность
Однако это только люди из плоти и горяча их кровь и сабля иногда
над ними властна

О взмах великодушный палача и красный
Путь отсеченной головы на бледном мраморе скорей воды и смоем след
И даже собственным их сыновьям пощады нет
А дальше бронзовые гимны встречают посланцев иноземных
И те души не чают в колоннах в глянце куполов аллеях длинных речах
привета

И в страны дальние свои везут спокойно обеты дружбы бесценные дары
Но не переиначивает это рассказов воинов покрытых пылью походов

И как прежде кому-то там в угоду в прах стены рушатся сдаются города
Так и идет беда по зернышку гранат Гренады кастильскими зубами раскусывается
И поруганью предается Крест как было то в мечети кордуанской
Хваленье господу когда чудовище разгрома не добирается до наших мест

Дубить кожевнику а шорнику тачать портному шить
Всем как-то надо жить варить маис таскать инжир в корзинах
Все гнем горбы кому-то надо сколачивать гробы
Кому-то алебастр замешивать и глину
И краску разводить и ею красить своды
И день за днем идут проходят годы с их грузом изумлений и обид смертей рождений

Когда уж разбирать нам что к чему
И деды твердят поверим их уму что испокон веков одно и то же
И так же соблазнял сосед жену соседа и рабыня принуждалась господином делить с ним ложе
И молодежью взимала подати война как в те так в эти поры не возвращались сыновья домой
Доколе существует род людской похоже не переведутся у нас пропойцы государи воры

Перевод А. ЭФРОН

Еще раз

Если песня допоется
Если солнце затемнится
Если сердце разорвется
Разлетится словно птица

Прежде чем имен сплетенье
Со стекла сотрет погода
Прежде чем судьбы смятенье
В памяти изгладят годы

На минуту на минуту
Серебра не пожалейте
Музыкантов позовите
Пусть сыграют нам на флейте

Пусть еще раз проиграют
Музыку любви моей
Прежде чем вдали растают
Шорохи последних дней

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

Песнь будущего

Когда объят мечтой своею
Готов погибнуть ты чтоб ею
Счастливец завладел иной
Чтобы любовь твою лелея
Другой пошел твоей тропой
Другой допел твои напевы
И сжал серпом твои посевы
Ты — завтрашнего дня герой

Уменье жить в самоотдаче
Отдай себя не смей иначе
Отдай свой хлеб пусть ест другой
И к хлебу душу дай в придачу
И победив в борьбе с собой
Себя раздав без сожаленья
Не ожидая награжденья

Уйди как и пришел — нагой
Ты человека носишь званье
Когда сверх сил и расстоянья
До неба достаешь рукой
Когда в горниле созиданья
Сам обгораешь горновой
Творец зари в ночи беззвездной
Когда смеешься ты над бездной
Разверстой роком пред тобой

На мачте иль в глубинах шахты
От будущего ни на шаг ты
Не отойдешь в нем компас твой
Пусть нынче заработал шах ты
Склонясь над шахматной доской
Пусть проигрыш тебя раздавит —
Другой фигуру переставит
И выиграет этот бой

Лишь человек из всех живущих
Себе придумал век грядущий
А дети прочие земли
Ни Завтра ни Через-столетья
Ни Бога не изобрели
Бог вечность временем не мерит
Лишь люди в будущее верят
И зрят приход его вдали

День завтрашний всегда сраженье
Со смертью Самоотторженье
От горя Тот вершок та пядь
Что мысль у хаоса и мрака
Торопится отвоевать
Впиваясь в мрак корнями злака
Морской волной ведя атаку
На скалы снова и опять

День завтрашний журавль в небе
Взамен синицы Это небыль
Взамен исхоженных путей
Ваятель расколовший в гневе
Вчерашность статуи своей
Стрелок в лесу воображенья
Охотящийся за свершеньем
Грядущее его трофей

Грядущее — мое хмельное
Любовь захваченная с боя
Развеянное колдовство
Над снятым гримом покрывалом
Двух глаз разверстых торжество
Нутро мое Победа Дело —
Предвзятости окаменелой
Поверженное божество

Долой законы для бесправных
Да озарится праздник равных
Моим огнем пришла пора
Сменить жетоны кости карты
По новым правилам игра
Не гороскопы не молитвы
Расчет выигрывает битвы
Пред завтра рушится вчера

В тебе грядущее мужчины
О женщина Ты сердцевина
Его души ее багрец
И звук Он без тебя пустыня
Он ветра сеятель и жнец
Он святотатство и проклятье
Он смерть несет в своих объятьях
И жизни собственной конец

Откроем мир с другой главы
Для женщины и для любви
Рожден мужчина Он изменит
И жизнь и смерть Любовь живи

Я славлю пары воцаренье
Союз двоих где низших нет
Где пополам и страсть и хлеб
Двоих бессмертное цветенье

Руки Эльзы

Дай мне твои руки от всех напастей
Дай мне твои руки тоска моя
Моему сиротству дай их на счастье
Дай мне твои руки чтоб спасся я

Когда я ловлю их неловко нежно
В западню ладоней смятений мук
И моя добыча комочком снежным
Тает между пальцев бежит из рук

Когда... но постигнуть тебе дано ли
Что меня пронзает как меч как нож
То что этой дрожью внезапной боли
Сам тебе я выдал едва ль поймешь

Эту речь без звука и взгляд незримый
Тайных чувств под спудом и под замком
Эту глухонемость невыносимой
Нежности что встала как в горле ком

Знаешь ли что пальцы мои узнали
О твоей ладони в тот краткий миг
Что ее держали — не удержали
Что о ней сказал их безмолвный крик

Дай мне твои руки пусть мое сердце
Тихо в них дозреет спаси укрой
Дай мне твои руки помилосердствуй
Пусть навек душа в них найдет покой

Перевод А. ЭФРОН

Хаммам

Приведите певца все о нем говорят приказал
Муса мутассиб
Стены белого мрамора кровью горят это в окна струится
закат
ПРИВЕДИТЕ вращает раб массажист беспощадную тушу Мусы
И как дева объятая страхом свежа оседает на коже
вода
Духотища парной где цирюльник стрижет выбривает яйцо головы
Обнаженный народ разных званий и лет
позабыл обо всем на камнях
Здесь снимают богатство и нищету оставляют одну
наготу
Плоти царственный запах крови жасмин
вымыт тщательно человек
Он готов для молитвы и для любви
губки снова елозят вдоль спин
Волкодавы быки и коты
кто совсем безволос кто мохнат
кто силен кто ослаб
кто черняв кто белес
От безделья к бассейну обращают свой взгляд
Там сияет Венеры языческая красота из Сицилии статую
вывез пират
Чтоб ловцам наслаждений взоры вперять а потом
отводить их опять
Совершенство такое не побороть им унижена всякая плоть
Живое унижено пред неживым пред его белизной пред его чистотой
Пот владычит телами туман застит свет
Хлещет веткой соседа любезный сосед

Вот сюда престарелый Меджнун приведен смыли вшей отобрали
Тюремный его балахон чтобы наг как все люди вокруг он остался
но смелый старик
Заявляет НЕ ШУТ Я ТРАКТИРНЫЙ Я НЕ ЦЫГАН
Я НЕ БУДУ ВАМ ПЕТЬ
Это слышит Муса и приходит во гнев гнев настолько усилен жарой
Что приходится кровь отворять и выходит она загустев
как смородинное желе
ПОЙ ПУСТЬ ОН УСПОКОИТСЯ банщик сказал ЗАДОХНЕТСЯ
КЛИЕНТ ОТВЕЧАТЬ БУДУ Я
И Меджнун запевает и песня его бесконечно прекрасна
как статуя та

Чья языческая красота вырастает из сердца воды
Источают увядшие эти уста тот безумный мятежный огонь
У которого форма любви и пускай он отныне оберегает уста
те что имя твое обожгло
Окрыленное имя твое Эльза что слетело на губы
Это имя как плащ что чудесно летящ несет и того кто нищ
Это имя опаленный песком поцелуй горностай что прошел
сквозь огонь
Как жар-птица сидит у меня на плече это имя оно как скачок
Через бойню живущую плотью людской это имя
Легче воздуха легкое имя твое рана имя твое и зерно
то которым засыпан мой рот тоже имя твое
Входит в чистую бурю мой крик Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ эти слова
Я черчу на бледной и голубой запотевшей глади окна
Сон пробуждения иссушающий страх муки внезапное раскрытие тайн
Непокой это дивное имя твое
существует во мне и жужжит у меня в голове
Это имя берет меня за руку чтобы сошел я с пути по которому
шел
Чтоб вести на вершину горы и оттуда мир увидать у наших ног
чтобы мир как дитя внял призывам моим
И чертил любым изгибом долин буквы имени твоего
Вся земля в буквах имени твоего
Никуда не ступить чтоб хоть шагу не сделать во славу твою
и тебе во хвалу
Нет молитв обращенных не к тебе
Нет благоуханья кроме того что приносит появленье твое
Совершенная женщина странная музыка бытия
С раскаленным углем имени твоего я иду сквозь вселенную
как воспоминанье про твой поцелуй
Кем я был для тебя что позволила стать тенью тени летящей
твоей
Твое имя во мне на дне души
бормоча его я умру

Он скатился на землю как солнце в окне
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ пинали его сторожа
Среди пара густого не меньше минуты колебался Муса
ОТПУСТИТЕ ЕГО
Наконец он сказал
ПУСТЬ ПОЕТ НА СВОБОДЕ

■ ■ ■

Я по городу шел и внезапно заметил перемену в делах
Как я мог угадать что в сердцах
происходило в тот миг
Призрак праздника сник и народ походил
на пиршества брошенный стол
Там где стерли улыбку остались усталость и тлен
Больше старцев больше женщин убитых
утратой былой красоты
Я жалею вчерашних детей чья весна
так безжалостно пресечена
Что утратили вы почему вас окрасили в горечи цвет
Может я виноват время мои помутило глаза
От меня отлетела та музыка что звучала во мне

И пройдя сквозь веселье я видел насилье Оно
с усмешкой злой на устах
Почему же так юность бледна и подобна мутной воде
что течет от меня
Осколки стекла и сбивающих с толку речей
входят в меня
Худо мне
Худо мне от увядшей свежести от покорности плеч
От высохших щек
От поблекших лиц от преждевременного клейма жизни
еще не прожитой
От этих отрешенных глаз
Хуже всего мне оттого что скрыто
в преждевременных складках души
Не поэтому ли наложили запрет на портрет и законом запрещены
любые изображенья мужа и жены
Исключенье проститутки жилье
можно знаком похабным пометить ее
Худо мне в кровотеченье зари там где Я
начинаюсь в не Я
Сколько я бы ни прятал в ладони лицо раздвигаются пальцы мои
Вижу как вы растете и нет во мне сил то что вижу не увидать
Может быть это кара за то что всю жизнь уносился в мечтах
за могильный предел
И на крыльях химеры летел

■ ■ ■

О Меджнун
День-деньской пробродив по слободке горшень по Рабад аль-
Факхарин или по Маурору слободе водоносов
Вечерами взбираясь от моста к мосту вдоль Вади Хадарру до
Контарат Ибн-Рашик единственного моста ведущего в аль-Байязин
И мельницы колесуют реку и сукхи прогибают мосты
И стражи гонят умирающих со ступеней ведущих в мечеть чтобы
место молитвы не было осквернено
Как небрежно хранимая тайна вода
отовсюду струится под плиты сюда

О Меджнун
Почему не спешишь пройти по садам в Соколиный квартал разве
ты не устал разве пыль не режет глаза
Женщина частые роды исказили тело ее узнаёт тебя вспоминает
песни твои и с жестом чье величье способен лишь тот оценить
Кто пережил голод большой повторяет слова те что ты казалось
забыл навсегда.

О Меджнун
Твоя ли это словесная вязь или кто-то другой сочинял
в иной стране в иные времена

Моя печальная любовь горька словно лимон
Мой гимн похож на ураган
В мой затененный уголок приходит часто океан
Здесь умирает он

Твои ли строки распевает и снова повторяет женщина
Она тебе вручает хоть отрывает от своих детей бесценное и
рыжее сокровище которое искрится и шелушится ты луковицы
много месяцев не ел

О Меджнун
Ты отвернулся от нее хотя сегодня ни крохи во рту бог весть
когда ты ел в последний раз и так сказал
Не должен я от этого вкусить ибо ангел грядет

О Меджнун
Так говорил Пророк в чаянье Исрафила и Гавриила вестника
Откровения но разве я не вижу что долгожданный свет мерцанье
звезд сейчас в твоих глазах
Из тех ли ты о ком сказано в суре Ан-Наджм
Поистине
Даст ангелу женское имя лишь тот
кто вовсе не верит в кончину
Тебе же я вижу равно наплевать
на вечную жизнь и на то что ангел мужчина

О Меджнун
Ты так поглощен той женщиной что блюдешь чистоту дыханья
на случай ее немыслимого появленья
И луковица остается в протянутой ладони и старуха прислоняется
к стене
И смотрит как ты уходишь

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

О безбожник

И вот в час слабости привиделось ему что он под деревом ююбы
тем самым помнишь о коем было сказано однажды то
душераздирающее слово
Неподалеку от садов Маруа
Лилово-ржавое стоит оно на придорожном злом ветру
Он вспомнил сказанное о забывшем Аллаха и посему забытом им
Что́ если жизнь его плодов не приносила
Что́ если потерялся он в пути который не был верой озарен
Вот опустился на него мрак крыльев огромной птицы
Я ждал ее я ждал и узнаю теперь
А может это только тень отбрасываемая человеком
Когда в свое жилище входит он усталостью дорожною согбенный
Мне слышатся шаги его босые по обожженным плитам
Он отворяет дверь велит служанке выйти
И произносит далеким-далеким голосом идущим из пустыни

Оставьте наедине меня с творением моим
Так вот ты бог который схож со мною
Настолько словно пред зеркалом своим простерся я
А если ты воистину отец мой дозволивший мне молвить это слово
Тогда поведай мне усладу испытанную матерью моей в миг моего
зачатья
И были ли ее глаза как опрокинутые чаши с фиалковым вином
Но ты-то знал что попирал свой собственный закон
Она была ведь женой другого а я исчадье божьего греха
И в отрицании тебя я прожил жизнь

Слушай в час избавленья моего ужель уста мои солгать способны
Слушай
Я наконец могу сказать тебе в лицо что нет тебя
Не умирало бы подобье божье когда бы бог существовал
Ты прах сыпучий под пятой моей иссохшей
И торжество мое последний этот вздох которым я тебя развеял
неопровержимо
Распоряжайся как тебе угодно в моем жилье покуда я не стал молчаньем
Распоряжайся гость последнего мгновенья
О ты пришедший навести порядок и снять двусмысленность с улыбки
усопшего
Ты сковывающий язык ты извлекающий из вздоха последнего свой
козырь воровской
Когда усядешься на грудь мою ты можешь
Давить всем весом Небытие нет не дано ему дух выбить из клетки
ребер моих
Ни именем твоим скривить мои уста
Ужели ты каждому себя как приговор выносишь
Смысл придавая каждому уходу От ночи человека свой зажигая день
Нет не постичь тебе насмешливости этой
Ни странной радости что без меня бежит как прежде вода в саду
плодовом
И без меня заря приходит облокотиться о холмы

А я Я прожил мир без доказательств бога Поймешь ли
Последний праздник слуха моего Я ждал
Так долго мгновенье это Самого себя
Отбросить сбросить как одежду быть
Столь совершенно обнаженным
И с памятью своей наедине в которой растворятся мои глаза
Столь жадные к всему что видел всему что я любил
Всему что для себя берег на этом свете

Смотри не ошибись то что за стон ты принял
Все тот же вызов плотью брошенный тебе
О смерть о бог как там ни назовись
Свой страх возьми себе себе оставь свой рай

Вот еще раз он поднял камень век
Все в доме было так обыденно и мирно
И кто-то пел в саду иль просто листья жгли
Он встал увидел вещь каждую на месте улыбнулся
И даже одежды не набросив начертал стих несуществовавшей суры
О безбожник
Не богохульствуй бога в мире нет

Перевод А. ЭФРОН

ПИТЕР АБРАХАМС

ВЕНОК МАЙКЛУ УДОМО

РОМАН

Перевод с английского
В. ЕФАНОВОЙ

Глава вторая

I

Эдибхой встретил Мэби в аэропорту.

— Мэби, дружище! Господи, до чего же я рад тебя видеть. Ну, как ты там? Добро пожаловать домой!

Кучка людей, не скрывая улыбок, наблюдала, как их министр здравоохранения и градостроительства обнимает маленького человечка и пляшет вокруг него от радости.

— Очень рад тебя видеть,— сказал Мэби,— а я боялся, что и меня ждет такой же балаган, как вы устроили Тому и Мхенди.

— Ты же знаешь наш народ,— хохотал Эдибхой.— Он обожает зрелища, вот мы и устраиваем их для него... Пошли, надо ехать в город. За багаж не беспокойся, его привезут... До чего же хорошо, что ты приехал, брат.

Их аплодисментами проводили до машины и долго махали им вслед.

— Я думал, что вы все придете встретить меня,— заметил Мэби.

— Удомо ездит по стране. И Лэнвуд с ним. Они вернутся только на будущей неделе.

— А Мхенди?

— Мхенди здесь нет.

— Значит, Майк сдержал обещание...

— Конечно! А ты как думал?

— Какой он теперь?

— Кто? Удомо?

— Да. Каким он стал, оказавшись у власти?

— Он ничего. Спокойнее, чем прежде, но в общем тот же.

Мэби пристально посмотрел на Эдибхоя. Эдибхой захохотал.

— Меня ты своим смехом не обманешь,— оборвал его Мэби.— Ну-ка, рассказывай!

Машина неслась по новому восьмикилометровому шоссе, соединяющему город с аэропортом. Черная асфальтированная дорога лоснилась под лучами палящего солнца. Мгновенная тень пробежала по лицу Эдибхоя.

— Да что тут рассказывать,— сказал он.— Все прекрасно. Народ за нас. Просто кое-кто считает, что Удомо мог бы действовать быстрее. Да ты сам увидишь...

Окончание. Начало в № 2 и № 3.

— А ты? — спросил Мэби.— Ты тоже так считаешь?

— Прошло еще слишком мало времени,— уклончиво ответил Эдибхой.— Дело в том, что мы много наобещали народу. Да ты сам все увидишь... А как Лондон? Он мне иногда снится.

— Лондон — город старый. Он не меняется от того, что кто-то уехал или приехал. Лондон все тот же.

— Это правда,— усмехнулся Эдибхой.— И ты все тот же.

— Зато здесь большие перемены. Теперь скажи мне, какова будет моя роль во всем этом. Я уверен, что Удомо совсем не хотел вызывать меня сюда.

— Наше дело выше личных отношений,— сказал Эдибхой.— Но об этом потом. Исполком устраивает сегодня в твою честь прием. После приема мы поговорим.

— Надеюсь, дело обойдется без балагана?

— Тихонечко поужинаем — и все,— сказал Эдибхой и расхохотался.

■

Черное небо было усеяно звездами, когда прием наконец окончился и они приехали домой к Эдибхою. Был час ночи.

— Нечего сказать, поужинали тихонечко,— иронически заметил Мэби.

— Скажешь нет?.. А ты им понравился. Знаешь, как это важно... Ну, теперь можно и поговорить... Выпьешь что-нибудь?

— Я и так хватил лишнего.

Эдибхой, слегка покачиваясь, налил себе виски.

— Твое здоровье!

— Скажи мне, кто такая Селина,— спросил Мэби.— Я о ней ничего не слыхал.

— Ты, значит, обратил внимание? Это, земляк, наша сила. Она говорит женщинам, что́ они должны говорить своим мужьям, а мужья делают то, что говорят им жены. Без нее мы бы не создали нашу партию.

— Сразу видно, что она настоящая дочь племени.

— Все мы дети племени, Мэби. Без помощи Селины нам никогда бы не одолеть Совет вождей и старейшин.

— Значит, Майк теперь — вождь племени, заменивший всех остальных, что-то вроде верховного вождя всех племен и отца народа?

Эдибхой покатился со смеху.

— Скажи это ему, Мэби. Обязательно скажи.

— Ты пьян?

— Я пьян? Министр пьян? Никогда. Чуть-чуть навеселе — и только.

— Ладно уж. Так какова же моя роль?

— Тебе дадут министерство образования и национального руководства.

— А теперешний министр?

— Ну, это произойдет не сразу. Член палаты Ассамблеи, представляющий горцев, уже получил новое назначение и подал в отставку. Скоро выборы, и мы выставим твою кандидатуру. Ты, безусловно, пройдешь. И сразу же будешь назначен заместителем министра, а еще через месяц примешь министерство.

— Значит, все налажено?

— Все налажено, брат. Но времени терять нельзя. Шайка Эндьюры уже вовсю агитирует.

— Когда день выборов?

— Через две недели.

— Значит, мне нужно торопиться.

— Самолет заказан на завтра. Вот почему ты должен был сегодня же встретиться с членами исполнительного комитета. Удомо заедет к тебе дня на два и поможет с предвыборной кампанией.

— Удомо?

— Я же сказал тебе, что наше дело выше личных отношений.

— Только потому я и приехал,— вдруг вскипел Мэби.

— Ладно, ладно... Пошли-ка лучше спать. Давай по последней?

— Не хочу. Есть какие-нибудь новости о Мхенди? Когда он уехал?

— Я ничего не знаю. Я — министр. Не забывай, что и ты скоро будешь министром. Поэтому нам лучше ничего об этом не знать. Понимаешь? Но Селина бы сказала тебе, что он покинул Куинстаун около двух месяцев назад.

— Когда можно ждать от него вестей?

— Не знаю. Забудь пока об этом. У нас здесь сейчас огромная делегация дельцов и инженеров из Плюралии. Народ недоволен, но Удомо утверждает, что это жизненно необходимо. Кое-кого из них ты можешь встретить и в своих краях. Поэтому лучше даже не упоминать имя Мхенди. Понятно?

— Понятно.

— Спокойной ночи, брат. Я очень рад, что ты приехал. Мы с Удомо все тащим на себе. Теперь нам будет легче.

— Спокойной ночи,— сказал Мэби, но так и не двинулся с места после того, как Эдибхой ушел.

Мэби давно отвык от звона цикад и во время разговора с Эдибхоем все прислушивался к их хору. Сейчас ему чудился уже не хор, а мощный слаженный оркестр, звучание которого наполняло комнату. В горах, в его родной деревне, молоденькие женщины делали насечки в тростниковых трубочках и развешивали их у дома, чтобы ветерок, пролетая мимо, наигрывал на этих своеобразных свирелях нежные мелодии. Давным-давно, когда он был мальчишкой, он любил лежать ночью на траве и слушать их мелодичные голоса, которым аккомпанировал громкий хор цикад. Сейчас не хватало только этих свирелей, чтобы вернуться в далекое прошлое, опять почувствовать себя мальчишкой. Мэби закрыл глаза и слушал.

Кто-то вошел. Он открыл глаза. В дверях стоял Самсон, слуга Эдибхоя.

— Извините, сэр. Я думал, вы спать пошли. Комнату хотел убрать.

— Входи, убирай,— сказал Мэби.

— Спасибо, сэр. Принести виски, сэр?

— Не надо, Самсон.

— Может, кофе, сэр?

Самсону так хотелось сделать Мэби что-то приятное, что Мэби кивнул и улыбнулся. Нигде в мире услуги не предлагаются так щедро, от всей души, и нигде в мире они не принимаются с таким пренебрежением — и не только белыми, но и черными.

Мэби подошел к окну. Интересно, можно увидеть этих ночных оркестрантов? В детстве ему казалось, что он видит их. Но это была фантазия, в которую он поверил с годами. Завтра он будет дома, среди своих. Он слегка побаивался этой встречи. Ведь они все те же, а он изменился. Хорошо, что горцы не так экспансивны, как жители равнин. Завтра он увидит мать — такую старенькую и милую. Но прежде чем ему позволят обнять ее, предстоит выполнить весь этот идиотский ритуал...

А Лоис... Как это он сказал тогда в свое оправдание? Эдибхой еще повторил его изречение. Да — *наше дело выше личных отношений!* Прекрасная ширма, спрятавшись за которой, можно предавать друзей. И ведь люди охотно пользуются этой ширмой. Прости меня, Лоис! Есть для ме-

ня что-то неотразимое в этом отчаянном стремлении Африки к свету. Возможно, потому, что ее народ даже не понимает, как сильно это стремление. Но может ли зов родины оправдать предательство друга? Можно ли вообще оправдать предательство? Для тебя ответ на этот вопрос всегда был ясен, был он ясен порой и для меня. Ну, а как быть с Африкой, которая дала мне жизнь? Что делать, когда передо мной выбор — предать тебя, Лоис, или предать мечту всей моей жизни? Неужели всегда нужно выбирать из двух зол? Неужели не бывает выбора между добром и злом? Если это так, то это очень жестоко. Поколению, стоящему на перепутье эпох, всегда приходится делать самый мучительный выбор.

— Прости меня, Лоис...

— Вы что сказали, масса?..— вошел Самсон с чашкой кофе.

— Нет, Самсон. Спасибо. Я возьму кофе к себе. Спокойной ночи.

■

Крошечный самолетик, выбравшись из очередной воздушной ямы, задрал нос и стал набирать высоту, словно карабкаясь вверх по отвесному склону. Необъятное озеро отступило назад. Надвинулись горы. Потом они вдруг оказались прямо под крылом. Слева, сбегая со склонов гор, расстилались джунгли — темное пятно на светлой земле. Летчик-африканец повернул голову, улыбнулся во весь рот и крикнул:

— Через несколько минут посадка, сэр! Держитесь крепче. Немного потрясет.

Мэби кивнул. Говорить было невозможно — тарахтел мотор. Тебе, мой друг, кажется очень весело, но я-то чувствую себя отвратительно. Об одном только прошу — доставь ты меня на землю в целости и сохранности.

Самолетик продолжал набирать высоту. Бог мой, думал Мэби, вцепившись в сиденье... Этот глупый мальчишка непременно угробит нас. Вдруг самолет резко пошел вниз. Воздух придавил Мэби к сиденью. Сквозь шум мотора до него донесся голос пилота. Этот идиот еще пел! Честное слово, таких опасно держать на свободе! Земля приближалась с угрожающей быстротой. Внезапно она выровнялась, самолет неожиданно сбавил скорость. Кровь тяжело стучала в ушах Мэби. Самолет, подпрыгивая, бежал по земле. На поле их ждала кучка людей. Летчик снова повернулся к нему, сияя радостной улыбкой.

— Ну как, сэр? Все в порядке?

Мэби с облегчением вздохнул и неожиданно для себя улыбнулся.

— Где вы учились летать?

— Служил в британском военно-воздушном флоте.

— И они позволяли вам так летать?

— Ну что вы, сэр,— расхохотался летчик.— Эти англичане такой осторожный народ.

— Вот бы мне англичанина,— сказал Мэби.

Летчик решил, что это великолепная шутка.

Самолет остановился. Его обступили люди. Главным образом молодежь. Здесь, в горах, старики не выходят встречать молодых. Приветствовать Мэби будут только ровесники и те, кто моложе его. А уж идти к старейшинам придется Мэби самому. Если ему повезет, если старейшины сочтут его достойным сыном племени, они соберутся в одном месте и он сможет пойти туда и засвидетельствовать свое почтение всем сразу. Если же нет, ему придется ходить из деревни в деревню. Только после этого он сможет переступить порог материнского дома.

Мэби и летчик вышли из самолета. Встречающие разделились на две группы — одна побольше, другая поменьше. Начинается...— с горечью подумал Мэби. Он подошел к маленькой группе. Кровная родня.

Он смотрел на них и никого не узнавал. Его сестра, конечно, вышла замуж и живет теперь в какой-нибудь дальней деревне.

Он стоял в ожидании. Родственники подходили к нему, соблюдая старшинство. Каждый касался его руки, кланялся и уступал место другому. Все как положено. Сначала родственники, затем соседи. Наконец церемония окончилась. Какой-то человек в европейском костюме подошел к Мэби:

— Я здешний учитель.

— Очень приятно. Вы не скажете, где мне найти старейшин?

Учитель улыбнулся.

— Они ждут вас, хотя сторонники Эндьюры уговаривали их не собираться для встречи с вами. Нас, членов партии, только двое — я и доктор. Он прислал за вами свой джип. Он и сам бы приехал, да его вызвали к больному. Но он заедет к вам, как только освободится.

Добровольные помощники быстро перетаскали вещи Мэби в машину. Мэби пожал летчику руку. Чтобы покрасоваться перед деревенскими жителями, летчик надел летный шлем и очки. И только после этого сел в самолет. Самолет взмыл в воздух. Описал над площадкой круг, набрал высоту, сделал бочку и полетел обратно в Куинстаун.

Посадочная площадка находилась в полумиле от деревни. Мэби и учитель сели в машину. Кое-кто вскочил на подножку. В окружении толпы машина медленно двинулась к деревне. Скоро они были на окраине деревни.

Мэби посмотрел налево — там в стороне от дороги стояло несколько хижин. Вот он, его дом. Здесь он родился. Здесь его мать. Она покорно ждет, когда же наконец ей разрешат увидеть сына, ждет, потому что так велит этот идиотский обряд. Мама! Тяготишься ли ты этим так же, как я? И зачем только люди моего племени мучают себя никому не понятным ритуалом? Эх, мама... Он быстро повернулся к учителю.

— Вы говорите, у Эндьюры здесь много сторонников?

— Прежний депутат Ассамблеи был ставленником Эндьюры. Но Селина сумела его подкупить. Если бы вместо вас партия выдвинула в Ассамблею кого-нибудь другого, кандидат Эндьюры победил бы обязательно.

— Но если Эндьюра так силен, он может и меня прокатить?

— Никогда. В глазах наших людей вы — герой. Вы первый из горцев уехали в страну белых и добились там настоящего успеха. Все английские журналы и газеты со статьями о вас и ваших работах каким-то чудом попадают сюда, и их выставляют в школе, чтобы все могли на них смотреть. Да вы сами увидите такую выставку. Молодежь будет голосовать за вас, что бы ни говорили старейшины. Потому-то старейшины и решили собраться сегодня все вместе. Они знают, как сильно здесь ваше влияние.

— Что ж, посмотрим,— сказал Мэби.

Джип остановился посредине деревни у большой хижины — здесь обычно совещались старейшины.

— Они ждут вас,— сказал учитель.— Желаю успеха.

Мэби вылез, пошел к хижине. Люди, сопровождавшие его, замолчали. Стало очень тихо. На другом конце деревни то умолкала, то снова заливалась лаем собака.

Мэби чуть задержался у двери, потом распахнул ее и решительно шагнул вперед. В центре хижины сидел вождь, вокруг него полумесяцем старейшины. Отец Мэби сидел по правую руку вождя. Забудь свои привычки, Мэби, помни, что ты сейчас в мире, где живут по законам племени.

— Приветствую тебя, вождь мой! — Он поклонился вождю, затем отцу: — И тебя, отец мой! — Мэби повернулся к старейшинам и отвесил

им низкий поклон: — И вас, старейшины горских племен. Приветствуя вас, я склоняюсь перед мудростью своего народа, перед его законами, перед властью, которой он облек вас.

Все взоры были устремлены на него. Интересно, долго они будут так пялиться?

Вождь откашлялся.

— Добро пожаловать домой, юноша. Ты долго отсутствовал. Какую мудрость ты постиг в чужих краях?

— Я не постиг ничего такого, что было бы неизвестно вождю и старейшинам моего народа... Прошу простить меня за то, что я явился перед вами в одежде белого человека. Я не хотел заставлять вождя и старейшин ждать.

Человек, сидевший слева от вождя, кашлянул. Вождь кивнул.

— Ты хочешь сказать, что за все эти годы ничему не научился и ничего не узнал? — спросил старейшина.

— Я узнал многое. Но вождь спрашивает о мудрости. Постигнуть мудрость нелегко.

— Значит, ты считаешь, что мудрость можно постигнуть?

Смотри в оба, Мэби!

— С годами — да.

— А что человек может постигнуть в молодости?

— Он может получить знания.

— Знания! А зачем они?

— Молодой человек, который привез меня сюда в летающей машине, молод, у него нет мудрости. Но зато у него есть знания — он знает, как заставить машину лететь. Поэтому я смог, вылетев утром с побережья, оказаться здесь еще до наступления темноты.

— Это был белый. Белым свое, а нам свое.

— Нет, он не белый. Спросите у людей. Его все видели. Он черный. И он знает, как заставить машину летать.

— А на что это нужно, если нет мудрости? — вмешался вождь.

— Нужно это для того, чтобы мудрые люди, вроде вас, могли побывать на побережье, где ваши мудрые слова выслушают те, кто управляет страной, и засветло вернуться домой.

— А что радости в таких путешествиях? — пробормотал кто-то.

— Но польза в них есть,— заметил вождь.

Мэби решил использовать момент:

— Если вы захотите полететь на побережье, это можно устроить.

По лицу вождя скользнула улыбка. Какого черта они не предложат мне сесть? — подумал Мэби.

— Мы слышали, что некоторые молодые люди привозят на родину белых жен...— сказал негромко отец Мэби.

— У меня нет жены.

— Мы слышали, что ты за Удомо? — вступил в разговор еще кто-то.

— Я за свой народ.

— Значит, врут, что ты приехал, чтобы выставить свою кандидатуру в Ассамблее?

— Нет, не врут. Я действительно приехал для этого. Но это еще не значит, что я за Удомо.

— Как это так, юноша? — резко спросил вождь.

Смотри в оба, Мэби! Смотри в оба.

— Я считаю, что голос нашего народа должен быть слышен на побережье. Я считаю, что горские племена должны иметь своего представителя в палате Ассамблеи. Пусть он говорит от их имени, защищает их интересы, помогает вырабатывать законы, по которым они будут жить.

— Значит, молодые хотят вырабатывать для нас законы,— раздался чей-то ехидный голос.

— У молодых есть знания, как у того летчика, который заставляет самолет летать, у вас — мудрость. Молодые придут за мудростью к вам. Я приду к вам. Меня хотят сделать министром, который будет ведать образованием и воспитанием нашего молодого поколения.

— Ты будешь министром? — переспросил вождь.

— Да, если меня изберут в палату Ассамблеи.

— Наш человек еще никогда не играл важную роль в советах жителей равнин. Тебе будут подчиняться молодые люди всей страны?

— Да.

Вождь улыбнулся, посмотрел на отца Мэби и важно кивнул. Мэби почувствовал, что это поворот. Надо было с этого и начинать.

— Не верю я этому,— сердито заявил седобородый старик,— люди равнин ненавидят нас. Они хотят править нами.

— Я сказал правду.

В спор вступил еще один старик:

— Говорят, Удомо не уважает стариков. Говорят, он хочет уничтожить наши обычаи, обычаи предков. Говорят, он хочет заставить нас жить по обычаям белых, чтобы молодые не уважали стариков и не подчинялись законам нашего племени. Говорят, он не боится наших богов и не почитает их. Что ты скажешь на это?

Господи, как он устал! К черту всех этих стариков, если они даже не предложат ему сесть после долгого пути. Или молодые не люди? Спокойно, Мэби, спокойно! Он повернулся и медленно обвел взглядом старейшин. Только вождь смотрел на него приветливо.

— Почтенный старейшина, вы сказали «говорят». Кто же это «говорит»?

— Отвечать на вопросы должен ты, а не мы.

— Я спрашиваю, потому что у меня есть на то причина.

— Он дело говорит,— сказал вождь.— Ответь молодому.

— Мне это не нравится,— пробормотал кто-то.

— Ответь сейчас же,— приказал вождь,— посмотрим, какая у него причина.

— Так говорят те, кто за доктора Эндьюру и за Совет вождей и старейшин,— сказал старик.

— Вождь и старейшины! — сказал Мэби.— Разве ваша мудрость не говорит вам, что, когда два человека добиваются одного и того же, не стоит верить всему, что они говорят друг о друге? Разве не свойственно соперникам возводить друг на друга напраслину?

— Он говорит дело,— кивнул вождь.— Теперь нам ясно, почему юноше нужно было задать свой вопрос. Он напомнил нам о нашей мудрости. Я доволен.

Но упрямый старик не сдавался:

— Юноша, ты говорил мудро, но на вопрос ты не ответил. Уважает ли Удомо, этот новый повелитель страны, наши седины, почитает ли он наши старинные обычаи и богов наших предков? На этот вопрос я не слыхал ответа.

— Вы услышите ответ, почтенный старейшина. Я мог бы сразу сказать вам, что он уважает и ваши седины, и старинные обычаи, и наших богов. Но я не стану говорить вам это. Скоро — через два или три дня — Удомо приедет к вам и сам ответит на все ваши вопросы. Я обещаю вам это.

Старики взволновались.

— Премьер-министр всей страны приедет к нам! — воскликнул вождь.

Мэби подавил ироническую улыбку.

— Я пригласил его, и он приедет.

— Потому что ты пригласил его? — прошептал вождь.

Мэби кивнул. Старейшины переглянулись. Да, думал Мэби, что бы ни думали об Удомо — он теперь власть, а основа всей вашей жизни, всех ваших традиций — почтение к власти.

— У этого юноши большая сила,— шепнул вождь старейшине, сидевшему слева от него,— а мы ему даже не предложили сесть. Он пригласил Удомо, и Удомо приедет. Никто, ни белые, ни Совет вождей и старейшин равнинных племен не смогли бы сделать этого.— Он встал.— Беседа окончена. Мы остались тобой довольны, сын Мэби. Ты делаешь честь своему народу. Сегодня будет пир в твою честь, и все старейшины придут на него, хотя они и старше тебя. Я так прикажу. И сам я приду на этот пир. А потом мы начнем готовиться к приезду премьер-министра Удомо. Вы согласны, старейшины?

Старейшины пробормотали слова согласия, хотя и не все были согласны. Но они не зря были старейшинами и знали, что не стоит плыть против течения.

— Значит, беседа окончена.

А Мэби вдруг почувствовал страшное раздражение. Вот оно, самое страшное зло племенного уклада в наш век — этот строго продуманный ритуал, основанный на страхе и беспрекословном подчинении. Это полное подавление человеческой личности! Какая благодатная почва для создания диктаторского государства!

Он покорно обнял отца. В общем он совсем не знал этого старика. Им были незнакомы все те мелочи, на которых строятся отношения отца и сына.

Он проделал все, что полагалось, сказал все, что должен был сказать старейшинам, вождю и старику, который зачал его, но никогда не был его отцом. Наконец все было кончено. Теперь он мог идти к матери. Ее лицо он всегда хранил в памяти. Бедная, что она пережила в эти последние часы перед встречей, зная, что он здесь, рядом.

Люди на улице почти все разошлись, но учитель с джипом ждал его. Мэби сел в машину.

— Ну, как дела?

— В честь моего приезда устроят пир. Придут вождь и старейшины.

— Замечательно! Мы знали, что вы завоюете их уважение.

— Не я. Удомо. Ведь Удомо теперь верховный вождь всех племен.

Учитель не понял, что Мэби имел в виду, и, чтобы скрыть это, громко рассмеялся.

Джип остановился возле усадьбы отца Мэби. Мэби вышел из машины и помахал учителю.

— До свиданья!

У ворот огороженной частоколом усадьбы копались в золе куры, вертелись под ногами ребятишки. Возле хижин хозяйничали жены отца. Завидев Мэби, они громко приветствовали его. Он машинально отвечал им, ища глазами мать. И вдруг он увидел ее. Она выходила из хижины, служившей кухней.

Мама! Круглое покорное лицо, исчерченное временем и тяжелой работой, полные слез, истосковавшиеся, пытливые глаза. Дрожащий подбородок и запах дыма, въевшийся в одежду. Маленькая-маленькая, совсем как он. Мама! Мои глаза, мое сердце так же тосковали по тебе все эти годы.

По ее щекам покатились слезы. Глаза засияли счастьем.

— Где моя хижина? — спросил он на родном языке.

Она скользнула мимо, чуть коснувшись его рукой. Он пошел за ней. Женщины наблюдали за ними.

Она вошла в маленькую хижину, повернулась к нему. Наконец-то они одни, совсем одни, укрытые от чужих глаз. Она почти упала ему на руки.

— Сын мой... сын мой...— всхлипывала она.

Он обнял ее, крепко прижал к себе.

— Мама,— прошептал он по-английски.

Прошло много времени, прежде чем она высвободилась из его рук и торопливо утерла глаза.

— Я так боялась,— прошептала она.

— Чего ты боялась, мама?

— Что белые отберут у меня сына.

— А теперь?

— Я была глупая, что боялась. Ты все равно мой сын. Большой человек, но все равно мой сын,— у нее снова хлынули слезы, слезы радости.

— Милая ты моя,— шепнул он по-английски и снова притянул ее к себе.

— Обед подгорит,— тоже шепотом сказала она.

2

Мэби протянул руки к огню. Он и забыл, какие холодные бывают здесь ночи. Он взглянул на Удомо, сидевшего рядом с вождем по другую сторону костра. Поразительно, как быстро Удомо сумел расположить их к себе. Он изменился, приобрел выдержку, научился скрывать свои мысли. И до чего же умен и тонок его подход к людям. Просто удивительно, как благотворно подействовала на него власть. Он стал хладнокровен, рассудителен — и все это под маской беззаботной приветливости. Он просто обворожил тут всех.

Удомо прилетел рано утром. Когда он выходил из самолета, у него был очень усталый вид. Но он тут же стряхнул с себя усталость, и знаменитая улыбка засияла на его лице. Вслед за Удомо из самолета вышел Томас Лэнвуд, которого никто, кроме Мэби, не заметил. И весь день, на всех собраниях и встречах Том оставался в тени, не замечаемый никем, кроме Мэби. Но даже Мэби не мог подбодрить его: ему нужно было быть рядом с Удомо.

Удомо и вождь сидели, обняв друг друга за плечи, и смеялись. Да, он действительно постиг искусство покорять людские сердца. Они еще ни разу не оставались наедине. И слава богу! Пока они борцы за общее дело, за Африку — все в порядке. Но оставшись с глазу на глаз, он может заговорить о прошлом. А это ни к чему хорошему не приведет. Заискивать перед ним я не стану, твердо решил Мэби.

Но что это с Лэнвудом? Огонь, который горел в нем, погас. А как он был возбужден, как счастлив, когда они с Мхенди несколько месяцев назад покидали Лондон. И вот он здесь. У него потухший взгляд, он подавлен и страшно постарел. Что случилось? Конечно, известную роль тут играет языковой барьер. Но дело не только в этом.

Он повернулся к Лэнвуду. Лэнвуд сидел, сгорбившись, безучастно глядя в огонь. Он даже не пытался поговорить со старейшиной, сидевшим рядом. Ни рокот барабанов, ни голоса людей, по-видимому, не трогали его.

— Том!

Лэнвуд повернул голову и через силу улыбнулся.

Как он постарел, подумал Мэби. Он вдруг почувствовал к нему острую жалость.

— Что случилось, Том? Вы чем-то расстроены?

— Для меня здесь нет места, Поул...

— Не выдумывайте ерунду,— Мэби сел поближе к Лэнвуду, обнял его за плечи.— Просто все это слишком непривычно для вас. Погодите

немного. Вы ведь очень долго жили в чужих краях. Чтобы привыкнуть, нужно время.

— Я уже стар, Мэби. Не то что все вы... Я...

— Глупости! Просто вы не знаете, с чего начинать, вот и пали духом. И без языка вам, должно быть, очень трудно. Пройдет два-три месяца, и вы будете смеяться над собой.

— Если бы у меня было дело, как у всех вас...— Он посмотрел туда, где сидел Удомо.

Мэби прочел в его глазах отчаянную мольбу.

— У вас здесь очень много дел, Том. Не говорите глупостей. Не забывайте, вы — Том Лэнвуд, человек, который вот уже четверть века борется против империализма...

— Я здесь не нужен, Поул. Я не так глуп, чтобы не понимать этого. О черт! Что на это ответить?

Удомо бросил на них быстрый взгляд, улыбнулся, кивнул и снова повернулся к вождю. Мэби почудилась в его взгляде ирония.

Женщины принесли еще еды и вина. Юноши подбросили сучьев в огромный костер. Били барабаны, смеялись и пели люди. Ярко горели звезды — казалось, здесь они были ближе к земле, чем на равнине. Дул холодный ветер.

— Я даже Мхенди завидую,— хрипло сказал Лэнвуд.— Он опять среди людей, которым нужен.

— А как с книгой, о которой вы говорили?

— А кому она здесь нужна? Только белые будут читать ее.

Утешить его было невозможно.

— Вы говорили с Удомо?

— Он старается найти для меня что-нибудь поспокойнее.

— Ну тогда...

— Он все утешает меня, говорит, что книга моя очень нужна.

— Она и правда нужна, вы сами знаете.

— Нужна? Вы так думаете?

— Конечно. Что с вами, Том?

— Ну, а что случится, если я ее не напишу? Ровным счетом ничего! Все будет идти по-прежнему... Вот если бы вы не приехали сюда и не сплотили горцев вокруг Майка, мог бы разразиться правительственный кризис. Да! Значит, вы нужны для единства страны, для ее будущего. Так же как Майк, как Эдибхой, как Мхенди у себя в Плюралии.

— А идеологическая работа, Том? Вопросы философии? То, чем вы занимались в Лондоне. Ведь в конечном счете это гораздо более важно, чем все остальное. Честное слово.

— Вы ошибаетесь, Поул. Две недели я езжу с Майком по стране. И я убедился, что настоящая Африка совсем не похожа на ту, о которой я писал в своих книгах. Мне сейчас очень тяжело, Поул, и не надо меня утешать. Вы нужны. А я нет. Я ничего не понимаю в племенном укладе. И не хочу ничего понимать. Майк прав. Слишком долго я жил в Европе... Я очень устал, Поул. Как вы думаете, я не нарушу этикета, если уйду сейчас?

— Конечно нет, Том,— мягко сказал Мэби.

Он подозвал одного из юношей.

— Отведи гостя к моей матери. Скажи ей, что он будет спать на моей постели. А мне пусть постелят на полу...

Они встали. К ним подошел Удомо.

— Том устал,— сказал ему Мэби.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал Лэнвуд.

— Конечно,— кивнул Удомо.— Мне очень жаль, Том, что поездка получилась такой утомительной. Но вы сами понимаете, я должен объяс-

нить людям принципы государственного управления. А времени у меня так мало. Где вы будете ночевать?

— У меня,— сказал Мэби.

— Очень хорошо. Вам надо поспать перед дорогой. Не уверен, что мне это удастся: я ведь ночую у вождя. Мы вылетаем завтра рано утром. Надеюсь, наш летчик будет не очень пьян.

— Спокойной ночи,— сказал Лэнвуд, уходя вслед за юношей.

Они проводили его взглядом. Молодая женщина предложила им фрукты. Удомо взял апельсин и поцеловал ее в лоб. Все продумано — каждый поступок, каждый жест, отметил Мэби. Он увидел веселый огонек в глазах Удомо.

— Ты тоже от этого никуда не денешься... Том жаловался тебе?

— Да.

— Я так и думал. Поездка доконала его. Что с ним было, когда мне омыли кровью ноги в одном селении! Его чуть не стошнило. Он никак не может с этим примириться.

— Что же мы будем делать с племенным укладом?

— Пока ничего. Если сегодня я выступлю против него, завтра я уже не буду премьером. Вот так! Оставим пока все как есть, а сами поведем наступление с тыла. Это единственно возможный для нас путь. Вот почему я так нажимаю на тяжелую промышленность. Вот почему мне до зарезу нужны белые специалисты из Плюралии. Мхенди меня понимает, а Том и Эди — нет. Том — потому, что он вообще в панике от всего увиденного, а Эди — потому, что в душе все еще верен племенному строю! А на стороне Эди и Селина, и весь исполнительный комитет партии.

— Понимаю.

— Очень рад. Все не так просто, как кажется. Мне необходимы сейчас образованные люди, люди, которые сбросили с себя путы племени и в то же время хорошо представляют себе силу племенных законов, люди, которые могли бы очень тонко и осторожно подойти к этому вопросу. Могу сказать тебе прямо — между мной и Эди идет из-за этого борьба. Не открытая, нет, но тем не менее нешуточная. Между прочим, именно поэтому я и предоставляю им с Селиной думать, что только благодаря их настоянию я вызвал тебя и предложил тебе пост в правительстве. Очень важно, чтобы меня поддерживал человек, которого они считают своим.

— А ты уверен, что я стану поддерживать тебя?

Удомо добродушно усмехнулся:

— Ты скоро поймешь, что для людей, правящих страной, давать волю чувствам, вроде того, как ты только что сделал, непозволительная роскошь. Конечно, ты поддержишь меня. Разве что воспылаешь любовью к племенному укладу или твоя ненависть ко мне так велика, что ты пожертвуешь ради нее будущим своей страны. У меня перед тобой одно преимущество, Мэби. Я несу этот крест уже несколько лет. И я с радостью передам в твои руки все, что ты можешь взять. Ты ведь знаешь, что тебе достаются министерства, наиболее важные с точки зрения будущего. Ты увидишь, что Джонс и Росли сделают все, чтобы помочь тебе. Обязательно поговори с Джонсом, как только вернешься. Не знаю, что бы я без него делал. Только не забывай наше дурацкое постановление о контактах. Вот еще с чем пора кончать, господин министр образования и национального руководства.— Удомо опять усмехнулся.— Надеюсь, теперь тебе не так уж неприятно будет войти в мой кабинет.

— Нет, не так.

— Ты останешься здесь до выборов?

— Да. Хочу поездить по деревням.

— Хорошо. Только постарайся особенно не задерживаться. Работы у тебя непочатый край. Эди посвятил тебя в наш план. Несколько не-

дель ты будешь заместителем министра, а затем я устрою смену министерских постов. Теперь хоть есть кем заменить. Вначале у нас совсем не было людей. Я уж подумывал даже над тем, чтобы предложить министерский портфель Эндьюре.

— А как насчет Тома?

— Ты ведь сам догадываешься.

— Что он собирается уезжать? Да, об этом я догадался. Но по доброй ли воле? Он в совершенном отчаянии.

— Знаю. Мы же с ним были вместе последние недели. Я пытался уговорить его остаться.

— Но сам ты не очень этого жаждешь?

— Из-за него можно очутиться в очень неловком положении. Что и случалось не раз. Тем не менее попробуй убедить его. Задержи его здесь, у себя, если тебе хочется.

— Неужели нельзя подыскать ему ничего подходящего?

— Я подумывал о руководящем посте в партии, но очень уж он бестактен. Не успел приехать, как сразу же выложил перед всеми свои взгляды и убеждения. Теперь те, кто стоит за племенной уклад, не хотят и слышать о нем. А на них все держится. Все очень сложно, Мэби.

— Я начинаю понимать,— сказал Мэби и добавил про себя: и ты снова начинаешь мне нравиться.

— Я рад, что ты приехал, Мэби,— сказал Удомо.— У нас впереди адова работа... Пойду-ка я назад к вождю. Надеюсь, что это проклятое пиршество скоро кончится. У меня слипаются глаза. За последние трое суток я спал не больше шести часов.

— Я попробую намекнуть ему,— сказал Мэби.

Удомо улыбнулся — печально, виновато.

— Мэби, если бы только я мог взять назад то, что случилось в Хэмстеде...

У Мэби лицо стало непроницаемым. Удомо круто повернулся и пошел обратно к вождю.

Этого нам не дано, с горечью подумал Мэби. Этого нам не дано.

Его поманил вождь. Мэби подошел к ним.

— Прошу извинить за переход на личные темы,— сказал по-английски Удомо.

— Роскошь, для нас непозволительная,— горько заметил Мэби.

— Ты еще убедишься, до какой степени это справедливо,— тихо ответил Удомо.

— О чем вы говорите? — спросил вождь.

— Премьер-министр заканчивает свою поездку. Много ночей он совсем мало спит. Я спросил его, не хочет ли он пойти спать. Он ответил, что, пока пир не кончен, он не уйдет, несмотря на усталость. Он не хочет обидеть вас. И не хочет, чтобы я сказал вам это. Вот почему мы говорили на языке белых.

— Мои друзья чересчур обо мне заботятся,— улыбнулся Удомо.

— Значит, это умные и преданные друзья,— сказал вождь.— Человек, который несет на плечах тяжелый груз, должен беречь свои силы. Сейчас я прикажу окончить пир. Мой народ увидел, что ты чтишь наши законы и обычаи. Пусть сын наших гор, сын нашего племени правит страной вместе с тобой.

— Ты добр и мудр,— сказал Удомо.

Вождь встал и хлопнул в ладоши. Наступила тишина...

■

В тот же вечер в Куинстауне разговаривали губернатор и начальник его канцелярии.

— Эта история с Мхенди — первое серьезное осложнение во внеш-

ней политике, которое придется расхлебывать нашему премьер-министру,— говорил Джонс.— Как вы думаете, что он предпримет?

— Я бы дорого дал, чтобы знать,— ответил Росли.— Если сообщения из Плюралии верны хотя бы наполовину, Мхенди заварил там кашу. И знаете, Джонс, как лицо сугубо частное, скажу — помогай ему бог! Белые колонисты Плюралии заставляют меня стыдиться цвета своей кожи. Я был там и воочию убедился, что такое цветной барьер. Хорошо нам рассуждать о демократических странах, входящих в Содружество наций. Э-э, да что там! Я просто слов не нахожу. Да вы, наверно, и сами знаете.

— Знаю. Я был там,— сказал Джонс.— На мой взгляд, обстановка в Плюралии усугубляется еще и тем, что ее коренное население по меньшей мере на сто лет опередило панафриканцев в смысле освобождения от власти племени. Белые Плюралии сами готовят себе Варфоломеевскую ночь. И, если история чему-нибудь учит, они ее дождутся.

— Лично я оплакивать их не буду,— сердито сказал Росли.

— Но что же мы все-таки предпримем?

Росли подавил раздражение и улыбнулся.

— Простите, Джонс. Это один из тех случаев, когда мне просто ненавистно мое губернаторство. А нам обязательно нужно что-то предпринимать?

— Боюсь, что да. Лондон требует обстоятельного доклада.

— Ответьте, что мы не располагаем никакими сведениями.

— Не пойдет.

— Почему?.. Ах да, черт возьми! Помпезная встреча, фотографии на первой странице партийной газеты. Как глупо! Совсем непохоже на Удомо.

— Уверен, что он тут ни при чем. Чтобы добиться главного, ему приходится кое в чем уступать.

— По-видимому, плюральская промышленная делегация послала тогда эти газеты на родину.

— Мало того! Они обратились к нашей службе безопасности. Они просто неистовствовали из-за того, что Мхенди здесь. Требовали его немедленной высылки в Англию. Служба безопасности вежливо дала им понять, что это их не касается, поскольку мистер Мхенди находится в стране в качестве личного гостя премьер-министра. Боюсь, что все это нам когда-нибудь откликнется.

— Да,— вздохнул Росли.— Положение не из приятных.

— То есть совсем не приятное,— спокойно сказал Джонс.

— А каким образом Мхенди пробрался туда?

— Надо полагать, через джунгли.

— Исключено. Разве вы не помните, что в свое время мы посылали специальную экспедицию? Она пыталась пройти через джунгли, но вернулась ни с чем. Это произошло еще до меня, но вы, вероятно, были уже здесь.

— Да, я помню эту экспедицию,— сказал Джонс.— Но служба безопасности утверждает, что самолетом он воспользоваться не мог. Значит, остаются джунгли. Кроме того, во многих легендах и песнях тех мест говорится о том, как в доброе старое время люди путешествовали через джунгли.

— И вы считаете, что эти сказки основаны на фактах и что потайная тропа через джунгли действительно существует?

— Я убежден в этом,— ответил Джонс.— Вы можете, конечно, не верить службе безопасности, хотя ее агенты клянутся, что, если бы Мхенди был в Панафрике, они бы напали на его след. Но я ей верю: я ведь когда-то стоял во главе этой службы. Я уверен, что Мхенди здесь нет. Вы ведь его знаете. Вам говорят что-нибудь эти акты диверсии?

— Без сомнения, это дело его рук,— сказал Росли.— Отогнать стадо коров и только потом взорвать электростанцию — тут безошибочно виден почерк Мхенди.

— Значит, портрет кровожадного революционера...

— Всего лишь наглая ложь плюральцев. Ради Удомо я надеюсь... Нет, я надеюсь, что ему удастся ускользнуть от них. Если я не ошибаюсь в Мхенди, он перевернет там все вверх дном и вернется сюда.

— И что тогда? — спросил Джонс.

— Тогда мы окажемся в затруднительном положении. Ну какого черта все это им понадобилось?

— Что вы так волнуетесь? Непохоже на вас,— заметил Джонс.

— Черт бы его побрал! Мне этот человек нравится. Только благодаря таким людям, как Мхенди, можно будет когда-нибудь окончательно примирить светлую и темную расы. Пока есть такие люди, можно надеяться, что еще не все потеряно для цивилизации, которую по недомыслию называют западной.

— А на телеграмму отвечать все-таки придется,— сказал Джонс.

— Сообщите им факты без комментариев.

— Берем ли мы на себя обязательство арестовать его, если он вернется в Панафрику?

— Когда приезжает Удомо?

— Он должен быть здесь завтра.

— Тогда задержите ответ до его возвращения. Посмотрим, что он будет делать.

— Хорошо. Кстати, глава плюральской миссии хочет видеть премьер-министра по неотложному делу немедленно по приезде.

— Вы думаете, это связано с Мхенди?

— Возможно.

— Не хотел бы я быть на месте Удомо,— задумчиво сказал Росли.

3

На следующее утро ровно в девять Удомо вошел в свой кабинет. Он успел принять ванну и побриться и теперь выглядел так, словно хорошо спал этой ночью. Он снял пиджак, галстук, закатал рукава рубашки и стал читать бумаги, которые накопились без него. Затем он позвонил своему секретарю. Высокий молодой англичанин неслышно вошел в комнату.

— С приездом, сэр. Удачно съездили?

Удомо откинулся на спинку кресла и потянулся.

— Обычный балаган.— Он усмехнулся.— Ну, какой еще кризис возник в мое отсутствие?

— Довольно серьезный, сэр. Я принесу вам лучше подшивку плюральских газет.

Удомо слегка подался вперед.

— Вот как...

— Звонил мистер Джонс. Хочет срочно видеть вас. Он проинформирует вас лучше, чем я.

— Ладно. Принесите газеты и минут через десять вызовите Джонса... Да, Тони, будьте добры, распорядитесь, чтобы там соорудили чай. Принесите мне чашку сейчас и потом, когда придет Джонс. Вот,— он передал молодому человеку ворох бумаг,— разберитесь с этим. Обычная писанина.

Секретарь вышел и вернулся с пачкой газет. Удомо освободил место на столе.

Всевозможные диверсии, пущенные под откос товарные поезда, взор-

ванные электростанции — такими сообщениями пестрели первые полосы всех плюральских газет. Значит, Мхенди удалось! Быстро же он!

Молоденькая подтянутая англичанка принесла чай. Он поблагодарил ее. Как исполнительны и спокойны эти англичане. На них всегда можно положиться.

Он мельком просмотрел газеты. Потом стал читать внимательно. Ничего не скажешь, Мхенди взялся за дело всерьез. И они там прекрасно понимают, что за этим стоит Мхенди. И что он проник в Плюралию отсюда. М-да, положение щекотливое.

Секретарь доложил о приходе Джонса. Удомо поднялся ему навстречу с протянутой рукой. Никогда еще он не видел этого маленького болезненного человечка таким озабоченным.

— Как дела, Джонс?

— Очень рад, что вы уже видели газеты,— сказал Джонс.

— Садитесь, сейчас нам принесут чай.

— Знаете, это очень серьезно.

— Расскажите подробнее.

— Вот телеграмма, полученная из Лондона вчера вечером. Вот телеграмма, которая пришла сегодня утром, более подробная. Посольство Плюралии в Лондоне заявило правительству Великобритании официальный протест.— Он протянул Удомо телеграммы.

Удомо углубился в чтение. Англичанка принесла чай, на этот раз в чайнике. Когда она ушла, Удомо сказал:

— Надо все обдумать. Вы, конечно, понимаете, что я не имею никакого отношения к этой истории. Мхенди — мой друг, и я пригласил его сюда, как пригласил бы любого из моих друзей, эмигрировавших из этой расистской страны.

— Вы ведь знаете, что его превосходительство и я полностью разделяем ваше возмущение расистским режимом Плюралии. Мы, конечно, не допускаем и мысли, что вы — премьер-министр страны — можете иметь к этому какое-то отношение. Мы так и заявим нашему правительству.

Удомо усмехнулся.

— У вас, по-видимому, на этот счет нет и тени сомнения.

— Когда долго работаешь вместе, нельзя не узнать человека. Вся ваша энергия направлена на то, чтобы создать здесь независимое государство, и вы не станете рисковать из-за какой-то революционной авантюры в соседней стране, которая все равно обречена на провал.

— Хорошо бы, моя партия так же верила мне.

— Они до сих пор не уяснили себе, чего вы хотите. Вы позволите мне закурить?

— Пожалуйста. Тогда в чем же проблема? Я готов поклясться, что ничего не знаю об этом. Вы с Росли подтвердите это. Британское правительство отвергнет протест. Правительство Панафрики и не думало вмешиваться во внутренние дела Плюралии. Никакой проблемы нет.

Джонс раскурил трубку и сквозь дым наблюдал за Удомо.

— А если его схватят?

Удомо уперся ладонями в стол и, улыбнувшись, откинулся на спинку стула. Потом откровенно расхохотался.

Схватывает на лету, подумал Джонс.

— Понимаю,— перестал смеяться Удомо.— А я считал, что вы верите в мой здравый смысл.

— В этой ситуации мы и в собственном здравом смысле сомневаемся. Очень уж мы с Росли ненавидим этот расистский режим.

— Ничто в показаниях Мхенди не может скомпрометировать меня.

— Вы понимаете, что я имею в виду? Может быть, какое-нибудь напутствие, совет...

— Понимаю. Не волнуйтесь. Ничего подобного не было.

— Должен сказать, что для меня это как гора с плеч,— сказал Джонс.— Но есть еще одно обстоятельство.

— Да?

— Росли полагает, что если Мхенди ускользнет, он вернется в Панафрику.

— И что тогда?

— Тогда мы должны будем арестовать его и передать властям Плюралии.

Удомо долго молчал. Наконец отрицательно покачал головой.

— Боюсь, что я не могу согласиться на это.

— Но они потребуют его выдачи.

— В таком случае я должен буду подать в отставку и, выдвигая снова свою кандидатуру, поставлю вопрос о передаче нам контроля над полицией и службой безопасности.

— Вы этого хотите?

— Вы прекрасно знаете, что нет. Мы еще не готовы к тому, чтобы своими силами поддерживать в стране порядок. Если это случится, у нас пышным цветом расцветут взяточничество и коррупция. Только в нашей стране это будут не взятки, а «благодарность», освященная традициями племен.

— Как же нам в таком случае быть?

— Это уж ваша забота, Джонс. Полиция пока в ваших руках. Учтите только, если мне придется начать из-за этого кампанию, она неминуемо примет антиевропейский характер, а это, как вы понимаете, будет только на руку приверженцам племенного строя. Все это очень прискорбно, но вы должны понять меня.

— Ну что ж... Я доложу обо всем в Лондон, и пусть они решают. Его превосходительство и я сделаем все, что в наших силах. Я почти надеюсь...

— Что они схватят Мхенди? — негромко сказал Удомо.

Джонс встал.

— Достопочтенный мистер Ван Линтон уже давно дожидается у меня в кабинете. Вы видели мою записку? Право же, не следует заставлять главу плюральской экономической делегации ждать так долго.

— Во время поездки по стране я видел, как работают их инженеры. Прекрасно! Это именно то, что нам надо. Вот у кого стоит поучиться. Конечно, я предпочел бы видеть на их месте кого-то другого, но специалисты они прекрасные — этого у них не отнимешь. Пошлите его ко мне. Вы не знаете, что ему надо?

— Наверно, все то же... Мы с его превосходительством подготовим проект доклада для Лондона, и я дам вам прочитать его. Надо все хорошенько обдумать. Ну, мистер Ван Линтон, наверно, уже двинулся на вас.— Джонс вышел.

Удомо позвонил секретарю:

— Сейчас придет мистер Ван Линтон. Заберите у меня газеты и распорядитесь насчет чая для нашего бизнесмена. Кажется, мой кабинет мало-помалу превращается в кафе. Извините! Есть что-нибудь срочное?

— Нет, я не хотел загружать вас сегодня. Вот завтра у нас будет много работы.

— Хорошо. Тогда пусть все министры соберутся сегодня здесь к четырем часам для доклада. Позаботьтесь об этом, Тони, пожалуйста.

— Хорошо, сэр.

Удомо опустил рукава рубашки, завязал галстук, надел пиджак и углубился в бумаги. Секретарь доложил о приходе Ван Линтона. Удомо поднялся и, обогнув стол, пошел ему навстречу.

Мистер Ван Линтон был высокого роста, с тонкими губами и бесстрастным лицом.

— Извините, что заставил вас ждать,— сказал Удомо.— Только что вернулся из поездки по стране. Садитесь, пожалуйста.

Удомо сел в кресло и выжидательно посмотрел на Ван Линтона. Ему и раньше приходилось иметь с ним дело. Безусловно, очень умный человек, трезвый и проницательный.

— Я полагаю, господин премьер-министр, что вам известна причина моего посещения,— в его английском языке слышались гортанные звуки.

— Какая-нибудь задержка с займом?

— Я пришел, чтобы обсудить с вами вопрос политического характера, господин премьер-министр... Я уверен, что мистер Джонс осведомил вас о некоторых событиях, имевших место в моей стране... если, конечно, в этом была необходимость.

Удомо чуть заметно улыбнулся.

— Ах, вы об этом! Да. Мы считаем своим долгом быть в курсе всего, что происходит в Африке. Я уверен, ваше правительство следует тому же правилу.

— Мое правительство чрезвычайно обеспокоено происходящим.

— Я покривил бы душой, если бы выразил сожаление по этому поводу. А мы с вами привыкли вести наши коммерческие дела честно. Мне не нравится обстановка в вашей стране, и вы это знаете. Однако меня это не касается... Но ведь не об этом же вы пришли со мной разговаривать, мистер Ван Линтон?

— Именно об этом, господин премьер-министр. Может быть, вы не откажете в любезности взглянуть,— Ван Линтон вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул Удомо.— Получив эту телеграмму, я разговаривал с нашим премьер-министром по телефону.

Удомо прочитал телеграмму.

— Насколько я понимаю, вы уполномочены действовать от имени вашего правительства. Поскольку вы наделены теперь дипломатическими полномочиями, будет лучше, если я приглашу мистера Джонса.

— Как вам угодно, господин премьер-министр, хотя мне нужно сказать вам всего несколько слов. По всей вероятности, моему правительству не удастся доказать, что между вами и Мхенди существует связь, нарушающая нормы международных отношений. Что вы на это скажете?

— Что вы не ошиблись, мистер Ван Линтон.

— Следовательно, правительство Великобритании отклонит наш протест.

— А что ему еще остается делать?

— Вы тоже управляете страной, господин премьер-министр. Предположим, мы поменялись бы ролями. Что бы вы предприняли, оказавшись перед лицом проблемы, которая встала сейчас перед нашим правительством?

— В нашей стране такая проблема не могла бы возникнуть, мистер Ван Линтон. Мы не держим на положении рабов подавляющее большинство населения страны.

Ван Линтон чуть заметно нахмурился.

— Ну знаете ли, господин премьер-министр...

Молоденькая англичанка внесла чай. Ван Линтон с любопытством взглянул на нее. В глазах Удомо мелькнула насмешка. Что ж, спросите ее, мистер Ван Линтон, каково ей прислуживать чернокожему, подумал он. Скажите ей, что в вашей стране такого быть не может.

Девушка вышла.

— Вы что-то начали говорить, мистер Ван Линтон?

— Это к делу не относится... Ну так вот, господин премьер-министр, нам нужен Мхенди.

— Насколько я понимаю, он находится в вашей стране.

— Он может ускользнуть от нас. И вернуться в Панафрику.

— И что же?

— Как я уже только что сказал, он нужен нам.

— Мне кажется, мистер Ван Линтон, вам следует обсудить этот вопрос с мистером Джонсом. Это по его части.

— Господин премьер-министр, правительство Плюралии решило отозвать нашу делегацию и всех специалистов, если на этот счет от вас не будет получено определенного заверения...

Этого удара он не предвидел. Лицо сидевшего напротив Линтона поплыло перед глазами. Удомо перевел дыхание и постарался взять себя в руки.

— ...Мы понимаем всю трудность вашего положения,— дошел до его сознания голос Ван Линтона.— Но править страной — это прежде всего искусство отличать желаемое от возможного...

— Еще раз повторяю, я ничего не знаю об этом,— сказал Удомо.

Ван Линтон пожал плечами. На его губах появилось подобие улыбки.

— В этом случае, сэр, боюсь, что нам придется аннулировать соглашения, которые мы подписали. Наши специалисты будут отозваны немедленно. Придется вам обратиться к кому-нибудь другому, чтобы претворить в жизнь ваш план индустриализации. Очень сожалею, но таково предписание.

— Послушайте, мистер Ван Линтон, вы же деловой человек. Вы лично и ваши акционеры получите колоссальные прибыли. Предоставьте политикам заниматься политикой. Делайте свое дело. Думайте о своих прибылях. Наша страна богата, кое-что из этих богатств достанется и вам.

— Прошу прощения, господин премьер-министр. Это распоряжение моего правительства.

— Даю вам честное слово, что ничего не знаю о Мхенди.

— Тогда обещайте выдать его нам, когда он у вас появится.

— Но это же повлечет за собой крах моего правительства, крах всех моих планов, надежд. Как вы не понимаете...

— Прошу прощения, сэр. Таково предписание. Впрочем, все это можно сделать без особого шума. Тут уж мы пойдем вам навстречу.

Величайшим напряжением воли Удомо заставил себя успокоиться. Ты должен все взвесить. Должен все взвесить. Думай, думай, думай! Они не шутят, эти белые расисты: или ты выдашь им Мхенди, или все твои планы полетят к черту. Ты ведь искал помощи всюду, но никто, кроме них, тебе не обещал выполнить работу в срок и в нужных тебе масштабах.

— Когда вы будете докладывать своему правительству? — хрипло спросил Удомо.

— Мне должны позвонить сегодня в шесть часов вечера.

Если бы он мог посоветоваться с кем-нибудь. С кем-нибудь, кто понял бы его, выслушал, успокоил... Лоис... Лоис...

— Я позвоню вам до шести. А теперь оставьте меня.

— Благодарю вас, господин премьер-министр. Могу заверить вас от имени моего правительства, что тайна будет сохранена. Ну и, конечно, может случиться, что мы схватим его раньше...

— Оставьте меня!

— Всего доброго, господин премьер-министр.

Он долго сидел в кресле, сгорбившись, ничего не видя, ничего не чувствуя, кроме полнейшего, беспросветного одиночества. Ему вдруг по-

слышался голос Мхенди, мягкий, глуховатый. Мхенди говорил как-то особому, растягивая слова, будто с ленцой... И вдруг Удомо словно обожгло: а как же его заветная мечта подвести Панафрику к рубежу, откуда не может быть возврата к прошлому? Совершить великий переход от прошлого к настоящему... Будь ты проклят, Мхенди! Будь ты проклят! Будьте вы все прокляты!..

В кабинет вошел секретарь.

Удомо вскочил, размахивая руками.

— Что вам нужно? — заорал он в припадке бешенства.— Оставьте меня в покое! Убирайтесь вон! Убирайтесь...

Секретарь вытаращил глаза. Он разинул рот. Удомо схватил стоявшую перед ним чашку.

— Убирайтесь!

Молодой человек выскочил из комнаты. Чашка ударилась о дверь и разбилась вдребезги.

Удомо рухнул в кресло и стал колотить кулаками по столу. Потом вскочил и выбежал из кабинета. В приемной бросил секретарю:

— Я еду домой. И пусть меня оставят в покое.

Шофера на месте не оказалось. Удомо сел за руль и на бешеной скорости, задевая другие машины, выехал из двора губернаторской канцелярии. Он мчался по городу, все прибавляя и прибавляя скорость. Постовой засвистел и отчаянно замахал ему, но, узнав машину, остановил все движение.

Подъехав к дому, Удомо резко нажал ногой на тормоз. Автомобиль с отчаянным скрежетом остановился. Удомо выскочил из машины и кинулся в дом.

В дверях гостиной ему преградил путь Лэнвуд, который только что встал.

— А, Майк? Не ждал вас так рано. Послушайте...

— Оставьте меня в покое! Говорю вам, оставьте меня в покое! Дайте мне пройти. Ну!

Он оттолкнул Лэнвуда. Лэнвуд потерял равновесие и плюхнулся на кушетку. Удомо прошел в свою комнату, хлопнул дверью, запер ее на ключ и бросился на кровать лицом в подушку.

Лэнвуд посидел немного на кушетке. Затем встал, подошел к двери комнаты Удомо. Он вдруг превратился в дряхлого, забитого жизнью старика.

— Знаете, Майк, вы могли бы не обращаться со мной так грубо. Достаточно было сказать мне, чтобы я уехал. Я никогда не остался бы там, где меня не хотят. Я ведь человек, а не собака.

— Оставьте меня в покое! — Голос Удомо звенел от ярости.— Оставьте меня в покое!

— Хорошо, Майк,— мягко сказал Лэнвуд.— Я оставлю вас в покое.

■

Лэнвуд пошел в свою комнату. Отпер чемодан и достал оттуда кожаный портфель. Открыл его, пересчитал лежащие там деньги. Аккредитив на сто пятьдесят фунтов стерлингов — остаток денег, присланных Удомо на дорогу. Какой это был триумф! А ведь всего три месяца прошло с тех пор... Еще около ста фунтов в панафриканской валюте — деньги, которые Удомо давал ему во время поездки. Чужие деньги. Не его! Деньги, которые ему давали. Не заработанные им... Лэнвуд вынул из портфеля паспорт и сунул во внутренний карман пиджака.

Он вышел из дома и отправился в город. Он так и не успел освоиться со здешним примитивным транспортом. Как нестерпимо палит солнце. Лэнвуд прикрепил темный козырек над очками. Все-таки лучше. Пот градом катился с него. Хорошо бы взять такси. Но поблизости нет ни одной

машины. Пройдя метров триста, он вышел на шоссе. Волны жара поднимались от земли. У него потемнело в глазах. Двое мужчин стояли над сточной канавой. Он подошел ближе — в нос ударил густой запах мочи.

Наконец Лэнвуд вошел в городское предместье. Потянулись грязные ветхие лачуги. Вокруг него шутили и смеялись бедно одетые, но счастливые люди. То и дело мимо проезжали такси. Но он решил пройти остаток пути пешком: нужно было экономить каждый пенс.

Он поравнялся с кучкой торговок, расположившихся прямо на тротуаре по другую сторону сточной канавы. Они громко смеялись и что-то говорили на непонятном ему языке. Завидев Лэнвуда, торговки стали махать руками, что-то кричать, видимо, предлагая купить облепленный мухами товар. И он вдруг понял, что всегда будет здесь чужим. Пусть у него, как и у них, черная кожа, все равно ему не перешагнуть барьер, отделяющий его от этого мира. Он слишком стар, чтоб одолеть его. Слишком долго он жил среди белых, слишком крепко привязан к их миру, чтобы найти себе место в каком-нибудь другом.

Внезапно он почувствовал страшную усталость от всех этих веселых, шумных босых людей, от мух, от запахов. Он махнул проезжавшему такси.

— В пароходное агентство,— сказал он ухмыляющемуся мальчишке-шоферу.

Все дело в том, что я стосковался по Лондону. Только теперь я понял, как он мне дорог. Глупо было думать, что можно взять и вычеркнуть из жизни целых тридцать лет. Как это поется в песенке, над которой я всегда потешался:

Может быть, потому что я лондонец,
Я о нем вспоминаю, где бы я ни был.

Ну вот, теперь, когда ты стал слишком стар, чтобы смотреть правде в глаза, пришлось-таки тебе это сделать. Только в чем же она, эта правда? В том, что цвет кожи еще не дает права считать себя африканцем? Что личность человека складывается под влиянием многих факторов, из которых, пожалуй, самый важный — страна, где ты родился и вырос? Что нужно быть сильным, очень сильным, чтобы вырваться из-под этого влияния. В этом правда? Приходится ответить утвердительно. Слишком уж страшна другая правда... Но в чем же вина человека, который всю жизнь отдал борьбе за свободу?

Когда такси остановилось и шофер обернулся, он увидел дряхлого старика, который сидел в уголке, съежившись и низко опустив голову. Казалось, он спал.

— Приехали, сэр.

— Что? Ах да. Да.

Лэнвуд вышел.

— Сколько?

— Два шиллинга, сэр.

Лэнвуд заплатил и вошел в помещение пароходного агентства. В углу за столом сидел белый служащий. Лэнвуд обошел черных клерков и направился прямо к нему.

— Моя фамилия Лэнвуд.

— Слушаю вас, мистер Лэнвуд.

— Мне нужно узнать расписание пароходов, я возвращаюсь...— он замялся и затем твердо сказал: — Домой.

— Когда вы хотите ехать, сэр?

— Как можно скорее.

— Через неделю вас устроит? Возможно, кто-нибудь откажется от билета.

— Это самое раннее?

Молодой человек поднял на него глаза.

— Одну минутку. Я проверю.

Немного погодя он вернулся:

— Мы можем предложить вам место на пароходе, который уходит через шесть дней. Раньше ничего нет. Но, может быть, вас устроит грузо-пассажирское судно? Правда, такие суда идут очень долго и путешествовать на них скучно.

— Когда отплывает первое грузо-пассажирское судно?

— Послезавтра отходит пароход, на котором есть свободная каюта. Но в Англию он придет позже, чем лайнер, отплывающий через шесть дней. Правда, есть еще «Савойя», тоже грузо-пассажирское судно. Оно выходит сегодня вечером, но вы, пожалуй, на него не успеете...

Лэнвуд подумал.

— Я еду сегодня,— сказал он.

— На «Савойе»?

— Да.

— Но у вас остается только четыре часа.

— Я успею.

— Уж не спасаетесь ли вы от кого-нибудь бегством? — пошутил служащий.

Но у Лэнвуда в глазах была такая боль, что молодой человек перестал улыбаться.

Через двадцать минут Лэнвуд вышел из пароходного агентства с билетом в кармане. Он зашел в большую, переполненную народом почтовую контору и написал на телеграфном бланке:

«Мэри Фелд 36 Ридженси Мьюз Лондон

Отплываю сегодня «Савойе» буду дома три недели не могу без тебя Том».

Он расплатился и взял такси до резиденции Удомо. В доме никого кроме слуг видно не было. До отплытия «Савойи» оставалось три часа. Надо собираться. Он стал медленно укладывать вещи. Затаила ли Мэри против него зло из-за той последней дурацкой ссоры? Нет, не может быть. Она — единственный человек, который был по-настоящему предан ему все эти годы. Она поймет. Столько лет они прожили вместе. Несмотря на все ссоры они уже давно стали родными.

Слуга позвал его завтракать. Он поел в одиночестве, распорядился вызвать такси и вернулся к себе. Перед самым уходом он написал Удомо записку:

«Дорогой Майк!

Хочу проститься с вами. Я уезжаю назад в Англию. Вы мне дали сегодня понять, что я вам мешаю. Вероятно, я вам очень мешаю, раз дошло до того, что вы чуть не ударили меня. Я не потерпел бы этого от белых и не вижу, почему должен терпеть от черных. Передайте мой прощальный привет остальным. Спасибо за все. Больнее всего сознавать, что когда-то мы были товарищами.

Томас Лэнвуд».

Такси увезло его в порт, там он пересел на пароход.

■

Письмо Лэнвуда нашел Эдибхой, который пришел узнать, что случилось с Удомо. Вскоре Удомо вышел из своей комнаты. Он уже вполне владел собой.

Эдибхой протянул ему письмо:

— Том уехал.

Немного погодя Удомо поднял глаза от записки.

— Я не люблю, когда читают мои письма, Эди.

— Оно лежало на столе открытое, его мог прочитать каждый.

— Том — форменный идиот.

— Что произошло?

— Позвони в агентство, узнай, когда он едет и где он сейчас... Стюард!

Эдибхой взял телефонную трубку. Удомо пошел в кухню. Немного погодя он вернулся с полным ртом, держа в руке куриную ножку.

— Он уехал на грузо-пассажирском судне, которое отчалило полчаса назад. Что произошло?

— У меня голова была занята одной мыслью, и я сказал, чтобы он оставил меня в покое. Ты ведь знаешь его манеру торчать посреди комнаты. Он загородил мне дорогу. Я оттолкнул его и пошел к себе. И вот, пожалуйста, это письмо...— Удомо швырнул на стол скомканную записку.

— Он все равно бы уехал,— примирительно заметил Эдибхой.

— Уехал бы, но не так...— сказал Удомо.

— А может, это к лучшему, земляк,— Эдибхой улыбнулся во весь рот, но глаза его остались хмурыми.— Ничего. Ты напишешь ему, и все уладится. Там он будет полезнее.

— А ты почему здесь? — вдруг спросил Удомо.

— Когда из твоего секретариата позвонили, что совещание отменяется, я поехал туда. Мне сказали, что ты дома... Что с тобой, земляк?

— Ничего страшного, Эди. Голова что-то разболелась. Но теперь уже все прошло.

— Очень рад, земляк. Как поездка?

— Прекрасно. Я расскажу тебе обо всем вечером. А сейчас отчаливай. Мне предстоит важный телефонный разговор. Увидимся вечером на заседании исполнительного комитета.

Эдибхой неохотно ушел. Удомо поднял телефонную трубку.

4

Дождь лил, не переставая. Тяжелые крупные капли больно хлестали по лицу. Ночь была черна-черна, как джунгли за спиной Марии.

Она всем телом прижалась к стволу молодого деревца. Как хорошо, что идет дождь. Пусть ей больно, пусть она промокла насквозь, пусть он в кровь иссечет ее кожу. Это все неважно. Только потому, что идет дождь, они до сих пор здесь. Она верит — Мхенди вернется... Только найдет ли он дорогу в этой кромешной тьме, под дождем? Конечно найдет. Ведь он командовал когда-то целой армией. Он не заблудится. Он придет. Дождь — хорошее предзнаменование. Это значит, что он жив и вернется. Дождь начался четыре дня назад, накануне того дня, когда они, прождав условленный месяц, должны были возвращаться через джунгли в Панафрику. Если бы не дождь, их бы уже давно здесь не было. Но дождь все льет, и они не уходят. А это значит, что Мхенди жив и вернется.

Что это?

Напрягая зрение, она вглядывается во тьму. Может быть, крикнуть? В такой ливень белые сидят дома. Она поднесла ко рту сложенные рупором ладони.

— Мхе-енди! — крикнула она, ее протяжный крик был похож на вопль.— Мхе-енди!

Что-то холодное скользнуло по ее босой ноге. Она судорожно вцепилась в неровную кору дерева и замерла. Но вот «оно» проползло. Может, ползет сейчас по стволу? О, Мхенди... Только бы не шелохнуться, а то некому будет тебя встречать. А вдруг они схватили его? Убили? Нет, нет, не может быть. Он придет!

— Мария, где ты?

— Я здесь, Джозеф.

Джозеф включил электрический фонарик и, осторожно нащупывая ногой землю, подошел к ней.

— Я ведь тебе говорил, одной ходить опасно,— сказал он.— А ты еще и без фонаря...

— Какая-то змея...— сказала она и вдруг схватила его за руку.— Джозеф! Смотри!

Она шагнула вперед, во тьму, Джозеф удержал ее.

— Там что-то мигает.

Где-то далеко-далеко вспыхнул слабый огонек. Мария вырывалась из рук Джозефа. Он почувствовал, что она сейчас закричит, и зажал ей рот.

— Подожди,— шепнул он.— Подожди, Мария. Вдруг это чужие?

Она перестала сопротивляться. Он убрал руку.

— Это Мхенди,— сказала она.

— Мы должны подождать,— сказал он.

— Опять свет! — Теперь огонек вспыхнул ближе.

— Считай вспышки,— сказал Джозеф.— Их должно быть три, пауза и еще две.

— Раз, два,— шептала Мария,— три... Ну, ну!.. Еще один раз, два...

— Это он!

Мария вырвалась и побежала.

— Мхенди! Мхенди!

— Мария!

— Сэр!— заорал Джозеф, забыв всякую осторожность.

Внезапно из мрака и ливня выступила фигура Мхенди. Мария, простирая руки, кинулась к нему и, не рассчитав расстояния, упала к его ногам. По земле струились потоки воды. Мхенди опустился на колени. Он пришел не один, кто-то за его спиной зажег фонарик. Джозеф отпрянул назад, выхватил из кармана пистолет.

— Кто эти люди, сэр?

— Не бойся, Джозеф. Это мои земляки, мои солдаты.

Джозеф успокоился и сунул пистолет обратно в карман. Мхенди помог Марии подняться.

— Ты вернулся?

— Я ведь обещал.

— Идемте скорее в лагерь,— сказал Джозеф.

Он шел первым. За ним, обнявшись, Мария и Мхенди. Два молчаливых плюральца замыкали шествие. Дождь все лил и лил. Но он уже потерял силу, и они знали, что к утру он кончится, и снова засияет солнце.

— Я боялся, что вас уже нет,— сказал Мхенди Джозефу,— потому и взял двух солдат. Одному трудно идти через джунгли.

— Мы задержались из-за дождя.

— Я на это и надеялся.

— Я знала, что ты придешь,— сказала Мария,— но все-таки очень боялась.

— Мы никак не могли прийти раньше,— сказал Мхенди.

Они вошли в джунгли. Джозеф сложил руки у рта и трижды прокричал совой.

— Это ты, Джозеф? — спросил кто-то совсем рядом.

— Я,— ответил Джозеф. Он включил фонарик. Молодой человек, совсем голый, если не считать набедренной повязки, стоял прямо перед ним с автоматом в руках.

— Надо окликать издали,— сказал юноша.

— Мистер Мхенди вернулся.

— Здравствуйте, сэр. А мы так беспокоились.

Джозеф, уже не выключая фонарика, пошел дальше. Часовой остался на своем посту. Скоро они были в лагере. Парни из отряда Джозефа переплели ветки деревьев лианами и устроили над головой зеленую крышу, так что лагерь превратился в просторный зал с высоким сводчатым потолком. Посредине, разбрасывая искры, ярко горел костер. Солдаты, свободные от дежурства, отдыхали вокруг костра.

— Мистер Мхенди! — воскликнул один из них.

Все мигом вскочили и окружили пришедших, пожимая руки и радостно сверкая зубами.

— Как же вы там, сэр? — спросил кто-то.— Мы очень боялись за вас.

— Дайте сначала мистеру Мхенди переодеться. Он совсем промок,— сказал Джозеф.

— Позаботьтесь о моих людях,— напомнил Мхенди.

— Не беспокойтесь, сэр,— ответил Джозеф.

— Пойдем,— сказала Мария.

Она взяла Мхенди за руку и повела его в маленькую палатку. Он снял с себя мокрую одежду. Она тоже сбросила мокрую одежду.

— Ну, как вы тут жили? — спросил он.

— Я так ждала тебя,— сказала Мария.— Сколько ночей я ложилась спать одна в твою постель. Как трудно ждать, когда знаешь, что любимый в опасности.

— Я все время думал о тебе, Мария...

— Когда я встретила тебя, ты говорил мне, что ты одинок. А в этот месяц, когда ты был там один, возвращалось к тебе одиночество?

— Нет, дитя мое. Оно ушло навсегда.

— Я рада.

— Мне опять придется идти туда.

— Я буду ждать.

— Только теперь ты будешь ждать по ту сторону джунглей. Джунгли — не место для женщины.

— Нет, мой господин. Я буду ждать тебя здесь. Я исполню все твои приказания, только не это. И не говори больше ничего. Для меня это очень важно.

Они стояли друг против друга обнаженные. Он словно впервые увидел красоту ее темного тела.

— Мария...

Он привлек ее к себе, ощутил трепет молодого сильного тела. Желание овладело им.

— Потом, — прошептала она. — Подожди немного... — Она мягко отстранила его, завернулась в сухое покрывало и помогла ему скрепить на плече его тогу.

— Ужин готов! — крикнул им кто-то.

■

Мхенди ласково гладил Марию по голове, успокаивая ее.

Они лежали, утомленные ласками. Мария, прижавшись к нему, плакала.

Он гладил ее, пока она не перестала плакать. Сказались долгие дни ожидания, думал он. Мужчины часто забывают, как тягостно ожидание. Спи, дитя мое. Сейчас я с тобой — тебе не надо ждать, а мне не надо озираться на каждом шагу и жить в вечном страхе. Если правда, что великие вожди, ведущие народы к свободе, не знали страха, значит, я не вождь, а трусливый обманщик, который продолжает борьбу только потому, что так велит ему совесть. Я вовсе не храбрый. Всякий раз, когда враги настигали меня, я думал, что умру от страха. Только я умею скры-

вать свой страх. Вот и все. Спи, дитя мое. Я очень тебя люблю. Ты завладела моим сердцем. Ты даже не представляешь, сколько покоя ты принесла мне. Спи, дитя мое...

Она уснула. Он встал с постели, оделся и вышел. Несколько юношей спали прямо у костра. Остальные, включая солдат-плюральцев, спали в большой палатке. По шуму дождя можно было предположить, что он скоро прекратится. Черт! Забыл взять бумагу. Он вернулся в палатку, взял несколько листов бумаги и ручку. Потом сел у костра и стал писать. Он писал, посмеиваясь. Приходится бить на эффект. Без этого не обойтись. Люди любят такие слова. Они вдохновляют их. А на врагов нагоняют страх. Такая листовка испугает белых хозяев и вселит храбрость в черных рабов. Как же ее назвать? Послание Мхенди? Нет. Коммюнике № 1. Точно! Коммюнике № 1. Сначала опишем все боевые операции. Так. Теперь объясним цели нашей борьбы. Они и без того известны, но это не помешает. Мы боремся с белыми не потому, что у них белая кожа... Колонизаторам, конечно, известно, но все-таки повторим еще раз... И под конец пугнем: коммюнике будут выходить каждый месяц!

Мхенди кончил писать. И тут он услышал какой-то шорох. Огромная буро-зеленая змея, толстая и длинная, медленно ползла к огню. Мхенди потянулся к пистолету, лежавшему у его ног. Но он не успел даже прицелиться. Слева от него прогремел выстрел. По длинному телу змеи волнами пошли судороги. Все проснулись. Из палаток выбежали люди. Держа наготове автомат, прибежал часовой.

— Я услыхал, как она ползет, сэр. И бегом сюда!

Все стали рассматривать убитую змею. Джозеф сказал:

— Ну, ладно, пошли спать.

К Мхенди подошел один из плюральцев.

— Дождь кончается.

— Вам пора уходить?

— Пора. Лучше идти сейчас, пока темно. А то нарвешься на полицейских.

— Хорошо, идите. Листовку я написал. Что с ней делать, вы знаете.

К ним подошли Джозеф, Мария и второй плюралец.

— Он говорит, что пора уходить,— сказал Мхенди. — Передайте друзьям, что я вернусь через месяц, и тогда, возможно, мы устроим здесь постоянный лагерь. Скажите, что я в безопасности, среди друзей. Скажите, чтобы готовились к новому этапу борьбы, как было намечено. И помните, никакого насилия, никаких убийств. Мы ведем теперь совсем особую войну.

— Может, понадобится что-нибудь вам передать,— сказал плюралец. — Вы можете вернуться и угодить к ним в лапы. И так ведь бывает. Как предупредить вас? Где я могу спрятать записку?

— Здесь, — сказал Джозеф. — Мы оставим палатки.

— Боюсь, что один я не найду сюда дорогу.

Мхенди открыл блокнот и набросал на листке бумаги контур опушки. Затем он отметил место, где стояла плюральская деревушка.

— Вот деревня, от которой мы шли. Вот холм. За холмом около мили тянутся заросли кустарника. Здесь джунгли вклиниваются в кустарник. Правее растут четыре дерева, они гораздо выше всех остальных и видны издалека. Под этими деревьями мы сейчас и стоим.

— Можно мне взять с собой эту карту?

— Нет. Ты должен ее запомнить.

Плюралец некоторое время внимательно смотрел на план, затем кивнул. Мхенди вырвал листок из блокнота и швырнул его в огонь.

— Мы только переоденемся и пойдем.

— Ваша одежда в палатке,— сказал Джозеф. — Все уже высохло. Ложитесь спать, мистер Мхенди. Я провожу их. Вам силы будут нужны для завтрашнего путешествия.

— Хорошо. Счастливого пути, друзья. Будьте осторожны.

— Пойдем, — сказала Мария.

5

Одиннадцать дней спустя поздно ночью Мхенди и Мария достигли дома Селины.

Селина крепко обняла Мхенди.

— Здравствуй, Мхенди! Здравствуй, брат мой! Слыхала я, что по всему миру разнеслась весть о твоих славных делах и что люди, которые считают себя вашими повелителями, напуганы. Как я рада видеть тебя целым и невредимым... Заходи, садись! Несите еду! Несите вино!.. Здравствуй, Мария, дитя мое! Ну как, угодила я тебе, Мхенди?

— Рад видеть тебя, Селина, — сказал Мхенди. — Еще бы ты мне не угодила. Настоящее сокровище! Дорогое моему сердцу.

Селина хлопотала вокруг них, усаживала, угощала. С гордостью показывала им заграничные газеты. Она просто глаз не могла оторвать от фотоснимков разрушенных плюральских электростанций, спущенных под откос поездов, сожженных фабрик.

— Они и твою фотографию поместили, — усмехнулась она.

После ужина Селина отослала всех. Она погладила Марию по руке:

— Иди к себе в комнату, дитя мое, отдохни немного. Путешествие у вас было трудное. Нам с Мхенди надо поговорить. Не бойся — долго я его не задержу.

Когда они остались вдвоем, Селина стала серьезна.

— Это правда, что они пишут, Мхенди? Все правда?

Мхенди просматривал газеты одну за другой.

— Правда. И это еще не все.

— И правда, что тысячи полицейских подняты на ноги? Что они охотятся за тобой?

— Да.

— Тогда тебе нужно быть осторожным даже здесь. Тут ведь тоже есть белые. Мы так до сих пор и не отделались от них окончательно. Удомо говорит, они пока еще нужны нам... — Она пожала плечами.— Что ты теперь думаешь делать?

— Скоро начну собираться в обратный путь. Меня ждут назад через месяц.

— А парни, которых я подобрала для тебя? Как они?

— Настоящие молодцы. И Джозеф хороший командир.

— Ну вот и хорошо... А теперь говори, что я могу для тебя сделать, брат мой.

Мхенди протянул руку и достал из-под стула портфель, который принес с собой. Он передал портфель Селине.

— Тут деньги. Деньги, которые собрал наш народ. Я точно не знаю сколько, но ты сама увидишь, что сумма большая. Нам нужна газета. Все наши станки конфисковали, а газеты прикрыли. Мы могли бы печатать газету и в самой стране, но они обязательно обнаружат типографию и захватят ее или уничтожат. А стоит оборудование дорого.

— Поэтому вы хотите печатать газету в джунглях?

— Да. Как, по-твоему, можно это устроить? Сумеешь ли ты достать нам небольшой печатный станок?

— Сумею. Это не так-то просто, но для тебя я сделаю... Ты говоришь, что хочешь скоро отправляться в обратный путь. Когда?

— Через четыре-пять дней. Теперь уж я не скоро вернусь. Может, через полгода, а то и через год.

— Ты будешь жить в джунглях?

— И в джунглях, и в самой Плюралии. Наши увидят, что белые понапрасну расставляют мне ловушки, и у них смелости прибавится.

— Это ты умно задумал. А как насчет еды и всего остального?

— Пока я был там, мы по всей стране организовали комитеты. Провизию можно будет доставлять в лагерь по ночам.

— Это слишком опасно. Лучше тебе не беспокоиться о мелочах. О снабжении позабочусь я. Я все устрою. А ты не думай ни о чем, кроме борьбы.

— Доставлять грузы через джунгли трудно.

— Что поделаешь! Ведь это требуется для освобождения Африки. В общем, это не твоя забота. Скоро я поеду туда и все налажу.

— И вот еще что, Селина. Раз уж я ухожу туда надолго, я не смогу оставить у себя твоих ребят.

— Оставь. Это пойдет им только на пользу. Станут настоящими бойцами.

— Там у меня будут свои люди. Слишком много народу — это тоже плохо... Я возьму с собой двух-трех... Они проведут меня через джунгли, а потом вернутся.

— А Мария?

Мхенди вздохнул:

— Я хотел бы, чтоб и она вернулась с ними. Так было бы безопаснее для нее. Но я знаю, она ни за что не согласится. Да и мне без нее будет тоскливо.

— Бери ее с собой. Оставь у себя. Теперь она твоя навеки.

— Пусть будет так.

— Раз в месяц я буду переправлять тебе припасы, а ты посылай весточки о том, как у тебя идут дела... Значит, решено. Может, я и сама как-нибудь побываю в тех краях, загляну в твой лагерь в джунглях. А теперь, брат мой, иди отдохни.

— Что нового у моих друзей?

— Удомо и Эдибхой здоровы. Я сообщу им, что ты вернулся.

— Но Удомо говорил...

— Что-то он у нас очень уж осторожным стал в последнее время. Но твои подвиги, видно, окрылили и его. Теперь ему захотелось повидаться с тобой. И еще один твой друг приехал.

— Мэби?

— Да. С прошлой недели он — министр образования и национального руководства. Вот это действительно молодец! Мне он понравился. Знаешь, мы просто силой заставили Удомо вызвать его сюда. Он так и не согласился бы, да побоялся, что мы можем потерять поддержку горских племен.

— Это, конечно, не мое дело, Селина, только я думаю, что ты ошибаешься.

Селина скривила губы.

— Ты не даешь в обиду друзей. Я тоже. Не будем больше говорить об этом.

Внезапная мысль озарила Мхенди — она похожа на змею! Вслух он сказал:

— До чего же хорошо будет снова увидеться с Мэби! А как Лэнвуд?

— Да, ведь ты же не знаешь... Он уехал.

— Что? Уехал?

— Уж больше месяца назад. Уехал в тот самый день, когда они с Удомо вернулись из поездки.

— Но почему?

— А кто его знает. Сложил свои вещи да уехал.

— Не может быть!

— Спроси завтра Удомо... А теперь иди-ка лучше спать, брат. Поздно уже.

Итак, Том уехал тайком, никому ничего не сказав, как вор. Куда он поехал? Назад к Мэри Фелд? Поехал просить милостыню, потому что для него не нашлось места здесь, в той самой Африке, об освобождении которой он мечтал всю жизнь? Конечно, у Лэнвуда было много недостатков — он был бестактен, самовлюблен, напыщен. Но это... Злейший враг не придумал бы более жестокой расплаты. Бедный Том! Нужно будет написать ему.

Он встал и пошел к себе.

— Спокойной ночи, Селина.

Та же комната, в которую она отвела его в первый день приезда. Странная женщина: смесь жестокости и нежности. Ну, конечно, он так и думал — Мария крепко спала, свернувшись калачиком, как ребенок, спала в той самой постели, в которой они впервые отдались друг другу. А теперь пришла любовь. Спи, дитя мое, тебе нужно отдохнуть. И мне тоже... Бедный Том! Лучше написать ему, не откладывая. А то еще забуду. Замотаюсь. Не хотелось бы, чтобы Том подумал, что я его забыл...

Он достал блокнот и написал письмо. Потом разделся и осторожно, чтобы не разбудить Марию, лег в постель. Она повернулась к нему во сне, обхватила рукой его шею. Он дотянулся до выключателя и потушил свет. Как хорошо, что можно отдохнуть душой и телом. Он закрыл глаза.

■

Губернатор бросил взгляд в другой конец зала — там в окружении иностранных делегатов стоял Удомо. Очень хорошо, что это официальный прием, иначе пришлось бы им с Джонсом отдуваться — вдвоем развлекать всех этих американцев, французов, немцев и скандинавов, да еще в придачу англичан — членов парламентской делегации. Африканские министры во главе с Удомо совершенно очаровали гостей. Куда уж им с Джонсом до них! Эдибхой, правда, немного навеселе, но и гости не слишком трезвы. Ну, и потом надо отдать справедливость Эдибхою — пить он умеет. Удомо ловко одурачил всех — с самого обеда у него в руках все та же рюмка хереса. Мэби, конечно, чувствует себя как рыба в воде. Плюралец Ван Линтон до того размяк, что, рассказывая Мэби о работах черных художников в Плюралии, даже обнял его за плечи.

Губернатор взглянул на часы. Половина первого ночи. Пора кончать. Он огляделся по сторонам, ища глазами Джонса. Джонса в зале не оказалось. Губернатор повернулся к адъютанту.

— Найдите мне Джонса, пожалуйста.

В это время к нему подошел американец — глава делегации Совета наций.

— Прекрасный прием, ваше превосходительство.

— Очень рад, что вы остались довольны. Мы стремимся к тому, чтобы у наших гостей остались о нас самые приятные воспоминания.

— На меня вы безусловно произвели большое впечатление. И я говорю не только об этом,— американец обвел рукой переполненный народом сверкающий зал. — Я говорю о стране и о том, как она управляется. Премьер-министр Удомо — замечательный человек. Такой обаятельный и скромный.

— Да,— сказал Росли. — Если бы вы знали, чего он уже добился, невзирая на весьма неблагоприятную обстановку, и какие планы он строит на будущее, вы бы увидели, что у него настоящий государственный ум. Я горжусь тем, что работаю с ним.

— Вы знаете, ваше превосходительство, мы в Соединенных Штатах часто с неверных позиций судим о том, что вы тут делаете. Старое предубеждение против колониализма живуче. Вас, англичан, нередко осуждают.

Росли улыбнулся. Удивительно милый старикан, просто на редкость!

— Сносить оскорбления — участь тех, кто у власти. Свою долю их мы уже получили. А теперь и вы получаете то, что причитается вам. Я считаю, что это должно способствовать лучшему взаимопониманию между нашими странами.

— Правителей всегда ругают. Такова уж их участь. Мы свое получили сполна. И я могу сразу сказать вам: наша делегация решила, что просьба премьер-министра Удомо о технической помощи должна быть удовлетворена полностью. Кроме того, мы по собственному почину будем рекомендовать кое-что дополнительно. Вот какое впечатление произвели вы на нас.

— Вы уже говорили об этом премьер-министру?

— Нет еще, сэр.

— Скажите. Вы не представляете себе, как счастлив он будет.

— С удовольствием сделаю это. И сразу же, не откладывая. Прошу извинить меня.

Старичок пошел через весь зал туда, где в толпе гостей стоял премьер-министр. Росли отмахнулся от официанта, подошедшего к нему с подносом, уставленным бокалами, поклонился двум дамам и пошел к двери, в которой только что появился Джонс.

— Думаю, можно кончать, Джонс. Все сошло великолепно, вдобавок я только что узнал, что мы получим техническую помощь, о которой вы с Удомо просили, и еще кое-что в придачу.

— Вот хорошо, — немного рассеянно ответил Джонс. И добавил: — Мне только что звонили из службы безопасности. Мхенди вернулся.

— Да что вы! Когда?

— Сегодня вечером.

— Где он сейчас?

— У Селины.

— Час от часу не легче. И они не требуют его выдачи?

— Пока нет.

— Загадочная история! Сперва плюральские власти доводят дело до официального протеста, а затем теряют к нему всякий интерес. Спрашивается, почему? Я непрестанно задаю себе этот вопрос. Из Лондона больше ничего?

— Ровным счетом ничего. По-видимому, они предпочитают предать это дело забвению.

— Сказать вам откровенно, в данном случае я предпочитаю изображать страуса.

— Да, но мы как-никак правительство,— пробормотал Джонс.— Весь вопрос в том, что нам теперь делать. Разумеется, за ним установлена слежка. Как же, черт возьми, нам быть? Сидеть сложа руки и ждать? Хотел бы я знать, о чем говорили Удомо с Ван Линтоном в то утро.

— А знаете что, Джонс? Я бы не хотел. Предпочитаю ничего не знать об этом.— Росли посмотрел в другой конец зала.— Вон он стоит — улыбается и чарует их. И, быть может, только один или два человека смутно догадываются, какую тяжкую ношу несет он на своих плечах. И если бы вы или я сказали им: «Джентльмены, этот человек

пытается заставить свою страну сделать великий переход — перетащить ее из одного века в другой», они, возможно, и поняли бы наши слова, но никак не их истинный смысл. Не знаю, Джонс, ничего не знаю. Или знаю только одно: ни за какие блага я не хотел бы сейчас быть на его месте.

— Но ведь не предаст же он своего друга...

— Не предаст? Поставьте себя на его место... С другой стороны, где уж нам с вами. Возможно, мы могли бы понять это умом, но...

— Это было бы чудовищно.

— Да,— ответил Росли.

— И все же...— тревожно сказал Джонс.

— Вот от этого «и все же» у меня и сосет под ложечкой.

— Может, ничего и не случится.

— Итак, Джонс, мы закрываем глаза. Может, ничего и не случится. На это вся наша надежда. Не буду думать об этом, пока меня не трахнет по башке. Совершенно сознательно избираю позицию морального труса... Пошли, веселье надо кончать.

— Я скажу ему, что Мхенди вернулся,— предложил Джонс.

— Если только это для него новость.

— Мхенди приехал уже после того, как начался прием.

— Что ж, скажите ему.

■

На следующий день, едва только стало смеркаться, Удомо прислал за Мхенди свой автомобиль.

Селина была довольна.

— Это хорошо,— сказала она Мхенди.— Уж очень он у нас последнее время стал осмотрительный. Премьер-министр не должен делать того, премьер-министр не должен делать этого... Хорошо бы ему забыть, что он премьер-министр, и снова стать злым и сильным, как прежде. Африке еще нужны борцы. Вот соберетесь вы все вместе — одни мужчины, старые друзья. Попробуйте насесть на него, и ты, и Эдибхой, и Мэби. Нам необходимо выгнать отсюда белых. Выгнать всех до одного. Убеди его в этом, брат мой.

Она передала шоферу пакет с двумя курицами, собственноручно зажаренными ею. Мария осталась у нее.

Удомо был один, когда приехал Мхенди. Он сидел над какими-то бумагами, погруженный в глубокое раздумье, вид у него был очень усталый. Он встал навстречу Мхенди. И сразу же усталость как рукой сняло. Лицо помолодело.

— Мхенди! До чего же хорошо снова повидать тебя! — Солнечная улыбка осветила его лицо.— Поздравляю. Ничему я так не радовался,— в голосе его зазвучала жгучая ненависть,— вот уже несколько лет ничему я так не радовался, как известию, что тебе удалось нагнать страху на этих белых варваров. Как ты, друг?

— Приятно иногда пожить спокойно,— ответил Мхенди.— А ты?

Он хорошо выглядит, подумал Удомо, как человек, который вновь нашел самого себя.

— Все то же. Стараюсь обвести кое-кого вокруг пальца, разрываюсь на части... Но кое-что уже начинает проясняться.

Мхенди думал: а тебя, друг мой, теперь так просто не раскусишь. Хотел бы я знать, что ты таишь в душе. Все-таки лучше предупредить тебя насчет Селины. Он сказал:

— Ты знаешь, Селина недовольна тобой?

— И она, и Эдибхой. Да и многие другие. Оппозиция с Эндьюрой во главе открыла, что такой боевой клич как «Африка для африкан-

цев», может сослужить им великолепную службу. Но я их еще перехитрю. Они не смогут объединить страну, без меня им не обойтись. Присаживайся. Эди и Мэби приедут чуть попозже. Я хотел немного поболтать с тобой до их прихода.

— Смотри, ты недооцениваешь Селину,— сказал Мхенди.

Удомо тихонько усмехнулся.

— Я теперь твердо знаю, что это недопустимо в отношении кого бы то ни было. Я слишком уважаю Селину. Откровенно говоря, я только ее и боюсь по-настоящему — ее да еще Эди. Никогда не подозревал, что Эди в душе такой поборник племенного строя. Как ты думаешь, она догадывается, куда я гну?

— Не знаю,— сказал Мхенди.— Она считает, что ты слишком осторожен.

— Прекрасно! Великолепно! Я проявляю прямо-таки чудеса храбрости, а она считает, что я слишком осторожен. Чудесно!

Мхенди набил трубку и закурил. Вошел слуга и принес виски для него и фруктовый сок для Удомо.

— Все, что мне нужно,— это время,— задумчиво сказал Удомо.— Только время, больше ничего.

— Сколько времени?

— Десять лет. В самом крайнем случае пять, но за десять лет можно было бы сделать все спокойно, без спешки... Но расскажи мне о своих планах. Где находится твой лагерь? Как вы прошли через джунгли? Расскажи мне все подробно. Право, мне нужно удрать как-нибудь и съездить к тебе.

— Для этого тебе придется девять дней идти через джунгли.

Удомо хлопнул себя по колену и громко расхохотался.

— Уж не думаешь ли и ты вместе с Селиной, что я изнежился?

— Ты человек занятой.

— Объясни мне, как найти твой лагерь, а потом посмотришь, приеду я к тебе в гости или нет. Ну, давай — испытай меня!

— Ладно. Только я считаю, что с твоей стороны безумие так рисковать. Дай мне лист бумаги.

Удомо достал бумагу и карандаш и сел рядом с Мхенди. Мхенди стал набрасывать приблизительный план местности, одновременно давая пояснения.

— Потайная тропа через джунгли начинается здесь, чуть пониже вот этой деревушки. Ты ее знаешь. Самая последняя — за ней начинаются джунгли. Пока идешь, кажется, будто тропа все время заворачивает чуть вправо. Выйдешь ты из джунглей вот здесь. На рисунке все это, конечно, выглядит просто, но на самом деле выйдешь ты к этому месту только после девяти дней путешествия в кромешной тьме. И прямо перед тобой будет Плюралия. Вот здесь находится наш лагерь. Со стороны Плюралии его местонахождение можно определить вот по этим четырем деревьям, возвышающимся над всеми остальными. Мы превратили площадку под ними в огромный зеленый шатер. Дождь туда не проникает, и там можно разводить костер без риска, что увидят дым. Безопаснее место трудно придумать. Даже если блюстители закона и порядка явятся искать меня там, для них это будет нелегкая задача. Ну и, кроме того, я услышу их вовремя и сумею скрыться прежде, чем они обнаружат лагерь,— если им это вообще удастся.

— Ты считаешь, что это им не удастся?

— Мне кажется, это невозможно.

— Хорошо... Ну, а я тебя найду. Оставь-ка мне эту бумажку. Я ведь совершенно серьезно. Вот увидишь, я приеду... А теперь расскажи мне, что ты собираешься делать дальше.

Мхенди повторил ему план, который изложил перед этим Селине. Когда он кончил, Удомо вздохнул и откинулся в кресле.

— Господи! Как бы мне хотелось быть там с тобой. В борьбе, которую ведешь ты, все ясно, честно, открыто. А я здесь должен крутиться, изворачиваться и заключать сделки с людьми, которых ненавижу лютой ненавистью, должен рассыпаться в любезностях даже перед этими проклятыми белыми плюральцами...— Внезапно лицо его исказилось от ярости.— Если бы ты знал, Мхенди, до чего мне это иногда осточертевает! — Потом лицо его приняло обычное выражение, он пожал плечами и виновато улыбнулся, словно устыдившись своей вспышки.

У Мхенди поднялось теплое чувство к Удомо, он с трудом удержался, чтобы не обнять его. Захотелось как-то подбодрить его, утешить, но он сказал только:

— Это цена свободы, Майк, которую приходится платить нам, нашему поколению.

Удомо криво улыбнулся, но голос его звучал тепло.

— А те, кто придут нам на смену, будут судить нас, и судить сурово. Ты знаешь это, Мхенди. А теперь скажи мне, что бы ты выбрал на моем месте — или пусть даже на своем,— если бы перед тобой стоял выбор: пожертвовать одним человеком и тем самым удержать все, что завоевано тобой, а может, и приобрести еще кое-что или же потерять все, чего ты достиг? Скажи мне откровенно.

Ага, трудно тебе приходится, подумал Мхенди. Меня ты своим небрежным тоном не проведешь. Что-то очень серьезное.

— Мне ведь пришлось в свое время сделать выбор,— спокойно сказал Мхенди.— Я в ответе за гибель многих людей.

Удомо обнял Мхенди за плечи.

— Как всякий офицер в бою.

— Все равно это такая же ответственность. Военная форма и высокая цель дела не меняют.

— А что бы ты избрал сейчас? — негромко спросил Удомо.

Мхенди почувствовал вдруг неприязнь к нему. Решай сам! Мне никто не помогал, когда я должен был делать свой выбор. Решай сам!

— Такой вопрос можно решать, только когда он действительно возникает.

— Допустим, что он возник. Возьмем хотя бы твой лагерь. Да, возьмем для примера твой лагерь. Допусти на минуту — до тебя дошло, что кто-то из людей, которым ты доверяешь, может выдать врагам местонахождение лагеря. Что бы ты сделал?

— Что-то сделать мне, конечно, пришлось бы.

— Хорошо. Теперь пойдем дальше. Допустим, что это человек надежный, что он не имеет никакого намерения предавать тебя и тем не менее, может, сам того не подозревая, привести врага в твой лагерь. Что тогда? Отдал бы ты приказ застрелить его?

— Это зависело бы от многих обстоятельств.

— Например?

— Например, от того, что повлекла бы за собой выдача врагам местонахождения лагеря.

— Допустим, что она повлекла бы за собой полный крах твоей революции.

Мхенди пожал плечами.

— Тогда пришлось бы. Только к чему ты клонишь?

— Даже если бы это был твой родной брат?

— Трудно представить более страшный выбор, но, пожалуй, я все же отвечу — да. Но скажи мне, Майк...

— Я думаю об Эди. У нас с ним серьезные расхождения. Но все это может еще утрястись... Как хорошо разговаривать с тобой, Мхенди.

Ты понимаешь такие вещи. Как бы я хотел, чтобы ты работал со мной и действительно делал полезное дело, вместо того чтобы из-за этих белых варваров рисковать жизнью... Как ты думаешь, могут они тебя поймать?

— Я могу попасть прямо им в лапы, когда вернусь.

— И тогда?

— Тогда, по всей вероятности, произойдет несчастный случай. Они не захотят устраивать суд надо мной.

— Понимаю... Кажется, машина Эдибхоя. Ты слышал, Том уехал.

— Селина говорила мне.

— Взял и уехал в тот самый день, когда мы с ним вернулись. Сел на пароход и уехал, не сказав никому ни слова. Оставил записку.— Удомо встал и направился к двери.

Вошли Мэби и Эдибхой.

Когда миновало радостное волнение встречи, они расселись поудобнее и стали вспоминать былые времена и былые мечты. В комнате будто повеяло Лондоном, беспечным дружеским настроением тех дней. Но на это прошлое легли тени; с деланной небрежностью они избегали касаться в разговоре Лоис и уехавшего Тома Лэнвуда. Прежнего искреннего веселья уже не было.

Тогда они были молоды и полны надежд, тогда они думали покорить весь мир, тогда они со счастливым безрассудством строили смелые планы.

Теперь трое из них достигли настоящей власти. На своих плечах они несли всю тяжесть управления государством. И это иногда проскальзывало в их речах.

Мхенди думал: они все изменились, даже Мэби. Только я остался прежним. И теперь у них со мной гораздо больше общего. Но у них власть. Их интересует, как лучше строить, как созидать. Только мои интересы по-прежнему сводятся к тому, как лучше разрушать. В этом теперь вся разница между нами. Но какая!

От этих размышлений Мхенди невольно взгрустнулось. Мэби, почувствовав это, подсел к нему. Понемногу Мхенди успокоился. Ничего не поделаешь. Таковы уж правила игры, именуемой жизнью. Человек не выбирает, где и как ему родиться. Человека создают страна, где он родился, среда, окружающая его с рождения, цвет его кожи. Тут он не выбирает. Его мнения никто не спрашивает. Человек — пленник. И следовательно, его заслуги — или отсутствие заслуг — сводятся к тому, как он покажет себя при существующих обстоятельствах.

Позднее слуга накрыл на стол, и они съели кур, присланных Селиной, и выпили две бутылки шампанского, которые специально для этого случая припас Удомо.

Затем они вышли на затянутую металлической сеткой веранду и сидели молча в темноте, прислушиваясь к веселому звону комаров, всем существом ощущая свою дружескую близость, забыв временно о своих расхождениях, с нежностью вспоминая дни и ночи, проведенные вместе в далекую пору мечтаний. И поскольку память обладает способностью утаивать, откровенно лгать, затушевывать, убаюкивать, вводить в заблуждение, она рисовала им картины несравненно более прекрасные, неизмеримо более возвышенные, чем создавшая их действительность.

Они расстались, когда полная желтая луна стояла уже прямо над головой и тишина окутывала землю. Они расстались, унося в сердцах теплое чувство, которое возникает у близких друзей в те минуты, когда они без слов понимают друг друга.

Оставшись один, Удомо шагнул к телефону. Когда он поднял трубку, в глазах его были слезы.

— Мистера Ван Линтона, пожалуйста,— отрывисто сказал он. Голос его звучал жестко и холодно. Но слезы продолжали течь — он их не утирал.

6

Ранние лучи утреннего солнца уже просачивались сквозь листву, когда отряд Мхенди снова достиг лагеря на краю джунглей. Джозеф и Мария занялись распаковкой припасов. Мхенди вошел в свою палатку.

Кто-то побывал здесь, оставил записку и пачку плюральских газет. Мхенди взял записку. В ней говорилось:

«Выходить опасно. Кругом солдаты и полицейские. Они повсюду, хотя и стараются не привлекать внимания. Не выходите, пока кто-нибудь не придет и не сообщит, что происходит. Они притаились — это опасный признак. Поэтому, пожалуйста, не выходите из лагеря».

Мхенди позвал Джозефа и Марию и показал им записку.

— Значит, сегодня вы не пойдете? — спросил Джозеф.

— Нет,— ответил он.— Я подожду, пока придет кто-нибудь. А раз так, вам нет надобности эту ночь охранять Марию.

Джозеф молчал в нерешительности. Мхенди прочел его мысли. Ему хотелось уйти, хотелось как можно скорее оставить позади страшную темноту джунглей. Но чувство долга удерживало его.

— Если вы считаете...— начал он.

— Да,— с улыбкой сказала Мария.— Идите. По крайней мере весь этот день и всю ночь я проведу наедине с моим мужем. Кто знает, когда нам еще удастся побыть вдвоем.

Это решило сомнения Джозефа. Он кивнул.

— Только сначала мы все здесь для вас устроим как следует. Наберем топлива на несколько дней. И воды натаскаем.

— Ведь идти-то вам, а не нам,— запротестовал Мхенди.

— Мы молодые и здоровые,— сказал Джозеф,— мы хотим перед уходом сделать так, чтобы вам было хорошо.

В сердце Мхенди поднялось теплое чувство к этому молодому силачу, преданному и благородному. Он благодарно сжал пониже плеча мускулистую руку Джозефа.

У Джозефа подозрительно заблестели глаза, и он пробормотал охрипшим голосом:

— Я пойду, все приготовлю.

— Как ты умеешь привлекать к себе сердца,— прошептала Мария.

— Это такие славные ребята. Я просто горжусь ими.

— Ты и мое сердце покорил своей добротой к людям,— сказала она.

Он привлек ее к себе.

— А может быть, ты все-таки вернешься с ними, дитя мое? Лучше бы тебе вернуться.

Она отстранилась от него и упрямо вздернула подбородок.

— Ты опять за свое. Я ведь тебе уже тысячу раз говорила, что не оставлю тебя.

Он дотронулся губами до ее лба.

— Пусть будет так. Мне так хорошо с тобой. Но все же...

— Замолчи!

Он вздохнул, потом улыбнулся. О любовь женщины! Как она согревает нас и утешает...

■

Парни из отряда Джозефа отправились в обратный путь сразу после завтрака. Прежде чем окончательно скрыться из вида, они остановились и помахали Марии и Мхенди. Потом их поглотили не знающие солнца джунгли.

— Пойдем! — сказала Мария.— Ты ведь любишь выпить чашку кофе после завтрака. Я сварю тебе.

Мхенди пошел с ней, чувствуя себя немного глупо из-за того, что приходилось повсюду таскать с собой автомат, который Джозеф оставил ему со строгим наказом не выпускать из рук.

Мария сварила кофе. Пока он пил, она сидела рядом, рассматривая снимки в плюральских газетах.

— Как тихо,— сказал он. Его голос гулко прозвучал под огромным зеленым сводом.

— Потому что мы одни,— сказала она.— Мне даже нравится. А тебе?

— И мне.

Потом, немного погодя, она сказала:

— Ляг. Я хочу, чтобы ты поспал. Пойди в палатку.

— А ты?

— И я посплю. Иди.

— Здесь прохладней,— сказал он.— В палатке дышать нечем.

— Хорошо. Тогда положи голову мне на колени.

Он повиновался. Она опустила руку ему на лоб. Какая прохладная! Он закрыл глаза. Что за чудо — человеческие руки, думал он: искусные руки, выполняющие самые сложные работы, прохладные руки, успокаивающие, отгоняющие боль, ласкающие руки. Он открыл глаза, взял ее руку и стал рассматривать. Узкая черная кисть с длинными тонкими пальцами — можно подумать, что это одушевленное существо, живущее своей жизнью. Как жаль, что у него никогда не было времени для того, чтобы больше читать, больше развлекаться, больше слушать музыку, больше шутить и смеяться — для всего того, от чего жизнь становится полнее и богаче...

Он снова закрыл глаза, и снова прохладная узкая темная ладонь успокаивающе легла на его лоб.

— Знаешь...— мечтательно сказал он.

— Что? — прошептала она.

— Я ведь так до сих пор и не подружился с твоим сыном. Приезжаю я всегда поздно, усталый, а на рассвете опять уезжаю. А теперь я и тебя увез от него.

— Для этого еще будет время,— сказала она,— много времени.

— Ты думаешь, он полюбит меня?

— Он и сейчас уже называет тебя отцом.

— Только чтобы доставить тебе удовольствие.

— Нет, не только. Ты и его покорил своей добротой к людям.

— Ты ведь знаешь, что у меня есть дети...

— Я буду им матерью, так же как ты будешь ему отцом.

— Я так их и не повидал. Это было слишком опасно. Дети могут выдать нечаянно. Наши враги коварны. Мне не удалось даже поговорить с детьми. А я уже много лет не видел их.

— Ну почему они такие?

— Кто, белые?

— Да. Они что, родятся злыми?

— Нет, дитя мое... Они злыми не родятся. Они такие же люди, как мы с тобой. Среди них, как и среди нас, одни добрые, другие жестокие.

Они ведут себя так, потому что боятся, страх их так велик, что породил в их сердцах злобу.

— Оставим их. Спи, потом мы еще поговорим об этом.

Прохладные пальцы коснулись его виска. Тишина все нарастала, пока наконец он перестал замечать ее...

Мхенди открыл глаза. Ему казалось, что, с тех пор как он закрыл их, прошло лишь мгновение, но за это время мир успел погрузиться в сумрак.

— Я спал?

— Да.

— Долго? — Он сел и осмотрелся по сторонам.

— Долго.

— А ты?

— Я тоже вздремнула.

— Вот так — сидя?

— Вот так — сидя.

— Какая ты!..

Она рассмеялась.

Он встал и помог ей подняться.

— Похоже, что солнце село,— сказал он.— Пойдем посмотрим. Надо взглянуть на небо, пока окончательно не стемнело! Идем!

— Не забудь автомат,— напомнила она.

Он смущенно улыбнулся и подобрал его.

— Идем.

Они пошли рядом в сторону опушки.

— Пока ты спал, я слушала тишину,— сказала она.

Он взял ее за руку.

— Тебе не было страшно?

— Но ведь ты же был со мной — даже во сне.

— А я вовсе не такой уж храбрый, Мария.

Она искоса взглянула на него. Нежная понимающая улыбка появилась у нее на губах. Она сжала его руку.

— Ты мой муж,— сказала она.

Они приблизились к прогалине, дальше шли осторожнее. Никаких признаков жизни вокруг. Ни человека, ни зверя до самого того холма, за которым находилась первая плюральская деревня.

Солнце только-только село, и небо до сих пор еще было ярко расцвечено его лучами, освещавшими весь мир, кроме джунглей.

— Посидим немного под открытым небом,— сказал Мхенди.— Если кто-нибудь появится подозрительный, мы его заметим прежде, чем он нас. Трава высокая.

Они уселись на траву. И здесь, на краю джунглей, цикады уже настраивали свои инструменты, готовясь к вечернему концерту.

— Какое красивое небо,— сказал Мхенди.

Мария подняла глаза.

— Да. А еще говорят, что там ничего нет.

— Ничего, кроме космического пространства... а в нем звезды и планеты, такие, как наша земля.

— Я так жалею теперь, что бросила школу. Я бы знала больше, и тебе было бы интереснее со мной разговаривать. Женщина должна понимать все, что интересует ее мужа, иначе она может потерять его.

— Ты меня не потеряешь, дитя мое.

— О, Мхенди...— она спрятала лицо у него на груди.

— Милая моя,— несколько раз повторил он, крепко прижимая ее к себе.

Немного погодя Мария подняла голову. Она указала пальцем в сторону Плюралии.

— А мне можно будет когда-нибудь пойти туда с тобой?

— Я думал об этом. Ты сможешь поселиться в какой-нибудь деревне. Белые никогда не догадаются, что ты не наша.

— А твой народ? Не забудь, что я чужестранка. Ты знаешь, у нас народ никогда не позволил бы Удомо взять в жены женщину из другой страны, пусть даже черную.

— У нас не так, милая. С племенным укладом у нас покончено навсегда. Чужестранец, если он друг, всегда встретит привет и ласку. Человек не может быть нашим врагом только потому, что он родился не среди нас. Мы ведь и белых считаем врагами совсем не оттого, что они белые, а оттого, что они не дают нам свободы. Тебя встретят ласково. И будут с тобой ласковы, узнав, что ты моя жена. Потому что для нас вся Африка едина, а те из нас, которых народ считает своими вождями, идут еще дальше — они утверждают, что люди во всем мире едины.

— Значит, ты в самом деле думаешь, что они хорошо меня встретят?

— Да. И полюбят, как я полюбил.

— Хоть бы поскорее пришел этот день, Мхенди.

Внезапно, как это бывает в Африке, надвинулась темнота.

Они вернулись в лагерь. Пока Мхенди разжигал костер, чтобы отпугивать непрошенных гостей из джунглей, Мария готовила ужин. Долго возиться им не пришлось. Перед уходом молодые люди обо всем позаботились.

После ужина они сидели рядом и разговаривали спокойно и умиротворенно, как разговаривают люди не первой молодости, которые поняли, что значит любовь. Он рассказывал ей о странах, в которых побывал, о людях, с которыми встречался, о друзьях.

Она сидела, опершись о его колено. И когда он замолкал, она задавала ему следующий вопрос, вызывавший у него новый поток воспоминаний.

Это была минута величайшей духовной близости. Вот почему Мария так хотела, чтобы молодые люди ушли. Она знала, что, только оставшись вдвоем, они смогут пережить ее.

Они говорили, пока костер не догорел и не подернулся серым пеплом. Тогда Мхенди подложил еще сучьев, распределив их так, чтобы они горели понемногу. Потом они пошли в палатку и легли спать...

■

Его разбудил крик Марии. Сон мгновенно слетел с него. Резким движением он сел на постели и выпрямился. Яркий свет ослепил его.

— Только без глупостей, Мхенди,— сказал чей-то голос.

— Кто это? — но он и без того все понял. Свет...

— Извините!

Луч света от карманного фонарика переместился с его лица на самодельный стол, стоявший у походной кровати. Кто-то чиркнул спичкой и зажег керосиновую лампу.

Над ними стоял рослый европеец с худощавым лицом. Мария, дрожа от испуга, цеплялась за Мхенди. Он почувствовал, как напрягается ее тело. Сейчас она опять закричит. Он сказал:

— Мария!

Строгость, прозвучавшая в его голосе, заставила ее взять себя в руки. Он взглянул на белого.

— Вы со всех сторон окружены моими людьми, Мхенди.

— Откуда вы?..— И тут понял: Удомо! Тот разговор с Удомо. Удомо объяснил ему все, не сказал только, для чего это ему нужно. А он собственными руками начертил для Удомо план местности.

— Вы догадались, насколько я понимаю,— сказал белый.

Мхенди овладел собой.

— Можно нам одеться?

Белый пристально посмотрел на него, затем круто повернулся и вышел из палатки. Мария начала потихоньку всхлипывать. Мхенди помог ей встать с постели.

— Надо одеваться, Мария. Поторопись.

Едва он отпустил ее, она снова повалилась на постель.

— Мария, Мария! — он тихонько потряс ее за плечо.

Белый просунул руку в дверь палатки.

— Дайте ей глотнуть.

Мхенди взял бутылку, до половины наполненную коньяком, и влил несколько капель в рот Марии. Затем начал одеваться.

— Оденься, Мария.

Мхенди заставил ее сделать еще глоток. Он пытался собраться с мыслями, но не мог. Последний разговор с Удомо не выходил из головы. Одевшись, он дал Марии еще коньяка. Она не хотела, но он заставил ее выпить. Понемногу глаза ее приняли осмысленное выражение.

— Одевайся, Мария.

Она хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова. Он обнял ее. Она прижалась к нему. Ее пальцы через одежду больно впивались в тело.

— Ты должна одеться,— повторил он.

— А вы оделись? — окликнул его белый.

— Да.

— Оставьте ее и выходите.

Ему пришлось силой оторвать от себя Марию.

— Пожалуйста, одевайся, Мария.

Она опустилась на колени.

— Мхенди...— из ее горла вырывались какие-то нечленораздельные звуки.

Он вышел. В лагере было полно белых. Они разожгли костер. Двое варили кофе. Главный — тот, что входил в палатку, ждал его.

Если бы я мог думать. Если бы только я мог думать. Думать! Думать!

— Садитесь,— сказал белый.

Мхенди сел у костра. Белый подошел и сел рядом.

— Кто эта женщина?

— Она никакого отношения к этому не имеет.

— Ваша жена?

Пляшущие языки пламени освещали их лица. Остальные белые наблюдали издали.

— Да.

— Жаль. Мы рассчитывали застать вас одного.

— Надо было мне предупредить своего друга,— в голосе Мхенди прозвучала горечь.

— Надо было, Мхенди. Она что, с той стороны?

— Да. Слушайте, она не имеет никакого...

— Можете не беспокоиться. Мы, во всяком случае, ей ничего не сделаем. Вот как она обратно доберется — это трудно сказать.

У Мхенди вырвался стон.

— Вы не можете бросить ее здесь. Заберите ее с собой. Потом переправите ее домой.

— Еще на это тратиться? Нет! Ваши забавы и так влетели нам в копеечку. За развлечения, знаете ли, приходится платить. Особенно имея таких друзей, как ваши.— Белый встал.— Вы свое по земле отходили, Мхенди. Держитесь вы стойко, да я от вас другого и не ожидал.—

Он понизил голос.— Если это вас утешит, могу сказать, что на эту операцию я пошел без особой охоты. Однако...

Мхенди тоже встал. Теперь он испытывал странное спокойствие.

— Это ведь дела нисколько не меняет. Они все равно добьются свободы.

— В конце концов — да! Но мы думаем о сегодняшнем дне. Мы не можем иначе. Вы заметили, что я не оскорбляю вас расспросами?

Мария, уже одетая, вышла из палатки. Она кинулась к Мхенди и обняла его.

— Мхенди...

— Я должен оставить тебя здесь одну, Мария. Прости меня! Мария...

— Довольно! — крикнул белый.

Подошли двое и взяли Мхенди за руки. Главный оторвал от него Марию. Двое повели Мхенди прочь. Офицер удерживал обезумевшую женщину.

Мхенди шел между двумя белыми и знал, что это его последний путь. Последние минуты его жизни. Его удивило собственное спокойствие. Откуда оно? — подумал он. И вдруг обнаружил, что снова может думать. Наверно, я был готов к этому, где-то в глубине души примирился с этой возможностью, иначе я не был бы так спокоен сейчас — ведь я совсем не храбрый.

Он споткнулся. Один из белых поддержал его.

Собственно, Удомо сказал мне, почему собирается предать меня. Ясно сказал, а я не понял. Он спросил меня, как ему поступить, и я ответил. Он действовал со страшной последовательностью. Но я бы не пошел на это, неважно, что я говорил ему тогда. А может, и пошел бы?.. Как можно сказать наверняка, пока не столкнешься с этим вплотную?.. Теперь уж скоро. Очень скоро. Как люди молятся? Может, сказать: господи, я исполнил свой долг, я пытался помочь своему народу стать свободным — неужели за это я должен умереть? Какая же это молитва? А что такое молитва? Мария! Господи, прошу тебя, спаси и сохрани Марию. Ее единственная вина в том, что она полюбила меня. Моя вина в том, что я не мог расстаться с ней. Спаси и сохрани ее, прошу тебя!

Они уже вышли из чащи и шли по высокой траве в сторону Плюралии. Слева и справа от них горели фары грузовиков.

Я умру под открытым небом, и луна будет свидетельницей моей смерти.

Двое сопровождающих остановились. Остановился и он. До него слабо долетали крики Марии. Бедная Мария! Женщина, рожденная для скорби. Это было сказано о матери Иисуса.

Один из белых сунул что-то ему в руки. Автомат, который оставил Джозеф.

Значит, это произойдет так... Пули из него, конечно, все вынуты.

— Теперь идите,— сказал один из них.

Он расправил плечи и пошел вперед, прочь от них. И теперь, наконец, страх напал на него, он ощутил его каждой клеточкой своего тела. Его обуяло страстное желание побежать. Ведь смерть — это навсегда! О боже!.. О боже... Мария!..

Чей-то голос разорвал ночную тишину.

— Мхенди!

Он обернулся. Выстрела он не слышал. Только почувствовал отголосок сильной боли... И все...

В лагере возле костра Мария испустила протяжный, исполненный муки вопль и обвисла на руках у белого.

Белый отнес ее в палатку, положил на постель и укрыл одеялом. Затем вышел к остальным.

— Пошли! — резко бросил он.

Обморок Марии перешел в глубокий сон — так спят люди, перенесшие страшное потрясение.

Когда она проснулась, было уже утро. Она долго лежала неподвижно, уставившись в полотняный потолок палатки. Потом встала и вышла. Со вчерашнего дня в лагере ничто не изменилось. Все было на месте. Только костер догорел дотла. И тут она увидела зеленых змеек, которые, свившись в клубок, спали в теплой золе. Она подошла ближе и некоторое время внимательно смотрела на них. Затем подняла правую ногу, помедлила секунду и решительно наступила. Они кинулись на нее, извиваясь и жаля, а затем заскользили прочь, спасаясь в густом кустарнике.

Мария пошла обратно в палатку и легла на постель. Сонливость начала одолевать ее. Скоро она будет с Мхенди, со своим мужем. Она закрыла глаза и стала ждать. Страшная боль распространялась по всей ноге, но это был такой пустяк... О, Мхенди!..

7

Поул Мэби был пьян. Еле держась на ногах, он прошел в другой конец комнаты и налил себе виски. Потом, налетая по пути на мебель и спотыкаясь, он отправился назад и наконец рухнул в кресло у окна.

В комнате было темно. Темнота стояла над всем миром. Он поднес стакан к губам и разом отпил половину. Его передернуло. Он поставил стакан на подоконник.

К двери подошел его слуга.

— Масса Поул, сэр...

Мэби замахнулся на него и упал с кресла на пол.

— Чего тебе? Убирайся отсюда! Сукин сын, сволочь! Убирайся!

Слуга не отступал.

— Вы же потом хворать будете, сэр. Как так можно пить, пить, ничего не кушать.— Он вошел в комнату и зажег свет.

Мэби подполз к окну, схватил с подоконника стакан и швырнул. Стакан ударился в грудь слуге и отскочил, залив ему рубашку.

— Убирайся к черту, мерзавец! Убирайся! — Он искал, чем бы еще кинуть.

— Пожалуйста, масса...

— Убирайся!

Мэби швырнул пепельницу, но слуга сумел увернуться.

— Ой-ой-ой, масса...— Слуга тяжело вздохнул и вышел.

Мэби нашел другой стакан, налил себе виски, потушил свет и, шатаясь, пошел к своему креслу у окна.

— Я не хочу думать,— причитал он,— хочу напиться вдрызг, до беспамятства!

Он отхлебнул еще, пролив часть виски на себя.

— Он был моим другом... другом... моим другом...

Дверь снова приоткрылась.

— Сукин сын! — взвизгнул он.— Я тебе сказал — катись к черту Я убью тебя! Убирайся, пока цел! Вон!

— Это я,— раздался голос Удомо.— Это я, Мэби.

Удомо включил свет. Мэби с трудом повернул к нему голову.

— Действительно. Наш премьер-министр. Прославленный владыка Удомо. Чего тебе?

Удомо вошел в комнату.

— Я хочу поговорить.

— А я не хочу. Я не хочу говорить с тобой! Ни с кем не хочу говорить. Уходи! Завтра я буду на тебя работать. А сегодня я оплакиваю своего друга. Уходи.

— И я оплакиваю его, Мэби.

— Ты! — Мэби поморгал глазами и уставился на Удомо.— Неужели ты способен кого-нибудь оплакивать?

— Представь себе, что да... Можно мне виски?

— Сделайте одолжение, ваша светлость. Боюсь только, что я не в состоянии прислуживать вам, так что наливайте себе сами.

Удомо подошел к серванту и налил себе чистого виски.

— Тебе нужен свет?

— Нет. Но я должен, по всей вероятности, руководствоваться желанием своего премьер-министра.

Удомо, не выпуская из рук бутылку, потушил свет и сел напротив Мэби. Он одним глотком осушил свой стакан и налил еще.

Мэби хихикнул и стал покачиваться из стороны в сторону.

— Наш славный премьер-министр, кажется, запил. А? Заливает горе вином? А? С чего бы? Расскажи мне, в чем дело, владыка Удомо. Я же не иностранная делегация, прибывшая с официальным визитом. Я же не толпа, которую нужно растрогать до слез... В чем дело? Что тебе от меня надо?

Наступило долгое молчание. Затем Удомо сказал:

— Я должен сказать кому-нибудь... Тебе. Я убил его...

Мэби был слишком пьян, чтобы услышать муку в голосе Удомо; в темноте слез Удомо не было видно.

— Убил Мхенди?.. Ты?..

— Да. Я сказал Ван Линтону, где его лагерь. Я должен был сделать это, иначе они прекратили бы свою техническую помощь. А ты знаешь, чем это грозило бы нам.

Мысль Мэби начала работать.

Тишина в темной комнате затянулась до бесконечности. Наконец удивленным, неуверенным голосом Мэби сказал:

— Ты предал его врагам...

Удомо налил себе еще виски.

— Я не мог иначе. Понимаешь? Не мог...

Мэби не услышал мольбы, звучавшей в голосе Удомо. До его сознания дошли лишь холодные, жесткие слова, говорившие о предательстве.

Удомо продолжал говорить — он объяснял, он пытался заставить Мэби понять свою душевную муку, свою потребность в утешении. Мэби не слышал его. Для него ясен был лишь факт предательства. Этот факт все глубже проникал в его сознание, рассеивая винные пары.

— Ты...— Мэби задохнулся.— Ты...

Он размахнулся и с дикой злобой, с ненавистью кинул свой стакан в голову Удомо. А затем кинулся на Удомо сам, обрушился на него всем своим щуплым телом, впиваясь ногтями, проклиная.

Стул с грохотом повалился на пол, увлекая за собой их обоих. На шум стремглав прибежал слуга. Он включил свет.

Удомо сидел верхом на Мэби, пригвоздив его к полу, и держал его руки. По лицу Удомо текла кровь. Осколок стекла глубоко порезал левую щеку чуть пониже скулы.

— Ой, масса...— закричал слуга.

— Твой хозяин заболел,— с трудом выговорил Удомо.— Помоги мне.

Мэби делал отчаянные попытки освободиться. Но придавленный телом Удомо, он был беспомощен. Он перестал сопротивляться и начал проклинать Удомо, изрыгая поток скверных ругательств. Потом он плюнул. Он плевал до тех пор, пока все лицо Удомо не покрылось плевками.

— Помоги мне,— сказал Удомо.

Он встал и поднял Мэби. Слуга сделал шаг к ним. Мэби изо всех сил рванулся назад. Удомо не сумел его удержать. От сильного рывка Мэби потерял равновесие, грохнулся на пол и затих.

— Ой, мой масса! — воскликнул слуга.

Удомо опустился на одно колено около Мэби.

— Ничего с ним не случится.

Он сгреб Мэби в охапку и отнес в спальню. Там он свалил его на кровать.

— Раздень своего хозяина и уложи спать. Я напишу записку, а ты передай ее завтра утром, когда он проснется. Принеси мне бумагу.

Слуга принес бумагу. Он только тут заметил кровь на лице Удомо.

— Ой, сэр! Ваше лицо...

— Ничего страшного.

Он написал:

«Завтра утром сразу зайди ко мне в кабинет.

Удомо».

Он дал записку слуге. Затем вышел, сел в свою машину и уехал.

Полчаса спустя двое часовых заняли посты у ворот дома Мэби.

■

В другом конце города губернатор и начальник его канцелярии отчаянно и целеустремленно напивались.

— Боже мой, до чего я ненавижу Африку! — сказал Росли.

— То есть прогресс, вы хотите сказать,— возразил Джонс, болезненное лицо которого совсем сморщилось.

— Я хочу сказать — Африку, этот проклятый континент с его тайнами, и амулетами, и ритуальными кровопусканиями, и предательством. Это страна изуверов. Гнусная страна!

— Мы. Европа, прошли тот же самый путь. Проделывали штуки и почище. Только все это было давно, а у людей короткая память,— Джонс выпил еще.— Хотелось бы мне знать, чем можно его утешить...

— Вы его видели сегодня? — спросил Росли.

— Да. Держится еще более неприступно и холодно, чем обычно. Несчастный сукин сын! Знаете, он все-таки великий человек. Только отъявленный негодяй или великий человек мог бы решиться на это. Мы с вами, Росли, сделаны из другого теста.

— Мне такого прогресса и такого величия не нужно,— с горечью сказал Росли.

— Интересно, о чем он сейчас думает,— задумчиво сказал Джонс.

■

Утреннее солнце заливало кабинет премьер-министра. Удомо повернулся от окна и прямо взглянул в лицо Мэби. Мэби смотрел на него с неприкрытой ненавистью.

— Ты по-прежнему отказываешься понять меня?

— Я понимаю только, что ты предал друга,— отрезал Мэби.

— И настаиваешь на выходе в отставку?

— Да.

Удомо протянул к нему руки.

— Садись, Мэби. Давай поговорим.

— Нам не о чем говорить.

— Черт тебя подери совсем! — вышел из себя Удомо.— Ты ведешь себя, как слезливая баба. Или тебе непонятно, что мне тоже несладко? Ты, может, думаешь, что мне приятно было сделать это? — Голос его дрогнул.— Я не мог иначе! Не мог! Личные чувства не должны мешать нам исполнять свой долг. Долг по отношению к Африке! К ее народу! Моему народу и твоему! К будущему! Будь благоразумен, Мэби...

— Ты кончил?

Он слишком ненавидит меня, подумал Удомо.

— Хорошо. Но ты понимаешь, что оставаться в стране тебе нельзя.

Едкая усмешка покривила губы Мэби.

— Можешь не бояться, болтать я не буду.

Удомо невесело улыбнулся:

— А кто тебе поверит? Во всяком случае тебя можно заставить замолчать. Ты не думаешь, надеюсь, что я позволю загубить то, что сделано мной. Я любил Мхенди. Я никогда не любил тебя.

— Я бы хотел повидать своих перед отъездом. Ты не можешь помешать этому.

— Могу. Ты улетишь с первым же самолетом. Кажется, сегодня вечером есть рейс. Ты уедешь в отпуск по болезни. Вчера вечером у тебя был приступ помешательства. В присутствии твоего слуги, который, если надо, может подтвердить это. Ты будешь отсутствовать так долго, что в конце концов я вынужден буду передать твое министерство кому-нибудь другому.

— А ты не боишься, что я в Англии заговорю?

— А что ты можешь сказать? Какие у тебя доказательства? Не забудь, что у тебя был приступ помешательства. Этим можно многое объяснить. Но ты ничего не скажешь. Ты ведь тоже хочешь быть патриотом. Но желаешь при этом уберечь свою драгоценную душу. Ты знаешь, что иначе я не мог. Но тебе лишь бы самому рук не замарать. Пусть этим занимается подлец Удомо. Тоже мне — оплакиваю Мхенди! Очень ему нужно, чтобы ты его оплакивал. Ладно, иди себе, Мэби, блюститель нравственности! У меня настоящих дел по горло, мне не до твоих дурацких идей. Тошно смотреть на тебя. Иди...— Он пошел к своему столу и сел.

Мэби сделал несколько шагов к двери.

— Мэби!

Мэби остановился и ждал, не поворачивая головы.

— Ненавидь меня, сколько душе угодно. Но ведь это твоя страна! Африка! Останься и помоги мне — ради нее...

Мэби протянул руку к дверной ручке.

— Тогда убирайся, идиот проклятый! — взорвался Удомо.

Дверь за Мэби закрылась. Некоторое время Удомо сидел, вперив в нее взор. Затем открыл ящик и достал коробку сигарет. Он закурил, откинулся на спинку кресла и глубоко затянулся. Надо чем-то успокаивать нервы. Он понимал, что рано или поздно ему придется начать пить, чтобы хоть на время забываться. Но это потом, позднее. Чем позднее, тем лучше... Управлять страной — это не легкое дело. Совсем не легкое. Какой замечательной опорой был бы Мхенди, родись он в Панафрике, а не в Плюралии... Боже мой, до чего я устал... Но столько дел. Не шутка — на своем горбу тащить страну через огромную пропасть, отделяющую вчерашний день от сегодняшнего...

Он раздавил окурок и позвонил секретарю.

Насколько легче было бы мне сейчас, будь здесь Лоис, уже спокойно подумал он.

СЕЛИНА, ЭДИБХОЙ

I

Удомо надавил на гудок и подождал. Молодых людей, которые по ночам охраняли его дом, поблизости не было... Он снова надавил на гудок. Куда они делись? Может быть, Селина и партия решили, что нет больше необходимости караулить его дом по ночам? Интересно знать — почему.

По темной аллее подбежал старший слуга и открыл ворота. Удомо въехал в сад. Слуга запер за ним ворота. Удомо вылез из машины и быстро зашагал по ступенькам крыльца. Слуга крикнул что-то ему вслед, но он не разобрал слов. Он направился в гостиную и остановился, как вкопанный, на пороге. Там сидели Эдибхой и Селина. У них был такой вид, будто они уже очень давно ждут его. Он заставил себя улыбнуться. Ответных улыбок не последовало. Селина бесстрастно наблюдала за ним. Эдибхой сперва избегал его взгляда, но потом поднял глаза, и едва заметная улыбка мелькнула на его лице.

Как он разжирел, подумал Удомо. Слишком много ест и пьет. И снова, уж в который раз, он подумал, как неприятен стал ему Эдибхой. Он достал из кармана сигареты и медленно вошел в комнату. Взгляд Селины скользнул по портсигару, затем снова остановился на его лице. Он сел напротив них.

— Ты не ждал нас? — сказала Селина.

— Уже поздно.— Он посмотрел на часы.— Около часа.

Вошел слуга.

— Можно предложить вам что-нибудь? — спросил Удомо.

— Мне ничего не надо,— сказала Селина.

— Мне тоже,— сказал Эдибхой.

Ага, значит, дело серьезное, подумал Удомо.

— Можешь идти спать,— сказал он слуге.

Они подождали, пока слуга ушел, затем Селина спросила:

— Ну как, хорошо повеселился в компании белых?

— Уж не об этом ли вы приехали разговаривать? — спросил Удомо.

— Нет. Но и это тоже к делу относится.

— Существует правило насчет личных контактов,— сказал Эдибхой.

— Уже очень поздно, и я устал,— сказал Удомо.

— Мы тебя давно дожидаемся,— сказала Селина.

— Созовите завтра заседание исполнительного комитета, и мы обо всем поговорим. Я объясню там свое поведение.

Селина скрестила руки на груди.

— Мы поговорим сейчас, Удомо. В прежние времена мы могли разговаривать, мы втроем. Я хочу поговорить так, как мы говорили когда-то.

— Хорошо. Только отложим это до завтра. Я сегодня очень устал.

— А я все же хочу поговорить сейчас.

Значит, карты на стол, подумал Удомо. Он закурил сигарету.

— И ты на этом настаиваешь, Эди?

— Да.

— В таком случае давайте разговаривать,— он откинулся на спинку кресла и ждал настороженно и внимательно.

— Ты предал нас,— тихо сказала Селина.

Удомо перевел взгляд на Эдибхоя.

— Ты тоже так считаешь, Эди?

— Мы оба так думаем,— сказала Селина.— Потому мы и пришли вместе.

— Так это, Эди?

Наконец-то Эдибхой взглянул ему прямо в глаза. Широкая улыбка расплылась по его лицу. Но глаза оставались холодными и суровыми.

— Да. Ты предал нас.

— Так... Вы говорите «ты предал нас». Кого это «нас»? И в чем мое предательство?

У Селины сверкнули глаза.

— Ты что, у белых финтить научился?..

— Нет, Селина. Ты обвиняешь меня. А я хочу понять, в чем моя вина. Только и всего.

— Хорошо, Удомо. Я скажу тебе. Ты спрашиваешь, кто такие «мы», которых ты предал. Ты предал меня.— Теперь в ее голосе не было никаких признаков волнения, она говорила бесстрастно, как будто происходящее ее совсем не касалось.— Ты предал меня. Я сделала тебя премьер-министром, а ты предал меня. Ты сам знаешь, каким ты был, когда пришел ко мне на рынок восемь с лишним лет назад. Ты премьер-министр сейчас только потому, что я не прогнала тебя тогда.

— А как, собственно, я предал тебя?

— Ты еще спрашиваешь?

— Да, спрашиваю. Я хочу знать.

— Не надо обращаться со мной, как с маленькой, Удомо.

— Обвиняемый имеет право знать, в чем его обвиняют.

— В нашей стране сейчас больше белых, чем в то время, когда здесь хозяйничали англичане.

— Потому что они нужны нам, нам нужны их знания и опыт.

— А как же твое обещание, что они больше не будут править страной?

— Они и не правят ею. Правим мы. Ты знаешь это, Эди.

— Я больше в этом не уверен,— сказал Эдибхой.— Правда, мы — министры. Мы составляем кабинет. Мы утверждаем законы, но все строительство, вся тяжелая промышленность находятся в руках белых. Они правят нами при помощи капитала. И ты это сам прекрасно понимаешь. Потому тебе и приходится закрывать глаза на их клубы только для белых. Повсюду в стране — на фабриках, на стройках, на строительстве дорог — белые командуют, а черные работают...

— Совсем как на родине Мхенди,— вставила Селина.

— А сколько денег уплывает из страны из-за выплаты дивидендов белым? Ты об этом никогда не говоришь, земляк, не говоришь даже членам своего кабинета. Почему?

— Задай мне этот вопрос на заседании кабинета, Эди, и я отвечу тебе.

— Значит, мне нельзя доверять? — сказала Селина.

Удомо старался справиться со страшной усталостью, одолевавшей его.

— Что еще вы имеете против меня?

— Ты не желаешь отвечать нам? — сказала Селина.

— Вы же пришли не за тем, чтобы слушать. Вы пришли говорить.

— Ты очень самонадеян, Удомо.

— Нет, Селина, я не самонадеян. Просто я понимаю вас.

— И не считаешь нужным оправдываться?

— В чем? В том, что я развиваю страну? Что я посылаю детей в школы, строю больницы, борюсь с невежеством и предрассудками?

Селина встала. Эдибхой последовал ее примеру. С годами она похудела, подобралась, и темное лицо ее стало еще больше похоже на маску.

— Ты не прогонишь отсюда белых?

— Пока я в них нуждаюсь — нет.

— Ты и впредь будешь искоренять наши старые обычаи?

— Те, которые мешают нашему прогрессу,— безусловно.

— И ты не изменишь своего решения отправить Эдибхоя за границу в качестве посла?

— Не изменю. Он мне нужен там.

— А может, ты просто хочешь избавиться от своих противников?

Удомо усмехнулся и кивнул. Теперь игра шла в открытую.

— Да. И это тоже. Но главным образом потому, что он нужен мне там.— Он встал, подошел к маленькому столику в углу и налил себе немного виски.— Может, ты все-таки выпьешь, Эди?

Эдибхой облизнул губы, но отрицательно покачал головой. Удомо одним глотком выпил виски и поморщился.

— Какая все-таки гадость! И все же... Господи, до чего я устал.

Селина ходила взад и вперед по комнате.

Ты опасна, думал Удомо, очень опасна, но ты опоздала, моя милая...

Стоя спиной к нему, Селина спросила:

— Чего ты добиваешься, Удомо?

Он улыбнулся. Поймет ли она? Способна ли понять? Он чуть заметно шевельнул плечами, словно стряхивая что-то неприятное.

— А ты как думаешь, чего я добиваюсь? Разве я нажил себе состояние, как ты... или как Эди? Ну-ка, скажи.

— Ты уничтожаешь наши обычаи, Удомо. Старые обычаи гибнут от твоей руки. Мы не сразу поняли это. Мы думали — он знает, что делает. Он наш. И я говорила: «Пускай. Дадим ему время. Он покажет, кто хитрее,— черные или белые, он их одурачит!» — Она повернулась к нему лицом. Лютая ненависть сверкала в ее глазах.— Но ты одурачил меня. Одурачил Селину!

Удомо налил себе еще виски. Собственно, почему бы и не покончить с этим раз и навсегда? Почему бы не поставить все точки над «и»?

— Послушай, Селина. Я скажу тебе, чего я добиваюсь. У нашей страны есть три врага — вернее, их было три, одного мне удалось превратить в союзника. Но допустим, что их три. Об одном, ты, конечно, догадываешься. Может быть, ты догадываешься и о двух других?.. Нет. Тогда я скажу тебе. Первый враг — это белые. Ты удивлена, не правда ли? Но погоди улыбаться. Я еще скажу тебе кое-что насчет белых. Итак, у нашей страны три врага. Первый — белые. Второй — бедность, третий — наше прошлое. Вот три наших врага. Когда я вернулся, я видел только одного врага — белых. Однако стоило мне одолеть этого врага, как я увидел двух других и понял, что они гораздо сильнее, гораздо опаснее, чем белые. По сравнению с этими двумя белые оказались совсем не страшны — чуть ли не союзники. Что ж, я и превратил их в союзников против бедности. Теперь они работают на нас, строят для нас, чтобы те, кто придет нам на смену, всегда были обеспечены хлебом и жильем. В стране появились школы и больницы. Наша молодежь пробуждается. Как ты думаешь, почему я потратил столько денег, посылая наших юношей и девушек за границу учиться? Я скажу тебе. Потому что мне нужна опора в борьбе против третьего, самого страшного врага — нашего прошлого. Внешне я отдавал дань ритуалам, и кровавым обрядам, и культу предков. Теперь у меня больше нет в этом нужды. Теперь вокруг меня достаточно молодых людей, свободных от предрассудков. При их поддержке я могу бросить вызов всему отвратительному и зловещему в нашем прошлом. Теперь у нас хватит сил победить. А ты, Селина, и ты, Эди, которого я когда-то любил, как брата,— вы олицетворяете это прошлое. Я сделаю все, чтобы победить вас! Потому что вы преграждаете Африке путь к величию. Пожалуйста,

выступайте против меня на партийной конференции — посмотрим, кто кого. Вы опоздали, друзья мои! Опоздали...— он пожал плечами и ласково улыбнулся.

— Теперь нам все ясно,— спокойно сказала Селина.— Теперь наконец ты говоришь то, что думаешь.

— Да,— сказал Удомо.— Теперь вам все ясно.— Он повернулся к Эдибхою.— Ну, а ты, Эди? Ты ведь проиграешь, если вступишь в борьбу со мной. Неужели ты правда за племенной строй? Ты врач! Ты же человек завтрашнего дня, а не вчерашнего.

Но он знал, что это не так. Эдибхой вернулся в прошлое — в мир изуверских обрядов и культа предков. Да он никогда и не покидал этого мира, как не покидала его губ фальшивая улыбка, делавшая его лицо похожим на старинную маску с застывшей гримасой. Но своего лица у него никогда не было — безликий винтик в механизме. Человек, лишенный индивидуальности, которого он так и не узнал до конца. Удомо вздохнул. От усталости у него немного кружилась голова.

— Все сказано,— сказала Селина.— Пошли!

Она остановилась перед Удомо. Глаза ее метали молнии. Она плюнула. Потом они вышли.

Дешевая плата, решил Удомо. Он отер щеку. Очень дешевая плата за возможность осуществить столь грандиозную мечту.

Он пошел к парадной двери и запер ее. Потушил свет в холле. Потом вернулся в гостиную и налил себе немного виски. Б-рр, какая гадость! Со стаканом в руке он пошел к креслу. Сел и вытянул ноги. Какое блаженство — эти минуты полного покоя. Теперь ему не нужно и виски. Он отставил стакан. Итак, с этим покончено, начинается последняя, решающая битва. Он выйдет из нее победителем. Они дали ему достаточно времени. Великая машина прогресса уже приведена в движение. Теперь она будет работать, даже если его не станет. Они опоздали.

Да. За поступательное движение, именуемое прогрессом, людям приходится расплачиваться. И как! Мхенди — вот цена, которую пришлось уплатить ему. Мхенди! Страшнее расплаты не придумаешь.

И только горе, причиненное Лоис, было глупо и ненужно. Только оно. Лоис...

Он встал, потушил все лампы и пошел к себе в спальню. Раздевался он при свете луны.

Сейчас она, наверно, там, в горах, в домике, который она называла своим родовым поместьем. Там тоже ночь сейчас? Если да, то она лежит под опущенным москитником... Так же, как он.

Лоис! Лоис! Слышишь ли ты меня? Чувствуешь ли? Я люблю тебя, Лоис. Люблю тебя. Теперь я понял это. Понял.

Я напишу ей. Нет. Я поеду к ней. Да! Поеду и заставлю понять. Обниму и заставлю ее понять, как она нужна мне, как мне нужна ее любовь, как мне нужно любить ее. И она поймет и простит. Посмотрит мне в глаза и поймет. И я привезу ее сюда. Ведь она обещала мне там, у себя в горах. Она заглянет мне в сердце и приедет. Приедет. Как только вся эта история с Эди и Селиной будет кончена, я поеду. И она приедет ко мне и останется со мной. Лоис! Лоис! Я так виноват перед тобой, милая, так виноват. Я не понимал прежде. А теперь понимаю. Я поеду к тебе. Я подымусь на гору, где находится твое родовое поместье, и скажу тебе о том, как я люблю тебя. Скоро. Как только я смогу. Как только...

Внезапно до его сознания дошло, что ночное безмолвие наполнилось мерным вибрирующим звуком. Это рокотали барабаны, мягко и приглушенно, прямо под его окном. Нет! Со всех сторон. Повсюду. Барабаны рокотали повсюду. Негромко и настойчиво. И, прислушиваясь, он заме-

тил, что темп ударов постепенно нарастает, хотя сила звука остается прежней. И тут он понял — говорящие барабаны! И они говорили:

Удомо предал, смерть Удомо.

Им призывно вторили другие:

Удомо предал, смерть Удомо.

Он откинул узкую простыню и сел. Спустил ноги на пол и потянулся к ночнику.

Удомо предал, смерть Удомо.

За какую-то долю секунды до того, как зажегся свет, он уже знал. в комнате с ним кто-то есть. Их было двое: один стоял у окна, другой — у двери.

Удомо предал, смерть Удомо.

При свете он узнал их. Они уже несколько месяцев из ночи в ночь охраняли его дом. Только сейчас на них не было партийной формы. Они были голые, если не считать набедренных повязок, и их лица и тела были раскрашены.

Удомо предал, смерть Удомо.

Удомо старался справиться с нахлынувшим на него ужасом. В руках у них были длинные ножи. Они следили за ним остекленевшими, неузнающими глазами. Ничего враждебного не было в этих глазах. Просто остекленевшие. Головы склонены набок, прислушиваются к барабанам. Дышат в такт барабанному бою.

Удомо предал, смерть Удомо.

Барабаны начали завораживать и его. Он закрыл глаза и напряг всю свою волю, стараясь не поддаваться. Темп ускорился, продолжал ускоряться. Человек, стоявший у окна, начал подергиваться. Ноги его выбивали на полу дробь. Человек у двери закрыл глаза и чуть покачивался на месте, будто в трансе. Барабанный бой проникал в душу Удомо.

Удомо предал, смерть Удомо.

Усилием воли он попытался стряхнуть оцепенение. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Добраться до телефона. Поднять тревогу. Он откинул москитник и встал.

— Что здесь происходит? — крикнул он с притворным хладнокровием.

Они не обратили на него никакого внимания, кажется, даже не слышали его.

Тот, который стоял у двери, начал приплясывать, судорожно потряхивая плечами и головой. Рука, в которой он держал нож, мелко дрожала. в такт бою барабанов. Стоявший у окна задвигался по кругу, выделывая ногами сложные па, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, с каждым разом увеличивая круги. Теперь и рука с ножом пришла в движение и начала описывать круги, в такт барабанам, в такт шагам. Барабанный бой усилился мало, но ритм заметно участился.

Удомо предал, смерть Удомо. Удомо предал, смерть Удомо.

Сердце Удомо билось в такт барабанам. Глухой стук отдавался во всем теле, и скоро он перестал отличать удары сердца от ударов барабанов.

— Прекратите! — крикнул он, но теперь в голосе его слышался страх.

Человек у окна расширил свои круги, он уже двигался по всей комнате. Нож в руке второго дрожал все сильнее. Их тела блестели от пота. Пена начала появляться в уголках губ.

— Я — Удомо. Вы же знаете меня! Я освободил вас! Я освободил вас! Слышите? Я — Удомо! Ваш вождь!

Но они не слышали. Голос, который прежде вызывал у них слезы восторга и поднимал на борьбу, не доходил до их сознания. Они слышали только бой барабанов. И эти барабаны были теперь повсюду —

в комнате, под полом, на крыше, везде... В их сердцах. Даже в сердце Удомо.

Смерть Удомо, смерть Удомо, смерть Удомо.

— Я освободил вас! — Теперь он уже молил.

Лицо Удомо блестело от пота, пот сбегал струйками вниз, во рту было солоно. Смерть была близка. Он рванулся к двери, взялся за дверную ручку. И в этот момент человек у двери вырос перед ним, схватил его, высоко занес над его головой руку с ножом. Он прислушивался к настойчивому зову барабанов. Затем с силой опустил нож и яростно отшвырнул от себя Удомо. Удомо грохнулся на пол.

Барабаны требовали:

Смерть Удомо! Смерть Удомо! Смерть Удомо!

Но Удомо еще жил. Человек у двери ударил его лишь рукояткой. Однако теперь жертва была готова. Воля к сопротивлению сломлена. Боги племени утвердили свое превосходство. Удомо лежал на полу оцепеневший, с остановившимися глазами, с открытым ртом.

И над всем царил сумасшедший бой барабанов.

Те двое, обезумев, носились вокруг Удомо, прыгали через него, кружась в ритуальном танце смерти. А барабаны звали:

Убей! Убей! Убей! Убей!

Человек, стоявший прежде у окна, пронзительно вскрикнул и вонзил нож в Удомо.

Страшная боль освободила его от власти барабанов. На одно мгновение он снова стал человеком. Не только Мхенди... О, Лоис! Лоис! Лоис!..

Второй нагнулся и ударил Удомо ножом в шею. Кровь брызнула убийце в лицо.

Смерть пришла к Удомо.

В диком, все нарастающем исступлении они вонзали под барабанный бой ножи в бездыханное тело. Внезапно барабаны смолкли. Оба замертво упали на пол. Безмолвие сковало ночь. И в наступившей тишине беззвучно появились люди и унесли тех двоих, оставив лишь растерзанное тело, в котором обитала когда-то душа Майкла Удомо.

И ночь была тиха над Африкой. Высоко в небе стояла луна. Ярко сияли звезды.

2

Поул Мэби опустил телефонную трубку и пошел к диванчику, стоявшему в углу его студии. Он лег и уставился в потолок.

Итак, он умер. Как-то трудно поверить. Он всегда был так полон жизни. Трудно представить, что он часто бывал здесь, в этой самой студии. Вместе с Лоис. Лоис...

Он поднялся, достал ручку и блокнот, положил блокнот на колено и начал писать:

«Лоис, дорогая, мне только что звонили из нашего посольства. Но к тому времени, как это письмо дойдет до вас, вы, конечно, будете уже все знать о случившемся: смерть Удомо — важное событие, и известие о ней облетит весь мир.

Прошло уже почти пять лет с тех пор, как я последний раз писал вам, сообщая о смерти Мхенди и прося разрешения приехать. Вы не ответили мне. Может быть, не ответите и на этот раз. Я пойму. Я действительно предал нашу дружбу, уехав на родину по зову Удомо. Вся беда в том, что это был не только его зов — это был также зов Африки. Но в конце концов я предал и ее, оказавшись неподготовленным

к логическому развитию событий, которые повлекли за собой смерть Мхенди.

Кажется, я не писал вам о моем последнем разговоре с ним. Я тогда был слишком потрясен, слишком ненавидел его. Теперь я могу более спокойно взглянуть на то, что произошло. Помню, как он стал издеваться надо мной, увидев, что я не останусь, несмотря на все его уговоры. Он назвал меня «блюстителем нравственности» и зло посмеялся над моим малодушным патриотизмом. Мне кажется, что только они с Мхенди понимали до конца, какой ценой достается прогресс. И из всех нас он один готов был платить за него сполна. Том не смог примириться с современной африканской действительностью. Он вернулся в Англию совершенно надломленным человеком и умер меньше чем через месяц после возвращения. Но мне кажется, что из всех нас самым никчемным, самым слабым оказался я. Я предал всех и вся — вас, Лоис, Мхенди, Африку (да, и ее), и Удомо, и свое искусство вдобавок. Он сказал мне во время нашего последнего разговора, что Мхенди не захотел бы, чтобы я оплакивал его. Наверно, он был прав. Он дал мне понять таким образом, что, несмотря на все свои возвышенные чувства, я — никудышный человек. Сочтете ли вы попыткой оправдаться, что-то объяснить, если я скажу — хотя теперь все равно ничего не воротишь,— что художник должен оставаться художником, что, взявшись не за свое дело, он его все равно погубит. Не знаю.

Но я собрался писать вам о нем, а не о себе. Из газет (если вы их читаете), вы узнаете, что его тело было найдено изрубленным на куски. Я не думаю, что тот или те, кто сделал это, будут когда-нибудь обнаружены. Завеса молчания покроет это преступление, а уж я-то знаю, как непроницаема она может быть, когда дело касается законов племени. Но настоящие убийцы — даже если они и не наносили ударов,— это, без сомнения, наш веселый друг Эдибхой и страшная женщина по имени Селина, истая дочь племени, которая держала в своих руках всю партию во время моего пребывания там.

Вы, конечно, догадываетесь о причине убийства. Они хотели вернуться назад к славным временам племенного строя. Знаете, ведь повсюду есть люди — не только черные, но и белые,— которых весьма прельщает племенной строй. Помимо всего прочего, он колоритен, безопасен, не грозит переменами и дает отдушину для всякого рода эмоций. Все это не входит в число благ, которые предлагает нам неонохромированная цивилизация, расцветшая на массовом производстве. Вы знаете, что сейчас многие — в особенности среди белых — утверждают, что причина всех бед Африки кроется в слишком поспешном отходе от племенного уклада. Так говорить могут лишь недалекие люди, не понимающие самой сущности этого уклада. Удомо понимал. Он боролся против него, сперва исподволь, тайно, а затем — о чем свидетельствуют недавние отчеты о положении в Панафрике — все более смело, все более открыто. Поэтому его и нужно было изрубить на куски, как того требуют обычаи племени. Но они опоздали. Он достаточно далеко продвинул свое дело, чтобы они не могли отвести назад стрелку часов.

Теперь я не могу думать о нем иначе, как с уважением и восхищением, дорогая моя. Да, было в нем что-то страшное. Но, быть может, это как раз и была та самая созидательная сила, без которой не перестроишь мир. То, что сделано им, не уничтожишь. Своими делами он воздвиг себе памятник. В них и оправдание ему — если только он нуждается в оправданиях.

Ну, а как насчет нас — насчет вас и меня, Лоис, дорогая? Вот уже час, как я лежу тут и думаю. Мне кажется, что мысль о вас никогда не оставляла его. Мне кажется, ни вы, ни он не представляли себе до конца значения того, что он получил от вас за те месяцы, что вы были

вместе. Может быть, к концу жизни он все же понял. Мне кажется, что это так.

Я не могу объяснить вам, почему у меня явилось вдруг желание защитить его память. Но желание это очень сильно.

Ну, а вы и я — были ли мы правы, упорствуя в своих этических воззрениях? Можно ли предать любовь и дружбу, богов, которым мы поклоняемся, и остаться хорошим человеком? Я полагаю, вы по-прежнему ответите отрицательно. Ну, а как же тогда понять Удомо? Я знаю все зло, которое он причинил вам и Мхенди. Но я знаю также и все то доброе, что он принес Африке. Был он хорошим человеком? Или великим? И значит ли это, что великий человек стоит вне добра и зла? Да, чем больше я думаю, тем дороже он становится мне...

Напишите мне, пожалуйста, Лоис, милая. Теперь нас осталось только двое. Нарушьте долгое молчание. Хотелось бы мне знать, поймут ли когда-нибудь африканцы, пришедшие нам на смену, какой страшной ценой была куплена их свобода и какую долю ее заплатили неафриканцы, вроде вас. Напишите, милая. Позвольте мне приехать, полежать рядом с вами на солнце и помечтать, как мы мечтали, пока не появился Удомо и не заставил нас взглянуть в глаза действительности. Напишите, любимая! Ваш Поул».

МОРИС КАРЕМ

Маленькие легенды

Перевод с французского
М. КУДИНОВА

Чудо-зеркало

Мудрый маг чудо-зеркало создал,
Отражались в том зеркале души.
И у многих вельмож в королевстве
Был душевный покой нарушен.

Чудо-зеркало спрятали в замке,
Этот замок был пуст и заброшен...
Глянул в зеркало волк и увидел,
Что по сути зверь он хороший.

Но однажды надумал король
Посмотреть на свое отраженье,
И увидел он хищную птицу,
Всем грозящую уничтоженьем.

Чудо-зеркало тут же разбили,
Мудрый маг был коварно задушен,
И теперь зеркала во дворце
Отражают лицо, а не душу.

День семи солнечных дисков

Ночь озаряли тринадцать лун,
Семь солнечных дисков день озарили,
И был этот день сверкающе юн,
И пчелы его необычными были.

Они собирали не сладкий сок,
А золото — кольца, колье и монеты,
И стали все сейфы в короткий срок
Ульями, полными меда и света

Он был особенным, этот мед,
Такой встречается только в сказке:
Любой его брал и клал его в рот,
Любой угощался без всякой опаски.

Но снова ночи одной луны
Дни одинокого солнца сменяли,
И снова золотом были полны
Сейфы из самой надежной стали.

И были опять бедняки, богачи,
Торгашеский дух, приглушенные стоны,
И, словно лани, дрожали в ночи
Души, проданные с аукциона.

Верхом на лягушке

Верхом на лягушке принц ускакал.
Была королева в смятенье,
И врач ей поспешно накапал
в бокал
Лекарство от сильной мигрени.

Все знали, что нет в королевстве
давно
Ни фей, ни чудес, ни загадок.
Все было измерено и сочтено,
И вдруг... нарушен порядок.

Когда же принц возвратился
домой,
Примчавшись на белке усталой,
То мать-королева, сказав «боже
мой»,
За доктором снова послала.

Но медик придворный и все
мудрецы
Не знали, как быть с чудесами:
С концами никак не сходились
концы,
Гипотезы рушились сами.

И только детей не смутила ничуть
История странная эта.
Им так же, как принцу, известен
был путь
В царство мечты и света.

Что это такое?

В утреннюю пору —
Словно лезешь в гору.

День пришел дождливый —
На сердце тоскливо.

Если жаркий день —
Одолела лень.

Если свет луны —
Беспокойны сны.

В общем, нет покоя!
Что это такое?

Лиса

«Почему я не утка?» —
Воскликнул сурок.
Плавать очень хотел он,
А плавать не мог
И грустил, возле берега сидя.

«Ах! — воскликнула утка. —
Хочу быть сурком
И на дерево влезть
И свернуться клубком...
А теперь на судьбу я в обиде!»

Им сказала лиса:
«Поженитесь! Да-да!
И верхом на сурке
Сможет утка тогда
На деревья взбираться проворно.

А когда заблестит
Перед вами река
Утка тут же на спину
Посадит сурка
И возить его будет покорно.

Поженю вас!
Ко мне приходите скорей.
Позовем мы на свадьбу
Знакомых зверей
И глядишь: вот и сделано дело...»

Так сказала лиса.
И, покинув нору,
В тот же вечер гуляла
На брачном пиру
И невесту нечаянно съела.

Сверчок

Сменить квартиру и район
Решил сверчок однажды.
Что жил в плохой каморке он,
Об этом знает каждый.

Стесняясь бедности своей,
Сверчок до ночи мешкал,
А ночью скарб свой поскорей
Сложил он на тележку.

Сперва налево покатил,
Потом свернул направо,
Во мраке выбился из сил
И угодил в канаву.

Откуда ни возьмись — сова!
Все в темноте ей видно.
Сову не трогают слова.
Ей слабых есть не стыдно.

Погиб сверчок. Никто о нем
Не смог поведать миру...
Блажен, кто не бывал сверчком
И не менял квартиру.

Б. ПЕСИС

АРАГОН-ПОЭТ

Стихи и поэмы Арагона читали и читают советские люди нескольких поколений. В подлиннике и в переводе. Даже труднейшие с точки зрения перевода произведения начали у нас свою новую жизнь; в этом номере журнала читатель найдет фрагменты из «Меджнуна Эльзы» — новой монументальной поэмы Арагона в стихах и прозе. Все же многое ценное и важное, написанное Арагоном-поэтом, еще ждет у нас перевода.

Думается, что задача всякого, кто пишет о поэтическом творчестве Арагона,— всемерно приблизить его произведения к нашим читателям, а это значит нередко — «досказать», описать то, что не всегда передашь, когда воспроизводишь стихами сложную форму и содержание поэзии Арагона.

Многое уже сделано советскими литературоведами и критиками, изучающими Арагона. В последнее время, после выхода в свет книги А. Иббаха, прекрасного знатока творчества Арагона, вышла книга молодой талантливой исследовательницы Т. Балашовой. Разумеется, было бы неправильно повторять уже сделанное ими, например, в части периодизации творчества Арагона, систематического освещения его пути. Я попытался выделить те черты его жизненного и поэтического опыта, которые объясняют возникновение и характер рассматриваемых произведений.

Естественно, что советская тема в творчестве Арагона вызывает у нас особый интерес, и в нашем обзоре она не раз выходит на поверхность — волею поэта — не только в такой поэме, как «Ура, Урал!», но и в стихах о Сопротивлении и в «Меджнуне Эльзы».

Волнение сердца поэта мы слышим в каждом повороте этой темы, сердца, которое бьется в унисон с сердцами советских людей — созидателей, воинов, защитников мира.

Поэт видит и трудности, и трагические страницы в эпопее всемирной борьбы за коммунизм, и те исторические победы, которые приближают счастье человечества, и человека, истинный расцвет личности, творящей для народа. Арагон — поэт-коммунист никогда не остается в стороне от боев, споров. Мы слышим и хотим слышать еще много лет его голос, голос щедрой поэзии, выходящий из «чистых, незамутненных истоков».

МОЛОДОСТЬ И ПОЭЗИЯ

Париж начала 20-х годов. Встреча молодых литераторов. Многие из них недавно покинули школьную скамью. Несмотря на это, а может быть, вследствие этого, они сегодня сами устраивают экзамен французской литературе. Отметки: высшая — плюс двадцать, низшая — минус двадцать. Кто-то будет взят на корабль современности? Кто сброшен? Тени классиков нервничают. Подходит очередь Виктора Гюго. Его дела плохи. И вот тут не утерпели двое: начавший писать еще на фронте молодой медик Арагон и его годлашний друг Андре Бретон. Увидев, что молодые люди, еще раздраженные педагогической муштрой, ставят минусы Виктору Гюго, Арагон и Бретон бросились к книжной полке и стали читать товарищам стихи Гюго. К концу этой встречи Виктор Гюго, который к девяти часам вечера «оценивался» в минус двадцать, получил высшую отметку!

В те годы, как, впрочем, и позже, казенные учебники литературы превращали Виктора Гюго в патриархального «дедушку» французской поэзии, Поля Верлена упоминали только в подстрочных примечаниях, а Рембо — в так называемых «примечаниях к примечаниям». Молодые литераторы из круга Арагона немало сделали, чтобы восстановить справедливость по отношению к Верлену, Рембо, Бодлеру.

Сейчас уже никто не оспаривает значения этих выдающихся мастеров французской поэзии. Трагическая, сложная поэзия Рембо давно вошла в полосу, залитую светом исторического опыта, хотя никто еще не объяснил до конца, что заставило гениального юношу, трепетавшего гневом и надеждами Парижской коммуны, навсегда уйти в Африку — от Парижа и от поэзии. И этот же свет пролит на тех, кто колебался, прежде чем признать великим Виктора Гюго, у которого, кстати сказать, учился Рембо, автор «Кузнеца».

Ясно и значение Лотреамона, поэта уитменовского размаха. Сюрреалисты считали его своим предшественником. Как показал в одном из своих замечательных исследований Арагон, роль Лотреамона гораздо важнее. «Для Дюкасса *,— пишет Арагон,— вся ценность заключается в моральном выводе. Нетрудно преуспеть какому-нибудь Дюма-сыну... Другое дело выражать оптимизм, большие чувства, доброту».

Различна была судьба участников той далекой встречи. Поль Элюар умножил тот вклад, который внесли во французскую литературу поэты-коммунисты, Робер Деснос, воспевший героев Сопротивления, стал жертвой нацистских лагерей.

Но вернемся к 20-м годам.

Внутренние конфликты, условия, в которых проходила юность этих литераторов, имеют значение для понимания сюрреализма. Их исступленная ненависть к войне была вполне обоснованной, хотя по преимуществу стихийной: она относилась к империалистической бойне 1914 года. Другое дело — тот национальный нигилизм, которым оборачивалась у иных ненависть к войне,— он имел большую давность.

Искажение идеи патриотизма, стремление расистской реакции «монополизировать» патриотизм, обозначилось особенно наглядно уже в последнее десятилетие прошлого века, в период инсценировки военщиной процесса Дрейфуса. Черносотенцы не уставали твердить молодежи: «Если ты истинный француз, ты должен признать Дрейфуса виновным». Один из антидрейфусаров требовал открыто заявить: «За родину, против истины». Только класс, одинаково презиравший и интересы родины, и истину, мог пойти на такое нравственное растление молодежи. В результате для многих молодых само слово «Франция» становилось тогда синонимом несправедливости.

Пропагандистские трюки реакции повторились, и, пожалуй, в еще более изощренной форме, в 1914 году. Ромен Роллан с болью вспоминал письмо французской матери, чей сын погиб на фронте, поверив воинственным газетчикам, будто этой жертвы требует «пример Жан-Кристофа».

Наблюдался отрыв части литературной молодежи от революционно-патриотической традиции, от подлинного интернационализма. Только немногие способны были правильно понять духовный кризис литераторов, поддавшихся шовинистическому угару. Большинство же, ненавидя шовинизм, шло по линии наименьшего сопротивления — в лабиринты национального нигилизма.

Среди сюрреалистов имелись люди, искренне сочувствовавшие революции. Но, как правило, крах буржуазии они мыслили себе как некое светопреставление, которое произойдет завтра и не оставит камня на камне от «старья» вообще.

Ловушкой для литераторов с апокалипсическими вкусами была проповедь «конца» буржуазной мысли, слышавшаяся справа и слева. Правые публицисты старались доказать, что буржуазная идеология прошлых десятилетий исчерпала себя и сейчас необходимо наступление на рабочий класс вести с еще более агрессивных позиций. Идею краха буржуазной мысли подхватили либеральные метафизики; эти предпочитали говорить о кризисе мысли вообще.

У сюрреалистов эта ура-нигилистская теория сочеталась с фрейдистскими увлечениями *. Как выход из кризиса мысли предлагалось обращение к подсознанию, к освобожденному от сознания творчеству. Отсюда, как известно, опыты автоматиче-

* Исидор Дюкасс (1846—1870), писал под псевдонимом Лотреамон.

* В романе Арагона «Орельен» есть фигура ученого-фрейдиста, который занимается освобождением светских людей от психологических перегрузок.

ского письма. Все это надо иметь в виду, чтобы понять анализ сюрреализма Арагоном.

Арагон принимает формулу «сюрреализм — это наша молодость». Но трудно представить себе более диалектическую концепцию, чем это изречение в устах Арагона. Тут было, конечно, признание радости поисков, радости открытия предшественников, наслаждение новизной исканий. Но есть у Арагона и другое. Есть взгляд на молодость, как на пору не только надежд, не только веры в будущее, но и как на «зарю туманной юности», как на пору обманов и самообманов. И это представление было создано отнюдь не пессимизмом, а реальной оценкой положения молодых художников-искателей в буржуазном обществе.

Вайян-Кутюрье, говоря о трагедии молодых пролетариев в условиях буржуазного строя, называл ее «несчастье быть молодым». Арагон увидел эту же трагедию, вникая в жизнь художников, которым приходится расти при строе, враждебном молодости и новизне.

В «Неоконченном романе» читаем:

Как молодость прекрасна! На пороге
О ней жалеешь, но конца ей нет,
Но груз ошибок, этот спуск пологий,—
Все это молодость, звезда в конце дороги,
Ее наследье, мрачный лазарет...
. . . . . .
Плутуя сам с собой, ты веришь свято
Словам случайным, вылетевшим в миг...
. . . . . .
В мучительном притворстве и кривлянье
Мы выглядеть свободными хотим.
Ждем приключений. Жалкое желанье.
. . . . . .
Жизнь на метафору нанизывают снова,
И тайны старые придумывают вновь,
И верят в то, что свергнет мир былого
Какое-то размашистое слово...

(Перевод М. Алигер)

Эти строки расширяют наше представление об Арагоне сюрреалистского периода.

Образ художника был тогда для Арагона своеобразным барометром, средоточием общественных конфликтов — романтическая, «гофманская» по духу концепция Недаром, в разгар сюрреалистских исканий, Арагон связывал новаторство не со всеобщим отрицанием, а с романтическим порывом и, как мы видели, отстаивал в кругу юных искателей традиции Гюго. Эстетические убеждения молодого Арагона, видимо, были прочнее и шире всех недозрелых нигилистических догм.

«Так отбросим же,— писал он в двадцатых годах,— маскарадный костюм символизма, маскарадный костюм кубизма, маскарадный костюм дадаизма. В противовес всем условностям встает одна сила, и она всегда заслуживает имени романтической. Любое другое наименование чисто иллюзорно».

Любопытнейшая формулировка, которая, впрочем, может удивить только тех, кто отрывает сюрреализм от кризиса литературной молодежи после первой мировой войны.

Впоследствии, как известно, образ художника в творчестве Арагона наполнился новым содержанием: художник сам стал искать для себя «барометр» у народа, у революционного авангарда.

Но и в произведениях молодого Арагона встречаются реальные картины жизни и исканий мятущихся молодых людей. Чего только не перепробовали эти герои Арагона!.. Все виды антибуржуазного бунта, от чисто эстетских и романтических, вплоть до переноса романтической «разбойничьей» темы в условия послевоенного Парижа. Мотив отчаяния, «несчастья быть молодым», мотив неприятия буржуазного порядка пропитывает собой сценки бродяжничества, увлечений, падений послевоенной богемы; ее любовные драмы стилизованы не менее, чем ее анархистские заговоры. Молодой Арагон создал также книгу «Парижский крестьянин», где не только буржуазной ограниченности, но и этому богемному, запутанному в видениях и фантасмагориях существованию противопоставлялось трезвое видение послевоенного Парижа.

Не только в условиях литературного развития, но и в самой творческой индивидуальности Арагона были заложены все возможности выхода из кризисов первоначальной поры.

Люди приходят к коммунизму разными путями. У художников, в литературном деле, где факторы индивидуальные особенно ощутимы, это означает большое богатство творческих путей. Что же помогало Арагону выработать положительную эстетическую программу? Прежде всего то, что он сумел преодолеть национальный нигилизм и связанное с ним отрицание культурного наследия.

Для художника типа Арагона решающим фактором было осознание того, что коммунистическая партия — передовая,

---

Б ПЕСИС
АРАГОН-ПОЭТ

авангардная сила,— разоблачая все отсталое, реакционное, выступает на защиту интересов нации, культурного наследия как достояния народа. Это «снимало» мучительные противоречия, оставшиеся от времен сюрреализма, когда молодой писатель вынужден был биться над ложными противопоставлениями, над выдуманными «антиномиями» Родины и Свободы, патриотизма и революционности.

Обозревая через много лет свой путь, Арагон рассказал о том, как партия учила его правильному пониманию патриотизма.

«Недавно сотрудник «Монд»,— писал Арагон в 1949 году,— приведя строку из стихотворения «Поэт — своей партии» «Спасибо, партия, за то, что ты вернула мне цвета Франции», добавил, желая меня уважить, что искренность этой декларации не вызывает сомнений. Но, быть может, он не до конца понял смысл выраженной мною благодарности, ибо, скажем прямо, если партии пришлось «возвращать» мне «цвета Франции», то это говорит только о том человеке, каким я был, о том потускнении национального чувства, которое проявлялось у меня двадцать два года назад, до того как я вступил в партию... Нередко комментаторы упускают из виду смысл этих стихов, посвященных партии. Стихи эти подчеркивают тот факт, что, вступив в партию и усвоив благодаря этому идеи, присущие французскому рабочему классу, я перешел на позиции пролетариата, отвергнув позиции буржуазного класса, обреченного историей класса, в недрах которого отрицание французской родины стало повседневным явлением».

Переход на позиции пролетариата был связан, естественно, с осознанием всемирно-исторического значения Октябрьской революции. Если идти по следу этой линии в поэтическом творчестве Арагона, то она приводит нас прежде всего к поэме «Ура, Урал!».

«УРА, УРАЛ!» — ПОЭЗИЯ ГНЕВНОЙ ФРАНЦИИ

Поэма «Ура, Урал!» была одним из первых крупных поэтических произведений Арагона.

Роже Гароди прав, когда говорит о том, что без новаторских исканий даже самой ранней поры творчества не было бы такого произведения, как «Ура, Урал!». К этому хочется добавить: поэма «Ура, Урал!» была новым, взрывающим этапом в этих исканиях. Она их распространила на французскую гражданскую поэзию, вывела ее на рубеж нового исторического этапа, открытого социалистической революцией в России. Новизна была не только в области идей, в содержании. Можно представить себе произведение французской поэзии, впервые овладевающее советской темой и в то же время выдержанное в канонах XIX и первого десятилетия XX века. Поэма «Ура, Урал!» — истинно новаторское произведение. Ее надо рассматривать в том же ряду, что и большой цикл романов «Реальный мир». Он начал создаваться под лозунгом «возвращения к реальности», нового реализма, который в поэзии Арагона как раз и представлен книгой «Ура, Урал!».

Вспомним, что описывает Арагон в поэме. Кучка богатых туристов, деловых людей и просто людей светских, в сопровождении дам, посажена на самолет и отправляется в СССР. Все их впечатления, суждения, сама их уверенность в своем превосходстве над социалистической страной перечеркиваются очень реальным и патетическим изображением социалистической стройки в первую пятилетку. Этим и смешны гротескные персонажи поэмы. С одной стороны, Магнитка и ее строители на фоне исторического прошлого России, серьезных классовых боев, Октябрьского триумфа; с другой — злобный, почти идиотский салонный лепет, приобретающий какой-то смысл только в минуты, когда злоба проявляется еще ярче, чем глупость.

Политическая окраска сатиры выражена в создании образа «летающей буржуазии» — его невольно сопоставляешь с традиционным представлением о буржуазии, преимущественно как о слое, укорененном в провинциальной почве, аморфном, прижатом к земле своим страхом и ненавистью к движению. «Летающая буржуазия» — это люди, порвавшие не только с национальной почвой, но и вообще с почвой реальности. Они поистине повисли в воздухе — образ построен почти что на каламбуре. Все, что говорят эти путешественники, решительно, прямо-таки в патологической степени расходится с объективным смыслом того, что они видят, что прочно существует на земле советской страны. Чувствуется традиция французской сатиры и ее обновление.

В патетической части поэмы Арагон впервые создает образ своего нового ге-

роя — это революционер и человек, артистически владеющий своим ремеслом. Мы увидим его в «Коммунистах». Но не только этим поэма предвосхищала будущие произведения Арагона.

Когда в годы Отечественной войны мы впервые услышали в чтении Жана-Ришара Блока «Балладу», посвященную Габриэлю Пери, о том, как он на месте казни спел несколько тактов «Марсельезы» и «Интернационала», оборванных пулями, мы не могли не вспомнить, что это сочетание *впервые* возникло в поэме «Ура, Урал!». Но если там, в балладе, оно прозвучало трагически, здесь в него был вложен другой смысл. «Марсельеза» — не просто абстрактный гимн французских патриотов, «Марсельеза» была, как песня Французской революции конца XVIII века, монополизирована буржуазией. И вот теперь, в поэме «Ура, Урал!», она попадает в революционную Россию, очищается, становится достоянием победившего рабочего класса и сближается с «Интернационалом». Арагон вскрывал в «Марсельезе» то, что было ее историческим своеобразием как гимна буржуазной революции.

Посвященная Советской России поэма в то же время глубоко национальна. В частности, таков «Вальс Челябтракторостроя» (название одной из глав поэмы), передающий легким, искрометным, вальсирующим ритмом, его нарастающими турами бурный ритм освобожденного труда. Это чисто французская поэтическая находка. Чтобы вполне оценить ее, надо вспомнить то, уже далекое время, когда оркестровый вальс был в музыке образцом всеобъемлющего лиризма, некоей краткой энциклопедией чувств, рассказывавшей слушателю целые драмы человеческого сердца, человеческой судьбы.

«Ура, Урал!» — поэма о Советской России, стране пролетарской диктатуры, предвосхищала произведения Арагона, воспевшего французскую коммунистическую партию как самую революционную силу, созидательную силу, как «ведущую силу нации».

В поэме есть пыл молодого Арагона, его наиболее удачные открытия в области формы, и одновременно она является как бы прологом к грозному цветению его поэзии Сопротивления.

■

Казалось бы, самый трагизм событий 1939—1940 годов — «странная война», крушение государственной независимости Франции, оккупация и особенно Сопротивление — достаточно объясняет новый этап поэзии Арагона, начатый сборником «Нож в сердце». И все-таки само направление взлета, «размах крыла расправленный» нельзя почувствовать, не заглянув в творческую лабораторию, где создавалась эпопея «Реальный мир». Романы этой серии обстраивались по-бальзаковски щедро: начинаясь Всемирной выставкой 1890 года, они были впоследствии доведены до петеновщины, до истоков Сопротивления и естественно перешли в действие цикла «Коммунисты».

Арагон, начиная писать «Нож в сердце» в дни, когда все казалось неверным, зыблющимся, а то и катастрофическим, был переполнен пафосом итога, пафосом историзма. Пафос итога бывает ведь и трагическим! Таким для Франции был итог двадцатилетия 1919—1939 годов, «период между двух войн». Это ясно сознавал поэт, черпавший понимание событий в их анализе французской коммунистической партией. Поэт видел итог и видел историческую перспективу.

В самом деле, стихи, открывавшие сборник «Нож в сердце», отвечали писателям, которые варьировали на многие лады всегда модную в буржуазной литературе тему «вечного возврата». Пропагандистами войны это расшифровывалось примерно так: война «удалась» Франции 20 лет назад, удастся и еще раз. Смысл же стихов, иронически озаглавленных «Двадцать лет спустя», сводился к тому, что все переменилось и все развивается по-иному.

Новой была уже сама поэзия Арагона. Его лирический герой впервые появлялся во французской литературе. Если Аполлинер, трагически сбитый с толку шовинизмом, отрекся от самого себя и слал с фронта письма-стихи, полные зазывных обращений к своей возлюбленной, то письма Арагона, приходившие из особой поднадзорной части, куда угоняли коммунистов, полны горечью разлуки и гневом.

Между строк Арагон давал понять Эльзе: да, он получил ее сообщение о том, что в их парижской квартире был произведен обыск, что полиция вела себя глупо и оскорбительно по отношению к француз-

скому коммунисту, считавшему, что его место на линии огня.

О том, что Арагон в стихах этих лет пользовался эзоповым языком, уже много писалось. Важно подчеркнуть, что классические образы Приама, Ниобеи, Гекубы, напоминания о рыцарском эпосе, о богатыре Дюгеклене были не только шифрами. В этих стихах рождался новый эпос, имена античных героев сменялись именами Габриэля Пери, металлиста Тембо, полковника Фабиена. Впоследствии, возвращаясь к этому потоку своей поэзии, Арагон писал:

«В самой действительности, в богатой, обильно напоенной кровью земле нации» возник «образ человека-коммуниста, в котором соединились черты рабочих, крестьян, интеллигентов. Всех их, таких непохожих, как бывают разны только облака в небе, объединил дух мужества и самоотверженности». Человек-коммунист — «воплощение всего возвышенного, героического, бескорыстного в людях, всего, что объединяет людей даже различных взглядов». Габриэлю Пери, Этьену Д'Орв и другим героям Сопротивления, людям разных социальных лагерей, посвящены знаменитые стихи «Роза и резеда» о двух пленниках гестапо.

Тот, кто верил небесам,
И тот, кто им не верил,*

падают в одно и то же мгновение под пулями палачей.

Это не чувство раздвоенности между разными видами любви. Это «удвоенная» любовь,

Опалившая жаворонка и ласточку,
Розу и резеду.

Простые, как в фольклоре, образы, сравнения передавали очень сложные и нужные, в борьбе за единство, чувства.

Арагон перевел на язык современного интернационального эпоса подвиги советских людей в Отечественной войне. «Радио — Москва» (это название имело только нелегальное хождение) и другие стихи говорили о том, как «на Востоке светлейшая заря берет в тенета тьму», а образ Нимфеи, пришедший из трагедии Расина, был гимном легендарным защитникам Крыма. (Нимфея — название древнегреческого города, существовавшего по соседству с нынешней Керчью.)

Арагон ухитрился даже упомянуть имя Маяковского в стихотворении «Гавань», рассказывая о плывущих мимо Азорских островах, о которых «говорил поэт Маяковский».

С началом Сопротивления лирика Арагона обретает песенный корень. Песня становится героем многих стихов, вошедших впоследствии в сборники «Глаза Эльзы», «Французская заря». Она знаменует собой духовную силу, которую нельзя истребить никаким оружием, которая даже способна заменить оружие. Переиначенная строка из Вергилия «Пою Человека и его оружие» звучала как лозунг воинствующего гуманизма, а в качестве врагов представали перед судом нации люди, рекомендовавшие не давать в руки оружия партизанам там, где партизаны, коммунисты держат в своих руках судьбу сражений.

Хотелось бы напомнить более конкретно несколько произведений Арагона тех лет.

Стихотворение «Двадцать лет спустя» уже было названо. Осень 1939 года. Время не движется или движется по кругу. События «вписываются в иронический заголовок Дюма». Монотонный, какой-то обозный ритм — будто тащат «рыжие быки осени» медленную, тяжелую телегу лет.

«Антиритму» медленных лет противопоставляется ритм революционный.

В те дни кое-кто из французских писателей сидел в цензуре и требовал от своих коллег героизации «странной войны». Арагон отвечал правдивым и беспощадным обличением призрачности, внутренней пустоты «имитации» героизма бывшими мюнхенцами, будущими петеновцами.

«Мы бродим по пустынным жилищам, мы — лишь призраки», но даже как призраки мы не настоящие, мы — «без цепей, без белых простынь, без идей — призраки полдня, привидения средь бела дня».

Существование «без идей». Ибо нельзя открыто признаться в том, ради чего затеяна бойня.

Наиболее сложно было раскрыть столкновение правды и лжи, когда поэт касался священной, классической темы разлуки. Темы нелегкой: ведь любая война — разлучница. У Арагона же в этих стихах родилась одна из наиболее характерных тем его поэзии — *тема четы.* Разлучены муж с женой, разлучены двое, боровшиеся вместе. Вот почему так мужественно звучат очень интимные строки: «...Пусть не для нас, но все-таки минует буря, и вернется время кроссвордов, ...время скрещенных слов». «Пусть не для нас...» «Время скрещенных

* Прозаический перевод стихов здесь, как и далее, сделан автором статьи.

слов», скрещения человеческих судеб — это поистине не только «для нее и для него».

В «Элеоноре Аквитанской» сквозь туманы фальшивой войны проступают контуры будущих боев во имя свободы. Вот для чего пришлось вспомнить о крестоносцах, которые вдохновляются образом прекрасной дамы, Элеоноры Аквитанской. Настал день, пишет поэт, когда они поняли, что сражаются не ради прекрасных глаз Элеоноры и что «истинное имя Элеоноры», матери Ричарда Львиное Сердце,— Свобода.

Один из наиболее смелых призывов к борьбе заключен был в стихотворении «Santa Espina» — «Святой терновник».

Я помню тот напев. Он был для нас простором
И зовом в вышине летящих журавлей.
(Перевод Э. Линецкой)

Он был тем «победным кличем», с которым

Своих смирителей сметает соль морей.

В стихотворении «Ричард II. 1940» поэт сравнивает себя с королем, который остался без отчизны, без своего челна, без гребцов. И все же, говорит он, «я остаюсь королем своей боли». Властителем своих бед.

Каждый «вершок» классических реминисценций используется для того, чтобы сказать о Франции, о себе, о современности. Эта линия поэзии Арагона в годы Сопротивления может быть определена как внутренний монолог, в отличие от другой линии, где отображается непосредственно картина событий, личной жизни героя. Вторая линия — это, условно говоря, хроника в том смысле, в каком это слово употребляют историки, а на другом полюсе — летописцы быстротекущей жизни, газетчики.

Условен, конечно, и термин «внутренний монолог». Нет такого монолога в искусстве, который не был бы рассчитан на слушателя, камерность не обязательна для внутреннего монолога, она может порождаться его смыслом, степенью отрешенности. У Арагона внутренний монолог — это лирика, посвященная самому сокровенному, но, как мы уже видели, самое дорогое, личное у поэта — это также и то, что дорого тысячам.

Таков уж дар Арагона: он так умеет сказать — «абсент войны — разлука» и так вспомнить перроны и прощающихся, которые подобны «глухонемым», что тысячи людей, читая эти строки, чувствовали горький привкус расставания осенью 1939 года, когда мучила ложь «странной войны» и нечего было сказать друг другу на вокзальном перроне. «Как глухонемые»... Но зато — зрячие:

И если в хрустале ночей в облаках
Рождается мечта, ее огненные пальцы
Сцепляются на железных птицах — и это не Ромео,
И это не жаворонок, и не соловей подняли адский грохот
В небесах.

Как все это было знакомо парижанам: и самолеты, взятые в тиски прожекторами, и люди, которых пыталась обмануть ссылками на Ромео льстивая казенная лирика французского радио.

Стихотворение «Романс о нынешнем времени» как бы обнажает связь обеих линий — внутреннего монолога, переводящего картину действительности в план размышлений, обобщений, и, с другой стороны, линии лирической хроники. По-французски слова «погода» и «время» — омонимы. Здесь игра исторических и литературных параллелей — не только прием, но и тема произведения. Кстати сказать, сам Арагон трактует этот прием по-народному, говоря, что его мысли «торчат» в стихах, как партизанский штык в стоге сена. В стихах «Романс о нынешнем времени» поэт, начав с Датского прогнившего королевства, затем приводит нас туда, где существуют прототипы его героев,— на фронт «странной войны»: гниль, распад, преступления. Квартирмейстер, которому крамольный поэт показывает свои строфы насчет королевства Датского, «теряется в моих аналогиях» и спрашивает:

Что это, хотелось бы знать?
И я отвечаю: как знать.

Женщины стараются разгадать эмблемы, нашитые на погонах, «наши эмблемы»... Тут интонация возвращает нас к образам Шекспира, и поэт, в стиле шекспировского мрачного острословия, заканчивает:

Свобода покидает нас
С превеликим шумом, о, горе,
Она выпила ядовитое зелье,
Она кончается в Эльсиноре

Картинки жизни и быта Франции 1939 года дополняют лирику. Так, параллельно стихам «Двадцать лет спустя», где реальность «вписана» в раму романов Дюма, возникает «Вальс двадцатилетних» — действительность без всякой рамы:

Б. ПЕСИС
АРАГОН-ПОЭТ

Годен для ветра, годен для ночи, годен
для холода —
Вальс двадцатилетних кружит
по Парижу.
. . . . . .
Двадцать лет. Годен для строевой.
Мне сорок стукнуло. Их двадцатилетие
близко
Моему сорокалетию
В сороковом году.

Лирическая хроника неотступно следует за каждым важным этапом событий. В «Сирени и розах» описано вступление французских танков в Бельгию: охапки сирени на башнях, надежды, наивная вера людей, убежденных, что к ним пришла подмога. В этом обманчивом венке из роз и сирени возникает обыкновеннейший

Штаб генерала. Там сказали нам, что
отдан был Париж.

И теперь

Враг отдыхал в прохладном уголке.

Как всегда у Арагона, ирония летописца сменяется чувствами скорби поэта, гневного, готового к битвам: после запаха увядших роз в Бельгии

Розы цвета пожара.
Анжуйские розы.

Один из псевдонимов Арагона той поры — Франсуа Гнев.

И, наконец, еще два стихотворения. Одно из них очень ясно говорит об «оцепенении» Франции после разгрома. Стихи называются «Свободная зона». Поэт где-то на юге Франции, на не оккупированном еще юге. Чувствуется сонная одурь лета и — более глубокая, охватившая сердца и умы одурь после капитуляции. Не сразу понимаешь, что описывается: то ли просто летняя истома, то ли трагедия душевного паралича, поразившего многих. В полях — тишина, и можно различить в этой тишине что-то похожее на рыдание. Но нет! Это нечто «более прекрасное, чем слезы»: там, в глубине неубранных хлебов, не рыдание, а смутный звон оружия. Обезоруженная, обездоленная Франция мечтает об оружии. Становится понятной и острая боль, задремавшая в сердце, и «черная тайна моей боли»: кто-то за окном запел старую французскую песню и так блаженно, как прикосновение свежести к усталым ногам, рефрен песни разорвал зеленую болотную ряску молчания.

Вторит этим стихам «Жалоба для шарманки нового варварства».

В «Шарманке» трехстрочная строфа построена так, что каждая вторая строка становится первой в следующей строфе, и там, оказавшись по соседству с новым текстом, строка эта приобретает новый смысл. «Шарманящие» повторы придают балладе простонародный облик, будничность.

Шарманка—лишь видимость, на самом деле интонация этих стихов напоминает сдержанную речь шахтера, человека, сжившегося с опасностью, как с чем-то будничным.

На фоне встревоженного говорка толпы беженцев, не знающих, что лучше: покинуть родное жилище и спастись или же остаться дома, вдруг слышатся слова:

Сто раз лучше у себя подохнуть,
Чем идти в землю чужую.

Это говорит «прохожий». Внешне он ничем не напоминает глашатая; если он и «вбирает» в себя все беды этих людей, их правду, то это жестокая правда, не дающая выхода. Недаром этот «прохожий» —

Черный-черный, как рудники,
Черный-черный, как жизнь сама...

Еще несколько строк, несколько шагов, и происходит метаморфоза: перед нами уже не прохожий, принадлежащий прежней, беспросветной жизни... Перед нами гигант, строй гигантов, чьи «жалобы» становятся гневными, становятся клятвами, лозунгами, призывами...

Призывом, шедшим от шахтеров Севера, было — создавать «островки» Сопротивления, превратить даже смятенный арьергард беженцев в авангард будущих боев против оккупантов. Это можно было сделать не везде. Север, шахтерский Север, применял в борьбе все средства классовых революционных боев вплоть до забастовок. Неудивительно, что подвиги шахтеров входили в историю, в легенды. Шахтерская баллада Арагона, шедевр поэзии Сопротивления, предвосхищала эти легенды.

...Гиганты возвращаются к себе, силы их множатся, их не оторвешь от родной земли, и они обрисовываются «на небе, раскаленном добела гневом». В конце стихотворения ведущий образ приобретает очертания «святого Христофора». Согласно легенде, Христофор перенес на своих плечах через бурные воды человечество.

Трудно было передать лучше средствами поэзии ощущение первого проблеска, предвещающего рассвет.

«Жалоба для шарманки нового варварства» (по-французски шарманка — l'orgue de la Barbarie, то есть варварский орган) восходит к жанру народных плачей. У Арагона строй плача или жалобы формируется новым содержанием. То, что в плачах — томительный, монотонный повтор, у Ара-

гона используется, чтобы подчеркнуть настойчивость, решимость, веру.

Сборник «Нож в сердце», стихи, появившиеся во время «странной войны» и трагедии разгрома, звучат по-иному, чем книга «Французская заря», воспевшая героизм нарастающего сопротивления. Но есть, кроме примет времени, бесспорные приметы эстетического порядка. Одна из таких примет — образ песни, его эволюция. Почему на первых этапах песня — сама герой поэзии? В стихотворении «Ричард Львиное Сердце» Ричард, заточенный в тюремную башню, услышал через стены темницы песню своего оруженосца и трубадура Блонделя и понял: Родина жива и будет жить. Слово, образ, эпическая и песенная традиция должны были стать нематериальным свидетельством бессмертия народа, исторической непрерывности Родины, хотя бы заточенной и «материально» безоружной пока.

Песня — это дух живой, который «веет, где хочет», не зная запретов. Арагон и другие поэты Сопротивления, например Элюар, повернули самое поэзию лицом к песне, заговорили в стихах о песне и о поэзии вообще, а значит, и о том, что в поэзии было враждебно революционно-патриотической традиции. Нужно было полностью перевооружить французский лиризм, очистить от пережитков предвоенной, вялой и бездуховной эстетики, освободить от канонов «чистой поэзии». Так возникли полемические стихи Арагона «За национальную песню», «Против чистой поэзии», против отрешенной словесности. В этом видели свой долг лучшие французские поэты. Появился первый подпольный сборник «Честь поэтов», и Франция узнала, что ее певцы на посту. В условиях, когда делами литературы управляли коллаборационисты, честь французской поэзии спасли поэты-коммунисты, поэты-патриоты.

На следующем этапе, когда начали формироваться образы героев Сопротивления, песенная традиция развивалась по-иному. Песня, слово уже не герой, а острое, верное оружие героя.

«Новобранец ста деревень» уносит с собой еще только названия деревень и сел, и эти старинные, живописные, как бы живые имена французской земли следуют за ним в маки. А «Романс о сорока тысячах», «Песня франтирера», «Песня Страсбургского университета» (о подвиге студентов-патриотов) — это уже вооруженная поэзия. Стихи эти говорили французам, читавшим летучие листки подпольной поэзии, что Родина их «во мраке идет к той сфере, где начинается свет, предшествующий заре». Что «заря — это битва», что «в бледной полосе на горизонте — слезы и кровь». К этому циклу относится знаменитая «Баллада» о Габриэле Пери. Поэт уверен, что парижские железнодорожники «бормотали себе под нос» напев баллады и что «расстрелянный припев вновь зацветал» в одиночках парижских тюрем. Припев, где «Марсельеза» переходила в «Интернационал».

Когда читаешь «Броселианду», поэму о темном боре народных легенд и о том, как в этот бор врываются вихри Сопротивления, когда, с другой стороны, читаешь сатирический «Паноптикум», музей чучел петеновской Франции, временами не верится, что написал это один поэт — так разнообразны средства, которыми он пользуется. Арагон, впрочем, сказал, что в годы оккупации задачей поэта было стать как бы «человеком-оркестром», собрать в поэзии все, что запечатлело в себе духовную мощь народа. Не забудем, что из лагеря коллаборационистов шел призыв «освободить» французскую поэзию от «груза» ее традиций и включить в так называемую «Новую Европу», возглавляемую Третьей империей.

Чрезвычайно интересен авторский комментарий к «Броселианде». Задумав эту поэму, Арагон отправился в Париж на тайное свидание с одним из деятелей французской коммунистической партии. И вот он в оккупированной столице, в каком-то странном заброшенном саду, хозяин которого, скульптор, скрылся от преследований оккупантов.

«В одном из уголков сада в полутемной пристройке я обнаружил гипсовый бюст, причем голова была с человеческий рост,— это был бюст Свердлова... Одна уже эта скульптура в тогдашнем Париже, властители которого вопили о своей близкой победе над Москвой, заставила учащенно биться мое сердце...» В этой обстановке и произошла беседа на тему о том, «как лучше противопоставить расистским мифам образы нации; тем самым мы как бы возвращались, правда, в иной сфере, к тому уроку, который был преподан нам Морисом

Торезом на одном из собраний нашей партии в Монтрэ в канун войны».

Так тесно связана творческая работа Арагона на разных этапах с уроками партии.

Связь с традицией у Арагона никогда не переходит в дурную традиционность, и после войны Арагон продолжал вести свою поэзию новыми путями: в стихах его чувствуется в одинаковой степени верность идеям, которые вдохновляют поэта-коммуниста, и верность борьбе за обновление французской поэзии — современной поэзии вообще.

ЩЕДРАЯ ПОЭЗИЯ

В последнее десятилетие исторический опыт, события, создавшие новый климат в борьбе за мир и социализм, вновь побудили Арагона обратиться к теме судьбы поэта, художника, революционного творца: книги «Поэты», «Эльза», «Глаза и память», «Неоконченный роман» — роман-биография поэта. Здесь мы сосредоточим свое внимание на книге «Поэты» и особенно на книге, венчающей разработку этой темы,— «Меджнун Эльзы» («Одержимый Эльзой»).

Со времен Ромен Роллана образ поэта, музыканта, художника занял в творчестве французских писателей особое место. Еще в начале века Р. Роллан написал свои монографии, посвященные гениям искусства — Бетховену, Микеланджело, Толстому, а затем — эпопею о гениальном композиторе Жан-Кристофе Крафте. Образ этого бетховенианского героя в какой-то момент перестал до конца удовлетворять автора: сказал же Роллан о «доспехах» Жан-Кристофа, которые «стали слишком тесны». И вот тогда-то, накануне первой мировой войны, была создана Ролланом его богатырская симфония — книга о резчике из Кламси Кола Брюньоне. Духовно это было движение от Бетховена к Толстому, к новому воплощению образа народного творца, не раскрывшегося до конца в «Кристофе». Роллан отступил в прошлое, к бурным временам позднего Возрождения. На этой дистанции выступили могучие народные корни французского искусства. Кола Брюньон, независимо от хронологии, вошел в будущее и остается с нами до сих пор рядом с Жан-Кристофом.

Арагон, обогащенный вкладом народов и их художников XX века, с его великими свершениями и драмами, по-новому увидел судьбу художника. Он написал ряд монографий о великих мастерах искусства Франции, затем роман «Страстная неделя», где в центре юность Жерико, художника и свободолюбца. Эта книга, пожалуй, подготовляла в прозе образ Меджнуна. В поэзии такой книгой, думается, явилась большая поэма «Поэты».

Отдельные главы «Поэтов» связаны фигурой некоего глашатая, который называется Пролог. Пролог руководит сценическим действием, которое органически связано со стихотворным массивом произведения. Прежде чем появляется Пролог, перед нами небосвод, на котором, как звезды, возникают имена поэтов, обрисовываются их судьбы — от Омар Хаяма, Пушкина, Лермонтова, Китса, Уитмена, Деборд-Вальмор до Десноса, Элюара. Дальше идет глава «Трагедия поэтов». Пролог на небе как бы сменяется Прологом на земле.

Первый из поэтов, о котором рассказано в «Трагедии»,— это как бы разновидность молодого поэта из «Неоконченного романа», он представляет то, что было названо уже «несчастье быть молодым».

Главка под названием «Молодой человек 1890 года» дает вещественный образ, быт и бытие артистической богемы конца XIX— начала XX века. Вспоминаются, отчасти из-за этой вещественности, некоторые фигуры Пикассо, его умение сочетать бытовой колорит (вспомним его цирковых акробатов) и большое обобщение, раскрывающее судьбу Артиста.

У Арагона совершенно реальная, реалистически написанная мансарда, очень прозаическая фигура молодого поэта, лежащего на кровати. Быть может, он мечтает, а быть может, этот романтик просто голоден. И, как бы рядом с ним, возникает образ обобщенный: Прометей, терзаемый по воле богов, чем-то напоминает огромность поэтической мечты и явное непонимание путей, которыми мечта может быть воплощена в жизнь. Вернее, не в жизнь — об этом поэт не заботится!— а в произведение искусства.

Эта фигура находится в зоне сатирического обстрела, зоне Пролога, ибо образ поэта, «молодого человека 1890 года», при всей его драматичности снижен.

Образы, возникающие в других главах, большей частью трагичны, возвышенны. Что же связывает сатиру с трагедией, Деборд-Вальмор с поэтом в мансарде и самого поэта с Прометеем? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно перевести глаза с Пролога на залу, перед которой он стоит на подмост-

ках. Страшная рознь, непонимание отделяют его, отделяют искусство от публики, сидящей в зале. Пастернаковский Гамлет, на которого «направлен сумрак ночи — тысячью биноклей на оси», может чувствовать себя в дружеской среде по сравнению с поэтами Арагона, которым враждебна мещанская аудитория Пролога, как враждебно поэтессе Деборд-Вальмор, предельно ранимой, ее окружение. Даже итальянский дождь колет ее как иголками, что же говорить об итальянской нищете! Это — непримиримый разрыв между поэзией и буржуазным обществом, разрыв «снизу доверху». Поэма построена так, что ясно видна связь этого конфликта с прошлым, с девяностыми и девятисотыми годами. В «Эпилоге к Прологу» поэма входит в современность:

Есть мир, который нужно завоевать
не залпами пушек,
Где каждое слово человека строго
выбирает между жизнью и смертью.
Я требую в этом мире места
для поэзии.

А в финальном эпилоге к книге в целом описан решительный переход и от былого петрушечьего бунта, и от обиженных судьбой правдоискателей, таких как Деборд-Вальмор, к героическим образам современных поэтов.

Я думаю о тебе, Деснос, о тебе,
вышедшем из Компьеня,
. . . . . .
Чтобы до конца исполнилось твое
собственное пророчество.

Это пророчество самого Десноса о том, что ему придется когда-нибудь быть на первой линии огня, там «...где кровоточит удел нашего века...»

В понимании Арагона отстаивать место, принадлежащее поэзии в человеческом мире,— это значит отстаивать место поэта в строю.

Знайте, никогда не прекращается боль
И победить — как это еще мало.
Я говорю это не для того, чтобы
лишить мужества...
Мы не одни поем в нашем мире,
и в нашей драме слышится
совокупность песен.
...И если даже чей-то голос смолкнет,
Знайте — там, в глубине, хор подхватит
недопетую ноту.

Героическое начало творчества связывает между собой образы художников, созданные Арагоном,— иные из них «приходят издалека», но ничто не отделяет их теперь от самых верных и чистых борцов.

В применении к последней, монументальной, работе Арагона «Меджнун Эльзы» эта формула «прийти издалека», принятая Роланом, Вайяном-Кутюрье и самим Арагоном, имеет особое значение. Речь идет о поэте, приходящем в наше время «через горы времени».

■

В классической поэзии Востока существует образ поэта, называвшего себя Меджнун, что означает «одержимый любовью». В поэме Арагона Меджнун — это арабский поэт, живущий в Испании конца XV века, когда арабы вели трагические бои против осаждавших Гранаду испанцев.

Меджнун волею Арагона побывал в будущем и, в доказательство того, что волшебное путешествие совершено, привозит с собою «воспоминания о будущем» — живые, зримые, как жив и зрим для него невидимый его слушателям образ Эльзы.

Когда арабский поэт в городе Гранаде в 1942 году отстаивает перед сонмом врагов, для которых он еретик, свое право видеть будущее и там выбирать себе свою любовь и свое понимание человеческого удела, два представления проступают сквозь бурные диалоги поэмы. Первое — это представление о прошлом, как о предыстории человечества,— при этом наиболее близко к порогу истории, к порогу нашего времени приходят не обязательно те, кто ближе всего хронологически, а те, кто восходил на самые высокие ступени исторического развития. Те, кто обгонял свое время. Второе представление — современнейшее, новое, принадлежащее космическому веку: вера в возможность преодоления любых пространств и просторов. Поэма Арагона наполнена духом преодоления просторов времени. Тут есть какое-то братство поэта-новатора с космонавтами, с новизной их «точки зрения» на нашу планету. Ощущения новизны Арагон добивается, создавая в Испании XV века как бы площадку, с которой его герой рассказывает своим современникам о будущем, называет приметы, по которым мы безошибочно угадываем наш чудесный и грозный век.

Меджнун, как и полагается провидцу, стар, проницателен, почти всеведущ. И время, в которое он живет, и события— осада Гранады войсками испанца Фердинанда, канун падения Гранады и ее последнего арабского правителя Боабдиля —

еще больше обостряют зрение Меджнуна. Он — борец. Арагон заставляет его начинать борьбу с того плацдарма, с которого начинал сам и который никогда не перестанет быть для Арагона излюбленным полем его битв,— с плацдарма искусства. Вот, мне кажется, объяснение того, что поэма открывается главою «Биржа рифм».

Все, что вошло в традицию ложновеличественного, помпезного или ложночувствительного искусства, продается на бирже рифм. Есть подлинное величие в поэзии арабских народов, питающейся свободолюбивыми философами, учеными, поэтическими элементами Корана, и есть искусство поддельное и пресмыкающееся. Есть Меджнун — и есть поэты-придворные.

«Есть люди, которые истощают до дна свои дни, посвящая их полировке слов так, что люди эти давно уже не чувствительны к гармонии». «Есть те, которых восхищает любая в них расцветающая звонкость». Поэты-слуги, которые способны только «ловить зарю или ураган, чтобы превращать их в перевязь для властелина». Поэзия в их руках умирает.

Они несут мертвого младенца.
Им кажется, что он шевелится, но это
потому, что они сами дрожат.

Как чужда эта поэзия стоящему в стороне от биржи рифм бледному воину, которого печалит судьба родины и которому «не до размеров и не до рифм».

В эти тревожные для Гранады дни в нее проникает лазутчик, тот, кто вечно ищет брешь в стене, а у человека — такой уголок души... «где отчаяние, где пусто́ты, в которых так гулко отдается звон». И звон пустых стихов тоже.

Торжественно-обличительный стих сменяется в книге удивительной прозой, встроенной в ритм многостопных строф. Мы знаем стиль этой прозы по крупным прозаическим периодам «Страстной недели» — там, где обобщается смысл событий, подводятся итоги. И тут назначение прозы примерно такое же. Это как бы историческое отступление, как бывают отступления лирические.

В поэме много раз описываются зеркала: зеркало сверкает по-иному, когда в нем появляется милый поэту образ; зеркало не только «пустеет», но и тускнеет, когда этот образ покидает его. И вся поэма может быть сравнена с трехстворчатым зеркалом; в двух крайних створках — история: прошлое и будущее. Средняя створка вся занята темой любви, вечной любви. А значит, такой любви, для которой века — «миг единый». Конечно, это сравнение условно: перекрещиваются отражения у зеркал, перекрещиваются мысли и чувства обоих поэтов.

Сама подлинность искусства Меджнуна обличает лживое искусство. И любовь его становится обличительницей потому, что она подлинна. Подлинность чувств — это как бы второй плацдарм, с которого поэт нападает на своих противников, подстерегающих и его любовь, и его искусство.

«Разве могут они не считать преступной твою любовь?.. Для тебя ведь на одной чаше весов твоя любовь, и она перевешивает все, что весит твое существование — и жемчуг зари, и камень скорби. Так могут ли они простить тебе неукротимость порыва?.. Простить того, кто говорит языком гипербол, чей взор ослеплен светом. Разве не знаешь ты, что их мир... был и остается миром благочестивой лжи?»

Философия любви не умещается в рамках узколирического «реванша» несправедливому миру. Поэт переходит к более грозным инвективам:

«Все они, те, кто не постесняется ускорить смерть отца, чтобы его ограбить, те, кто крадет счастье и грабит мечты, кто втайне предан разврату, ростовщики, тюремщики, продажные красавцы, и те, кто торгует плотью и по́том, узаконенные мастера пыток, убийцы и монархи, прихлебатели во дворцах, устроители войн и оргий,— разве могут они упустить случай и не показать, сколь благородны их чувства, как велика их любовь к богу, к ближнему, к народу!»

Долг певца быть обличителем лицемерия. Суметь «под маской доброты разглядеть гнусный и смердящий лик зверя». Приблизить время, когда «добродетель перестанет быть лишь благовонием, под которым прячется распад».

Меджнун не забывает и о продажных певцах. Для них «слово это...— отточенное выражение их учтивости, за которую они получают свою каждодневную мзду, они люди-цитаты, люди-эхо и при первом же слове готовы, как флюгер, повернуться вместе со своими убеждениями вокруг своей оси, так хорошо они смазаны, промаслены и так благодарны за это... люди, меняющие кумиров легче, чем меняют одну молитву на другую».

Нетрудно заметить в этих строках родство со знаменитыми стихами Арагона — поэта Сопротивления, обличавшего «паноптикум» литераторов-коллаборационистов.

Отвергается не только придворное искусство, искусство пресмыкающееся, но и вся моральная основа антинародного строя. Художнику Жерико в «Страстной неделе» одинаково чужды и король Людовик XVIII, и Наполеон, от которого бежит этот король. Меджнун отвергает испанца Фердинанда и короля Боабдиля, последнего властителя Гранады.

Когда враг приближается к стенам Гранады, Меджнун вынужден скрываться. После столкновений с сильными мира сего и с их инквизиторами он истерзан нравственно и физически. Все больше уходит в себя, все лучше видит будущее.

Это не значит, что Меджнун руководится какой-то определенной исторической концепцией, тем более концепцией нашего времени. У Арагона нет вульгарного «осовременивания» истории.

«Возникающим в видениях одержимого отдельным мгновениям, живым существам, *самим идеям* недостает в моих глазах, в очах моей души последующего объяснения истории, без чего ни один самый банальный жест, ни одна работа мысли человеческой в определенный момент, как и на определенной ступени становления, не имеет смысла, остается лишь дымом праздным». Все обретает свое значение в «огромном контексте прошлого»,— пишет Арагон,— «между тем, *что* я вижу, тем, что пережито, и этими патетическими сценами... мне не хватает звеньев дней и веков, династий, идей, королей, войн, народов...»

«Меджнун Эльзы» — не историческая поэма, а поэма об истории и современности, о прошлом и будущем. Автора поэмы волнует судьба *народов*, арабского и испанского; историческая и нравственная близость угнетенных: нищих арабских крестьян, уничтожаемых инквизицией евреев, героических испанских воинов, открывателей, революционеров.

Образ труженика, который не согласен сражаться за мрамор дворцов, но будет защищать свои виноградники, мир, счастье своих детей,— этот образ оттесняет внушительные фигуры людей, чьи имена тщательно хранятся в летописях придворных льстецов.

Меджнуну придает силы его уверенность в том, что за ним и за его народом — будущее. Отличие картины будущего в поэме от обычных, даже самых смелых поэтических утопий состоит в том, что она приоткрывает наши дни, нашу современность,— и это будущее, это третье измерение поэмы вступает в перекличку с известными нам событиями тридцатых и сороковых годов нашего века; то Арагон, то Меджнун, перехватывая друг у друга нить рассказа, выступают свидетелями или судьями этих событий.

Сочетание этой утопии с образами, метафорами, рожденными арабской природой, мышлением, поэзией производит огромное впечатление. Поистине реализм доказывает здесь свою многогранность, свою способность преображать картины действительности, пользуясь самыми различными художественными средствами. Думается, что только мастер современной реалистической поэзии может так свободно создавать *свою* картину мира, черпая в западноевропейском эпосе, у арабов, во французской лирике XX века, в русской и советской поэзии.

Связующим звеном между этими двумя планами — «утопии» и реальности — служит женский образ, без которого, как мы знаем, не бывает почти ни одного поэтического произведения Арагона,— образ Эльзы.

В данном случае его воссоздание в известной мере передоверено другому поэту. Арагон как бы бросает вызов тем, для кого женские образы восточной поэзии есть лишь нечто среднее между гаремным панегириком и западноевропейской, рыцарской и символистской Прекрасной дамой. Меджнун не так воспевает женщину, как этого хотелось бы властителям и их вассалам. Недаром судилище, перед которым ставят Меджнуна, считает, что даже поклонение врагу — испанскому королю — лучше, чем восхваление Эльзы, женщины будущего, которое есть в песнях Меджнуна.

Среди героических образов наших современников, борцов и поэтов, Гарсиа Лорки и Поля Элюара, мы узнаем и образы женщин, сражающихся за свободу. И они тем более величественны, что силы, угрожающие свободе, угрожающие человеческому счастью, ныне во много раз страшнее того, что видел вокруг себя Меджнун. Рядом с названием испанского города, испанских гор Арагон ставит слово Хиросима.

Б. ПЕСИС
АРАГОН-ПОЭТ

Мы рисковали бы остаться на поверхности, не уловить замысел поэта, если бы не указали на одну тему, как мне кажется, знаменательную и характерную для творчества Арагона.

Речь идет о духовной драме — драме, но не трагедии — людей, сражающихся за будущее в условиях собственнического строя. Тема эта всегда жила в реалистических шедеврах классики. Она стала преображаться с тех пор, как победила социалистическая революция в России. Вступление советской темы в современную литературу Запада побуждало поэтов создавать образ будущего, обращаясь не только к действительности своей страны, но и к советской действительности. В «Коммунистах» Арагона ощущение будущего, ставшего действительностью советской страны, помогает борцам, вынужденным жить в окружении, которое отвергает это будущее, осмеивает его. Уже в первые годы существования советской власти Барбюс в «Ясности» рисовал наряду с кошмарами искалеченной, залитой кровью земли Западной Европы «архипелаг» новой жизни.

По-новому мотив этот развивается в поэме Арагона. Арагон описывает борца за свободу, которого отделяет от нового мира не пространство, а время.

Меджнун, видящий будущее, прикован к окровавленной, нищей земле Андалузии. У него грань между двумя мирами ощущается мучительно:

Но если зеркало в руках у времени,
а не в руках у пространства,
Как же должна раздираться душа того,
кто видит будущее.

Певец «как пловец, который сам не знает, что плывет... и обратная волна сбивает его...» Но сила веры, сила любви не позволяет этой волне «отослать назад, вспять» поэта.

По мере того как обостряются распри между властителями, по мере того как смелеет ропщущий народ, Меджнун осознает свою одержимость будущим как силу в борьбе. Постепенно странный старик, над которым смеются мясники и торговцы тканями на гранадских базарах, становится притягательной фигурой для граждан Гранады. Слух о нем доходит и до дворца Боабдиля.

Беседуя с Меджнуном, Боабдиль проникается сознанием обреченности окружающего величия; Боабдиль по-своему очарован Меджнуном — безбожником, который не страшится ни сил небесных, ни сил земных, он доказал это, стоя под пыткой. Но чем яснее могущество Меджнуна, тем он опаснее, и вольнодумные капризы короля не могут спасти поэта. С того дня как Меджнун замечен власть имущими, судьба его меняется, гибель предрешена.

Меджнун в тюрьме; кстати, именно в тюрьме мы знакомимся с мыслителями Гранады — вот наиболее подходящее для них место! В тюрьме можно убедиться в том, как многообразны силы, которые отживший режим считает для себя опасными. Есть тут и несчастные и сломленные, но есть свободолюбцы, юноши, влюбленные в жизнь философы, готовые даже за тюремной решеткой в спорах искать истину.

Примечательно, что, разворачивая этот отчасти умозрительный план книги, Арагон вовсе не отдает прозе исторический и философский комментарии, а лирике — тему любви. И те, и другие мотивы книги свободно переплескиваются из прозы в стихи. В прозе звучит преимущественно голос поэта-летописца, Арагона, в стихах — голоса обоих поэтов. В книге есть и еще комментатор: юный спутник Меджнуна Заид сопровождает поэта, беседует с ним, записывает его мысли и свои собственные мысли о Меджнуне. Так возникает рассказанная «простодушным» творческая история почти всех песен Меджнуна. Заид — не абстрактный образ, у него есть своя жизнь, своя драма, ему суждено дожить до дня, когда его невесту — дочь еврея — обесчестят и убьют...

Итак, мы слышим в поэме голоса Арагона и Меджнуна. Ничто их не разделяет. «Революции, восстания начинаются с песен». Это вершины истории. Восходя на вершину, видимую отовсюду, мы охватываем просторы, для которых четыреста лет, в сущности, так немного! Поэт — это тот, кто видит, тот, кто знает и кто поэтому обязан быть «неусыпным стражем». Неусыпные стражи не могут не чувствовать локтя друг друга, сколько бы столетий их ни разделяло. И потому нет ничего удивительного в том, что Меджнун «слышит» Гарсиа Лорку и живет «одновременно в 1492 и 1936 году». Беседует с виденниями будущих времен, пробует объяснить события, свидетелем которых является,— борьбу антифашистов за свободу Испании.

Поэтов связывает их верность народу. С поэтом говорит не История только; но прежде всего Земля родины. Он в сговоре с родными лесами и полями, «где у дерева, у

птицы, у зверей, у родников есть что сказать друг другу, чего не поймет пришелец из безлесной стороны».

Любить родину только силою мысли нельзя, нужна еще и сила страдания за родину. Законны в этой поэме трагические строфы, в которых узнаем не гранадские беды, а беды испанской земли, затоптанной солдафонами Франко и Гитлера, и земли французской, где на границе материка и оксана возник призрак изгнания для многих патриотов. Будущее — не безмятежное плавание... «Берега реки времени усеяны обломками кораблей». И об этом знают неусыпные стражи — поэты. Иногда им кажется, что «вечно будет крениться корабль, вечно будет поглощать корабли пучина». Иногда им кажется, что «чудовище торжествует над любовью и правота на стороне стужи, а не розы... Открывается небо и оборачивается адом, джунглями, тюремными застенками...»

Вот почему поэт, даже видящий будущее, не всегда ликует. Меджнуну оно предстает неприкрашенным, таким, каким мы сами его знаем и знали. Лучше, чем Меджнун. Это от нас, от поэта — нашего современника, Меджнун узнает о том, что борцы, сражавшиеся за счастье, погибают не только от руки своего врага, но и от руки того, кто, говоря о добре, способен творить зло. Это от нас, от нашего современника-поэта, Меджнун узнает, что не в одной лишь Гранаде требовали от поэтов, чтобы они пели о победах, но молчали о жертвах, молчали о несправедливости.

Но ошибутся те, кто поверит, будто поэта, настоящего поэта, можно заставить замолчать, можно увести в сторону от жизни и народа, что он перестанет быть «в числе драки» (это старинное выражение лучше всего передает мысль Арагона).

И тут поэма переходит к теме, также близкой сердцу поэта. Поэт «рассчитывается» с людьми, полагающими, что испытывать боль, испытывать тревогу за близких, даже просто любить — означает отойти в сторону, отсиживаться. Для поэта судьба его творчества неотделима от его человеческой судьбы, от истории всей его жизни, в которой так много значит и значила любовь, та любовь, когда слова «быть вместе», «идти вместе» предполагают двойное усилие воли, двойную силу порыва, удвоенную ясность сознания.

Лирический «максимализм» Арагона ведет к определенному духовному итогу. В последние десятилетия поэзия, да и проза Арагона провозглашают безграничную человеческую ценность *четы*. В морали четы Арагон видит союзника по борьбе с нравственным нигилизмом, с узкоиндивидуалистской психологией. Роль поэзии в этом процессе — не только охранять, но и обогащать то сокровенное, личное, что есть в «бурной тайне двух». Поэтизация четы отделяет Арагона от старого и новейшего декаданса.

Слова Герцена о женской эмансипации — «бунтуют и остаются в рабстве» — применимы к тому, что воспевалось в конце прошлого века декадентами, хотя непосредственные источники их бунта были иные, чем, скажем, у французских нигилистов или у такой сторонницы свободы чувств, как Жорж Санд. Певцы богемы осмеивали прочный союз мужчины и женщины не только и не столько как мещанскую мораль, сколько как мораль вообще.

Позиции Арагона полярны циническому, состарившемуся на буржуазных хлебах бунтарству.

Тема четы, как и другие углубляющие французский лиризм темы, возникла у Арагона, как мы уже отмечали, в его поэзии лет Сопротивления.

В той же поэме «Неоконченный роман» читаем:

Все рухнуло! Надежды, планы.
Осталось несколько минут.
Они откроют чемоданы
И всё увидят и поймут.
Все стало непреложно ясно,
И тут тебе хватило сил
Сказать мне то, о чем напрасно
Я столько лет тебя просил.
О чем упрямо ты молчала
Такие долгие года.
Ты мне рукою руку сжала
Открыто, крепко, навсегда.

(Перевод М. Алигер)

Здесь не сказано прямо, на каком грозовом экране произошла эта лирическая вспышка: оккупация, поезд на Париж, нацистский офицер, обыскивающий пассажиров. Только случайность спасла обоих. Бурная тайна двух, понятая как тайна подпольщиков Сопротивления,— это ли не дает меру обновления поэзии в те героические годы!

Все, что есть братского, сплачивающего, уничтожающего одиночество и эгоизм, воплощено в образе четы. Лейтмотив Эльзы есть одновременно и лейтмотив четы.

Поэма Арагона, столь непохожая на индивидуалистическую лирику по своим мыс-

лям и чувствам, резко отличается от нее и своими художественными средствами. Для нее характерны образы крупные, многоголосая музыка. Если нужно сказать о поэте, о его борьбе с враждебным миром, Арагон уподобляет поэта костру, пылающему в пустыне и окруженному хищниками. Крестьянин «опирается на теплое плечо Андалузии» и черпает силу в этом прикосновении. Образ любимой, сравниваемой с прекрасным храмом, проникнут гармонией, как ее видит зодчий. Любая метафора противопоставляет красоту линий, красок, самое гармонию всему низменно плотскому.

Если спросить себя, что связывает эту пластичную и красочную лирику Меджнуна с «Песнями XX века» в эпилоге поэмы — сдержанными, но накаленными изнутри,— то мы вправе ответить: чистота помыслов, поэзия верности в глубоком смысле слова.

Пушкин земную, настоящую любовь числил в том же высоком ряду «наслаждений жизни», что и гармонию.

Одной любви музыка уступает,
Но и любовь — гармония.

Стихи Арагона о любви, разлуках, о последней неизбежной разлуке принадлежат к шедеврам современной лирики.

В понимании Арагона развитие искусства, в частности поэзии — а в поэме множество строк посвящено мыслям об искусстве,— идет путем непрерывного духовного обогащения, насыщения искусства нравственной идеей. Чем дальше искусство уходит от гимнов властительным или, как позднее стали формулировать, сильным личностям — тем ближе оно людям и тем больше обогащает себя раскрытием истинных и чистых человеческих чувств.

Ветер, солнце, горы нарисованы как нечто братское, союзное поэту. При этом сам образ поэта не возвеличивается, он стоит вровень с горами не как бронзовый памятник, а как живое воплощение искусства, которое достойно, подобно горам, жить в веках. Такой образ поэта помогает Арагону говорить о том, что ему важно в искусстве, создавать образы-понятия, почти не впадая в риторику. Философия, изображение философских споров — все это живет. Так же, как живет толпа юных удальцов на улицах Гранады или фигуры пляшущих девушек. Особый колорит изображаемого времени и быта создается только поэтическими, а не рационалистическими приемами. Так, когда спорят философы, они напоминают поэту своими жестами, взлетающими в воздух рукавами, своими гулкими голосами южный лес, который расшумелся, размахался ветвями.

Во вступительных главах рассказывается о том, как складывалась поэма. Целая гамма своеобразных обертонов сопровождала рождение замысла, начиная со случайно обнаруженного старинного романса о любви и о падении Гранады и кончая «Гренадой» светловской.

Арагон напоминает о Гранаде, которая была такой далекой советскому парню, а стала близкой. Настолько, что он запел однажды о «Гренадской волости». Строки светловской поэмы, напоминает далее Арагон, проходят через роман Эльзы Триоле «Незваные гости», посвященный интернациональному братству. Роман Триоле как бы написан на музыку русской поэмы. То, что произведение советского поэта так выделено среди прочих эмоциональных первоисточников поэмы, закономерно. Для многих и многих поэтов и не поэтов в годы испанской войны против фашизма поэзия Светлова звучала как целая возвышенная философия жизни и творчества, интернационального братства борцов и поэтов.

Светловский парень мечтал помочь Испании, как сын своего времени и своей страны, страны победившего социализма, а у Арагона в прологе к поэме — французский, трагический вариант светловской темы. Испытания, выпавшие на долю «Гренадской волости», ставили перед французами вопрос о долге, о верности Испанской республике. Ставили в 30-х годах и напомнили о себе также и позднее, в 40-е годы, когда на дорогах отступления и под Дюнкерком видение истерзанной Испании возродилось как призыв к прозрению и возмездию.

Авангард французской литературы был на посту и там, в Испании, и у себя на родине — в боях с фашизмом.

Но не только в этом смысл пролога. Своей патетикой он обязан тому, что проникнут особым чувством благодарности поэта, признающего щедроты поэзии многих народов.

Новое произведение того, кого французские коммунисты назвали «Поэтом Родины»,— крупная победа интернациональной поэзии нашего времени, поэзии высоких идей и чувств.

Ц. КИН

ЗЛОВЕЩИЕ ТЕНИ ПРОШЛОГО

Когда во время рождественских праздников прошлого года, нарушая традиции, депутаты итальянского парламента заседали в Монтечиторио, а газетные заголовки становились все более нервными (неужели страна встретит Новый год без президента?!), среди кандидатов на пост главы республики фигурировал некий де Марсанич. Он неизменно получал свои сорок голосов. Само собой разумеется, что никаких шансов на избрание у него не было, но, выдвинув этого кандидата, единомышленники Аугусто де Марсанича подчеркивали свое намерение играть активную роль в политической жизни Италии.

Де Марсанич во время «черного двадцатилетия» не был звездой первой величины, но принадлежал к тем кадрам чернорубашечников, которые применяли на практике фашистские лозунги. Он занимал разные посты в правительстве и долгое время был редактором одной из самых подлых газет «Лаворо фашиста». Она предназначалась для масс, и ее отличала особенно наглая, беспардонная демагогия. 31 декабря 1946 года, после разгрома фашизма, несколько старых чернорубашечников, и среди них де Марсанич, создали партию «Мовименто сочиале итальяно» (Итальянское социальное движение), которую в просторечии называют «миссини». Это — неофашисты. Впрочем, вне МСИ есть немало групп, которые считают «подлинными фашистами» только себя, а за «миссини» право на эту «честь» отрицают, ибо те включились в парламентскую жизнь, иногда произносят слово «демократия» и вообще «над ними тяготеет нечто вроде темного проклятия, они обречены на бесплодие, на совершенное бессилие, которого не могут скрыть никакие риторические ухищрения». Так выражается журнал «Ордине нуово», а другой неофашистский орган — «Леджоне» — заявляет, что МСИ не может играть никакой полезной роли на итальянской политической сцене и что «его парламентарии — это циничные дельцы... Мошенники, устраивающие себе роскошное существование под ширмой Идеи».

Идея — само собой разумеется, с заглавной буквы. Иначе они не выражаются. Итальянский фашизм также любил пышность и многозначительность, так сказать,— красоты стиля. А уж неофашизм и подавно. Вот, например, довольно занятный документ — «Молитва европейца», напечатанная недавно в газете «Эуропа комбаттенте»:

«Мне нравится, о Господи, горькая Европа. Европа тех, кто сегодня не имеет никаких прав, Европа преследуемого меньшинства... Европа, которая страдает и идет на риск, вооруженная револьверами и поэзией, глумящаяся над большевизмом... Мне нравится, о Господи, Европа тех, кто знает вес пластиковой бомбы». Все это — не правда ли? — кажется безвкусной риторикой великовозрастного гимназиста, который заканчивает свою молитву каскадом заглавных букв: «Господи, Ужасный Бог Мести и Победы!» — и просит ниспослать ему сил, чтобы дождаться благословенного дня, когда можно будет выйти из подполья.

Есть ли основания в наши дни в условиях Италии говорить о неофашизме, как о реальной политической силе? Кто стоит за МСИ, чьи интересы отражает это движение?

На парламентских выборах 1963 года за неофашистов голосовал миллион шестьсот тысяч человек, а весь блок крайне правых партий собрал около 14% голосов всех избирателей. Если верить цифрам неофашистской прессы, в МСИ состоит несколько более трехсот тысяч членов. Конечно, у них нет широкой массовой базы, но не следует забывать о том, что в 1919 году, когда Муссолини начинал свою деятельность как лидер фашизма, его единомышленников было всего несколько сот человек.

Судя по всему, неофашисты вербуют своих сторонников в среде мелкой буржуазии и люмпен-пролетариата. Сейчас, весной 1965 года, когда внимание газет приковано к «нео», названы имена террористов, вскрыты некоторые связи. Их главари, точнее говоря, те, кто стоит за ними, кто дает деньги, кто дает команду,— это крупные промышленники, судостроители, банкиры. Их активисты — «папенькины сынки», которые под зелеными рубашками носят отличные костюмы, и у них даже есть условные знаки различия, например, посеребренные пуговицы. Участники их бандитских налетов — зачастую всякий сброд, наймиты. Неофашисты всех мастей, и «миссини», и те, кто их ругательски ругает (а может быть, это только тактический прием, чтобы замаскировать связь легальной и нелегальной организаций?), известны преимущественно как герои уголовной хроники: устроили дебош, налет, провокацию, бросили в зрительный зал дохлых крыс, подложили бомбу, пырнули кого-то ножом. Долгое время, несмотря на все разоблачения, итальянская полиция пыталась делать вид, что каждый отдельный скандальный инцидент — не более чем обычное хулиганство. Но теперь, когда зеленорубашечники, не ограничиваясь нападениями на помещения коммунистической и социалистической партий, замахнулись уже и на организацию католиков (повторяется все, что было у черных рубашек!), власти оказались вынужденными признать, что в Италии существуют хорошо законспирированные террористические группы военного образца, ставящие своей целью «восстановить фашизм», как заявил на допросе один из арестованных «нео». Таким образом, «Молитва европейца» — это не просто безвкусная литературная стряпня, она отражает реально существующие вещи.

Неофашистские молодчики, разумеется, регулярно получают свою порцию «духовной пищи». Ведь помимо подонков, которым просто платят деньги, есть категория зеленорубашечников, нуждающаяся в какой-то «идее». Для того чтобы дать представление о том, какие «идеи» преподносят молодым «нео», приведу цитату из газетки «Эуропа комбаттенте»:

«Литературные критики, писатели, издатели, все, кто присуждают премии,— все сплошь марксисты. В их руках литературная премия стала оружием для того, чтобы заставить всех писателей подчиниться марксистскому шантажу. Премии присуждаются только за книги, которые содержат в себе идеи, разрушающие традиции, развращающие наш народ и нашу молодежь, отравляющие нашу культуру. Развращают для того, чтобы потом легче властвовать».

Таков уровень их пропаганды. Он вполне соответствует духовному уровню тех, на кого рассчитан. Ненависть к марксизму, страх перед коммунизмом носят настолько зоологический характер, что, когда об этом заходит речь, они отбрасывают котурны и стиль Заглавных Букв. Ими движет ненависть, в них воспитывают качества погромщиков; недаром группы неофашистской молодежи фотографируются с кинжалами в зубах: именно так в двадцатых годах фотографировались их отцы-«сквадристы» — члены «боевых отрядов» Муссолини.

Они ненавидят не только коммунизм, но и самое идею демократии. Народ — это «плебс», простая сумма нулей. Неравенство рас, превосходство белой кожи — незыблемая истина. Они отрицают всю или почти всю современную культуру. Программа: возродить «новый порядок» Муссолини и Гитлера. Создать фашистскую Италию и фашистскую Европу, уничтожить большевизм, уничтожить классовую борьбу, установить господство элиты.

И, разумеется, у них есть свои идеологи, поставщики тех «истин», которые усваивают нищие духом, фотографирующиеся с кинжалами в зубах и пускающие эти кинжалы в ход. Идеологи неофашизма претендуют на то, что у них есть мировоззрение, культура, своя система духовных ценностей. Их интересуют проблемы литературы, музыки, архитектуры, они яростно отстаивают свои убеждения. Они не желают ограничиваться вульгарной поножовщиной, но именно они хотят «одухотворить» эту поножовщину и найти ей какое-то «философское» оправдание. Они определенно не желают уходить со сцены, и поэтому случай с экс-редактором «Лаворо фашиста», вознамерив-

шимся стать президентом Итальянской республики, не так уж анекдотичен.

Присмотримся к идеологии неофашистской элиты, тема любопытная. Но для этого нам придется окунуться в неожиданный, дикий мир — мир кривых зеркал, изуродованной психики, претенциозной мешанины из кровавых символов и дешевых аллегорий, в духовный мир мещан и расистов, вообразивших себя современными рыцарями Грааля.

■

Книгу под эффектным названием «Рыцари Грааля» написал Юлиус Эвола, один из признанных «идеологов» итальянских неофашистов. Средневековый мистицизм каким-то причудливым образом вклинивается в его «доктрину», основу которой составляет так называемый «традиционализм».

Кто бы мог подумать, что всего лет пятнадцать тому назад умер человек, которого называли «Калиостро XX века», добавляя при этом, что в сравнении с ним «Фридрих Ницше кажется провинциалом»? Человек этот — некий Жорж Гурджиев, уроженец Кавказа, в молодости уехавший в Тибет. Он стал наставником молодого далай-ламы и одновременно главным агентом-осведомителем царского правительства, оказывал услуги англичанам и ссорился с французами, обладал необычайным дарованием гипнотизера и был умелым ловцом душ. В начале тридцатых годов он вернулся в Европу и основал во многих странах особые «группы». Под его зловещим влиянием находилось, по опубликованным в печати данным, несколько десятков тысяч мужчин и женщин из среды западной интеллигенции, в частности, Хаксли и Кэтрин Мэнсфилд, которая умерла от нервного истощения в замке Гурджиева. Все они верили, согласно «доктрине Гурджиева», что рано или поздно достигнут высшей ступени совершенства, которое будет означать «абсолютную свободу духа и абсолютное знание».

Среди близких друзей и учеников Гурджиева находился и будущий идеолог Третьего рейха Карл Гаусгофер, с именем которого связана идея «геополитики». Именно Гурджиев посоветовал взять в качестве эмблемы нацизма перевернутую свастику. В начале тридцатых годов в берлинскую «Группу Туле» входил будто бы и сам Гитлер. Примерно в те же годы в Риме существовала «Группа Гура», членом которой был тот самый Юлиус Эвола, который сейчас считается идеологом итальянских неофашистов. Эвола, который когда-то примыкал к дадаистам и подписал один из манифестов, в период «Группы Гура» занимался преимущественно расовыми вопросами, например, «установил», что «наряду с германской расой первосортной является и спартано-романская», написал книги «Синтез расовой доктрины» и «Миф крови», разработал совместно с группой своих единомышленников особый «тест», при помощи которого «можно было гораздо точнее определить расовую принадлежность», чем это делали немецкие фашисты.

Сейчас «нео» называют его не иначе, как Маэстро (с большой буквы!), он в их представлении крупнейший деятель итальянской культуры и фигура общеевропейского масштаба. Так называемый «эволианский традиционализм» — «философское» направление, которое объединяет очень многих представителей итальянской неофашистской элиты. «Эволианский традиционализм» — уже не «доктрина Гурджиева»: Эвола, видимо, несколько разочаровался в ней, поскольку попытки «активно влиять на политику» с помощью разных оккультных приемов не удались. Это не означает, однако, что интерес к «эзотерическим наукам» (именно так называют всякие оккультные теории) исчез. Напротив, именно в среде правой, мистически настроенной буржуазной интеллигенции Запада и сейчас, в шестидесятые годы, все эти «доктрины» в различных вариациях очень популярны, причем разные «философы» не только конкурируют, но и довольно ядовито высмеивают друг друга. Об этом очень любопытные вещи сообщает некий Рене Генон, считающий себя единственным подлинным представителем «восточной метафизики в Европе». Он пишет, например, что «некоторые теософы изобрели, надергав где попало разношерстные доводы, так называемую западную традицию, противопоставляя ее не менее фантастической «восточной традиции».

«Эволианский традиционализм», разумеется, нельзя считать философским учением. Это амальгама из гурджиевского «откровения», ницшеанских идей в самом вульгарном их преломлении, преклонения перед «величием императорского Рима» с патрициями (элита) и самого низкопробного расизма. На страницах неофашистских журна-

лов о «традиционализме» читаешь много. Если очистить все эти писания от риторической и мистической шелухи, остается убогая идейка о Расе и Вожде (заглавные буквы!) и о борьбе — любой ценой — с марксизмом и с демократией. Сейчас Маэстро считает себя анархистом, весьма интересуется такими явлениями, как ОАС, живо следит за брожением среди некоторых слоев молодежи, откровенно делает ставку на «реакционные и асоциальные» движения и настроения. Сам он настроен довольно мрачно: в Италии ему так и не удалось добиться «настоящего объединения правых», есть только разрозненные «национально настроенные» группы, нет сильной фашистской партии, которая могла бы претендовать на серьезную роль. О такой партии Эвола откровенно мечтает. Она должна быть «единой, в ней должна царить железная, безличная дисциплина прусского образца», такая, о какой в свое время Эвола говорил, выступая перед инструкторами фашистской милиции в Риме, перед начальниками СС в Берлине. Если такая партия будет создана, он, Эвола, примкнет к ней безоговорочно. И «если появится вождь, высший авторитет которого я смогу признать, то, не колеблясь, буду повиноваться ему».

Авторитет Муссолини для неофашистов остается незыблемым, хотя многие из них укоряют его за то, что он был «чересчур добр и снисходителен». Тем не менее именно полное собрание сочинений Муссолини, 36 томов, значится первым номером в списке книг, знакомство с которыми считается необходимым для неофашистской элиты. В этом списке около семидесяти названий, из них десять напечатаны крупным шрифтом и, видимо, являются сверхобязательными. Кроме произведений Муссолини, «Моя борьба» Гитлера, семь книг, посвященных истории фашистской Италии и принципам корпоративизма, и, наконец, книга Поля Серана «Фашистский романтизм». Остальные шестьдесят книг очень разные: книга Опарина «Происхождение жизни на земле», Дарвин, Адам Смит, Мальтус, Ницше, эссе Артура де Гобино «О первенстве человеческих рас» — на эту вещь, написанную в пятидесятых годах прошлого века, ссылались немецкие фашисты в обосновании своих расовых теорий. Потом — смесь: книжки о нефти, о мировых источниках сырья, опус «Я остаюсь пруссаком», пресловутая фальшивка «Протоколы сионских мудрецов», стихотворения Эзры Паунда, куча эссе «О моральном законе фашизма», «О религиозном и моральном смысле фашизма» и т. п.

Среди десяти обязательных книг особый интерес представляет книга Поля Серана. Ее полное название — «Фашистский романтизм... или политическая деятельность нескольких французских писателей». На книгу Серана откликнулся итальянец Джано Аккаме, написавший эссе «Противоречия правого романтизма».

Аккаме, в частности, рассказывает о самом Серане, брате одного из крупных петеновцев; после окончания войны, разочаровавшись в политике, Поль Серан нашел прибежище в оккультном учении Гурджиева. Он сам писал об обстоятельствах своего обращения, и то, что он пишет, свидетельствует о растерянности и духовном крахе:

«Это случилось сразу после войны. Франция свободна. Я — свободный молодой человек... Но я чувствую себя неприкаянным, я задыхаюсь в мире, который окружает меня. Вокруг — лавина преступлений, сплошной абсурд. Что сделать, чтобы поверить в будущее? Что такое будущее — советское вторжение, или атомная бомба, или, быть может, одно после другого? Вокруг меня многие становятся engagé... Но я непоколебим. Жестокая участь, уготовленная искренним коллаборационистам, которых убивали пачками в то время, как всякие темные дельцы, нажившиеся во время оккупации, еще более процветают, достаточна для того, чтобы лишить меня всякого желания «служить». С другой стороны, я не циничен и преуспевание во всяких темных делишках нашей эпохи меня совершенно не привлекает»... И, при всей своей растерянности, Серан позирует: «Начались мои искания в области духа и вечности».

Серан написал несколько книг по метафизике, два романа, «Ритуальное убийство» и «Не граждане», пишет и политические памфлеты. Книга «Фашистский романтизм» — о шести писателях: Альфонсе де Шатобриане, Абеле Боннаре, Луи-Фердинане Селине, Пьере Дриё Ля Рошелле, Робере Бразийаке и Люсьене Ребатэ. Аннотация издательства лаконично сообщает: «Эти писатели, еще до второй мировой войны, хотели создать во Франции новый политический и социальный порядок, вдохновляясь итальянским, немецким и испанским опытом. После Освобождения они были обвинены в измене».

Серан объясняет название своей книги. Почему, в самом деле, «романтизм»? Разве в выборе пути, который сделали эти люди,

главную роль играл не политический расчет? «Дело в том,— пишет Серан,— что трудно быть фашистом, не будучи романтиком». Серан ссылается на других фашистских писателей, в частности на некоего Жана Тюрле, погибшего на войне, который писал в своем «Введении к истории «фашистской» литературы», что фашизм — «это субъективная концепция мира и жизни, это мораль и, в особенности, это эстетика». И, рассуждая об эстетике, Тюрле, не задумываясь, приобщает к фашизму Плутарха, Корнеля, Стендаля...

Серан страстно спорит против обвинения в измене, так как оно было «якобинским» или же «соответствовало духу народной демократии», во всяком случае, это была «революционная концепция понятия измены». Слову «измена» придается тысяча смыслов, кроме одного, известного всем порядочным людям. Все понятия извращаются, черное становится белым, гнуснейшие преступления предстают в худшем случае всего лишь как «ошибка перспективы». Коллаборационизм превращается в гражданскую добродетель, в верность высоким идеалам. Газовые печи и убийства миллионов людей сдержанно, весьма осторожно порицаются (но ведь, в конце концов, не в этом дело, рассуждает Серан, и к тому же сами немцы не знали о лагерях смерти, не говоря уже о фашистах из других стран!). Мир крови, изделий из человеческой кожи, рассчитанного, запланированного, бюрократизированного уничтожения людей пытаются представить как духовный, мистический мир. Рассуждают о спиритуализме, о германском и романском духе, о нирване, о философии йогов, о мистике. Фашистский романтизм!

Мы узнаем все фашистские гнусности, облеченные в красивые и пышные слова. «Мистика вождя тесно переплетается с мистикой расы». Селин опубликовал два антисемитских памфлета: «Безделица за резню» и «Школа трупов». Его единомышленники воспринимают их как литературное событие исключительной важности. И вот найдено определение: «лирический расизм». Лучше, кажется, и придумать нельзя! В книге Серана, изданной в 1960 году, оживают все мерзости тридцатых годов: у Гитлера — вдохновенное лицо, он так любит детей, он бесконечно добр, он плачет над могилами близких; фашистская революция — это противовес материалистической революции (якобинской, большевистской), это революция в человеческих сердцах; Муссолини и Гитлер создают «новый порядок», миром должна править элита; во всех бедах современности виноваты евреи; Маркс выдумал «классовое самосознание, это просто демагогия»; фашисты создают свой стиль жизни, стиль «легионеров»... А лейтмотив — страх перед большевизмом, ненависть и отчаянный страх, иногда нажим, истерика, крик, иногда словно вскользь оброненное замечание, иногда это только подтекст: страх перед возмездием, страх перед революцией.

Это не прошлое, это — для них — настоящее. Вот Аккаме пишет о том, что в наши дни проблемы, стоящие перед деятелями культуры, еще сложнее, чем тридцать-сорок лет тому назад. Что же делать? «Либо уступить глубокому интеллектуальному искушению, исходящему от коммунизма, либо, отвергнув его, остаться перед лицом тех же проблем». Он самым решительным образом отстаивает ту точку зрения, будто существует особая, фашистская культура. А в одной из программных статей, напечатанной в журнале «Ордине нуово» и озаглавленной «Очертания новой битвы», мы читаем: «Наши взгляды революционны, или, быть может, говоря точнее, контрреволюционны... Нам нужна культура действия, культура реакционная, не связанная предрассудками, нонконформистская, смело разбивающая ложных идолов взбунтовавшегося разума, смело утверждающая свою собственную метафизику».

«Сегодня,— заявляет Аккаме,— в мире почти нет фашистов в узком, формальном смысле слова, с членским билетом в кармане. Но повсюду существуют люди различного толка, которые не отказываются от того, чтобы говорить определенные вещи, вести себя известным образом, рискуя услышать обвинение в фашизме».

Итальянские неофашисты ведут активную политическую борьбу и стремятся солидаризироваться со своими единомышленниками в других странах, в частности во Франции. В одном из итальянских неофашистских изданий помещена статья, озаглавленная «Революционная война». Читатель заметил, что слово *«революционный»* фашисты хотят присвоить себе и лишь изредка сопровождают его оговоркой — «точнее говоря, *контрреволюционный*». В этой статье, написанной Клементе Грациани, речь идет об идеологии, формировавшей террористов ОАС, и о

роли, которую «сыграло определенное направление во французской литературе». «Центрами распространения контрреволюционных идей во Франции» автор статьи, видимо неплохо информированный, считает «Высший центр по изучению Социальной психологии» и группу «Ситэ католик» — организацию, созданную крайне правыми католическими кругами. Директор «Высшего центра», профессор Жорж Сор, провел серию конференций, посвященных тому, как «психологически гальванизировать массы», чтобы уберечь их от воздействия коммунистической идеологии (а кроме того, как подготовить отборных техников для ведения подрывной войны). Эти конференции проводились, в частности, в крупных военных школах. Группа «Ситэ католик» также очень много внимания уделяет пропагандистской работе в армии: издаваемый ею журнал «Верб» проповедует тотальную войну против коммунизма. Главой литературного направления, которое «поддерживает контрреволюционную идеологию», итальянский «нео» считает Жана Лартеги. Он пишет, что роман Лартеги «Центурионы», изданный тиражом в миллион экземпляров, «оказал большое влияние в смысле активного и *«революционного»* антикоммунизма».

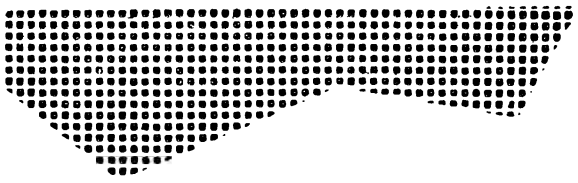
■

В январе текущего года итальянский радикальный еженедельник «Эспрессо» напечатал очень любопытные материалы относительно бывших оасовцев, живущих сейчас в Мадриде. Автор статьи, Сандро Виола, рассказывает, что в шестидесяти километрах от Мадрида расположено аббатство «Валье дос Каидос». Во главе аббатства — личный друг Франко, брат Хусто Перес де Урбель. При аббатстве существует Центр по изучению социальных вопросов, который, как пишет Виола, «на самом деле является центром антикоммунистической пропаганды». Это аббатство «играет очень важную роль в том, что называют «черным интернационалом»,— оно в известной мере объединяет европейские неофашистские группы».

Среди монахов есть брат Патрисио, бывший маркиз Андре Брусс де Монпейру, бывший руководитель оасовцев — «карателей», дважды приговоренный к смерти французским военным судом. Виола сообщает, что, когда Чомбе жил в Мадриде, брат Патрисио виделся с ним дважды в неделю. И, по слухам, тот же Патрисио «разработал оба существующих плана нападения на Кубу».

Итальянские «нео» мечтают не только о восстановлении фашизма в Италии, их замыслы куда обширней. Они стоят на позициях объединенной Европы, которая должна «противостоять мировому коммунизму». Один из «нео», Пино Раути, в свойственной им риторической манере пишет о том, что рыцари Грааля, крестоносцы в земле неверных, «подобны огоньку, упрямо горящему в глуши, маленькому, но живому». И многозначительно добавляет: «При определенных обстоятельствах огонек всегда может разгореться и превратиться в пожар». В Мадриде, одном из центров международной реакции, на панихидах по Петену или Анте Павеличу собираются представители, как пишет «Эспрессо», одной из самых абсурдных фаун, еще живущих в Европе. Это — эмигрантские правительства: чехословацкое, польское, румынское, венгерское, югославское — министры и заместители министров, толпа людей в твердых воротничках и шляпах, какие были в моде в 1937 году, с официальным видом (хотя и в бесформенной обуви), с огромными портфелями, битком набитыми документами. И все они вспоминают Лаваля, Чиано, адмирала Хорти...

Призраки... Но они не хотят уходить со сцены. Побежденные в войне, разбитые морально и политически, те социальные силы, которые в двадцатых и тридцатых годах породили итальянский и немецкий фашизм, мечтают о реванше. Их идеологи упражняются в науке ненависти. Их «фашистский романтизм», их «лирический расизм» из области «чистого духа» переносится в сферу живой жизни и оборачивается провокациями, пластиковыми бомбами, черной злобой. Они не желают видеть, что обстановка в мире изменилась коренным образом, что соотношение сил теперь совершенно иное, чем было тогда. И все-таки, хотя со времени разгрома фашизма минуло двадцать лет, никто из честных людей не имеет права забыть о прошлом. И оставаться бесстрастным,



О. РОССИЯНОВ

МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО

В Вашингтоне вышла книга одного венгерского эмигранта Ласло Ватаи «Чудище господне. Лирика Ади» (Vatai László. Az Isten szörnyetege. Ady lirája.). Едва ли мимо нее пройдет спокойно хоть кто-нибудь, знакомый с поэзией Ади и вообще с новой европейской поэзией и литературой, в том числе самых последних лет. «Чудище» Ватаи смешит, удивляет и возмущает.

Творчество Эндре Ади (1877—1919), крупного венгерского поэта и публициста,— если попытаться определить главное в нем — выразило и отчасти предвосхитило внутреннее борение и возмужание человека, вступающего в новое, переломное двадцатое столетие, еще более трудное, чем «век девятнадцатый, железный», несущее поистине «неслыханные перемены, невиданные мятежи...»

Подобно Блоку, Ади глубоко ощущал сложную, мучительную кризисность эпохи и — даже еще взволнованней и мятежней — ее небывалую революционную динамику. Всем своим существом «слушал» он грозную музыку нового времени, восставая против трагической униженности, закабаленности своей страны и человечества, торопя, призывая тоже не легкие и не быстрые, но благие исторические перемены.

Нечего и говорить, что всем этим он до сих пор близок и созвучен нам. И автор названной книги, надо отдать ему должное, прекрасно это понимает. Его сочинение написано с тем пафосом, который в исследователе возбуждает только жгучая «современность» материала. Ласло Ватаи тоже волнуют главнейшие, острейшие вопросы века, которые преследовали и Ади — и до сих пор ежедневно, ежечасно решаются в интеллектуальных и общественных боях всего мира. Ласло Ватаи даже предлагает свое решение их.

Но прежде, чем осознаешь как следует, что он предлагает, невольно останавливает сам способ, метод доказательства и изложения. Он наводит на мысль, что решение-то созрело у Ласло Ватаи гораздо раньше, чем он вообще обратился к Ади. И что сам Ади не так уж и важен для него, а важно именно это свое, выношенное, взлелеянное и политое всеми слезами бессильного ожесточения решение, к которому творчество поэта просто уже «прикладывается».

В самом деле, чуть не на каждой странице книги сталкиваешься с полным незнанием фактов то биографии и творчества Ади, то венгерской литературы, то философии и эстетики вообще. Ласло Ватаи, к сожалению, идет проторенной тропой буржуазной науки, которая во время оно совсем не считала нужным читать Маркса, Ленина или советскую литературу, а питалась одной чисто «априорной», зоологической ненавистью, воюя с собственными уродливыми измышлениями о них. Например, автор «Чудища господня» без дальних слов, даже несколько свысока — мол, вещь давно известная! — третирует материалистическую теорию отражения, как механистическую, отлучая на этом основании социалистическую литературу и социалистическое литературоведение от Ади. Марксистам, дескать, совершенно нечего с ним делать. «Выхватывают несколько революционных стихотворений и склоняют на все лады; а в целом его

поэзия — самая чуждая для них во всей венгерской литературе...»

Можно было бы отослать Ласло Ватаи к многочисленным полным собраниям стихотворений Ади, появившимся в народной Венгрии, или обратить его внимание на разнообразный, даже при небольшом объеме, состав нашего советского сборника Ади (Эндре Ади. Стихи. Москва, 1958.) Или предъявить наконец обширную марксистскую «адиану», начиная еще от книги Д. Бёлени «Подлинный Ади» (1934) и вплоть до сегодняшних работ венгерских литературоведов. Из них, да и просто из статей, воспоминаний современников поэта, совсем не «марксистов», наш автор мог бы почерпнуть множество полезных для себя исторических, биографических, эстетических сведений, которые нередко разительно не вяжутся с его категорическими заключениями.

Но зачем ему Бёлени и прочие? Западноевропейские и заокеанские буржуазные ученые скрепя сердце начали хоть как-то изучать и проверять факты о «несвободном» мире (в последнее десятилетие это стало особенно заметно). А г-н Ватаи, как упрямый провинциальный подражатель-сноб (хоть и сидит в Вашингтоне), — еще бо́льший роялист, чем сам король: он просто не желает знать их.

В этом и состоит его метод: отбрасывать, презрительно игнорировать все, что ему мешает, в том числе в творчестве Ади, и наперекор ему внушать, «вещать» свое.

Что же внушается читателю — порой почти с проповедническим жаром и красноречием?.. Например, что Ади, «лиричнейший лирик мировой литературы», жил в состоянии вечной и неизбывной — «метафизической» — скуки, от которой спасался только посредством бегства, углубления в себя. Оказывается, его, прирожденного публициста, который жадно впитывал всяческую жизнь и постоянно вмешивался в нее, даже назвал в одном из программных стихотворений «политику и любовь» своей лирической стихией, внешний мир ничуть не интересовал: он везде видел только свое отражение.

Одно это утверждение уже настораживает: какая цель заставляет самого Ватаи так яростно «самоуглубляться», затыкая уши и зажмуривая глаза перед очевиднейшей реальностью?.. Одна цель, по крайней мере, очень скоро обнаруживается: Ласло Ватаи готов на все, чтобы оторвать поэта от прогрессивных традиций и литературно-политических течений его времени.

Франция, Париж, где Ади часто бывал в разные годы?.. Не важно, все равно он «едва ли хоть сколько-нибудь был знаком с актуальным французским духом». Незаурядная проницательность, позволившая Ади еще задолго до первой мировой войны (в 1904 г.) подметить шовинистические настроения в западных социал-демократических партиях, которые, по его словам, не прочь «нашить на красные знамена изображения германского орла и галльского петуха»?.. Живое революционное чувство, одушевляющее строки о ветеранах Парижской коммуны и подсказавшее Ади уничтожающее прозвище «нового Тьера», которым он заклеймил Клемансо?.. Отвращение к антигуманистической литературе и большое, искреннее уважение к гению и социальным чаяниям Анатоля Франса?.. Ах, да это все журналистика, все от ума, все «ratio» — Ади же велик «самоуглублением», интуицией, лирикой.

Шандор Петефи, наконец, которого Ади нежно любил и всю жизнь защищал от пудиных поцелуев реакции?.. Ласло Ватаи согласен даже Петефи «пожертвовать», отдать его «марксистам», лишь бы тем вернее (как ему кажется) присвоить Ади. Петефи слишком ясен и известен. На нем капитал нажить труднее: уж очень-де прямолинейно, наивно-оптимистически «отражал» он действительность. И Ласло Ватаи выбрасывает «медь» наивного оптимизма, чтобы набить карманы «золотом» истинного, трагического познания, не замечая, однако, что это «золото», словно по чьему-то ироническому волшебству, превращается в его руках в самые убогие, стертые декадентские медяки.

Действительно, посмотрим, что получается у него из лирики Ади — хотя бы любовной. Подлинно трагическое и человечное ее содержание совершенно от него ускользает. Муки двоих влюбленных, которые задыхаются, бьются, ожесточаются в незримых оковах жизненных противоречий, и страстное желание поэта разорвать эти цепи; рождающееся из борьбы и мук «великое тепло» взаимопонимания, нежности и поддержки, которой Ади так искал и за которую был так благодарен,— вся эта глубинная диалектика его знаменитого романа с «Ледой» остается вне поля зрения Ватаи.

Вместо этого — уже изрядно надоевшие пошлости о роковой борьбе полов. Люби-

мая женщина — извечный враг, «возбуждающий» поэта. Или, еще лучше,— предмет», нужный ему лишь для самовыражения и самолюбования. «Любовная мифология, созданная в лирике Ади, стоит по ту сторону этики и морали»,— изрекает наш автор. Извините, г-н Ватаи, но миф-то создаете вы сами, и довольно кощунственный! Ваш «трагический поэт» что-то слишком похож на примитивнейших «белокурых бестий»...

Это, впрочем, не удивительно: полное «разобществление» поэта — другая, более универсальная задача г-на Ватаи. Он называет, правда, Ади «реалистом», но пусть это никого не смущает. В отличие от прочих дюжинных реалистов Ади познавал «истинную реальность» — «лежащую за пределами рационального познания... тайную действительность вселенной». Поэтому-то он и был «лиричнейшим лириком»: не просто, бездумно «отражал», а трагически «выражал» «автономно человеческое», извлекая его из «загадочных» глубин своего существа. «Трагически» же потому, что это, живущее в нас «автономно человеческое», которое «вечно современно», оказывается, вообще нельзя познать!.. Можно лишь ощутить в конце концов свое полное одиночество, тщету и ограниченность всех усилий и самого существования. «Всякий мятеж — это уже заранее поражение. В этом трагедия человека...» — с сокрушением подсовывает автор «Чудища господня» свою заветную идейку.

В таком лжегуманном духе и препарируется им почти вся лирика Ади. С поразительной уверенностью натягиваются на колодку этой пораженческой философии такие не вяжущиеся с ней стихотворения, как «Иду по новым водам», «Геркулес поневоле», «Поседелое море» и др., где запечатлена борьба совсем не с трансцендентной, а самой настоящей венгерской «реальностью», приятие поэтом — несмотря на разочарования, боль душевных ран — этой противоречивой реальности, современности, вне которой нет для него ни жизни, ни надежды.

Отправляясь от действительной трагедии Ади, которого душил, обескровливал, «вытеснял» из жизни буржуазно-помещичий «венгерский ад», Ватаи лишь фетишизирует, мистифицирует ее, загоняя в действительно безысходный «ад» подсознания. Он сам с каким-то мрачным удовлетворением дополнительно проделывает над поэтом насильственную операцию «отчуждения» от общества, от «социальной войны», детищем которой Ади считал всю передовую литературу, от его соратников и «кровных братьев — венгерских пролетариев» (стихотворение «На земле Матэ Чака») В результате Ади, страстно искавший в Венгрии и Европе молодые, свежие общественные силы, которые откроют путь в царство подлинной свободы и человечности, и вправду превращается в какое-то «чудище» — декадентского «антигения», горящего в вечном «дионисийском» огне бесплодного эгоцентрического самоопустошения.

■

Сочинение г-на Ватаи — род вольного литературно-философского эссе, хотя и дурного толка. Наш эссеист сознательно пренебрегает реально-исторической почвой явлений и озабочен лишь тем, чтобы внушить свое субъективное их понимание, свою спекулятивную концепцию лирики, художественного творчества, хотя — увы! — совсем неоригинальную. Ватаи и не скрывает, что его духовные истоки — ницшеанский культ «язычества», иррационалистическая философия Кьеркегора и Хейдеггера, современная экзистенциалистская эстетика. Он и самого Ади считает «предтечей экзистенциализма»: в глазах Ватаи это и определяет его выдающееся место в мировой лирике.

Но самое любопытное, что рамки экзистенциализма, видите ли, не удовлетворяют Ласло Ватаи! Он хочет (опять-таки якобы следуя за Ади, который «гениально предвосхитил» это его смелое и спасительное решение) «развить» экзистенциализм дальше. Поджарив сначала Ади на адском костре индивидуалистического «отчуждения», отправив его затем в чистилище трагического крушения, он теперь, возводя очи горе, протягивает ему братскую руку, чтобы ввести в чертог небесного блаженства.

И тут из-за «европейских» экзистенциалистских ширм вдруг высовывается ярый венгерский националист в черной сутане теолога. С фанатичным высокомерием монаха, свято уверенного, что его откровенное невежество выше и справедливей всякого гуманного знания, мечет этот новейший Савонарола навыворот громы на «чуждый» венграм радикализм, на «еврейско-интер-

---

О. РОССИЯНОВ
МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО

национальную» коммунистическую революцию, от которой все беды.

Проклятья эти, правда, окружаются разными возвышенными словами насчет того, что Ади никогда не замыкался в «башне из слоновой кости», что бунтовал он во имя «народа», любви к «людям» (еще бы — иначе какое же «развитие», преодоление экзистенциализма!). Но все это чистейшее лицемерие, обычное ханжество инквизиторов, с христианнейшим смирением именующего повешение «смертью без пролития крови». А на деле — все та же бесстыдная подтасовка, методичное удушение поэта националистической веревкой. Ведь «народ» у Ватаи — это «венгерская раса», которую извечно теснят и угнетают в своих интересах другие, а «любовь» к людям — нечто вроде взаимной товарищеской выручки, пресловутого фашистского «коллективного духа» или просто убогий поповско-буржуазный гуманизм, сентиментальная жалость волка к задираемой овце, которой, конечно, не бунтовать нужно, а покориться уготованной ей участи.

Потому что философско-теологический ригоризм, мистический пыл, литературоведческая ученость, евангельски кроткое народолюбие и чернейшая политическая нетерпимость — каких только оттенков не принимает в своем раздражении наш хамелеонствующий Савонарола! — подогреваются как раз явным и очевидным нежеланием «овец» терпеть на своем хребте когтистую лапу разных великодержавных, колониалистских, шовинистических и церковных пастырей. В этом и заключается корень той «трагедии», к которой так часто апеллирует г-н Ватаи. Совсем не «отчуждение» его волнует, а то, что насильников отчуждают от власти, что народы все больше уходят из-под их влияния.

Не случайно начало «трагедии» по его летоисчислению датируется первой мировой войной и последовавшими за ней социалистическими революциями. Именно тогда, когда почва впервые так устрашающе заколебалась у хищников под ногами, завершился, по Ватаи, «человеческий» период истории и наступил «апокалипсический», «адский разгул» «тотальных диктатур», подготовленный (чур, чур, сатана!) «рационалистическим критицизмом прошлого века». А расписывая обращение Ади во время войны к действительности, к «живому богу» любви к людям, он так же закономерно забывает, что Ади еще много раньше начал неустанную борьбу с истинной трагедией — гонениями на передовую мысль, закабалением страны, национализмом, религиозным дурманом, подав руку настоящим людям: мятежному венгерскому крестьянину, гордому и сознательному пролетарию — этим благородным «солдатам всемирной перемены».

Обо всем этом он умалчивает или отделывается мимоходом презрительным фырканьем, одной-двумя брызгами желчи. Зато — в своем желании приостановить колесо истории и не выпустить из своих объятий Ади — договаривается до того, что этот обращенный им к богу любви грешник действительно «любил»... но кого же? Главаря и вдохновителя всей венгерской реакции, премьер-министра и «великого мадьяра» графа Иштвана Тиссу.

Ну, знаете ли, г-н Ватаи!.. Этого «дикого безумца», «разбойного барина», по гневному выражению Ади, сделать объектом «человечной» любви?.. Да ведь это почти все равно что заявить: конголезцы всегда любили короля Леопольда. И после этого вы еще уверяете, будто «превзошли» Сартра, «реальнее» его оцениваете действительность?.. Давайте не будем лучше поминать имя Сартра всуе. Сартр, «Христос», «любовь», «коллективизм» — все это ведь лживая маска. Вы националист, г-н Ватаи, и сами прекрасно это знаете. И совсем не из тех, которые борются за свободу своей родины, а из тех, что хотели бы устроить еще одно контрреволюционное побоище и оторвать Венгрию от социализма и культуры. Это все тот же старый, заматерелый реакционный национализм, который поднял голову с началом пролетарской борьбы против капитализма и до сих пор ратует за его сохранение, сваливая вину за порождаемое им зло на «иностранное влияние», коммунистическое «проникновение» извне.

Так что и в своем «преодолении» экзистенциализма Ласло Ватаи опять не оригинален. Он только в слегка подновленном и «европеизированном» виде повторяет общие места венгерских националистических идеологов — той пресловутой «христианско-национальной» доктрины, которая была официально поднята на щит в начале 20-х годов для «исправления» и «воспитания» национального характера, «поиспорченного» Советской Венгрией 1919 года и революционными идеями. Реакционно-романтический культ подсознания и особой — националь-

ной, а не социальной — «венгерской революции»; лицемерное сокрушение, что Ади при его жизни не постарались привлечь на сторону «закона и порядка», отчего он и попал в сети радикалов; отпущение ему теперь, задним числом, бунтарских грехов и попытки посмертно «помирить» с Тиссой (а в литературе с консервативным, так называемым «народно-национальным» направлением), сделать пророком «национальной катастрофы» — все это тысячу раз уже было в сочинениях разных китов националистического литературоведения вроде Деже Сабо, Дюлы Секфю, Яноша Хорвата...

■

Вместе с тем автору «Чудища господня» нельзя отказать в известной литературной изощренности, профессиональной ловкости рук, которая явно неоригинальный и грубый обман превращает подчас в довольно искусное фокусничество. Это и заставляет говорить о его книге.

Дело даже не в том, что венгерский национализм проецируется в ней на Ади через призму современного экзистенциализма. У Ватаи есть своя «лирическая атмосфера», которая местами, пусть ослабленно, искаженно, доносит даже что-то от поэзии Ади. Есть наблюдения и утверждения, обладающие видимостью, а то и долей истины. Манипулируя ими, Ласло Ватаи сам, наверно, порой испытывает некую гордость демагога, умело дурачащего толпу, тайное удовлетворение авгура, наслаждающегося тонкостью обмана.

Ну разве не без тайного расчета повторяет он, например, все время, что художник, отражая действительность, преломляет ее через собственную индивидуальность, «пересоздает» мир?.. Ласло Ватаи чувствует «требование» момента: он метит в пассивную иллюстративность, схематичность, одно время насаждавшуюся в венгерской (и не только в венгерской) литературе. К самому Ади он не в последнюю очередь обращается именно потому, что социалистическая эстетика до сих пор сравнительно мало изучала специфическую сферу индивидуального в искусстве — психологию творчества, различные ее типы. Это и дает ему возможность так смело мистифицировать особую, интуитивно-романтическую природу обобщения у Ади (выдавая его за субъективистский мифотворческий «реализм»).

Точно так же с несомненной чуткостью к «злобе дня» уделяет Ватаи и внимание трагизму жизни, который остро ощущал Ади. Ведь кроме «отчуждения» в буржуазном обществе Ватаи знает еще, что и в развитии социализма выявились свои противоречия, и спекулирует на этом, протаскивая старую фидеистскую мораль и живучую националистическую передержку, будто все «чужое» плохо. И разве такая спекуляция на «больных» вопросах современности не может произвести известное впечатление на тех, кто, не очень сочувствуя социалистической литературной науке и критике, вдобавок не всегда находит в ней столь подробное и, мы бы сказали, «увлеченное» их истолкование и объяснение?..

А увлеченности — своей, очень злой — в книге Ватаи, конечно, предостаточно. Так и хочется бросить ему упрек, обращенный когда-то Ади к фальсификаторам Петефи: «Мертвые и живые питающиеся им ничтожества, стыдитесь! По-настоящему вы его не любили никогда...»

Эта злобная зависть, эта мстительная, узколобая ненависть «ничего не забывших и ничему не научившихся» — сама по себе уже доказательство неистребимой современности Эндре Ади, который по-прежнему стоит националистическим фанатикам поперек дороги. Но она обязывает и защитить выдающегося поэта от тянущихся к нему черных рук.

И вы уж не обессудьте, г-н Ватаи, если мы в свою очередь хватаем вас за руку. Оставайтесь в своей исторической могиле и не пытайтесь трупным декадентско-националистическим ядом отравить наше социалистическое настоящее, в котором — и Петефи и Ади!

Критика

РОЖЕ ГАРОДИ

О РЕАЛИЗМЕ И ЕГО БЕРЕГАХ

Поскольку в этом журнале завязалась дискуссия о реализме и в связи с критикой моей книги «О реализме без берегов» был затронут я лично, я хочу внести свою лепту в обсуждение поднятых вопросов.

В полемике между людьми, причисляющими себя к марксистам, необходимо, на мой взгляд, с самого начала напомнить о принципах, общих для всех нас, чтобы исключить всякую возможность спекуляции со стороны тех, кто хотел бы, использовав нашу полемику как предлог, поставить под сомнение диалектический материализм, составляющий теоретическую базу марксистской эстетики, либо социалистический общественный строй, представляющий собой историческую предпосылку расцвета подлинно гуманистического искусства будущего.

Ясно, что спор о реализме для марксиста-ленинца — это, в сущности, спор об отношении искусства к действительности.

На XVII съезде Французской коммунистической партии я имел случай уточнить этот пункт, в частности ссылаясь на положения, сформулированные Арагоном в его предисловии к моей книге «О реализме без берегов».

Реализм в искусстве — это перенесение в область эстетики основополагающих тезисов диалектического материализма:

1. Мир существовал до меня и будет существовать, когда меня не станет.

2. Этот мир и мое представление о нем не неизменны, а находятся в процессе постоянного преобразования.

3. Каждый из нас несет личную ответственность за это преобразование.

Поскольку деятельность, в результате которой непрестанно преобразовывается реальный мир, есть деятельность социальная, эстетика как осмысление природы и функции искусства по необходимости имеет классовый характер, из чего вытекает право и обязанность партии вмешиваться в эту область. Вопрос в том, чтобы определить, в чем же состоит партийность в эстетике, для того чтобы вмешательство партии в область искусства не ограничивало свободу художника, а, напротив, помогало бы ему завоевать более глубокую свободу.

Так обстоит дело с *теоретическими* основами.

Что касается *исторического* существования социалистического общественного строя, то не менее важно напомнить: установление социализма создает условия для беспримерного расцвета культуры и искусства, ибо:

1. Он кладет конец режиму, превращающему художественные ценности в товар.

2. Позволяет художнику не находиться более в противоречии с миром, в котором он живет, а, напротив, быть с ним в глубокой гармонии.

3. Предоставляет каждому человеку, каждому ребенку все средства для полного развития всего человеческого богатства, которое он несет в себе, и тем самым открывает ему возможность достигнуть понимания всех произведений культуры и искусства.

Теперь, когда это сказано,— а именно это коренным образом отделяет нас от тех, для кого критика художественной практики социалистических стран и положений, вы-

двигаемых их теоретиками искусства, является лишь предлогом для нападок на социализм, как таковой,— я хочу высказать свое мнение о той манере, в которой велся спор прежде всего в статье Сучкова, но также и в Институте имени Горького, где мою книгу обсуждали при закрытых дверях и где я был осужден заочно.

■

Не стану полемизировать в плане личном, хотя Сучков затронул то, что он столь изящно и вежливо именует «моими шаткими теоретизированиями», и то, что он еще более изящно и вежливо называет попыткой моего друга Жиссельбре «навязать социалистической культуре конкубинат с искусством декаданса». Я не последую за Сучковым на эту почву.

Тем более что его нападки ничуть не могут меня уязвить, поскольку они целиком построены на неточном изложении моих высказываний. Приведу лишь некоторые примеры таких неточностей, ибо советский читатель не располагает текстами, которые могли бы говорить сами за себя,— ни моя книга, ни моя статья не переведены.

Сучков утверждает, что, по моему мнению, «декаданса» в искусстве не существует и что трудно сказать, что́ не входит в «берега» моего реализма. Так вот, я убежден, что декаданс в буржуазном искусстве существует, но что он вовсе не там, где его видит Сучков. Сучков не понимает, что французская буржуазия ведет массовую идеологическую борьбу главным образом при помощи вполне «фигуративного» искусства: фильмов, дающих совершенно мистифицированное изображение реальной жизни нашего общества; романов и комиксов, прославляющих эротику, насилие и полицейщину; бульварной прессы, издающейся миллионными тиражами и отвлекающей людей от осознания жизни и от борьбы,— вот что противоположно реализму, вот что является декадансом и выражает загнивание социального строя и господствующего класса, вот против чего должен вести каждодневную борьбу деятель культуры, обладающий проницательностью и чувством ответственности. И я подчеркнул это в своем выступлении во время «Недели марксистской мысли» 1964 года в ходе дискуссии о «философском материализме и художественном реализме», где провожу четкую грань между тем, что является реализмом, и тем, что им не является (полный текст этого выступления опубликован в журнале «Эроп» за март—апрель 1964 года). Сучков же считает, что враг номер один — это живопись Брака, ни одной картины которого он, наверно, не видел даже в репродукции, раз он валит его творчество в одну кучу с живописью Сальвадора Дали — дальше уж идти некуда!

Сучков бездоказательно обвиняет меня в отрицании декаданса только потому, что не видит его там, где он есть и где я вместе с моей партией стремлюсь с ним бороться; он не произносит ни одного слова критики по адресу тех, кто в старых художественных формах ведет главную идеологическую работу монополий, и направляет свои удары исключительно против тех, кто ищет — с бо́льшим или меньшим успехом — новых средств для выражения новой реальности.

Сучков старается внушить читателю, что реализм без берегов означает реализм без принципов. Странно, что он не прочел статей, подробно разъясняющих, что развитию реализма не может быть положен предел, поскольку развитие самой действительности не знает предела, и что именно в этом смысле реализм не имеет берегов *.

Обвинив меня в «отрицании декадентских тенденций» (стр. 179), Сучков упрекает меня в желании «интегрировать и переработать все то, что создала культура всех народов, всех эпох», и с возмущением добавляет: «...это означало бы неизбежность восприятия новой социалистической культурой *всех результатов* развития современного искусства». И далее он говорит об «автоматической «интеграции» всего наследия искусства XX века».

Я приглашаю Сучкова испробовать искусство вырывать цитаты из контекста на следующем высказывании Ленина: «Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, техника, искусство — в руках специалистов и в их головах»**. Разумеется, в другом месте Ленин объясняет,

* „Europe", mars—avril, 1964.
** Ленин. Собр. соч., т. 29, стр. 52, изд. 4.

как производить отбор, что надо принять и что отвергнуть. Точно так же и я в работе, цитированной Сучковым, ровно тремя страницами ниже перечисляю все, что мы отбрасываем, и указываю, где проходят наши границы. Ни один добросовестный читатель тут не может ошибиться.

Когда Жиссельбре, подчеркивая специфику искусства, объясняет, что функцией искусства не является иллюстрация абстрактной идеи образами, Сучков, комментируя это место, говорит, что Жиссельбре «берет под сомнение понятие идейности искусства». Но это прямо противоположно мысли Жиссельбре, который не упускает случая подчеркнуть, что искусство играет воспитательную роль — не в том смысле, что оно призвано только иллюстрировать лозунги, уже сформулированные в абстрактной форме, но в том более возвышенном смысле, что ему отведена роль поиска, разведки, открытия, творчества.

В своей статье шесть раз подряд (стр. 183, 184 — дважды, 185, 186, 188) Сучков повторяет, будто я отрицаю, что искусство может быть средством познания. Но в той же самой работе, которую он упоминает, в моей статье о Фишере в «Леттр франсез» от 25 июля 1964 года, я настаиваю на том, что искусство является *«не только* формой познания», а тридцатью строками ниже — что «искусство есть прежде всего форма труда и лишь как таковая *включает* в себя познание».

Эти несколько примеров были необходимы, чтобы показать читателям «Иностранной литературы», которые не могли познакомиться с упомянутыми работами, что их последовательно вводили в заблуждение.

■

Перейдем к более серьезному вопросу — к концепции реализма, на которой зиждется критика Сучкова.

Остановимся лишь на трех аспектах этой концепции, касающихся природы искусства, его функции и странного понятия «модернизм».

Что касается природы искусства, то Сучкова возмущает, что, на мой взгляд, роль искусства состоит в создании «второй природы». Однако это очень старая мысль, поскольку ее отцом является не кто иной, как Гете в «Критике «Опытов о живописи» Дидро».

Сучков, конечно, искажает и этот мой тезис, поскольку он добавляет (стр. 184): «Не следует забывать, что для Гароди искусство есть создание *новой реальности,* пренебрегающей формами и обликом реальности подлинной... Эта творимая художником новая реальность *независима* от действительности... Согласно Гароди, следует исходить не из материала жизни, а из материала отлетевшей от жизни фантазии художника» (стр. 187) — что прямо противоположно сказанному мною. В работе «О реализме без берегов» на первой же строке моего этюда о Кафке можно прочесть: «Мир Кафки неразрывно связан с нашим миром» (стр. 153). И я настаиваю (стр. 247): «Все материалы его художественного вымысла почерпнуты из опыта пережитого». Далекая от «пренебрежения формами и обликом реальности», далекая от «независимости от действительности» «вторая природа», созданная художником, заимствует у действительности *весь свой материал.* Более того, она обязана ей своей внутренней структурой. Как это превосходно выразил Фишер в формуле, которую я привожу в моей статье: «форма есть кристаллизированный социальный опыт», а в этюде о Пикассо я показал, что в его творчестве «живут все живые силы нашей эпохи» (стр. 249). Как же понимать выражение Гете, что искусство создает «вторую природу»?

Прежде всего это значит, что искусство — не просто отражение действительности — ни ее внешних проявлений, ни ее внутренних законов,— а *реконструкция* этой действительности по созданному человеком плану, в том смысле, в каком кибернетика учит нас конструировать «модель», которая является эквивалентом природы, но устройство и работа которой совершенно прозрачны для мысли человека и поддаются его непосредственному воздействию, ибо эта «модель» — его творение. Эта «вторая природа» и есть то, что Маркс великолепно определил как очеловеченную природу — продукт культуры. Ее характерный признак — «присутствие человека», на чем я и стараюсь поставить акцент.

Эта концепция характеризует реализм, вдохновляемый диалектическим материализмом, в отличие от домарксистских типов реализма, основанных на концепции раз навсегда данной действительности, которую человеку остается лишь созерцать и имитировать. Именно здесь проявляется величие Брехта. Сучков, чтобы обойти его свидетельство, остерегается напомнить главное

положение эстетики Брехта, то, которое я привожу в своей статье о Фишере: Брехт с полным основанием называет свою эстетику «не аристотелевской», то есть эстетикой, которая не основывается на «мимезисе» Аристотеля, на подражании.

Недооценивать эту «активную сторону» познания, это «присутствие человека» — значит неизбежно прийти вместе с Сучковым к домарксовому материализму, подобному французскому материализму XIX века, материализму Фейербаха или Чернышевского.

Значит ли это, что, отдавая себе отчет в действенном присутствии человека и различая природу данную и природу сконструированную, мы «абсолютизируем субъективные стороны художественного творчества»? Ничуть. В статье о Фишере я подчеркнул, что произведение искусства «не является простой проекцией внутреннего «я» в том смысле, как это понимали идеалисты, или в мистическом смысле «внутренней необходимости» Кандинского».

Словом, художник не ограничивается изображением объекта, он конструирует объект, исходя из материала, взятого во внешней действительности, и согласно методам, технике, законам, соответствующим степени развития общества своего времени; и, воплощая в этом объекте, который может напоминать или не напоминать уже существующую действительность, силы и чаяния людей своего времени, он пробуждает в них сознание своей творческой мощи и делает для них еще более непереносимыми все формы отчуждения, порождающие представление, что мир дан раз навсегда, завершен, неподвижен. Вот в чем состоит высочайшая воспитательная роль искусства; не в том, чтобы иллюстрировать последние директивы, а в том, чтобы пробуждать в человеке чувство ответственности и сознание того, что он может преобразовывать мир и строить будущее.

Такова функция искусства.

Если о каждом произведении современного искусства мы будем спрашивать, выполняет ли оно эту функцию, то, быть может, сумеем отличить художника от шарлатана.

Но Сучков ставит вопрос иначе.

Он без лишних слов исключает из социалистической культуры то, что он называет «модернизмом». Найдя в «Литературной газете» от 2 февраля 1965 года, в отчете о проходившем в Институте имени Горького коллоквиуме на тему «Актуальные проблемы реализма и модернизма», то же самое выражение, я справился о его значении. Тем более что, выступая на этом коллоквиуме, Сучков и Кеменов обвинили меня в преступном «модернизме».

Итак, я открыл «Большую советскую энциклопедию» на слове «модернизм» (том 28, стр. 41) и сперва нашел там весьма удовлетворительное объяснение: там говорилось, что «модернизм» — это направление, осужденное в конце XIX века католической церковью, ибо, как очень хорошо объясняет советская энциклопедия, его представители «считали, что церковные догматы не имеют значения раз навсегда данных истин, как этому учит церковь, а должны изменяться со временем». Это именно то, что я думаю применительно к эстетике, и, прочитав это объяснение, я уже успокоился, как вдруг на соседней колонке увидел, что в эстетике «модернизм» означает все «упаднические течения в буржуазном искусстве и литературе эпохи империализма» и что первым этапом этого загнивания был «импрессионизм».

Теперь определение стало совершенно ясным, и я прекрасно понял «мотивировку» вынесенного мне обвинительного приговора: для моих судей, в частности для Сучкова и Кеменова, «модернизм» включает в себя все то, что принято называть «парижской школой», в формировании которой, впрочем, участвовали многие иностранные художники, приехавшие работать во Францию. «Модернизм» — это Клод Моне и Ван Гог, Ренуар и Гоген, Сезанн, кубизм, фовизм, Пикассо и Леже, Матисс, как и Базен и Пиньон. Энциклопедия отсылает нас также и к синонимам «модернизма», коими являются «декаданс» и «формализм».

Какова, согласно Сучкову, общая черта этих столь различных художников? Они «деформируют» действительность. Ибо для Сучкова действительность раз навсегда определена перспективой Ренессанса. Всякое отклонение от этого понимания перспективы есть «деформация». Таким же образом рассуждали около 1876 года критики во Франции, когда г-н Альбер Вольф в «Фигаро» от 4 апреля 1876 года так представлял публике выставку импрессионистов: «Улице Лепелетье не везет. После

пожара в Опере на этот квартал обрушилось новое бедствие. У Дюран-Рюэля только что открылась так называемая художественная выставка... Пять-шесть умалишенных... встретились там, чтобы выставить свои произведения. Эти так называемые художники величают себя импрессионистами. Они берут полотно, краски, кисти, набрасывает несколько случайных тонов, а потом все это подписывают... Попробуйте объяснить господину Ренуару, что женский торс — это не груда разлагающейся плоти с зелеными и фиолетовыми пятнами, какие на трупе свидетельствуют о начавшемся гниении... И это скопление грубостей выставляют перед взорами публики, не думая о том, какие это может иметь роковые последствия. Вчера на улице Лепелетье задержали какого-то беднягу, который, выйдя с этой выставки, кусал прохожих».

Когда кубисты, в свою очередь, показали условный характер пространства, как его понимал Ренессанс, так же как импрессионисты в свое время показали условный характер цвета предметов,— их встретило такое же непонимание и такие же оскорбления.

Досадно, что через три четверти века Сучков продолжает эту традицию. Было бы, напротив, полезно, если бы он, вместо того чтобы огульно осуждать всю «буржуазную критику» (подбирая при этом худшие элементы ее наследия), попытался бы произвести необходимый отбор и, критически осмыслив, усвоить то, что в ней имеется ценного. Например, вместо того, чтобы величественно утверждать на стр. 177, что «скучно и бесплодно спорить с защитниками буржуазной эстетики», Сучкову было бы полезно изучить, например, труды Эрвина Пановского о «Перспективе как форме символики» или труды Пьера Франкастеля о «Живописи и обществе» — тогда он получил бы представление, что такое научный и исторический метод применительно к эстетике.

Если бы он кропотливо изучил произведения, теоретические работы и общественную историю времени Ренессанса, он бы узнал, что понятие перспективы, выработанное в эту эпоху, не было чудесным отражением «естественного» взгляда на вещи, а выражало особое представление о мире, тесно связанное с социальным устройством, состоянием техники и науки, мировоззрением, характерным для той эпохи — эпохи великого буржуазного гуманизма, с присущим ему индивидуализмом, когда человек стал мерой всех вещей, а на мир смотрели как на спектакль. И тут Сучкову очень помогло бы внимательное и критическое изучение труда буржуазного эстетика г-на Кернодля, досконально изучившего шедевры живописи Ренессанса в их соотношении с искусством мизансцены той же эпохи: он узнал бы из его книги «От живописи к театру», как можно научно доказать, что перспектива художников Ренессанса была перенесением в область живописи театральной условности. Если бы, исходя из этих солидных научно-исторических материалов, доставленных буржуазными эстетиками, которые, сами того не зная, работают в духе исторического материализма, Сучков сопоставил бы эстетику Ренессанса с самой передовой философией нашего времени, он смог бы провести различие между тем, что в ренессансном понимании перспективы было для той эпохи блистательным открытием, и тем, что в нем следует пересмотреть в эпоху, когда отношения между человеком и природой и отношения между людьми претерпели глубокие изменения; тогда бы он не выступал, как он это делает, сам того не зная, с позиций домарксового материализма, живя в эпоху материализма диалектического.

В частности, он не называл бы «деформацией» то, что является на самом деле «формированием» нового понимания перспективы. Он не рассматривал бы как нечто вечное для природы и искусства условность, вполне приемлемую для определенной эпохи, согласно которой картина должна непременно показывать нам мир с такой же точки зрения, с какой зритель, сидящий в партере, видит прямоугольник сцены, если он сохраняет полную неподвижность и прищуривает один глаз.

Он вовсе не находил бы абсурдным, что художник может принять иную условность не по своему капризу, а потому, что не менее «естественно» представить на картине вещи такими, какими их видит человек передвигающийся, действующий, вспоминающий, человек, который хочет передать свои *активные* отношения с миром, синтезировав в едином образе множественный опыт соприкосновения с одной и той же действительностью.

Эта новая условность ни в коем случае не произвольна, как думает Сучков, не ви-

дящий в «деформациях» Пикассо и Брака ничего, кроме «фантазий» и каприза; она отвечает новому положению человека в мире. Пейзаж представляется нам разным, в зависимости от того, передвигаемся ли мы пешком, по железной дороге, в автомобиле или в самолете. При скоростях, к которым мы привыкли, очертания вещей неизбежно упрощаются, иногда сводятся к простому знаку, а впечатления сжимаются, накладываются одно на другое. Наши восприятия и ощущения, которые, как подчеркивал Маркс, являются продуктом истории, глубоко изменились.

Поэтому не только право, но и долг художника — искать и открывать язык и технику, которые были бы способны выразить в соответствующей форме этот новый опыт.

Тот факт, что большая часть нашей жизни протекает не среди *данной* природы, а в мире вещей, *созданных* техникой, сконструированных человеком, также изменяет наше восприятие, наше видение, что с такой силой высказал и выразил в своей живописи Леже.

Запретить художнику осознавать это — значит обесплодить его поиски и открытия.

В последние годы марксисты приобрели тяжелый опыт — следствие той ошибки, что о ценности научной теории судили по тому, согласовывалась она или не согласовывалась с уже известными законами диалектики. Благодаря таким методам Лысенко и его школа привели к отставанию советскую биологию. То же самое происходило и в других областях, особенно в химии, я уже не говорю о том, что несколько лет назад считали кибернетику «буржуазной наукой». Но у наук есть то преимущество, что вред догматизма очень быстро становится очевидным в технике и в военной экономике. И можно только порадоваться тому, что в Советском Союзе борьба против догматизма приобретает все больший размах.

В области эстетики желание догматиков судить о произведении искусства, исходя из слишком узких критериев, сопоставляя его лишь с известными формами старого реализма, и представлять себе будущее не иначе, как безмятежное продолжение прошлого,— не менее вредно для поиска и творчества, но губительные последствия такой позиции не проявляются столь грубо и столь скоро. Тем не менее это последствия угрожающие, и в заключение я хочу перечислить некоторые из них.

■

Для француза важно прежде всего измерить последствия позиции, которая состоит в том, что начисто отбрасывается целый век французской живописи, именно тот век, когда изыскания и открытия «парижской школы» получили всемирное признание и оказали глубокое влияние на искусство, потому что ее величайшие мастера, от Моне до Ренуара, от Гогена до Ван Гога, от Сезанна до Пикассо, Брака, Леже и Матисса, а если говорить о более близких поколениях — Никола де Сталь, Лапика, Базена, Манесье, Пиньона, и десятков других талантов смогли создать произведения, отвечающие современному строю чувств и открывающие новые пути поиску будущего. Опираясь на эти великие произведения, легче всего научиться различать шарлатанов, как и подлинных «декадентов», паразитирующих на живом дереве нашей культуры. Но должно быть ясно — и Морис Торез многократно напоминал об этом, в частности, в связи с Леже и Пикассо,— что французские коммунисты, которые считают необходимым продолжать и развивать все здоровое и великое из созданного французской культурой, никогда не позволят оскорблять великую национальную традицию, в том числе открытия французской живописи со времени Сезанна.

С более общей точки зрения, придерживаться выдвинутых Сучковым критериев реализма, которые почерпнуты исключительно в произведениях Ренессанса и греко-римского классицизма,— значит обрекать себя на непонимание не только современных поисков в области пластических искусств, но и великого искусства народов, не принадлежащих к западному миру, искусства, которое не основывается на условности Ренессанса и тоже подпадает под обвинение в «деформации», идет ли речь о негритянской скульптуре или об искусстве Японии, Индии, стран Ислама. Здесь истоки непонимания, и оно может выйти за пределы искусства, если мы будем держаться за концепцию мира, не способную включить в себя все, что не порождено двумя ограниченными периодами в истории Запада.

Мы рискуем значительно обеднить таким

образом национальную традицию. Даже если недавно был реабилитирован Рублев,— как отнестись к богатому наследию византийского искусства, традиции которого так долго и в таком оригинальном выражении сохранялись в искусстве Грузии и в русской иконописи? Кроме того, позиция Сучкова приводит его к полному отрицанию столь богатых экспериментов (даже если многие из них потерпели неудачу или привели в тупик), предпринятых в начале XX века Кандинским, которого во времена Ленина Луначарский пригласил в Комиссариат просвещения и привлек к работе над реформой художественных школ и который в 1920 году получил звание профессора Московского университета, а в 1921 году основал Академию художественных наук и был ее первым вице-президентом. В это же самое время Малевич был профессором Академии в Москве, а потом в Ленинграде. Если даже мы далеки от теории Кандинского, мы не должны забывать, что его произведения оказали глубокое влияние на многих современных художников. А что говорить о Шагале, которого Сучков отвергает с тем же презрением, что и Кандинского и Малевича, и который в своей недавней блистательной росписи плафона парижского театра Оперы отдал такую прекрасную дань уважения своей родной России, напитав свою живопись воспоминаниями о родине, в частности о ее музыкантах, ее операх и балетах?

Наконец, подобные эстетические концепции проистекают из философской позиции, чреватой последствиями, выходящими за пределы искусства.

Недооценка активной стороны познания, творческой роли искусства, обедненное понимание теории отражения, нежелание или неумение критически усвоить все ценное, что дает немарксистская творческая мысль,— все это ведет к убогой философии, к домарксовому материализму, который выражается не только в варварском примитивизме эстетических взглядов, создающем благодатную почву для всех антисоветских и антикоммунистических кампаний, но и в столь же обедненной концепции человека, где стираются прекрасные черты, которые Маркс и Энгельс придали научному социализму, прославляя творческую мощь человека и бесконечные горизонты преобразования им мира, общества, его самого.

Иначе говоря, речь идет о том, что составляет нашу гордость и самый смысл нашего существования.

ОТ РЕДАКЦИИ

Опубликовав статью Б. Сучкова «К спорам о реализме» (№ 1 за 1965 г.), в которой, в частности, оспариваются ряд положений книги Роже Гароди «О реализме без берегов», мы помещаем в порядке обмена мнениями присланную нам статью Роже Гароди «О реализме и его берегах». Диалог между марксистами, товарищеское обсуждение новых и актуальных проблем искусства — необходимое условие плодотворного развития эстетической мысли.

Новая статья Роже Гароди вносит некоторые уточнения в его понимание вопросов реализма. Так, в своей книге «О реализме без берегов» Роже Гароди писал, что современное искусство «пришло к осознанию своей автономии по отношению к внешнему миру», что открывающаяся перед ним перспектива начинается «с утверждения человеком своего права на создание помимо природы и даже вне ее иной действительности», что в искусстве действуют «новые законы, независимые от естественных законов материального мира», и т. д. В публикуемой в этом номере статье Роже Гароди, напротив, подчеркивает: «Далекая от «пренебрежения формами и обликом реальности», далекая от «независимости от действительности», «вторая природа», созданная художником, заимствует у действительности *весь свой материал*. Более того, она обязана ей своей внутренней структурой».

В статье «О реализме и его берегах» Роже Гароди признает, что реализм имеет «берега», хотя и бесконечен в своем развитии, как бесконечно развитие самой действительности. Это придает его высказываниям несколько иной смысл. Роже Гароди обращается в этой статье к ленинской теории отражения, указывая, что он борется лишь против обедненного ее понимания. Он пишет, что эстетика «по необходимости имеет классовый характер, из чего вытекает право и обязанность партии вмешиваться в эту область». Все эти уточнения можно только приветствовать.

Тем не менее многое в статье «О реализме и его берегах», на наш взгляд, не может быть оставлено без возражений. Мы не будем подробно касаться полемических излишеств, оставим в стороне и тон статьи, хотя, на наш взгляд, он мог бы быть и более спокойным, и менее назидательным. Вни-

мательному читателю нетрудно убедиться, что Б. Сучков не повинен в «искажениях» взглядов Роже Гароди. О бесполезности споров с буржуазными учеными он писал по одному, вполне определенному вопросу, а именно об автономности искусства от общественной жизни. У Б. Сучкова не говорилось, что живопись Брака — это «враг номер один», и из его рассуждений это не следует. Творчество каждого художника надо исследовать объективно и конкретно-исторически, показывая, как отвечало оно на основные вопросы, поставленные историей. Разве неприятие тех или иных работ Брака 1910—1911 годов, которые отразили, по выражению самого Роже Гароди, «наиболее заумный период синтетического кубизма», значит оскорбление его?

Роже Гароди приводит столетней давности высказывания французского журналиста, высмеивавшего выставку импрессионистов, утверждая, что советские критики придерживаются сходных взглядов. Но как раз Б. Сучков, с которым Роже Гароди полемизирует, писал в своей работе «История и реализм»: «Импрессионизм несомненно возникал как одно из течений реалистического искусства... То новое, что внесла в живопись техника импрессионистов, имело целью своей максимально достоверную передачу природы и окружающего мира. Импрессионисты ломали условные, сочиненные, лишь внешне правдоподобные, традиционные и искусственные композиции позднеромантической и классицистической живописи, свившей себе гнездо под сенью официального академизма, по природе своей враждебного реализму и противопоставлявшего натуре условность сюжетов, цвета и композиции» («Знамя» № 4, 1962 г.). В том же духе оценивают это течение авторы других работ о французском искусстве, вышедших за последнее десятилетие.

Интерпретировать позицию советских критиков в том смысле, что ими «начисто отбрасывается целый век французской живописи», творчество ее величайших мастеров «от Моне до Ренуара, от Гогена до Ван Гога, от Сезанна до Пикассо, Брака, Леже и Матисса», нет оснований. Роже Гароди приводит отрывки из заметки о модернизме в 28-м томе БСЭ, который вышел в 1954 году и несет на себе явные следы идеологии культа личности. Б. Сучков не имеет отношения к этой заметке. Конечно, в старых работах и советских, и французских авторов можно найти немало неосновательных суждений, но надо ли хвататься за случайные, хотя и хлесткие цитаты в серьезном споре?

Если вести разговор так, чтобы «исключить всякую возможность спекуляции» на нашем споре по эстетическим вопросам, следует избегать поспешных и несдержанных замечаний, рисующих в неверном свете атмосферу интеллектуальной жизни у нас. Вряд ли стоило говорить, например, о недавней (?!) «реабилитации Рублева», чье творчество во все времена жизни нашего общества рассматривалось как национальная гордость русского народа и было объектом тщательного изучения. Советские искусствоведы, в частности академик Лазарев, проделали большую работу по изучению византийского искусства, выяснению его общеэстетического содержания, его связей с древнерусским искусством и его существенной роли в формировании искусства Ренессанса. Вообще для многонациональной советской критики и эстетики, обладающих большим опытом в изучении национальных форм искусства, близка задача исследования и усвоения лучшего в художественном наследии зарубежных, в частности азиатских и африканских, культур, ибо для нас ясен народный генезис свойственных им видов художественного мышления, которое наша эстетика в отличие от буржуазной не примитивизирует и не рассматривает как экзотику.

Не соответствует истине утверждение, будто в Институте мировой литературы книгу «О реализме без берегов» «обсуждали при закрытых дверях». На очередной научной сессии Института (отнюдь не закрытой) рассматривались вопросы развития реалистического метода и его взаимоотношения с модернизмом. Действительно, на сессии было несколько критических, но спокойных замечаний о книге Роже Гароди. Материалы сессии публикуются в печати, и легко убедиться, что то была научная дискуссия, о которой не стоило судить понаслышке.

Не будем перечислять все места статьи «О реализме и его берегах», порожденные полемическим увлечением автора. Есть вопросы, которые требуют серьезного, углубленного, научного изучения. К их числу относится проблема декаданса. Дух декаданса действительно обнаруживается в низкопробных фильмах и романах, пропагандирующих секс и жестокость, уводящих от

РОЖЕ ГАРОДИ
О РЕАЛИЗМЕ И ЕГО БЕРЕГАХ

действительности в мир «необычайных» приключений. Но рядом с этими «массовыми», простейшими формами, развивающими упадочные идеи и представления, существуют более усложненные формы декаданса, отмеченные метафизичностью мышления, отрицанием роли разума, неверием в человека, исповедующие иррационализм, исторический фатализм, философию абсурда, экзистенциалистские концепции бытия и человека.

Марксистской критике ныне приходится вести борьбу и с теми массовыми видами буржуазного искусства, которые, как правильно пишет Роже Гароди, распространяют человеконенавистнические идеи, прославляют эротику, насилие и полицейских героев, и с тем искусством, которое, объявляя себя без должных на то оснований выразителем новой действительности, несет на себе печать распада современного буржуазного сознания.

Само идейное содержание социалистического искусства определяет его активность, творческий дух, непримиримый ко всякой пассивности. Но противопоставление *воспроизведения* жизни в искусстве *активности* художника несостоятельно.

Прямолинейное деление искусства на два вида — создающее иллюзию реальности и нарушающее эту иллюзию — отодвигает на второй план центральную проблему реализма: вопрос об отношении искусства к действительности, развивающейся истории. Вопрос о способе изображения весьма важен, но он определяется характером отношения искусства к социальной действительности, и подлинный водораздел между искусством реалистическим и нереалистическим лежит в этом пункте. Концепция, выраженная в книге «О реализме без берегов», не вооружает искусство подлинной перспективой, не помогает ему найти пути решения эстетических проблем нашего времени. При внешней широте она на самом деле узка, ибо обслуживает одно направление в искусстве и игнорирует действительные богатства реализма, его истинные художественные завоевания, игнорирует конкретные особенности развития искусства разных стран и эпох.

Культура социализма наследует и творчески использует все богатство культуры прошлого. Об этом говорил не раз Ленин, призывая взять все ценное в культурном развитии всех эпох и народов, в то же время непримиримо отвергая и преодолевая реакционные элементы культуры. Когда советским исследователям рекомендуют, например, «интегрировать» творчество Кандинского и Малевича (кстати, факты их деятельности в первые послереволюционные годы изложены Роже Гароди не совсем точно) следует сказать, что Ленин именно в это время неоднократно требовал бороться с искусством «футуристического пошиба», его формалистическим и нигилистическим духом.

Уподобление нашего отношения к «авангардистскому искусству» тому отношению к генетике, какое было свойственно школе Лысенко, или тому, какое догматически мыслившие философы проявляли к кибернетике,— неправомерно, и параллель бездоказательна. Марксистской эстетике, советской критике, развивающимся в русле идей XX съезда, не свойственны замкнутость и эстетический консерватизм. Они выполняют свой долг перед социалистическим искусством, борясь за истину, против догматической заскорузлости и против всеядного отношения к культуре.

Обмен мнениями между Б. Сучковым и Роже Гароди показал, что существуют расхождения во взглядах, которые должны выясняться и преодолеваться в товарищеском диалоге. Но очень важно понимать дух и смысл этого диалога.

Во французской газете «Орор» появилась заметка, посвященная спорам советских эстетиков с Роже Гароди. Автор ее злорадствует и улюлюкает, явно стремясь «подзадорить» оппонентов и «накалить страсти». Пусть стараются эти господа! Мы убеждены, что товарищеские свободные дискуссии марксистов, так же как обмен мнениями между марксистскими и немарксистскими писателями и эстетиками, только укрепляют позиции марксистской мысли и способствуют творческому развитию передовой эстетической теории.

Заканчивая этими замечаниями обмен мнениями на страницах «Иностранной литературы», мы уверены, что диалог будет продолжаться и углубляться в научных дискуссиях, в исследованиях советских и зарубежных марксистов по актуальным вопросам современного искусства.

в Венгрии

СПОРЫ ВОКРУГ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Интересное явление венгерской литературы последних лет — развитие так называемого «социографического» жанра, вокруг которого разгорелась оживленная дискуссия.

Что представляет собой этот литературный жанр? Дать его исчерпывающее определение довольно трудно. В общих чертах, это создаваемая писателем зарисовка какого-либо уголка действительности, картина общественной жизни, выражающая его индивидуальное отношение к тем или иным ее проблемам. Но при этом автор опирается на конкретные факты, называет события и действующих лиц их подлинными именами, нередко приводит статистические данные, как в научном исследовании.

Жанр этот имеет в Венгрии свою предысторию. Зародился он уже в начале столетия и получил значительное распространение между двумя мировыми войнами. Тогда по примеру советской литературы и немецких пролетарских писателей венгерские писатели-коммунисты, а также литераторы, стоявшие близко к партии, стали уделять большое внимание «литературе факта», документальной литературе, в которой нищенское и угнетенное положение народа внешне беспристрастно, но по существу бунтарски противопоставлялось образу жизни господствующих классов.

Однако в Венгрии этот жанр получил наибольшее распространение в творчестве крестьянских, так называемых «народных писателей». В 1935—1938 годах в целом ряде созданных ими литературных произведений такого рода была отображена невероятная нищета и ужасающее положение деревенской бедноты и сельскохозяйственных рабочих. В то время увидели свет такие замечательные книги, как «Народ степей» Дюлы Ийеша или «Отчет» Петера Вереша, являющиеся одновременно автобиографическими произведениями и общественными полотнами, собраниями фактов и исповедью авторов.

В течение длительного времени после освобождения страны этот жанр не привлекал внимание писателей, поскольку его развитию препятствовали определенные догматические предрассудки. Лишь три-четыре года назад наметился новый подъем в области очерковой литературы о деревне.

Первой ласточкой явилось «Глубинное течение» молодого прозаика Дюлы Чака — очень личный рассказ о внутренних проблемах одного из сельскохозяйственных кооперативов в Алфельде *. Затем появился «Репортаж из башни» талантливого поэта Шандора Чоори — очерки о жизни деревни, в которой автор родился. Писательница Эржебет Галгоци также рассказала о своем родном селе в этом жанре. Многие бывшие «народные писатели» посетили места, о которых когда-то писали, с намерением показать произошедшие там изменения и осветить дальнейшие задачи.

Так появились новые книги Гезы Фейи, Яноша Кодолани, стихи Дюлы Ийеша и его «Рацэгрешская тетрадь» — пожалуй, наиболее поэтичное произведение в этом роде. Вслед за ними к таким лирико-документальным очеркам обратились уже многие представители молодого и среднего поколений писателей.

Словом, в последние годы мы постоянно встречаем эти очерки на страницах венгерских литературных журналов. Не только прозаики, но и молодые поэты и даже критики, испытывая потребность поделиться с читателем своими впечатлениями, обращаются к этому жанру, позволяющему зафиксировать конкретные факты. О степени популярности таких произведений свидетельствует издание составленного Эрне Гондошем двухтомника «По велению жизни», в который вошло лучшее, что создано в этой области в прошлом и в настоящее время.

Сразу же после появления первых, как у нас по старой памяти говорят, «социографических» произведений — уже в 1962 го-

---

* Алфельд — большая венгерская низменность.

ду — вокруг них разгорелись жаркие споры, продолжающиеся и по сей день. В ходе споров определились две главные проблемы. Во-первых, насколько правильна картина, создаваемая писателями, верно ли они отображают действительность? (Особенно резко, иногда даже излишне резко, этот вопрос ставился в ходе дискуссии об упомянутом произведении Дюлы Чака, в связи с которым писатель обвинялся в субъективизме.) Во-вторых, уже в 1963—1964 годах возникла новая проблема, имеющая более общий характер: какова цель «социографических» произведений, в чем причины ее возрождения, имеет ли она право на существование и в каком направлении идет ее развитие?

Сам Дюла Чак так определял цель этой литературы: «Появление и распространение ее можно рассматривать как стремление познать и объяснить жизнь общества, как поиски новых средств выражения и подготовку к созданию более зрелых, «чисто» художественных произведений. В то же время ее можно считать формой писательской публицистики — формой, кажущейся автору самой подходящей в данный момент.

Отдельные лирико-очерковые произведения или их сборники, появившиеся в последнее время, содержат все эти черты, и сейчас нет уже необходимости доказывать, что объективно, как явление и выражение определенной тенденции, они очень полезны, так как затрагивают злободневные проблемы, обращаются ко всем и каждому, побуждают к спорам, приучают самостоятельно мыслить, облегчая познание жизни народа, окружающей действительности. Разумеется, по своему уровню произведения эти очень неравноценны, но и самые слабые из них, пусть даже косвенно, помогают освободиться от схематических представлений о действительности, заглянуть в самые различные уголки нашей родины.

Хочу еще раз подчеркнуть: преобладают в них не частности, не статистические «подсчеты». Речь идет о литературном обобщении. Надо сказать, что «литература факта» наших дней по художественному уровню уступает произведениям этого жанра 30-х годов и по сравнению с произведениями тех лет отличается меньшим вниманием к вопросам чисто экономическим. В 30-х годах правящие круги всячески стремились скрыть, замаскировать всеобщую нищету, а писатели, наоборот, стремились показать ее как можно более убедительно. Сегодня, когда экономическое положение коренным образом изменилось, задачей писателей является, скорее, изучение настроений народа, изучение его духовного мира. Образно говоря, писатели прислушиваются к биению человеческих сердец, ибо качественное преобразование всего общества, построение социализма могут быть завершены лишь при условии глубокого знания сегодняшнего образа мыслей и настроений народа.

Сейчас главная задача в том, чтобы появилось как можно больше правдивых литературных зарисовок, сделанных непосредственно с натуры, чтобы литература как можно полнее охватила жизнь страны, народа с ее радостями и борьбой. Тогда и народ все больше будет чувствовать литературу своей — именно в силу ее достоверности и стремления к правде, в силу того, что литература будет все более прекрасной, ибо что может быть прекраснее правды».

Другие литераторы и критики хотя и признают искренность стремления глубже раскрыть действительность, в то же время проявляют бóльшую осторожность в суждениях, выражая определенную озабоченность по поводу объективной роли очерков о деревне. Подобную осторожную позицию занял в 1962 году, после появления упомянутого произведения Дюлы Чака, социолог Иштван Маркуш.

С обстоятельностью ученого и увлеченностью страстно влюбленного в литературу общественного деятеля высказался об этом один из крупнейших венгерских социологов и экономистов Ференц Эрдеи: «Существуют индивидуальные различия между писателями: каждый изучает ту или другую сторону изменений, происходящих в нашей жизни. Но объединяет их общее стремление — бороться со всем, что мешает социалистическим преобразованиям и тормозит их,— будь то крестьянская отсталость или бюрократизм, догматическое мышление или беспринципность; показать, что же необходимо сделать для раскрепощения деревни от всего, что обедняет и сковывает ее жизнь, — будь то вкусы и представления или формы ведения хозяйства и недостатки в благоустройстве населенных пунктов или пробелы в воспитании чувства человеческого достоинства.

Спрашивается, родственно ли это стремление той страсти, которая владела нами, исследователями старой деревни? Несомненно, чувства эти родственны; но все же не тождественны. Нас роднит желание улучшить положение крестьянства, уничтожить отсталость степных районов, хуторов и деревень; но различие в том, что само преобразование жизненных условий и в особенности цель этого преобразования понимаются уже совсем иначе.

Если сопоставить произведения Чака, Чоори, Ваци, Галамбоша, Галгоци и их ближайших соратников, легко заметить, что новое поколение писателей глубоко одобряет исторические процессы, сметающие старый крестьянский мир. Им не внушает опасений экономическое и общественное развитие деревни по социалистическому пути, больше того — все их помыслы направлены на то, чтобы как можно скорее изменилось все, что еще осталось старого. (Между тем старшее поколение, с одной стороны, не было столь единодушным, но с другой, хотя преобразование находилось тогда лишь в начальной стадии, больше задумывалось, что же будет после того, как условия жизни изменятся.)»

И Ференц Эрдеи, наряду с признанием необходимости изучения деревни, настойчиво обращает внимание писателей на важность исследования жизни крупного социалистического города. Статья завершается такими словами: «Научные исследования в области социологии штурмуют и эту сторону общественной жизни, и ученые выполняют стоящую перед ними задачу с помощью средств, имеющихся в их распоряжении. Однако вместе и наряду с этим необозримые возможности открываются здесь перед писателями. И то, и другое одинаково необходимо для нашей социалистической литературы, для ее формирования».

Критик Вильмош Фараго так определяет возможности рассматриваемого жанра: «Если и остались еще неизученные области жизни, они ждут прежде всего не лирики, пусть «документированной», а научно точных социологических эссе, рассматривающих последствия, к каким приводят экономические изменения в сфере общественного сознания и общественного поведения. Утверждая, что «литература факта» отнюдь не является главным средством точного отображения общественной жизни, что она и в литературе играет лишь вспомогательную роль, мы отнюдь не снижаем ее значения, а лишь отводим ей подобающее место. Нам представляются более значительными не познания об обществе, которые получают читатели, а влияние, которое, как можно ожидать, окажет этот жанр на писателей и на другие литературные жанры. Дюла Чак прав, говоря, что писатель, творящий в этом жанре, отдается на волю фактов и, пытаясь упорядочить свои впечатления, в конце концов находит «самого себя» — определяет свое отношение к фактам. И это действительно самое важное: он «обретает внутреннюю гармонию, находит прочный фундамент, на котором может с уверенностью строить прочное здание романов, драм и стихов».

В 1963 году было написано, а в 1964 году опубликовано произведение, в одинаковой степени оправдавшее надежды Фараго и Эрдеи,— вышли в свет «Двадцать часов» Ференца Шанты. В этой книге отражены преобразования, которые привели в движение множество человеческих судеб и страстей, наиболее полно по сравнению с другими произведениями последних лет показан сегодняшний день венгерской деревни. Книга стала событием в венгерской литературной жизни, ибо писатель нашел в ней новые художественные средства для передачи своего замысла. Произведение написано в форме репортажа, а в отдельных местах даже в виде протокола. Мы как бы слышим монологи отдельных действующих лиц или читаем немного «корявый» протокол кооперативного собрания. И все же перед нами сменяется множество событий, эпизодов, столкновений, происшедших в деревне за минувшие двадцать лет,— земельная реформа, контрреволюция, новое укрепление социалистических производственных кооперативов; проходят сложные и трудные человеческие судьбы. Книга Ференца Шанты — это одновременно и очерк и незаурядное художественное произведение.

Интерес к рассматриваемой проблеме не остыл и в конце 1964—в начале этого года. Надо отметить, однако, и некоторые явления, вызывающие определенную настороженность. Речь идет о появлении писателей, для которых жанр «социографии» стал чуть ли не модой. Вышло немало произведений, читая которые трудно избавиться от мысли, что авторы обращаются к форме протокольных записей или простого описания лишь с целью избавиться от необходимости строить образы, действие, создавать лирическую атмосферу. А это означает, что многообещающий литературный жанр подвергается опасности стать серым и скучным. Надо сказать, что некоторые критики уже обратили внимание на поверхностность творчества отдельных таких писателей.

Развернулась дискуссия и об аналитических возможностях «литературы факта», о ценности ее для науки.

Руководитель научно-исследовательской группы по социологии венгерской Академии наук Андраш Хегедюш опубликовал обширную статью о соотношении научной социологии и «литературы факта». По его мнению, «научные произведения могут обрести в литературе дополнительный импульс, и наоборот — писатель может опереться на исследования ученого, на теоретические концепции, вытекающие из социологического изучения общества. Социология точно так же, как и социография, ставит своей целью более полное и многогранное познание общественной действительности... В деле раскрытия ее законов те и другие могут быть полезными, если будут опираться на помощь со стороны партии, ибо в наших условиях именно партия концентрирует всю сумму знаний об обществе и использует их для формирования норм общественного поведения...»

В отношении специфики «литературы факта» Хегедюш высказывается следующим образом: «В литературе этого рода, как и вообще в художественных произведениях, могут использоваться опирающиеся на конкретные данные логический, исторический анализ и даже математическая статистика; но здесь все это играет вспомогательную роль, уступая главное место авторскому замыслу и художественной индивидуализации. Художник прежде всего воплощает типическое в индивидуальном, даже если он создает социографическое произведение...»

Несколько слов об одном интересном опыте. Хортобадь, некогда романтический степной край отважных пастухов, сейчас стал центром крупного животноводческого и рыбоводческого хозяйства. Писатель и журналист Тибор Т. Надь долгое время

МИКЛОШ САБОЛЧИ
СПОРЫ ВОКРУГ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

жил в одном из хортобадьских госхозов и рассказал обо всем увиденном в статьях, которые публиковались в различных литературных журналах. Эти статьи сейчас же, прямо «на месте действия» обсуждались с руководителями хозяйства при участии редакции того или иного журнала. В итоге обсуждений были сделаны вполне конкретные выводы: руководству госхоза нужно больше внимания уделять как вопросам развития общественного хозяйства, так и личным проблемам, волнующим его работников, а писателю при вынесении окончательного суждения следует рассматривать их не только «снизу», с точки зрения простых рабочих, но и «сверху». Ему нужно понимать чувства, раздумья и намерения руководителей, мыслить в масштабах всей страны.

Споры вокруг рассматриваемого в нашем обзоре жанра уже привели к постановке более общего вопроса: в чем ценность субъективности писательской оценки, содержащейся в «литературе факта», где границы этого субъективизма и чем дополняет «социография» научное познание? Инициатором этой новой, еще не завершенной дискуссии выступил молодой социолог Карой Варга, статья которого опубликована в одиннадцатом номере журнала «Критика» за 1964 год. Молодой автор с известной односторонностью увлеченного своим предметом ученого отдал предпочтение научной политико-экономической социологии, недооценив возможности художественных средств познания.

Его статья уже вызвала бурную реакцию. Разгоревшиеся споры показывают, что широкое распространение «социографии» свидетельствует о наличии и других, более глубоких проблем, затрагивающих вопрос о месте литературы и вообще искусства в новом социалистическом обществе,— о необходимости нового определения и основательного выяснения взаимосвязи литературного и научного познания. Бесспорно одно, и этим мы завершим наш рассказ: обращаясь к литературно-документальному жанру, венгерские писатели руководствуются страстным стремлением к разностороннему познанию окружающей действительности и в служении ей движимы убеждением в воспитательной и преобразующей роли литературы.

Миклош Саболчи

Культура и современность

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ДИАЛОГ О СВОБОДЕ И ДОЛГЕ ПИСАТЕЛЯ

У этого диалога долгая и бурная предыстория. Один из участников его — молодой западногерманский писатель-католик Рольф Хохгут, чье имя второй год не сходит со страниц газет и журналов всего мира. В 1963 году Хохгут дебютировал своей драмой «Наместник», рассказав в ней о постыдной роли, которую играл Ватикан в годы второй мировой войны, открыто попустительствуя гитлеровской политике массового истребления евреев. Драма Хохгута, с бескомпромиссной категоричностью констатировавшая огромную вину римской церкви и папы Пия XII в преступлениях фашизма, как гром среди ясного неба обрушилась на столпов неокатолицизма и милитаризма, в безмятежном согласии делящих политическую власть в западногерманском государстве. Поистине триумфальное шествие драмы Хохгута по сценам западногерманских и европейских театров сопровождалось беспрецедентной даже для ФРГ кампанией травли молодого драматурга. Лагерь «критиков» Хохгута обширен, но сплочен и простирается от западногерманского епископата до западногерманского министерства иностранных дел и рупора реваншистских кругов — газеты «Дейче национальцейтунг унд зольдатенцейтунг».

Второй участник диалога — словацкий писатель и публицист Ладислав Мнячко, опубликовавший недавно свою новую книгу «Запоздалые репортажи». Книга Мнячко рассказывает о грубых нарушениях социалистической законности в Чехословакии в период культа личности. Вопреки воле автора, книга эта в искаженном виде была издана в Западной Германии и приспособлена таким образом для нужд антикоммунистической пропаганды. Протестуя против незаконного опубликования своей книги в ФРГ, Мнячко обратился с открытым письмом к Рольфу Хохгуту. Выбор Мнячко был не случайным. Хохгут в свое время не разрешил ставить «Наместника» в социалистических странах, опасаясь, что пресса и государство смогут использовать пьесу для пропагандистских нападок на церковь. Итак, непосредственным поводом для диалога послужило нарушение западногерманскими издателями международной конвенции по авторскому праву. Но разговор двух писателей об авторских правах перерос в большой и принципиальный спор о месте и задачах писателя в современном обществе. Свидетельством тому является ответ Рольфа Хохгута Мнячко, опубликованный 16 октября 1964 года в гамбургском еженедельнике «Цейт», и письмо Ладислава Мнячко Хохгуту, опубликованное в первом номере словацкого еженедельника «Культурны живот» за 1965 год.

Прежде всего, проблема авторского «вето» на издание книги в той или другой стране. Хотя она и оказалась частным вопросом в полемике между Хохгутом и Мнячко, тем не менее уже в обсуждении этой проблемы наметилась принципиально отличная позиция обоих писателей по более важным вопросам. Мнячко аргументировал свой запрет на публикацию «Запоздалых репортажей» в ФРГ не только тем, что не хотел, чтобы его книгу «присовокупили к антикоммунистической клевете», но и прежде всего тем, что он рассматривал свои репортажи как «внутриполитическое», а не художественное выступление. Обращаясь к Хохгуту, Мнячко пишет:

«В случае, если бы Вы разрешили поставить «Наместника» в Чехословакии, Вы оказались бы в очень хорошем обществе переведенных у нас западногерманских писателей... У нас после войны вышло более ста переводов из современной западногерманской литературы, а в Западной Германии моя книга должна была оказаться — после многолетних утверждений, что у нас вообще никакого искусства и литературы нет,— одним из первых переводов. Почему именно эта книга? Я довольно внимательно слежу за западногерманской печатью и знаю почему. И Вы тоже знаете — Вы написали об этом в своем ответе».

Хохгут обосновывает свое «вето» иначе.

«Точно так же,— пишет он,— как нужно безоговорочно критиковать церковь там, где она является господствующей силой в государстве, как у нас, надо самым решительным образом защищать ее там, где она приперта к стене, как на Востоке».

Даже если отвлечься пока от столь поспешной категоричности этого последнего заявления Хохгута, сама его основная посылка в высшей степени неубедительна. Разве идея художественного произведения как-нибудь меняется в зависимости от языка, на который оно переводится (если, конечно, оно переводится не так, как были переведены на немецкий язык «Запоздалые репортажи» Мнячко)? Разве деятельность его святейшества папы Пия XII, как она изображена в драме Хохгута, разве этот позорный и преступный Мюнхен в делах божьих должен быть таким лишь для немецких католиков, но не для чешских или польских? Почему, наконец, «безоговорочная критика церкви» возможна *только* там, где она является господствующей силой в государстве? Критика — это не анархическое фрондерство ради фрондерства, и сама драма Хохгута, с ее глубоким этическим и гражданским пафосом, тому доказательство. Что же касается истинного положения церкви в социалистических странах, то на этот вопрос убедительно отвечает оппонент Хохгута:

«Мы судили священников,— пишет Мнячко,— за их политическую деятельность, направленную против молодой революции... Ни один священник, господин Хохгут, не подвергался преследованию за проповедь слова божьего. Семь тысяч священников каждую неделю выступают в Чехословацкой Социалистической Республике с амвонов со словом божьим при полных церквах. За эту деятельность им платит государство, и хорошо платит. Но законы они должны уважать так же, как и другие граждане».

Обосновывая в письме к Мнячко свою позицию, Хохгут переходит и к более широким обобщениям. Он, в частности, пишет:

«Если нам наша страна предоставляет возможность безнаказанно критиковать обстановку в ней, нашим долгом является воспрепятствовать тому, чтобы за границей использовали нашу критику против нас... Это письмо... защищает церковь, защищает Федеративную Республику и меня от опасности, что «Наместника», в котором говорится об исторических событиях более чем двадцатилетней давности, могут пропагандистски втянуть в полемику с нашей действительностью и использовать против нас».

Как мы видим, Хохгут довольно определенно отождествляет себя с западногерманским государством. И как-то обидно, что это говорит писатель, чей голос был одним из самых тревожных и самых предостерегающих голосов, воскресивших перед современниками страшные призраки прошлого. Потому что Хохгут писал в своей драме *не только* о событиях двадцатилетней давности — в пространных ремарках к драме (кстати, свидетельствующих и о таланте Хохгута как прозаика и публициста) он говорил о том, что прежние виновники страшных злодеяний преуспевают в этом самом западногерманском государстве. Да и в своем письме Ладиславу Мнячко Хохгут в другом месте пишет:

«Я являюсь гражданином государства, суд которого еще и сегодня прикрывает кровавых судей периода нацизма гитлеровскими законами и кормит их пенсиями, которые в восемь раз превышают пенсии, получаемые жертвами этих юридических убийц».

Так что же такое боннское государство? «Либеральная республика Эрхарда и Брандта», как называет его Хохгут в одном месте своего письма, призывая не путать его с гитлеровской Германией, или государство, «суд которого прикрывает кровавых судей периода нацизма», как он характеризует его абзацем ниже? Не слишком ли много приносит в жертву Хохгут, защищая это странно двуликое государство своим именем?

И тут перед нами открываются истоки этого поистине вопиющего противоречия в рассуждениях западногерманского писателя. Они — в магическом слове «свобода». Хохгут считает, что, защищая Федеративную Республику от «восточной пропаганды», он отдает дань уважения свободе, царящей в этом государстве. Он ставит, в частности, боннскому государству в заслугу то, что оно не оказывало финансового нажима на западногерманские театры, которые ставили «Наместника».

«Пьесу, правда, осудили в боннском парламенте,— пишет Хохгут,— когда против нее выступил министр иностранных дел, но не было ни единого театра,

который потерял бы хоть пфеннит из дотации в связи с постановкой этой пьесы. Разумеется, различные местные политики преследовали директоров театров — но другие их очень деятельно поддерживали. Во всяком случае, никогда не зависело от решения государства или города, а только от гражданского мужества директора того или иного театра, будет он ставить эту злосчастную пьесу или нет».

Хохгут явно недооценивает степень политической маневренности боннского государства в вопросах культуры, когда говорит о финансовых дотациях. Другие западногерманские писатели уже поняли истинную цену *такой* писательской свободы. Об этом писал Генрих Бёль в своей статье «Что значит сегодня быть слева»; трагическим символом этой шутовской свободы стал бёлевский Ганс Шнир — герой его романа «Глазами клоуна». Западногерманский писатель Ганс Эрих Носсак сделал в своем романе «Младший брат» горькое признание: «Иногда мне кажется, что с нашей стороны просто преступление продолжать писать книги... ведь боннские провинциальные тузы только руки потирают от удовольствия, позволяя нам писать книги,— потому что они могут хвастаться демократией и свободой слова... Мы для них — индульгенция, которую они могут в любое время предъявить, чтобы с новыми силами приняться за свое дело». Да и сама хохгутовская постановка вопроса внутренне противоречива — уж кто-кто, а Хохгут должен был бы понять на горьком опыте своей драмы, что своеобразной формой запрета может оказаться и организация общественного мнения и что «гражданское мужество», о котором он говорит, не возникает само собой, а вызывается необходимостью в нем.

Отвечая Хохгуту, Ладислав Мнячко берет эту проблему в ее чисто политическом аспекте.

«По какому праву,— спрашивает он,— капиталистический Запад бросает нам обвинение, что у нас террор, отсутствие свободы, диктатура, что мы вынашиваем какие-то планы о мировом господстве, хотим поработить всю землю? Западная демократия, господин Хохгут, после окончания второй мировой войны вела много «малых», «локальных» войн, и, мне думается, жертвы этих войн тоже исчисляются миллионами. Отовсюду — Вьетнам ли это или Индонезия, Египет или Тунис, Марокко или Алжир — западная демократия убиралась только после краха своей военной силы. Нет, не отовсюду: в Гватемале она задавила народ, который попытался жить по-иному. То же самое она хочет сделать и на Кубе. Западная демократия бомбит суверенные государства — Северный Вьетнам и Камбоджу, сует свой нос в политику Лаоса... По какому праву? И при этом она кричит, что это все дело рук коммунистов... Однако, господин Хохгут, социалистические страны нигде не держат за морями свои воинские части под видом «защиты» свободы народов! Социалистические страны строго соблюдают решения международных конвенций, они не посылают военные корабли к берегам чужих стран. Они не стремятся поставить на колени другие народы, подчинить себе другие государства. Так чего же тогда стоит система двух или более политических партий, какова цена такой демократии, если она не может обуздать насилие, совершаемое государством, в котором она стоит у власти?»

Говоря о тех нарушениях демократии, которые были в социалистических странах в период культа личности, Мнячко продолжает:

«Мне, господин Хохгут, всегда как-то горько слышать критику наших ошибок из уст католика или, скажем, кальвиниста. Коммунистические партии в социалистических странах вовремя поняли, что то, что мы называем «культом личности», является отрицанием принципов, основ и морали марксизма-ленинизма. У нас хватило мужества и силы покончить с этими деформациями прежде, чем они смогли затронуть основу нашей идеологии, прежде, чем они смогли привести нас на край гибели. Я не знаю в истории другого политического движения, которое нашло бы в себе достаточно мужества, чтобы рассчитаться с собственными ошибками, рассчитаться так открыто перед всем миром, как это сделали коммунисты на XX съезде, в то время, когда все было как будто в порядке, когда они имели в руках всю власть, когда они были сильны. Политические программы, движения и системы уходят из истории обычно после омертвения, банкротства или же — и так бывает чаще всего — после вмешательства извне, побежденные другой силой. Культ личности устранили из жизни социалистических стран коммунисты... А для этого были нужны большое мужество и глубокая нравственность.

В Западной Германии — простите мою откровенность — сегодня много говорят о гуманизме, о демократии, о свободе, но всегда как-то в связи с нашей «негуманностью», с нашей «диктатурой», с нашей «несвободой». Я не сомневаюсь в искренности некоторых из этих голосов, хотя, на мой взгляд, не всегда справедливых. Однако мне кажется, что эти искренние голоса зачастую опираются на какие-то дополнительные инструкции. Конечно, быть сегодня в Западной Германии демократом не так-то просто. Я не имею при этом в виду внешние стимулы, которые дает боннское правительство, не выступая против

художественных произведений и их авторов. Я имею в виду внутреннюю жизнь немца, демократа-немца, который показывает на нас пальцем, но в душе своей еще не созвал очищающий XX съезд...»

И, наконец, одним из основных предметов спора между Хохгутом и Мнячко стала проблема партийности и творческой свободы писателя. Рольф Хохгут пишет Мнячко, что ему непонятно, как можно «принадлежность к правящей партии страны соединить с миссией писателя», как можно «критиковать — и в то же время быть согласным с господствующей, а тем более с неограниченно господствующей силой и позицией». Заметим, Хохгут опять подчеркивает свое неприятие именно «правящей» партии, подобно тому как он признавал необходимость критики церкви, лишь когда она находится в положении *господствующей* силы. Как видно, в сознании демократической западногерманской интеллигенции понятие правящей силы прочно отождествлялось с понятием несправедливой силы. Отсюда и крайне сбивчивые рассуждения Хохгута о самом понятии силы.

«Я не придерживаюсь того мнения, что сила сама по себе уже является злом, точно так же, как пацифизм сам по себе не является добром... Но я убежден, что мужество от наглости отделяет такой же маленький шаг, как силу от насилия, и поэтому я думаю, что никакой писатель не должен никому помогать в насилии ..»

Никому не помогать *в насилии* — достойный всяческого уважения моральный постулат для писателя. Но как же все-таки быть с той силой, которая не является злом и существование которой признает Хохгут? Неужели писатель не должен поддерживать и ее, поскольку всякая сила, по мнению Хохгута, имеет тенденцию превратиться в насилие? Даже если отвлечься от крайней недиалектичности этого утверждения, *нелогичность* рассуждений Хохгута бросается в глаза. Они основаны на не замеченной самим писателем подмене понятий — довольно четко отграничив силу от насилия, он тут же снова отождествляет их.

При этом Хохгут — писатель искренне демократических взглядов — далек от официального антикоммунизма западной идеологии. Он с подчеркнутой решительностью заявляет, что коммунистическая партия на Западе необходима, что «она должна выступать в каждой стране так же грозно, как выступает в ней беднота». Но его пугает мысль о том, что эта грозная сила станет властью — он готов ее защищать лишь до тех пор, пока она гонима. Страх перед коммунизмом — в данном случае несомненное предубеждение, в котором, очевидно, не последнюю роль сыграла многолетняя официальная пропаганда,— причудливо переплетается у Хохгута с религиозной моралью раннехристианской окраски. Убеждение, что всякая сила есть потенциальное насилие, стало для него фантомом.

Хохгут высказывает и еще одно принципиальное возражение против партийной позиции писателя — по его мнению,

«партийность в буквальном смысле слова ни в коем случае не может быть правдой, она может представлять лишь частичную правду».

Хохгут, таким образом, считает партийную позицию неизбежно односторонней. Однако эта концепция «частичных правд» несостоятельна прежде всего теоретически. Конечно, каждое явление имеет бесконечное количество свойств, качеств, сторон, находится в самых разнообразных связях со всем остальным миром, и, если рассуждать *абстрактно,* то о каждом явлении действительно можно высказать сколько угодно «частичных истин». Но одно дело диалектика, а другое дело эклектика. Эклектическое решение вопроса и заключается в рассмотрении данного явления как простой суммы этих «частичных истин», но «свобода от односторонности», достигаемая таким образом, будет мнимой; реальной будет лишь «свобода» от конкретного решения проблемы. Диалектическая же точка зрения исходит из того, что истина всегда конкретна, а это значит, что в данных исторических условиях истина «со всех сторон» одна и подлинная партийность заключается в отстаивании этой конкретной «полной» истины, в противоположность растворению в безбрежном море «частичных правд».

Хохгут явно не отдает себе отчета в том, к каким практически-политическим выводам приводит логика его концепции. Вот он пишет далее:

«Я думаю, что коммунист в своей позиции похож на священника, который все, что он думает, позволяет и проповедует, в конечном итоге измеряет правдой своего убеждения, впадая в убийственную ошибку, что существует только одна эта правда».

Другими словами, Хохгут упрекает коммунистов в фанатизме. В полемическом пылу, напоминая древнее изречение «Выслушаем и другую сторону», Хохгут готов оправдать, например, политических врагов коммунизма — для него люди, невинно пострадавшие в период культа личности, и подлинные государственные преступники равно окружены ореолом мученичества.

Странно слышать проповедь такой безбрежной терпимости именно из уст Хохгута — с таким сарказмом рисовал он в «Наместнике» папу Пия XII, практиковавшего терпимость по отношению к гитлеровским преступникам. Что остается от правды, когда оправдывается *каждое* убеждение? Ведь по этой логике можно оправдать и

Пия XII. Нет, правда в конечном счете все-таки одна — диалектику нельзя подменять релятивистской софистикой. И веру в свою правоту не надо смешивать с фанатической слепотой. Ее надо уважать — за нее умирали люди. За нее умер, между прочим, и герой хохгутовской драмы — он знал, что умирает не за «частичную» правду, и он умер, не усомнившись в том, что прав он, а не Пий XII. Зачем же Хохгуту отказывать другим в том праве, которое он так безоговорочно признал за своим героем? Можно представить себе, что в сознании Хохгута, как и многих других западных интеллигентов, еще сильно недоверие к идеям коммунизма, порожденное и культом личности, и официальными спекуляциями на нем, продолжающимися на Западе до сих пор. Но величие идеи все-таки не измеряется ошибками тех, кто ее осуществляет, как бы серьезны ни были эти ошибки. Между прочим, если Хохгут назвал свое письмо Мнячко «Способность и свобода бунтовать», то Мнячко назвал свой ответ Хохгуту «Способность и свобода понимать».

Именно к разумному пониманию призывает Мнячко своего оппонента.

«Вы спрашиваете, господин Хохгут, как я могу одновременно быть и коммунистом, и писателем. Но я такой же вопрос мог бы задать, например, господину Бернапосу: как он может быть католиком и писателем... Идейное развитие господина Бернапоса, которое каждый должен уважать, поскольку оно формировалось на основе его личного опыта, привело его к католицизму. Меня мой личный опыт, знания, мое логическое развитие привели к марксизму-ленинизму. В этом смысле я «завербован». Да и другие, более уважаемые писатели, пришли к этому же замечательному финалу... Наша чехословацкая культура уже до войны была бы немыслима без коммунистического авангарда. Именно он представлял в чехословацкой литературе и искусстве все самое лучшее, самое доброкачественное и самое талантливое. Фучик, Незвал, Ванчура, Галан, Новомеский, Ольбрахт, Гашек, Станислав К. Нейман, Майерова... Литература XX столетия немыслима без того вклада, который внесли в ее общее достояние писатели-коммунисты... Я, господин Хохгут, рассуждаю в категориях не какой-нибудь абстрактной, всеобъемлющей правды. Я пишу о том, в чем убежден, что подсказывает мне мой опыт, что считаю правильным. Я могу и ошибаться, но прежде всего важны убеждения. Тот, кто не ошибается, может меня поправить... Я и мне подобные — мы не делаем из себя ни апостолов, ни святых, ни трибунов. Мы писатели-коммунисты, писатели-публицисты, и, пока нас не оставили силы, мы создаем и будем создавать социалистическую литературу. Это не всегда легко, господин Хохгут, но самое главное, что это возможно. Писатель, ищущий легких путей, не стоит ломаного гроша ни у вас, ни у нас. Я могу уважать писателя-католика, писателя-либерала, но я не могу уважать писателя, который не является никем, только писателем, который ничем не интересуется, кроме литературы. Пусть они живут, пусть творят, почему бы и нет? Но пусть не советуют мне быть такими, как они... Знаете, что принципиально отличает интеллектуала-немарксиста от интеллектуала-марксиста наших дней? Художник-марксист трудится для человека, видит развитие человека в исторической перспективе. Будучи оптимистом, он верит в эволюцию человека и знает, что из охотника на мамонтов человек превращается во что-то другое, более достойное, красивое, культурное. Я лично не только верю, но знаю, что человек может быть и в данных условиях этого мира счастливым...»

«Способность и свобода понимать»... Путь к ним писателей Запада осложнен многими предубеждениями, но голоса таких, как Рольф Хохгут, свидетельствуют о серьезном стремлении понять. Искренность этого стремления у Хохгута не подлежит сомнению. Достаточно сказать, что там, где речь не идет о пресловутой «западной свободе», суждения Хохгута обнаруживают большую реалистичность. Он понимает, что «выздоровление Европы зависит от нашего мира с Россией», что путь к объединению Германии «ведет через наилучшие из мыслимых отношений не только Бонна к Москве, но и немецкого народа к русскому народу, так невероятно пострадавшему от жестокостей войны, развязанной Гитлером». О высоком чувстве гражданской ответственности у Хохгута говорит и то, что от лица западногерманских людей доброй воли он высказывает твердую решимость

«сохранить мир и уважать границы... признание которых уже стало фактом вследствие безоговорочной капитуляции в 1945 году и которые немцы давно научились с горечью признавать как необратимые последствия национал-социалистской завоевательной политики».

Наконец, документом именно гражданской ответственности явилась сама драма Хохгута, и не случайно она так всколыхнула духовную и общественную жизнь Западной Германии. В своей художественной практике Хохгут уже занял гражданскую позицию, но ему как-то страшно осознать это, так сказать, теоретически. Несомненно, что такие откровенные диалоги, как разговор между Хохгутом и Мнячко, помогут многим интеллигентам-демократам Запада высвободиться из тяжелых вериг предубеждений и обрести наконец свободу понимать.

А. Карельский

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО И МОДЕРНИЗМ

Годовщины полезны во многих отношениях. Юбилейные торжества в честь выдающихся писателей и мыслителей превращаются в некое подведение итогов — что мы узнали, как научились понимать гения, каким видим его «на сегодняшний день». Повседневные штудии над книгами писателя, текущие незаметным ручейком в кабинетах ученых и университетских аудиториях, в диссертациях и монографиях, накапливающие материал, заново осмысляющие и обобщающие его, вдруг сразу выплескиваются к самому широкому читателю, на страницы «тонких», гибких, подвижных изданий. И значение писателя открывается нам в каком-то новом объеме, мы ощущаем новые, ранее не видимые связи между его творчеством и нашей сегодняшней мыслью.

Так произошло и с Мигелем де Унамуно, столетие со дня рождения которого недавно отмечали все друзья испанского народа. Место его в духовной истории своей страны — прочно и заслуженно. Он классик. Но вот вышел юбилейный номер испанского литературного журнала «Инсула». Не только опубликованные в нем статьи на самые разные темы, связанные с жизнью и книгами Унамуно, но даже помещенный в номере библиографический перечень работ, посвященных Унамуно и вышедших только в самые последние годы,— все показывает, что Унамуно и сегодня остается «нарушителем спокойствия» (так его называли всегда), тревожащим умы, язвящим косность, подрывающим догмы и «общие места».

В двух статьях, напечатанных в «Инсуле» (Гильермо Диас-Плаха «Унамуно — антимодернист» и Хорхе де Кампос «Унамуно и Америка»), собраны и проанализированы высказывания Унамуно относительно модернизма. Речь идет, конечно, не о модернизме в нашем понимании — разноликом, но объединенном поисками нереалистического пути, явлении в литературах капиталистических стран XX века. Для Унамуно значение слова «модернизм» было гораздо более узким — так называло себя поэтическое течение в Испании и странах испанского языка 90-х годов — начала нашего века. Унамуно отрицал модернизм, хотя глубоко уважал виднейших его представителей — Рубена Дарио и Хосе Асунсьона Сильву. Он подчеркивал, что почитает и ценит их поэтические индивидуальности, проявляющиеся «вопреки модернизму», то есть вопреки эстетике школы. Унамуно не всегда был точен и объективен по отношению к модернистской поэзии, вообще отказываясь видеть новые выразительные качества поэтического языка, открытые модернистами, а потом вошедшие в плоть испанской поэзии. С точки зрения истории, Унамуно не оказался стопроцентно прав, и его полемически ядовитые статьи не нужно рекомендовать студентам в качестве исчерпывающей характеристики конкретного художественного факта. Но дело не в этом, и сегодняшняя жизнь статей Унамуно связана не с тем, кого именно он критикует. Для нас важно и поучительно, *как* Унамуно критикует модернистов, чего ему не хватает в их стихах, чего он вообще не терпит в литературе.

Унамуно не терпит поверхностности. Он предостерегает от всего, что идет не «изнутри», а извне, «из вторых рук», не от потребности национальной литературы, а от следования международной моде. Над экзальтированной привязанностью испанских модернистов (например, Мануэля Мачадо) ко всему «парижскому», над всяческими, явными или скрытыми, подражаниями французским символистам Унамуно безжалостно издевается.

Унамуно остро чувствует опасность эстетизма, опасность замыкания в прекрасном, но призрачном, ненастоящем мире. Когда читаешь эти энергичные строки Унамуно, то вспоминаешь блоковского поэта, отвергнувшего «соловьиный сад» ради деятельной и реальной жизни.

Но особенно не приемлет Унамуно ту модернистскую болезнь, что зовется формализмом. Всякое творчество ради формы, ради технических новшеств, ради «богатой рифмы» или «консонансов» ему противно. Его возмущает, когда модернистов хвалят за победу над формальными трудностями и за «трудную легкость» стиха.

«Это еще не искусство, это даже не приближается к нему»,— возражает Унамуно. Он не соглашается с распространенным в критике взглядом, что, дескать, литературное явление может быть ценно как «фермент» каких-то будущих свершений — это «приводит поэтов к литературщине, а в конечном счете — к бессодержательности». «Я думаю, что не будет искупления для нашей литературы, пока каждый писатель не почувствует, что он должен относиться к своей социальной функции как к священнослужению»,— пишет Унамуно о «грехе формализма».

Пожалуй, основной резон, по которому Унамуно объявляет бесплодной модернистскую поэзию,— это то, что эстетическая система убивает в ней личность поэта. «Модернисты похожи один на другого, как одна креветка на другую креветку»,— сказано резко и не совсем «парламентски», но тут уж ничего не подслаешь, таков колючий стиль Унамуно.

В одной из блестящих своих статей («Насчет пузырей на коленях», 1913) Унамуно в форме, как это теперь принято говорить, «сатирической параболы» выражает свое отношение ко всяким авангардистским школам и группам, щеголяющим «новым костюмом» формальных придумок.

«Прежде чем вы поносите свой костюм некоторое время, прежде чем на нем не появятся складки и морщины от ваших движений и жестов, нельзя сказать, что ваш костюм «выражает» своего хозяина. Каждый вытягивает пузыри на коленях по-своему. И у костюма не может быть никакой индивидуальной выразительности, пока ее не передаст ему тот, кто этот костюм носит.

А теперь я утверждаю, что вы ненавидите личность, характер. Понимаете ли вы это?

Когда люди не могут выделяться сами по себе, то они хотят, чтобы их выделил портной из толпы тех, кто не может заплатить за такой же костюм. Но дело-то не в костюме, сеньоры, а в том, как его носить».

Хорошо, что благодаря юбилею эти строки, затерявшиеся в многотомном собрании сочинений Мигеля де Унамуно, снова появились в живом литературном обиходе. Очень уж они подходят ко многим нынешним случаям, как-то: «лирика модерн», «новый роман», «конкретная поэзия» и т. п. и т. п.

И. Тертерян

ЗЕРНО, В КОТОРОМ ЗРЕЮТ КОЛОСЬЯ

Прошлым летом в Москву приезжал Мурад Бурбун, алжирский поэт и романист. Он участвовал в работе международного семинара по изучению и переводу литератур Азии и Африки, что проходил в Центральном доме литераторов, он встречался с советскими писателями, выступал по московскому телевидению, потом побывал в Иркутске, Братске, в Средней Азии. Молодой, задорный, большой любитель веселой шутки и острого каламбура, Мурад Бурбун всегда оказывался душой компании, пел кабильские и арабские народные песни, и французские песни на слова Арагона, и русскую «Калинку-малинку». Но когда разговор заходил об алжирских делах, о строительстве новой культуры, о театре, музыке, поэзии его народа, Мурад становился серьезным, задумчивым, а потом темпераментно, даже яростно бросался в спор, увлеченно рассказывал о радостных преобразованиях в Алжире, громил и уничтожал неоколониалистские концепции культуры, выдвигаемые на капиталистическом Западе.

Из Алжира Мурад Бурбун привез с собой номер ежеквартального журнала «Новамбр», издающегося с мая 1964 года Фронтом Национального Освобождения, его комиссией по вопросам культуры. Он держал книжку журнала как-то особенно бережно; даря по экземпляру советским друзьям, торопливо вписывал что-то в свои стихи, напечатанные в журнале (пока летел в самолете в Москву, исправил несколько строк); видно было, что выпускать «Новамбр» из рук ему и приятно, и немного тревожно. Шутка ли — первый номер первого в Алжире журнала, целиком посвященного проблемам культуры!..

Через три месяца, в начале осени, я еще раз встретился с алжирским другом, встретился совершенно случайно, далеко от Москвы — в Болгарии: неожиданно столкнулся с Мурадом Бурбуном в вестибюле Международного дома журналистов, что под Варной. После первых приветствий и восклицаний («До чего ж тесен мир!..»), после первых вопросов об общих друзьях — «А у нас вышел второй номер журнала»,— поспешил сообщить Бурбун.

И вот теперь перед нами уже три книжки журнала, носящего имя месяца, который для каждого алжирца — синоним Революции: 1 ноября 1954 года началась освободительная война, окончившаяся спустя семь лет полной победой народа. Теперь уже можно говорить об уверенной поступи журнала «Новамбр», о его собственном голосе и лице.

Первый номер открывается приветствием и в то же время манифестом, написанным президентом Бен Беллой.

«Ноябрь 1954 года,— пишет он,— был также восстанием Духа. Ноябрь — это символ мысли, стоящей на службе действия... Журнал «Новамбр» видит себя наследником великой мечты, видит себя на стройке нового человека, открытым для всех течений, преобразующих мир; он утверждает, что культура — это оружие, перед которым отступает Мрак».

Этим пониманием культуры как мощного гуманистического оружия, как важнейшей стороны народной жизни проникнуты все материалы, публикуемые журналом «Новамбр». А материалы эти достаточно разнообразны: здесь манифесты и статьи, воспоминания и эссе, интервью и стихотворения, народные сказки и легенды, исторические исследования, статистический материал, фрагменты из пьес, новеллы, критические заметки о прочитанном, хроника культурной жизни. Богатство материалов на страницах журнала отражает собою кипение народных талантов, вызванных революцией к активной жизни и воплощенных в поэзии, прозе, драматургии, музыке, танце, живописи нового Алжира.

Но Алжир новый — наследник богатейших национальных традиций прошлых веков. Одна из важнейших задач культурной революции — осмыслить и выявить это богатство, осмыслить, выявить и привести в движение те еще подспудные силы, которые связаны с культурой старой, с фольклором, с народной памятью. И не случайно поэтому, что истории культуры родной страны журнал «Новамбр» отводит такое значительное место на своих страницах.

В первом номере напечатана большая работа историка Мишеля Абара «Правда и ложь о 5 июля 1830 года». Опираясь на непреложные факты и документы, М. Абар отметает прочь официальную историческую версию, которая насаждалась колонизаторами и согласно которой Франция выполняла в Алжире высокую цивилизаторскую миссию.

В кратком предисловии к этой работе Абара Мурад Бурбун пишет:

«Мишель Абар подчеркивает первостепенную важность франко-алжирского договора от 5 июля 1830 года — важность его для алжирского движения Сопротивления. Этот договор, в своей 5-й статье, признавал независимость и территориальную целостность и неприкосновенность Алжира. Но на следующий день после подписания договора командующий французским экспедиционным корпусом генерал де Бурмон вероломно нарушил свои вчерашние обязательства и вверг Алжир в море огня и крови. Тогда, после этого клятвопреступления колонизаторов, алжирские старейшины собрались 24 июля 1830 года на свою Ассамблею (впоследствии получившую название Алжирских Генеральных штатов) и решили вновь взяться за оружие, чтобы заставить французов уважать подписанный договор и свое собственное слово. Таким образом, не было никакой капитуляции Алжира в 1830 году. Французская оккупация — результат нарушения международного договора; законность алжирского суверенитета никогда не теряла силу, и прекращение огня в 1962 году — лишь реализация того принципа, который был признан двумя договаривающимися сторонами и затем односторонне нарушался оккупантами в течение 132 лет».

Уважением к народным песенным сокровищам, заботой о новом расцвете народного гения отмечена статья известного поэта Башира Хадж Али. Статья называется «О некоторых актуальных проблемах нашей музыки» и тоже опубликована в первом номере журнала.

Автор бьет тревогу: национальная музыка Алжира, черпающая свою силу и вдохновение в глубинах народной жизни, эта музыка, отличающаяся удивительным богатством и разнообразием, в годы французского колониального господства вытеснялась, запрещалась, высмеивалась. И теперь

«...Алжиру грозит опасность утратить песнь своих лесов, музыку своих берегов, самое тонкое выражение своей души. Недостаточно сказать, что наша музыка исчезает, нужно добавить: она деградирует. Пусть каждый поймет это. Настал час, великий час остановить — и это вполне возможно! — этот процесс уродования нашей личности».

Зачин, как мы видим, далеко не мажорный! Но Башир Хадж Али рисует эту довольно мрачную картину для того, чтобы рассказать об огромных музыкальных сокровищах алжирской народной музыки, о великолепных музыкальных традициях Алжира — и, главное, для того, чтобы наметить пути спасения и возрождения этих богатств. Работа Башира Хадж Али, написанная страстно и вместе с тем деловито, дает серьезный анализ социальных причин упадка некоторых жанров алжирской музыки. Раздумывая над тем, как дать музыкальному развитию новый стимул, автор не раз обращается к опыту русской классической и советской музыки.

«Как сочетать огромный опыт, накопленный в ходе истории каждым данным народом в области музыки, с опытом мировой музыкальной классики? — говорится в статье.— Как сочетать моновокализм, лежащий в основе культуры многих восточных народов, с богатыми находками мировой музыки в плане гармонии и полифонии?.. Как слить народную инструментовку с таким гениальным завоеванием классической музыки, каким является симфонический оркестр? Эти вопросы, обсуждавшиеся на «Пражской весне 1957 года», сформулировал советский композитор Кабалевский. Было бы полезно с этой точки зрения обратиться к творчеству ряда западных композиторов, которые использовали в своей музыке старинные приемы и восточные темы,— к творчеству Сен-Санса, Равеля, Альбениса, де Фальи, Бородина, Римского-Корсакова, Бартока... Надо избегать двух крайностей: с одной стороны, национальной ограниченности и узости, когда отбрасывается любой опыт, идущий извне, и с другой стороны, слепого подчинения любо-

му влиянию, идущему извне. Красноречиво говорит сам за себя опыт советских среднеазиатских республик, творчество композитора Советской Армении Арама Хачатуряна».

Исследуя национальные корни алжирской инструментальной и вокальной культуры, Б. Хадж Али приходит к выводу:

«В такой стране, как наша, единственно верный путь — в сочетании (каждый раз это сочетание может проявляться по-своему) национальных ценностей и всего лучшего, что достигнуто мировой музыкальной культурой».

Бросается в глаза стремление журнала «Новамбр» прислушиваться к разным голосам, к разным мнениям, привлекать к творческому спору людей, чьи взгляды на те или иные конкретные вопросы культуры не совпадают порой со взглядами, выраженными в уже опубликованных журналом статьях. Так, после статьи Мишеля Абара (№ 1) журнал во второй своей книжке предоставил трибуну двум оппонентам М. Абара, алжирским ученым Рене Галиссо и Морису Баншетри, которые возражают по ряду пунктов автору статьи о договоре 5 июля 1830 года. Причем редакция «Новамбра» не торопится подводить итоги начавшейся дискуссии, видимо, полагая, что столкновение мнений в конечном счете поможет наиболее полному выявлению истины.

Из других материалов, связанных с освещением культурного наследия и вместе с тем обращенных к задачам сегодняшнего дня, назову интересную статью Мохамеда Эль-Мили «Почему в Алжире не было романа на арабском языке» (№ 2). Автор исследует исторические причины, мешавшие развитию жанра романа в Алжире, и приходит к выводу, что роман существовал и существует «в единственной библиотеке — в памяти народной», что устная традиция сохранила до наших дней произведения народного творчества, близкие по жанру к роману, и что роман как произведение оригинальной письменной литературы не был создан в Алжире из-за разрыва между языком народных масс и литературным арабским языком; писатели-аристократы гнушались жизненной тематикой и народным языком, народный эпос, сказки, бытовые рассказы не допускались в письменную литературу, им было отказано в праве считаться достоянием национальной культуры. Это положение, характерное для всех арабских стран, продолжает Эль-Мили, было осложнено в Алжире условиями колониального гнета, когда французские власти стремились оторвать алжирский народ от арабской культуры. И лишь сейчас, после победы революции,

«алжирский народ обрел веру в свои силы... и создал основу для литературного возрождения. Источник этого возрождения — осознание народом себя как личности».

В третьем номере журнал публикует статью Салаха Кхерфи, посвященную эмиру Абд-аль-Кадиру (1808—1883). Для каждого алжирца Абд-аль-Кадир — символ патриотического величия и мужества, символ непокоренной страны. Один из вождей народного сопротивления захватчикам, этот выдающийся полководец был прекрасным поэтом, и естественным является тот интерес, который вызывает у деятелей революционного искусства наших дней облик поэта-воина, утверждавшего, что сабля — это раба пера... Статья Салаха Кхерфи говорит о полководческом гении Абд-аль-Кадира. Человеческий, поэтический облик его отражен в стихах Мурада Бурбуна, которыми открывается вторая книжка «Новамбра». Поэт воспевает человека, который «шел вперед по глубинам века с Книгой в руке и с Обнаженной Саблей», воспевает благородство этого сына своего времени, который «мечтал о нас, его потомках, берущих приступом вершины»...

Так каждое обращение к прошлому становится для авторов, выступающих в журнале «Новамбр», еще одним шагом к постижению культуры сегодняшнего дня, к борьбе за культуру завтрашнюю.

Об этом свидетельствует и опубликованная «Новамбром» Хартия Союза алжирских писателей, принятая 28 октября 1963 года. Задачи, которые ставит перед собой молодая революционная литература Алжира, величественны и благородны. Вот как формулируются они в Хартии:

«Выражать в своих произведениях все лучшее, что есть в народной традиции. Изображать во всей их сложности все аспекты жизни народа. Содействовать обогащению нашего национального культурного наследия, обновлению всех ценностей его с самых отдаленных времен. Бороться за народную культуру, проникнутую научным духом и решительно вставшую на революционный путь... Знакомить зарубежные народы с нашей культурой, действуя в духе дружбы и плодотворного культурного обмена со всеми народами...»

Каждый, кто следит за развитием алжирской литературы наших дней, убеждается, что эти высокие принципы обретают плоть и кровь с каждым днем — в новых произведениях писателей нового Алжира. Некоторые из этих произведений опубликованы и в трех номерах журнала «Новамбр». И прежде всего, конечно, стихи — лирика гражданская, философская, пейзажная, интимная, поэзия сегодняшнего дня, человечная и мужественная. Здесь стихи Жана Сенака (имя, хорошо известное читателям «Иностранной литературы», дважды печатавшей его стихи), Ассии Джебар, Анны Греки, Мустафы Туми, Азегага и других поэтов. Разнообразна их тематика, различны их почерки и голоса, но все это поэты Ноября, поэты, рожденные революцией и поющие революцию.

Печатает «Новамбр» и новеллы. Своеобразным стихотворением в прозе является лирическая новелла Малека Хаддада «Баллада на трех нотах» — рассказ о трех реках и трех стоящих на них городах: Каире, Париже, Константине. Каждый из них нарисован кистью удивительно верной и мягкой, писатель любит все эти города и находит взволнованные слова, выражающие эту любовь. «Три реки — словно три фразы, словно три абзаца. Но симфония неполна. Нужно собрать все капли воды из всех рек. Чтобы лучше понимать слезы. Чтобы лучше понимать кровь. Чтобы лучше понимать пот. Чтобы лучше понимать слезы, кровь и пот всех людей. И еще — чтобы не забыть об одном ручейке... Я не сказал о нем — о нем, в котором порой я ловлю лунный свет...»

Запоминается новелла Джамаля Амрани «Отсутствующий» — трагический рассказ о мальчике, который не понимал, почему и куда ушел от него, ушел из семьи отец и почему тайком плачет мать, вспоминая о нем, об ушедшем, «отсутствующем». Отец ушел на войну — на ту войну, которая семь лет шла в каждом городе, в каждом селе Алжира. Рассказ, повторяю, горький, трагический — и удивительно светлый, окрашенный детской верой в победу правды и взрослым знанием неизбежности этой победы.

И еще новелла — о путях, какими приходили в сопротивление люди из народа,— новелла Мохамеда Будиа «Пророчества». И другие рассказы — о недавнем прошлом, о сегодняшнем Алжире. И несколько зашифрованные, усложненные по форме, точно стихи в прозе, своеобразные афоризмы Жана Пелегри — его раздумья о долге алжирского писателя, о его месте на переднем крае борьбы, о языке и образах новой литературы. И прелестные народные сказки, точно тысяча вторая или тысяча третья ночь Шехерезады,— россыпи камней из той самой сокровищницы, о которой говорится в сжатых строчках Хартии Союза писателей Алжира... И интервью о народном театре, его репертуаре, его планах, его порыве слить национальные традиции драматургии с новым словом современного сценического искусства... И фрагменты из пьесы Каки «Народ ночи» — трагический колорит ночей Сопротивления, презрение к предательству и подлости, и голос корифея, и хор, провозглашающий свет победы...

Мурад Бурбун читал прошлым летом по московскому телевидению свои стихи. Они называются так же, как и журнал, где они были впервые напечатаны,— Ноябрь, месяц революции. Рассказ о журнале алжирской интеллигенции мне хочется завершить строчками из этих стихов — я перевел их тогда же, летом 1964 года:

Свобода
Начинается только тогда,
Когда сброшены цепи
С последнего узника.
Братья,
Грядущая жатва —
Это искры сегодняшнего костра,
Это простор, он вливается в нашу грудь,
Это зерно, в котором зреют
Колосья.

Морис Ваксмахер

ДОКУМЕНТЫ

«ПУСТЬ ЭТИ ЛЮДИ БУДУТ ВСЕГДА БЛИЗКИ ВАМ...»

Последние письма чехословацких коммунистов, погибших в фашистских застенках... Тоненькая книжка в скромной серой обложке... Она вышла в Праге в 1946 году. Слева на обложке — белым по серому — длинный список имен. Среди них — Юлиус Фучик, Мария Кудержикова... С некоторыми из этих имен мы встречались в «Репортаже с петлей на шее». Члены ЦК Коммунистической партии Чехословакии и рядовые подпольщики, товарищи Юлиуса Фучика по редакциям «Руде право», «Алло-новин», «Творбы» и авторы анонимных листовок, люди разных профессий, разного возраста и жизненного опыта, разного темперамента... Подпись под каждым из этих писем — еще одно доказательство величия человека и еще одно обвинение фашизму.

О тех, чей прощальный голос мы слышим за этими скупыми строками, Юлиус Фучик писал: «Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные...»

Вот несколько таких последних писем... С особенным чувством перелистываем мы сегодня, в канун 20-летия освобождения Чехословакии, страницы этих бесценных документов.

ЭДУАРД УРКС

Родился 29 января 1903 года. Заместитель главного редактора газеты «Руде право» и один из редакторов журнала «Творба», член ЦК Чехословацкой коммунистической партии в период накануне Мюнхена и в годы антифашистского подполья.

С самого начала оккупации его разыскивало гестапо. 13 февраля 1941 года был арестован, более года содержался в Панкрацкой тюрьме, 20 апреля 1942 года расстрелян в Маутхаузене. Перед отъездом из тюрьмы Панкрац написал письмо жене и сыну.

Панкрац, 31 марта 1942 года.

Дорогие мои!

Поскольку совершенно не ясно, удастся ли еще когда-нибудь свидеться с вами, хочу написать хоть эти несколько слов — на прощание.

Луизочка, не скорби обо мне, то, что произошло, *должно было* произойти. Помни: я по мере своих сил всегда поступал так, как велела мне моя большевистская совесть — чтобы и ты, и мой сын могли гордиться мной. Воспитай Ришека в моих принципах, пусть из него выйдет твердый большевик. Ришечек, старайся быть разумным, учись

разбираться в жизни, будь опорой маме и почерпни как можно больше из книг, которые я тебе оставляю. Когда ты подрастешь, то сможешь понять, во имя чего жил твой отец. Расти же крепким и сильным!

Луизочка, передай привет Клеме * и скажи ему: я сделал все, что мог, чтобы (во время нашего заключения) сохранить партию. Скажи ему, что я до последней минуты буду с любовью вспоминать о партии, которая воспитала меня так, что и в самые тяжкие часы я не уронил достоинства ее члена и активиста.

Целую вас, Луизочка и Ришечек, и вас, папа и Маржа, Гонза и Губерт, и тебя, Рихард, и всех остальных.

Честь труду!

Ваш Эдо.

КУРТ БЕЕР

Литературный псевдоним — Курт Конрад. Родился 15 октября 1908 года. Член редактората «Руде право», главный редактор газеты «Алло-новины», замещал Юлиуса Фучика на посту редактора журнала «Творба». 1 марта 1941 года был арестован за нелегальную деятельность. Находился в заключении в Праге и Дрездене. Казнен 25 сентября 1941 года. Перед казнью на отвороте брюк написал дату своей смерти и слова: «Умираю честно».

Дрезден, август 1941 года.

Любимая моя,

спасибо за письмо, деньги и белье. Такой уж настоятельной необходимости в этом не было, но до чего же хорошо получить что-то дорогое, хранящее теплю твоих рук. У моего отца 7 сентября день рождения, пожалуйста, поздравь его за меня.

У меня все по-прежнему хорошо, в сущности ничего нового, о чем бы стоило писать. Легкая работа, которую я выполняю в течение дня, оставляет голову свободной для раздумий о жизни — и я подвожу строгий баланс, нахожу кое-какие ошибки, множество пробелов, но в целом итог положительный, во всяком случае в главном. Задумал две новые книжки, которые хотелось бы написать,— вот только доведется ли?

О моем настроении не беспокойся: еще ни на минуту я не падал духом, да и с какой стати? Пусть свои личные перспективы я не вижу в слишком розовом свете. Но разве позволительно вешать голову в такое время? Все эти дни я много думал о «Жан-Кристофе», о притче про реку, которой он заканчивается. Особенно глядя на карточку Эвы, в пальтишке и белой шапочке, где она смотрит вверх, в будущее, полная сияющего доверия. Перечитай эту книгу вновь, моя любимая, и думай при этом обо мне. «Форсайтов» я дочитал, это прекрасно, хотя и уступает Бальзаку.

Я совершенно не чувствую себя одиноким. Никогда еще я так глубоко не ощущал своего единства и связи со всей нашей великой семьей **, как сейчас.

Часто я тоскую, мне больно, что я не могу быть с тобой, но меня поддерживает вера в то, что мы обо всем думаем одинаково. Очень хорошо и очень важно, что существует Эва и много других детей и что каждый из нас на своем месте выполняет свой долг. Вот почему я не боюсь за будущее, даже если бы мне пришлось стать одним из тех, кто переносит через реку младенца. Ведь какая это река!

В моей молодости было многое, что сделало меня мягким и чувствительным. Но был у меня и сильный противовес — умение четко и последовательно мыслить, сохранять твердость воли. Ты знаешь мою привычку: все — начиная с самого неприятного и кончая самым хорошим — продумать до последней точки. Именно в этом я черпаю незыблемую крепость духа и доброе настроение. Конечно, случаются и «срывы», как, например, две недели назад в Цвикау. Я разложил перед собой на столе все фотографии и, видя вас перед собой, стал насвистывать наш «Mood Indigo»*** и так забылся, что, как мне потом сказали, свист был слышен по всему зданию. В результате я, разумеется, заработал наказание.

Недавно я несколько раз вслух перечитывал «Май» ****, упивался словами и звуками и думал о часах, когда мы с тобой вдвоем читали стихи,— помнишь ли еще? Сей-

* Речь идет о Клементе Готвальде.
** Имеется в виду коммунистическая партия.
*** «Тоскливое настроение» *(англ.)*.
**** Поэма чешского революционного романтика К. Г. Махи (1810—1836).

час читаю «Уленшпигеля». Там в истории о Клаасе есть одна глубокая фраза: «Он был тверд в ответах, хотя в глубине сердца таил смятение и страх...» Это многое мне напомнило. Да, судьба отдельной личности в наши дни значит страшно мало. Кстати, «Уленшпигель» в оригинале еще лучше! А еще продираюсь сквозь густой туман истории философии, но даже самая кромешная мгла не собьет меня с ног, не повергнет в отчаяние.

То, что ты пишешь об Эве и что видно по фотографии, бесконечно меня радует. Много думаю о ней с горячей любовью, но еще больше — о тебе. Не позволяй преходящему захлестывать тебя унынием, мы и так слишком в нем увязли. От твоего письма снова повеяло мужеством и верой в себя, за это я люблю тебя еще больше. Читай «Войну и мир», это великая, возвышающая книга, я бы ее тоже с удовольствием прочитал сейчас. Прочти ее за меня. Я тут читаю «Критику чистого разума» Канта, самый тяжелый калибр холодной, абстрактной аналитики. Это хорошее противоядие от всего, что нас окружает. Все, что навалилось на тебя, и общее и частное, как-то отдаляется.

Дорогие мои девочки, живите хорошо и любите друг друга, шагайте отважно и прямо, как до сих пор,— обо мне в этом смысле и впредь не беспокойтесь.

Целую и обнимаю вас обеих, тебе, Власта, спасибо за то слово во время свидания, в котором для меня жизнь и помощь. Оно все еще греет.

Курт.

АННА МЛЕЙНКОВА

Родилась в 1915 году. Служащая. 15 января 1944 года была арестована за подпольную антифашистскую деятельность. 12 мая 1944 года казнена в тюрьме Панкрац.

Милая моя мама,

как это тяжело — писать последние строчки. Все воспоминания оживают вновь, и те, что особенно дороги, здесь оказываются самыми мучительными. В последнее время приходится постоянно говорить себе: сердце, перетерпи, не растравляй свою боль!

И ты скажи себе то же самое и будь мужественной. Знаю, тебе предстоит пережить самую страшную боль в твоей жизни, прости меня за нее. Все это время я больше всего думаю о тебе и о множестве других женщин, которых постигла такая же участь. Из нас двоих тебе хуже. Я через пару часов буду уже свободна от всего, а тебе нести в себе эту боль дальше. Надеюсь, добрые люди не оставят тебя и ты все-таки дождешься лучших дней. Ты должна жить и быть мужественной, чтобы сделать еще много хорошего на свете, прошу тебя, мама.

Всем, кто был добр ко мне и к тебе, посылаю свой привет и благодарность за все.

Крестным путем была твоя жизнь. Бога нет, на воле я иногда сомневалась, но теперь убеждена в этом.

Мама моя, прощаюсь с тобой и со всем, будь мужественна, я тоже стараюсь быть мужественной изо всех своих сил.

Твоя Анка.

КАРЕЛ ХЛАДА

Родился 15 августа 1905 года. Бухгалтер. Член и активист КПЧ. Входил в руководство подпольной организации «Авангард». 6 сентября 1943 года был арестован и заключен в Панкрацкую тюрьму, затем переведен в Баутцен. 2 сентября 1944 года казнен.

Баутцен, без даты.

Милая моя Марженка,

каждый день целую и обнимаю тебя. Ты мое солнышко. К тебе я обращаюсь, когда голова раскалывается и силы покидают меня... Ты меня спасаешь. Как я надеюсь, что снова прижму тебя к своей груди, тебя, Кайю, маму и бабушку. И снова буду рассказывать тебе о кораблях, о лошадках, вспоминать старые сказки, опять буду отвечать на тысячи и тысячи твоих вопросов, моя букашка, как я надеюсь на это! Буду смотреть в твои глазки, которые запачкал трубочист, а вечером буду укладывать тебя

спать. Снова книги будут нашими добрыми друзьями, и мы с тобой начнем учить читать Кайю. В школу первый раз пойду с тобой я. Я так хочу этого, наверно, даже больше, чем ты, моя озорница. Слушайся маму и бабушку, присматривай за Кайей. Будь внимательна, трудолюбива, послушна. Твой папа всегда с тобой, с вами и так тоскует по вас...

Когда придет конец этой страшной войне, люди вздохнут с облегчением, и, наверно, никогда все эти ужасы не повторятся. В жизни восторжествует справедливость, любовь к человеку. Букашка моя маленькая, напиши мне длинное-предлинное письмо, твой папа так тебя любит, ты мой свет, который меня поддерживает, воодушевляет, придает отваги. Ты, наш маленький Кайя, мама и бабушка! Сколько я тут передумал обо всем! Наверно, люди в конце концов поймут, что они существуют на свете не для взаимного истребления, а для чего-то совсем иного, и настанет мир, которого все так жаждут.

Маленькая моя девочка, поцелуй за меня всех дома, заботься о себе, о Кайе, о маме и бабушке. Я так надеюсь когда-нибудь тебя увидеть, Марженка, так надеюсь! Целую тебя и по вечерам всегда желаю тебе доброй ночи, тебе и всем вам. И рассказываю тебе сказки... Снова мы будем, букашка моя, ходить в театр. Марженка моя, до скорого свиданья.

Твой папа Карел.

МИРОСЛАВ КЛОМИНЕК

Студент Лесного института, родился 17 января 1917 года. В коммунистическом движении принимал участие с 16 лет. После оккупации, когда были закрыты высшие учебные заведения, работал в качестве подсобного рабочего на вокзале в Пардубицах. С несколькими студентами основал подпольную группу, которая была выдана тайным агентом гестапо. Мирослав Кломинек был арестован 6 октября 1941 года. Вся группа предстала перед судом в Дрездене. Все, кроме одной девушки, были приговорены к смерти и казнены. Мирослав Кломинек ожидал смерти полгода, до 18 июня 1943 года. В одежде, которая была возвращена администрацией тюрьмы его родителям, было обнаружено это письмо.

Любимые, под маской «справедливости» стал я жертвой массовых политических убийств за несколько листовок. Но умер я не напрасно, это обязательный вклад в наш национальный и общечеловеческий счет истории. Я пал за дело справедливое, как солдат, и знаю, что наша кровь воплотится в лучшую жизнь для наших детей и тех, что останутся. Не грустите, будьте горды.

4.VI.1943 г.

Ваш любящий Мирка.

МИРОСЛАВ ПУЛЬКРАБЕК

Автомеханик из Трутнова, родился 16 декабря 1918 года. После оккупации стал работать в подпольной коммунистической группе Кейзлара. Восемь членов этой группы были арестованы и предстали перед судом в Мюнхене. Судьи, взбешенные покушением на Гейдриха, приговорили их в начале июня 1942 года к смертной казни. Незадолго до рождества М. Пулькрабек был казнен.

Мюнхен, 22 декабря 1942 года.

Дорогие родители и сестричка!

Сегодня в последний раз берусь за перо, чтобы проститься с вами навсегда. Хотелось бы сделать это совершенно просто, ведь в эти минуты лишь сердце сердцу говорит искренне и совершенно пустым кажется любое написанное слово. Если бы и смог я рассказать вам все, что чувствую и что за все это время испытано мною хорошего и плохого, мне не хватило бы на это тех нескольких часов, которые у меня еще остаются. Впрочем, вы этому и не поверили бы.

Было бы ложью утверждать, что я хочу умирать. Кто хотел бы умереть таким молодым, как я? И все же я об этом не жалею. Я покидаю мир не сломленным в своем

убеждении, с твердой верой в будущее. Единственное, что меня угнетает,— это мысль о вашем мучительном разочаровании. В последних письмах вы еще выражаете столько надежды, даже веры, в то время как действительность совсем иная — суровая, беспощадная. И тем не менее, дорогие мои, вы не должны сокрушаться и ломать руки — ни слезы, ни стоны ничего не поправят.

В последний раз шлю тысячу поклонов нашему далекому родному краю, который — озарен ли он сегодня золотым солнцем, окутан ли завтра серым осенним туманом, или, заметенный вьюгами, покоится под сверкающим снегом — был для меня так дорог. Ведь там находилась моя колыбель, там же оставляю я вас, сокровища мои бесценные, и многих товарищей, столь мне дорогих. За все время моего заключения единственной моей отрадой были воспоминания обо всем, что я оставил там, у нас, и этой отрады и твердой веры в лучшее будущее меня не могли лишить ни страдания, ни муки, через которые мне пришлось пройти за все это время, хотя по собственному опыту я убедился, что человек, подобно животному, скажем кошке, может жаждать капли молока, шкварки, но главное — ласки. Познал я также настоящую любовь и дружбу мужественных сердец, верных до смерти. Лишь тот, кто разделил их участь, может это оценить.

Еще раз благодарю вас, папочка и мамочка, за те заботы и усилия, которые вы вложили в мое воспитание, за любовь, которой вы меня всегда окружали. О том, что я научился быть благодарным, почитать вас и любить, свидетельствуют мои последние письма. Я принес вам много горя, знаю, но прошу вас простить меня и понять: не только раньше, но и сегодня я не мог бы, да и не желал бы, поступать иначе, чем поступил.

Любовь и доброту сердец ваших завещаю маленьким внучатам, которые так открыто смотрят на меня с фотографии. Я уверен, что в счастливом и спокойном детстве их и всех детей и я буду жить для вас в будущем. Время утреннее, время спокойное, придет тот день, когда в радостном ритме труда... *(Вычеркнуто цензурой.)*

Желаю вам всем долгих лет здоровья и счастья. Уж если судьба урезала их мне, пусть добавит их вам. В последний раз всех вас с любовью прижимаю к сердцу.

Навсегда ваш Мирек.

СТАНИСЛАВ БРУНЦЛИК

Родился 17 июня 1910 года. Был редактором «Алло-новин» и помощником редактора «Творбы». В период оккупации стал членом подпольного ЦК КПЧ. Гестапо прибегло к самым гнусным мерам давления на его жену и престарелых родителей, чтобы вырвать у них признание о местопребывании Брунцлика. Однако ни пытки, ни отторжение у них ребенка не привели к желанным результатам. Тем не менее Брунцлик все же попал в руки гестаповцев. 16 июля 1943 года он был арестован, находился в Панкраце и в Дрездене, где был приговорен к смерти. Казнен 14 февраля 1944 года. Это письмо написал матери своей жены.

Дрезден, 19 декабря 1943 года.

Милая мамочка!

Вам, вероятно, передали мой привет и большую благодарность, посланные мною 7 недель назад через дядюшку. Следовательно, вы не удивлены и вряд ли ожидаете приятного известия, хотя сегодня я посылаю самое знаменательное в моей жизни письмо непосредственно вам. В этот четверг, 16 сего месяца, «народный суд» приговорил меня к смерти. Другого я и не ждал, а поэтому спокоен и на судьбу свою не жалуюсь. Однако я понимаю состояние моих самых дорогих, Тончки и Гонзика, а также и ваше. Именно это приносит мне больше всего страданий, так как к этому я подготовлен не был. Я полагал, что итог моей деятельности ляжет только на мои плечи. Прошу вас быть уверенными... *(Две строки вычеркнуты цензурой.)* ...поверьте мне, хотя обстоятельства никогда не давали вам возможности глубже изучить мой характер, да и я никогда не способствовал этому. Я был замкнут и мало доступен не только вам, но и всем другим. Я всегда сожалел об этом, а сейчас — особенно. Однако я постоянно был бесконечно признателен вам за то, что вы отдали мне самую прекрасную женщину,

о которой только можно мечтать, но сказать вам об этом не умел. Я очень мало знаю сейчас о ее судьбе и о судьбе нашего Гонзика. Большим утешением служит мне сознание того, что вы сделаете для них все, подвластное вашим силам. Я полагаю, что в конце концов вы с ними обоими опять встретитесь, тогда как я вынужден думать о своем мальчике и о его будущем в условиях, в каких нахожусь ныне. А потому я хочу просить вас, чтобы и в будущем его судьба была в ваших руках. Я заранее знаю ваш ответ, а поэтому убежден, что для него будет сделано все, что в человеческих силах. У вас еще есть большой запас жизненных сил, да и ваши дети, с которыми, как вы знаете, я лично почти не знаком, помогут вам. Если осуществятся мои желания, то, я уверен, из Гонзика выйдет хороший, способный и сильный мужчина. Я уверен в этом потому, что собственными глазами видел, как вы сумели воспитать мою Тоничку. Если вам понадобится помощь, мои родственники не откажут в ней. У Гонзика будут друзья; не забывайте также о моей журналистской профсоюзной организации, которая, вероятно, могла бы что-нибудь для него сделать или хотя бы посоветовать ему что-либо.

А пока, милая мамочка, и все мои милые, я должен с вами проститься. Не знаю, сумею ли я еще когда-либо вам написать. Начинается праздничная неделя. Мысленно я вместе с вами. Желаю вам провести эти дни спокойно и счастливо. Прошу вас также не забывать о моих дорогих родителях. Когда увидите моего мальчика, поцелуйте его за меня.

Желаю всем вам, дорогие мои, счастья в следующем году и всегда.

Ваш Славек.

ВЛАДИМИР ЛЮГНЕРТ

Родился 21 октября 1912 года. В 1931 году вступил в КПЧ. Редактировал коммунистическую газету «Моравска ровност». Был членом подпольного ЦК партии. Арестован 21 марта 1941 года. Казнен в Берлине 19 марта 1942 года.

Берлин, 18 марта 1942 г.

Любимая моя Милушка, когда ты прочтешь эти строчки, меня уже не будет среди живых. Сегодня мне сообщили, что приговор от 13 ноября 1941 года, которым я был осужден на смерть, оставлен в силе и завтра утром будет приведен в исполнение.

В своем последнем письме от 16 прошлого месяца я уже объяснил, почему не писал тебе о настоящем положении своих дел, и сегодня я этому рад. Я всегда считал, что ты мне помочь не можешь и потому лучше, если ты узнаешь правду, когда все уже будет кончено. Я не мечтал, собственно, и о последнем свидании с тобой, главным образом из-за тебя. Нам обоим было бы слишком больно, и, вероятно, тебе больше, потому что тем, кто уходит, легче, чем остающимся. Я уверен, что в мыслях мы все это время были вместе, вместе мы и в эту последнюю минуту.

На смерть я иду спокойно. Я принимал ее в расчет и ни о чем не жалею. Сейчас, когда столько миллионов погибает под колесами истории, каждому в отдельности умирать как-то легче. Если я о чем жалею, так только о том, что должен покинуть вас, дорогие мои дети,— тебя, Милушка, и нашего сыночка, которого мы оба так боготворили. Невозможно передать словами всего, что я всегда при мысли о вас чувствовал и чувствую в эту минуту. Да ты ведь знаешь! Годы, прожитые с тобой, были счастливейшими в моей жизни. Как я тебя любил! Ты была для меня самой лучшей женщиной, о какой я только мог мечтать. Ты была мне и возлюбленной, и женой, и товарищем. Спасибо тебе за все! Я всегда старался быть тебе хорошим другом. Прости, если я в чем-нибудь перед тобой провинился.

Самое главное мое желание — это чтобы ты была сильной и жила для Владичка. Лишним было бы говорить, как дорого мне наше с тобой дитя. Я ие пишу для него отдельно. Когда вырастет, ты сумеешь ему объяснить (думаю, что и теперь уже он это знает), как я его любил и как хотел — если бы судьбой это было мнѐ дано — сделать все для его счастья. Ты объяснишь ему также, почему мне пришлось вас так рано покинуть. Меня успокаивает еще и то, что нет нужды опасаться за его воспитание. Знаю, ты будешь воспитывать его в принципах, о которых мы договорились, и вырастишь хорошим, сознательным человеком, полезным для людей. Но ты живи и для самой себя и для других, пусть тень того, кто вынужден был тебя покинуть, не мешает

тебе и твоему будущему, в котором я уверен — ведь ты такая способная, у тебя такой чудесный характер...

Пусть теперь твой дар обогатит других. Это тоже моя последняя воля.

Надеюсь, судьба будет к вам справедлива и вам не придется терпеть нужду. И тут я полагаюсь на твои способности, моя девочка, мой крепыш.

И еще раз на прощанье: будь сильной, как ты мне обещала. Сохраните меня в памяти и всегда верьте, что последние мои мысли были с вами, мои дорогие. Я жил согласно своим убеждениям, старался служить добру и прогрессу человечества, таким я и умру. Верь, Милушка, что я остаюсь до последней минуты таким, каким ты меня знала, ни в чем не изменившимся. Я верю в счастливое будущее для всех, а значит — и для вас. Это придает мне силу!

И еще: спасибо тебе, Милушка, за все. Гляжу на ваши фотографии. Какие вы милые и красивые! Как я вас любил! Жаль, что приходится вас, дорогие, покинуть! Только это и мучает! В остальном — умираю спокойно.

Целую и обнимаю вас еще раз, Милушка и Владичек, живите счастливо и вспоминайте добром своего

папу.

ЯН ЧЕРНЫ

Родился 15 июня 1912 года. Один из руководителей чешского комсомола. Во время гражданской войны в Испании был комиссаром интернационального батальона «Димитров». На родину вернулся с простреленным легким. Вместе с Юлиусом Фучиком и Яном Зикой вошел в состав второго подпольного ЦК КПЧ. В 1942 году был арестован. Казнен в Бранденбурге в мае 1944 года.

Потсдам, 5.III.44 года.

Дорогие мои!

Я рад, что, как и все остальные, получил лист почтовой бумаги и снова могу вам писать. Сегодня чудесное воскресенье, целый день ярко светило солнышко, на синем горизонте ни единого облачка. Уже явственно чувствуется весна, постепенно дающая о себе знать, хотя пока еще стоит зима. Когда день такой хороший, от солнышка сразу становится веселее на душе. Сегодня вы, наверно, вспоминали обо мне, правда, мои милые? Я о вас тоже. Смотрел на фотокарточки, которые мама послала мне 14.I (получил я их только 1.III, уже после суда), и ласково разговаривал со всеми вами, и с тобой, Эмилька, видишь — я тебя не забыл. Каждый день думаю обо всех вас, о всех без исключения членах наших *больших* семей. Как только я просыпаюсь, мое «доброе утро» прежде всего вам, мои милые, а когда ложусь спать, мои последние мысли и мое «доброй ночи» тоже принадлежат вам. Дорогой Карлик, ты очень порадовал меня своим письмом, но порой я не мог удержаться от улыбки. Конечно, было бы замечательно, милый мальчик, не знать всех этих забот. Но ты всегда должен помнить, что многим еще хуже и что нужно пройти и через самое тяжкое. Вспомни, сколько хлопот мы доставляли нашим родителям, а они все это перенесли. Вот видишь! Надеюсь, что еще успею получить от вас, мои милые, какое-нибудь письмо, если оно уже в пути. Вот была бы радость! Дня через два-три меня отправят отсюда в тюрьму, где я буду ждать, уже только ждать. Теперь я еще в гражданском, там меня оденут как арестанта. Можете писать мне до тех пор, пока письма не станут возвращать. Эмильке передайте привет, но не говорите ей ничего о приговоре. Сердечный привет также Лойзику, тете, всем соседям и знакомым. Теперь у меня достаточно времени для воспоминаний. Заново переживаешь свою жизнь, видишь хорошее, но особенно остро — недостатки и ошибки. После таких жизненных испытаний человек становится лучше, чем был прежде! Если бы он только мог жить! Но уж так повелось, мы все время вынуждены учиться, и еще не успеваем как следует выучиться, глядь — уже конец. И все-таки завтра всегда лучше, чем вчера, все-таки все, видимо, идет к лучшему, и людям жить будет легче. Хоть бы это было так, мои милые! Ну, желаю всем, чтобы ваша жизнь стала такой же прекрасной, как сегодняшнее воскресенье, чтобы в ней было много солнышка и совсем мало туч, да и то лишь тех, что приносят росу.

Итак, мои милые, и вы, малышки, всех вас сердечно целую (не могу удержаться, чтобы в придачу не ущипнуть маленьких за щечки), всех горячо обнимаю. Знакомым жму руку. Пусть всем вам живется хорошо.

Ваш Ян.

ФРАНТИШЕК ИРАСЕК

Врач Виноградской больницы в Праге. Член КПЧ. Принимал участие в издании подпольного журнала «Свобода». Был арестован 8 августа 1940 года. Умер в Маутхаузене в 1942 году, 26 лет. После освобождения Чехословакии ему посмертно присвоено звание доктора медицины.

Панкрац.

Дорогая Ярмилка,

начну с самого начала. 8.VIII меня арестовали на квартире у Гаваша. У Воды еще в четверг схватили Шпитцера и Штерна. У меня были с собой 60 листовок и восковка для следующего номера. На меня они не пожалели труда. Били тростью по спине, пока я не терял сознание, били по ступням, по лицу и т. п. Так продолжалось беспрерывно с 5 до 9 вечера. Потом меня с кровоточащей спиной отвезли в Панкрац, и на другой день с утра все началось снова. Когда они увидели, что физическая боль на меня не действует, то начали угрожать расстрелом. Потом пошли обещания. Потом снова побои, затем меня положили вниз лицом на пол и привязали руки к ногам. Это повторялось несколько раз, из меня вытекла лужа пота, и я потерял сознание. Потом заявили, что, если я не скажу правду, меня повесят. Велели написать домой и попрощаться с матерью. Я написал: «Сердечный привет из Панкраца шлет ваш Франта». Это их еще больше взбесило. Они стали вешать меня сначала в комнате, той, куда вы первый раз приходили на свидание, потом отвели вниз, в подвал, и снова стали вешать. Я знал, что это комедия, и молчал.

Их было двое: немецкий комиссар и тот чех Смола, который присутствовал во время нашего первого свидания. Они очень злились, что я ничего не говорю. Потом они перестали меня вешать и начали бить, бить сапогами, били по лицу, таскали за волосы, вырвали их целые клочья. Вели себя как разъяренные псы. Потом, всего распухшего от побоев, сфотографировали. Тем временем допрашивали остальных. Вода держался. Побои с очными ставками чередовались до самого вечера (без еды). Тогда я повел их на вымышленную явку. Схватить им, понятно, никого не удалось. В пятницу меня допрашивали и били до трех часов ночи, потом отвезли в Панкрац, а в субботу подняли в 6 — и снова то же самое. К этому времени в их руках была уже Милка (Скрбкова), у которой нашли материал. Но она держалась, не сказала им ничего, даже когда ее били. В полдень я повел их на другую вымышленную явку.

В субботу меня допрашивали только до 6 вечера. Им самим все это уже надоело, и рвение их ослабело. От меня они так и не смогли ничего добиться. В воскресенье днем в Панкраце мне надели наручники, так я и спал с ними, а в понедельник снова вызвали на допрос. На этот раз меня били меньше, больше ругали, обзывали свиньей и грязной собакой. Чувствовалось, что они даже питают ко мне какое-то уважение. Поскольку никаких новых распоряжений получено не было, нас пятерых оставили всю ночь стоять во дворце Печека — сторожили нас трое чешских полицейских,— и я все еще был в наручниках. Так мы простояли весь вторник. О нас словно забыли. Потом мне освободили руки и всем нам разрешили сесть. Мучители набросились на новую жертву. Я простоял тогда 35 часов, почти без еды, и 55 часов был, как преступник, в наручниках. Когда они уже теряли надежду что-либо у меня выпытать, им — во вторник ночью — удалось схватить нашего руководителя. Потом уже мне только устраивали очные ставки с новыми людьми. Всего нас тут человек 80—100. На воле остались лишь немногие.

Меня вызывали на допросы до конца недели. И хотя моя жертва была напрасной и все стало известно палачам, я знаю — у меня чистая совесть и сознание того, что я ни одного человека не привел в Панкрац.

7.XI у меня был большой праздник — годовщина революции, и как раз пришло белье из дому, в котором я не нашел своих писем, а напротив, обнаружил подтверждение того, что связь с волей налажена. Хорошее настроение во мне поддерживает вера

в Советский Союз и убежденность в правоте идей ленинизма... Я спокойно иду навстречу новым дням и особенно навстречу весне 1941 года и каждый вечер говорю себе: еще на день ближе к свободе. И еще мне помогает сознание, что наше горе ничтожно по сравнению с горем других заключенных здесь и по всей Германии, по сравнению с горем целых народов, втянутых в войну. Каждый должен заплатить свою дань этой великой эпохе.

А еще я много думаю прежде всего о тебе, я все время с тобой.

Франта.

ФОРМАНЕК ЙОЗЕФ

Родился 4 апреля 1902 года. По профессии механик. Член и активист КПЧ. Сражался с фашистами в Испании. После возвращения на родину перешел на нелегальное положение. 23 июня 1943 года был арестован. Казнен в Дрездене 23 августа 1944 года.

Дрезден, 19.VI.1944 г.

Мои дорогие! Мария, Пепа, Леошек!

Шлю вам сердечный привет, кланяюсь и целую. Спасибо вам за письмо, которое написал Леошек. Оно доставило мне большую радость. Я счастлив узнать, что дома все здоровы. Леошек и Пепа, вы пишете, что учитесь боксу; это хорошо, но только будьте осторожны, особенно ты, Леошек. Зубы снова не вырастут, а ты ведь знаешь свое везение. Лучше тебе заняться снарядами или легкой атлетикой. Я сам когда-то занимался гимнастикой и уверен, что не напрасно, спорт — вещь хорошая, но относиться к нему надо разумно. А впрочем, у тебя там наверняка есть хорошие товарищи, они могут дать тебе добрый совет.

Ты, Пепа, учись всему, что связано с твоим ремеслом. Купи себе специальные книги, если надо — пойди на курсы. Прислушивайся к хорошим рабочим, это самое лучшее. Увидишь, что специальность лакировщика — дело совсем неплохое. Верю, что ты проявишь настойчивость и послушаешься моих советов.

Мария, я должен написать тебе несколько строк. Я вынужден сообщить вам, что приговорен к смерти и теперь жду, когда наступит мой срок. Точной даты я не знаю, но это может случиться каждый день. Надеюсь, мне представится возможность еще раз написать вам. Если же нет, то знай, Мария, что, кроме тебя, была у меня еще одна любовь; не ревнуй, это любовь к рабочему делу. Мы живем в великое время, и поэтому неуместно было бы плакаться по поводу своей судьбы. Хоть и умру, но умру как мужчина, «впаяюсь» в цепь истории подобно одному из надежно выкованных звеньев. У меня к тебе только одна просьба: оставайся и будь хорошей матерью нашим детям, ты им всегда будешь нужна. Сама же распоряжайся своей судьбой, как сочтешь нужным. Желаю тебе больше счастья, чем тебе досталось со мной, дети все поймут, когда вырастут.

Будьте же здоровы. Кончаю и думаю о вас.

Ваш папа.

АНТОНИЕ БЕЙДОВА

Жена редактора «Млада гарда» Карла Эльсница. Работала в секретариате Красных отделов Моравской Остравы. В период оккупации не оставила свою работу даже после смерти мужа, казненного осенью 1941 года. Антоние Бейдова была арестована в июле 1943 года по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза. Приговорена к смерти и казнена в Берлине 9 сентября 1944 года. Оставила малолетнего сына Карла.

Берлин, Плётцензее, 8.IX.1944 г.

Мой дорогой Кайюшка!

Вспоминаю о тебе, мой дорогой жучок, думаю и думаю, но вернуться к тебе не смогу больше никогда. Я должна тебя покинуть, тебя, кого так любила. Но ты не огорчайся, теперь уже мамочке очень хорошо и... *(Две строчки вычеркнуты цензурой.)*

Лишь одного тебе желаю: хорошо учись и хорошо во всем разбирайся, и из тебя выйдет настоящий человек. Обо мне ты будешь вспоминать так же, как и о папе, который должен был умереть, хотя и не желал этого. Кайо, я не могу написать тебе обо всем, что чувствую, но когда ты вырастешь и войдешь в мое положение, тебе все станет ясно. Об одном я только жалею, что не умерла вместе с папой. Ты, Кайюшенька, живи у тети и люби ее так же, как любил меня,— ведь тетя и остальные тебя очень любят. Будь с ними всегда, это мой второй дом. Я до последней минуты буду вспоминать и думать о тебе, Кайюшка, желаю тебе счастья в жизни, а она действительно будет веселой и счастливой. Лапочка моя маленькая.

Мама.

КАРЕЛ МОРКЕС

Железнодорожник, родился 24 сентября 1902 года, в Ческа Тржебове. Член партии с 1921 года. В период оккупации работал в подпольной группе на вокзале в Ческа Тржебове. Здесь же 20 апреля 1943 года был арестован. Сидел во многих тюрьмах. 19 октября 1944 года был казнен в Дрездене.

Дрезден, 19.X.1944 г.

Дорогие!

Посылаю вам последнее письмо и последнее прости. Сегодня, 19.X, в 6 часов вечера придет мой конец. Здесь нас 10 человек. Я думал, что получу от вас еще письмо, но не дождался. Дорогая жена и дорогие дети, кровь моя пролита невинно, но не отчаивайтесь, вы должны продолжать жить и хранить обо мне добрую память. Месть и ненависть к нам когда-нибудь иссякнут, а пока мы еще должны умирать. Желаю вам спокойной жизни, обо мне не переживайте, ведь я не был вам особенно полезен. Мне же горько потому, что я не смогу вас еще раз увидеть. На протяжении всего моего заключения мне еще как-то удавалось с вами повидаться, но сейчас это уже исключено.

С судьбой своей я смирился. Для лучшего будущего я, собственно, ничего особенного не сделал, а поэтому моя жизнь и не обязательно должна была бы приноситься в жертву, но месть есть месть, а мы зовемся коммунарами. Этого достаточно, чтобы нас казнить.

Дорогая жена, еще раз благодарю тебя за все, будь мужественна, шагай по жизни дальше. Мальчики, будьте внимательны к маме, слушайтесь ее и не поминайте меня лихом. Жизнь моя принадлежала только вам. Как хотелось бы дождаться тех дней, когда вы станете большими.

Вера, прах мой не бери, даже если тебе его будут предлагать. Попроси моих родственников, чтобы они тебе помогали во всем, если тебе понадобится помощь.

Мысли мои уже путаются.

Целую вас, живите и ждите лучших времен.

Ваш папа.

P. S.

Если у вас будет побелка *, то сделайте ее как следует, чтобы она была на вечные времена.

ФРАНТИШЕК ГАЕК

Фабричный рабочий из Сушице, родился 29 мая 1890 года. До оккупации Чехословакии гитлеровскими войсками был одним из руководящих деятелей КПЧ. В период оккупации работал в подполье. 4 мая 1943 года был арестован, сидел в нескольких тюрьмах. 8 сентября 1944 года казнен в Бранденбурге. Оттуда же отправил своей жене последнее письмо.

Бранденбург, 30 августа 1944 года.

Дорогая жена!

Пришла последняя минута моей жизни, и я вспоминаю всю нашу жизнь, прожитую с тобой вместе. 24 года находились мы друг подле друга, трудились и вместе создавали

---

* Имеется в виду строительство нового, социалистического общества.

семейную жизнь. Ты работала со мной, была мне верной подругой и стремилась к тому, чтобы дети и вся семья были в порядке. Ты несла на своих плечах значительно больше, чем я, ты была женой, каких нет на свете. Мы думали, что когда-нибудь будем бок о бок коротать дни своей старости. Однако желание наше неисполнимо. Я оканчиваю свою жизнь далеко от родины, не имея возможности с вами проститься. Приходится это делать в своем последнем письме.

Желаю тебе прожить свою жизнь как можно лучше. Верю, что ты останешься верна моему имени, а детям и в будущем будешь хорошей матерью, доброй советчицей. Как хотелось бы дожить до того дня, когда дети самостоятельно пойдут по жизни, увидеть это собственными глазами. Но это желание неисполнимо. Жизнь свою устраивай по своему усмотрению, ты уже достаточно наработалась. Я знаю, ты умная и поймешь, что можно, а чего нельзя. Я ничего не хочу тебе навязывать, прошу только об одном: обо мне не плачь, ибо это не принесет тебе никакой пользы — и мне не поможешь, и себе повредишь. Я умираю так же спокойно, как спокойно жил. Я знаю, что никому не причинил зла, да и вообще никому в жизни не сделал ничего плохого. Уж такая была предначертана мне судьба, и я должен с ней смириться. В последние минуты мысленно буду с вами со всеми рядом. А как хотелось бы погладить твои сединки, твою преждевременно постаревшую голову. Я знаю, вы будете часто вспоминать обо мне, вам будет недоставать меня. Перенеси все мужественно, не губи себя, а главное — не терзайся. Судьба всегда была жестока ко мне.

Желает вам всего самого наилучшего
ваш отец.

ЯРОСЛАВ ДОЛАК

Типографский рабочий. Родился 24 мая 1910 года. Член КПЧ. Привлек к партийной работе и свою жену. 31 мая 1940 года был арестован. Казнен 31 августа 1942 года в Мюнхене. В своем последнем письме прощается с женой, которая в это время находилась в тюрьме Вальдгейм, а затем была переведена в Освенцим, где и погибла.

Мюнхен-Штадельгейм, 31.VIII.1942 г.

Любимая, дорогая Эдитка!

В сущности, я никогда с тобой не разлучался. И если это произойдет сегодня, то только потому, что внешние обстоятельства сильнее меня. Бесконечно благодарен тебе за все. А мы ведь так мало прожили вместе: пять лет — и два из них в тюрьме. Не могу скрасить для тебя чем-нибудь нынешнее сообщение. Такой возможности у меня нет. Надеялся, надеялся и вот — таков конец. В тридцать два года! Рано, слишком рано! Девочка моя, сегодня вечером в шесть часов я *в последний раз* подумаю о тебе. Не печалься обо мне слишком долго. Ты ведь у меня такая замечательная. И моя смерть не должна стать в твоей жизни препятствием к счастью. Сегодня прекращаются все твои обязанности по отношению ко мне. Это ясно. А мое завещание тебе ты знаешь. Я жалел, что у нас нет детей. Но теперь, думая о тебе, считаю, что так лучше...

Не прошу простить за огорчения, которые я, может быть, принес тебе, знаю, ты мне их уже давно простила. Твои милые письма были праздниками в последние 25 месяцев моей жизни. Я немного сентиментален, не правда ли? Полчаса назад я узнал, что сегодня вечером — через три часа! Вот, наверно, почему я такой. Подобного рода неожиданности воспринимаются с трудом, хотя за три месяца я, казалось бы, мог себя к этому подготовить.

Прошу тебя, перенеси свою утрату твердо.

(Две дальнейшие строчки вычеркнуты цензурой.)

«Будь счастлива,— я говорю, умирая,— в подушку не плачь по утрам. Знай, нет на небе ни ада, ни рая, а на земле уж не встретиться нам». Не могу подыскать слов лучших, чем у поэта.

Целую тебя, целую, моя мужественная жена, моя умница.

Твой Ярослав Долак.

БОГУШ СТРНАДЕЛЬ

Родился 5 декабря 1922 года. По окончании средней школы работал техническим служащим в Витковицах. Будучи коммунистом, участвовал в подпольной работе, размножал и распространял антифашистские листовки. Находясь в Моравской Остраве, поддерживал связь с группой подпольщиков—земляков из Напайедла, связанных с партизанами. Гестапо напало на след этой группы и арестовало Богуша Стрнаделя вместе с его сестрой Людмилой Смелиновой, ее мужем, родителями и несколькими товарищами. Схваченные предстали перед судом, и большинство из них были приговорены к смертной казни. Прощальное письмо написал за несколько часов перед смертью.

Братислава, пятница, 17 сентября 1943 года.

Дорогие!

Посылаю вам мое последнее письмо. Вы теряете сына, брата, зятя, но не падайте духом, не вешайте головы. Пишу вам перед казнью. Сейчас два часа, в 18.30 я буду казнен. Поэтому со всеми вами прощаюсь: с вами, папочка, мамочка, братья, сестра, со всеми вами, кого я так любил.

Лидушка, наша встреча была последней. Мне обещали дать свидание, чтобы проститься еще со Славеком, отцом и Пепичком, но, очевидно, обманули. Не падайте духом. Я верю, что вы останетесь такими же, какими были всегда. Я прожил только двадцать лет. Маловато, но все же эти годы мною прожиты, и я убежден, что кое-что сделал для блага человеческого общества. Потребуйте мои вещи и тело. Мое последнее желание — быть похороненным там, где живет моя мамочка. Не поминайте меня лихом и, главное, не падайте духом. Утихает даже самая сильная боль. Я умираю, смерть быстрая и без боли. До последней минуты буду думать о вас всех. Благодарю вас за все, что вы сделали, чтобы спасти меня. Все было напрасно.

Передайте мой последний привет и благодарность дяде, тете, Смеликам и др. Божена, Мирка, ухаживайте за папочкой и мамочкой, они больны. Пусть не убиваются, все равно изменить ничего нельзя.

Я умираю, чтобы могли жить другие. Прощайте и вспоминайте.

Ваш Богуш.

БОГУМИЛ ПОКОРНЫ

Родился 8 ноября 1893 года. С юных лет принимал активное участие в рабочем движении. Был редактором краевых газет и «Людовой справы». Выполнял обязанности секретаря Клуба коммунистических депутатов и сенаторов. Многие товарищи вспоминают о нем с любовью, как о своем учителе. С самого начала войны Богумил Покорны ушел в подполье. Гестапо прилагало все усилия к тому, чтобы напасть на его след. Однако он был арестован только 23 ноября 1943 года. Сидел в нескольких тюрьмах. Приговорен к смертной казни в Дрездене. 20 апреля 1944 года приговор был приведен в исполнение. Ниже публикуется одно из последних его писем.

Дрезден, 5.IV.1944 г.

Дорогая жена и дорогие дети!

Кланяюсь вам и посылаю горячий сердечный привет.

Маржка, я ежедневно думаю о вас и о вашем счастье и прошу тебя целиком и полностью посвятить свою жизнь детям, ведь они — продолжатели нашего рода.

Прошу всех вас и еще об одном: примите к сведению все, что со мной случилось, и не убивайтесь. Ведь мне уже 50 лет, и многое из того, что я желал и что было смыслом моей жизни, исполнилось. Стало быть, моя жизнь не была напрасной. Хотел бы я еще многое сделать для вас; думаю, что родственники и знакомые не оставят вас в беде и возместят хотя бы частично то, чего не смог сделать я. Я еще буду вам писать. Маржка, Елена, я горячо вас любил и всегда желал вам всего самого наилучшего. Прошу вас и ко мне мысленно обратить свою любовь. Живите для лучшей жизни и считайте, что я выполнил свой долг. Не огорчайтесь. Еще раз кланяюсь вам и целую. Передайте от меня привет всем, кого я любил,— а вы знаете кого.

Богуш и папа.

ОЛЬДРЖИХ ГОРНОФ

Родился 6 ноября 1910 года. Во время войны работал кладовщиком. Выполнял поручения подпольного ЦК КПЧ. 6 ноября 1942 года был арестован. Казнен в Дрездене 28 апреля 1944 года.

Дрезден, 23.1.1944 г.

Дорогая жена, очевидно, ты уже знаешь, что жизнь моя завершается трагически. А потому это письмо должно стать не только прощанием, но главное — своего рода примирением с судьбой, на которую сам я уже не в силах повлиять. Прошу тебя, прими это известие спокойно и мужественно, потому что у тебя большие обязанности перед нашими детьми. Золотые мальчики, они заслуживают того, чтобы ты была для них матерью, которая все сумеет пережить, станет для них всем, заменит и отца. Я знаю, милая Зденка, тебе не нужно напоминать о твоих обязанностях. Знаю, что наши парнишки — все для тебя и всем для тебя останутся до конца твоей жизни.

Очень прошу тебя, прости, если в нашей совместной жизни против моей воли случалось такое, чего не должно было быть. Знаю, что у меня оставалось для тебя слишком мало времени, мало ласки. Я мало говорил с тобой о том, о чем ты так хотела бы слышать,— о любви и чувствах, мало бывал с вами. Простите меня за это. Такая уж выпала мне судьба — спешить с выполнением своих обязанностей перед людьми и забывать о себе и о семье. После человека в конце концов остается только вспаханная им борозда — и всегда незаконченная.

За все тебя горячо благодарю: за твой труд и заботы, за твою великую любовь, и моя последняя просьба—будь мужественной, всем, что останется после меня, распорядись разумно, смотри на все так, как оно есть, и не считай, что могло бы быть иначе. Я вовсе не хочу, чтобы ты загубила из-за меня свою жизнь. Распоряжайся собой, как найдешь нужным, проживи свою жизнь так, как ты того заслуживаешь. Только вспоминай меня добром, и я тоже буду до самого конца помнить о тебе, буду с тобой в своих мыслях.

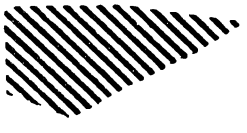
Дорогой Олоушек, с тобой мы тоже должны попрощаться. Не сердись на меня за то, что я тебя покидаю. Мне это очень горько, я ведь и сам знаю, что такое жить без отца, я тоже потерял своего отца и даже раньше, чем ты. Прошу тебя, учись как следует, чтобы знать больше, чем знал твой папка, будь хорошим человеком, чтобы люди тебя любили. У тебя золотая мама, ты должен вознаградить ее и за меня, должен быть воспитанным и послушным, чтобы она радовалась, глядя на тебя.

Зденечек, маленький мой мальчик, ты ведь даже не знаешь своего папку и должен будешь довольствоваться только тем, что тебе когда-нибудь обо мне расскажут. Ах, как я любил своих малышей...

Всем дома мой самый сердечный привет и благодарность. Утешаю себя мыслью, что все вместе они постараются заменить вам меня. Когда я гляжу на ваши карточки, чувствую: вы не подведете меня и на жизнь, пусть даже тяжелую, будете смотреть, как на бесценный, прекрасный дар — я тоже сейчас убеждаюсь, что жизнь — это не только то, что кажется нам очевидным. Зденка, всем у нас дома самые горячие приветы, а также всем друзьям в Небушинах и Соуше, всем, всем.

Желаю вам здоровья и счастья. Буду думать о вас до самого конца.

Ваш папка.



ЛАСЛО ДЮРКО

С МЫСЛЬЮ О ЛЕНИНЕ

Автор публикуемой ниже статьи, которую мы перепечатываем с сокращениями из венгерского журнала «Кортарш»,— молодой критик. Перу его принадлежит также несколько произведений художественной прозы.

Перелистывая страницы ленинских документов, воспоминаний о нем, Ласло Дюрко воссоздает черты дорогого облика Ильича — человека, мыслителя, вождя.

Есть в воспоминаниях рабочего Г. И. Иванова запись о том, как однажды в 1921 году Ленин зашел в кремлевскую парикмахерскую. Народу было много, Ленин сел, достал из кармана журнал и начал читать. Конечно, его захотели пропустить вперед, но он запротестовал: «Благодарю вас, мы должны соблюдать очередь и порядок. Законы ведь сами создаем...» Сначала я усомнился в истории, рассказанной Ивановым. Боже упаси, чтобы я подозревал его в сознательном искажении правды, но легенда часто оказывается сильнее действительности и формирует по своему образу и подобию даже воспоминания. Однако факт остается фактом. Чем более высоким было официальное положение Ленина, тем более упорно он возражал против того, чтобы ему предоставлялись какие-либо особые привилегии. А после победы революции это стало, можно сказать, жизненным принципом. Он не хотел принимать даже самые незначительные подарки и, если уж не было абсолютно никакой возможности от них освободиться, немедленно отправлял их в какую-нибудь больницу или детский дом. Он писал рабочим Стодольской суконной фаб-

рики в Клинцах, которые послали ему кусок изготовленного ими материала: «Дорогие товарищи! Сердечно благодарю вас за приветствие и подарок. По секрету скажу, что подарков посылать мне не следует. Прошу очень об этой секретной просьбе пошире рассказать всем рабочим».

Как вспоминает шофер Ленина Гиль, когда однажды в декабре 1920 года где-то на шоссе сломалась его машина, он в двадцатиградусный мороз дошел пешком до ближайшей станции Подсолнечной, наотрез отказался от предложения одного из руководителей местного Совета вызвать специальный паровоз и возвратился в Москву в теплушке попутного товарного состава. Когда на заключительном заседании IX съезда партии отмечали пятидесятилетие В. И. Ленина (его на этом заседании не было), он сразу же послал записку в президиум с просьбой немедленно это прекратить. Когда же присутствующие продолжали говорить приветственные речи, Ленин второй запиской и в третий раз по телефону потребовал от председательствовавшего на заседании Петровского прекратить хвалебный словесный поток и продолжать обсуждение очередных вопросов съезда.

В конце 1922 года Ленин писал своей сестре:

«Дорогая Анюта! Вышло вот что:

Оказалось, что книга эта из «Соц. Академии», откуда книги *запрещено* давать на дом.

Для меня сделали исключение!

Вышло неловко,— по вине моей, конечно. Надо теперь особенно строго присмотреть за тем, чтобы Гора *быстро* и *дома* книгу прочел и вернул.

Если надо, я могу поручить поискать *в другом месте,*— чтобы книгу эту мне достали в собственность».

Вот еще одно письмо — к Бонч-Бруевичу, датированное маем 1918 года.

«Ввиду невыполнения Вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалованья с 1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и ввиду явной беззаконности этого повышения, произведенного Вами самочинно по соглашению с секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуновым, в прямое нарушение декрета Совета Народных Комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю Вам строгий выговор».

Почему же Ленин все-таки поступал именно так, а не иначе? Потому, что был целомудренным человеком, испытывавшим отвращение к любым внешним атрибутам власти, органически не выносил какую бы то ни было дискриминацию, исключение из правил, общих для всех? Да, но не только поэтому: Ленин был до мозга костей народным вождем, для которого не существовало личной жизни, «отдельной» от его политических воззрений и принципов. Это был не только протест щепетильного человека, но и принципиальная позиция руководителя государства.

Нескольких лет было слишком мало, чтобы вытравить из людей впитывавшиеся ими на протяжении многих тысячелетий традиции идолопоклонства, которое в сущности было не чем иным, как выражением рабской психологии, признанием собственного ничтожества перед лицом власть имущих. Русской революции зачастую приходилось бороться не только против буржуазных взглядов, но и с «духами» средневековья; ее противниками были не только Капитал и Собственность, не только оружие белогвардейцев, но и иконы с почерневшей от времени позолотой, спины, покорно склоняющиеся под кнутом, колени, протирающие каменные плиты соборов с луковицеобразными куполами. Не так просто было добиться понимания того, что иконы не творят чудес, что вожди — не боги, на которых должно молиться. И в этой борьбе опасно было мириться даже с самыми искренними и «безупречными» формами поклонения.

■

В мае 1919 года Ленин получил два прошения от крестьян, которые жаловались на незаконную реквизицию лошадей. Управделами СНК направило жалобы в соответствующее учреждение, откуда они вернулись в СНК с возмутившей Ленина надписью на конверте: «Работы и так много, с пустяками заниматься некогда». Письмо было направлено дальше с запиской Ленина: «Аванесову в Государственный контроль для *ареста* ответившего так чиновника».

На первый взгляд, могло бы показаться, что этот талантливейший организатор, строжайше планировавший каждую свою минуту, не всегда видит разницу между делами первостепенной важности и мелочами. В самое тяжелое для революции время он

заботился о том, чтобы в каждой приемной комнате Кремля стоял графин с водой и стакан, чтобы Сталин получил комнату, в которой ему не мешал бы спать шум от кухни. Вот телеграмма, посланная в феврале 1919 года: «Советский служащий Данилов жалуется, что ЧК отобрала у него три пуда муки и другие продукты, за полтора года добытые его трудом на семью в четыре души. Строжайше проверьте. Телеграфируйте мне результат». Другая телеграмма, относящаяся к тому же времени: «Проверьте жалобу Ефросиньи Андреевой Ефимовой, солдатки деревни Новосела, Покровской волости, Белозерского уезда, на отнятие у нее хлеба в общий амбар, хотя у нее муж в плену пятый год, семья трое, без работника. Результат проверки и ваших мер сообщите мне».

Но наиболее выразителен в смысле внимания к «мелочам» перечень просьб, с которыми в 1919—1921 гг. обращался к Ленину Горький. Принять Куприна по литературному делу; учредить информационную газету для агитаторов-коммунистов; перевести на европейские языки список книг, издающихся в серии Всемирной литературы; принять американского журналиста Фарбмана; предоставить 1800 пайков для ученых; освободить обвиняемого в заговоре генерала-химика Сапожникова, который изобрел способ изготовления дезинфекционных средств из смолы; предоставить Манухину возможность изучать за границей противотифозную сыворотку; учредить лигу борьбы с детской преступностью; организовать сбор стекла в разрушенных домах, мешков из-под песка, железного лома; прочитать рукопись воспоминаний Чернова и Мартова; разрешить ученым иметь в квартире специальную комнату для работы; конфисковать собственность эмигрантов; посетить физический институт имени Лазарева...

И Ленин, сверх меры загруженный заботами борьбы с белогвардейцами, интервентами, с оппозицией внутри страны, голодом, чудовищной разрухой, терпеливо и без устали отвечал на просьбы и предложения, писал, отправлял телеграммы, давал указания, принимал меры. Один-единственный раз в его тоне прозвучало нечто вроде порицания, но и тогда как это было сказано! «...Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу.

А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерационально.

В Европе в *хорошей* санатории будете лечиться и втрое больше дела делать. Ей-ей! А у нас ни леченья, ни дела — одна *суетня. Зряшная суетня!*

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас».

Ленин вовсе не принадлежал к числу одержимых, которые по-настоящему хорошо способны себя чувствовать только в работе. Он великолепно умел отдыхать и знал, что отдых жизненно необходим. Во время сибирской ссылки Ленин плавал, ловил рыбу, охотился, в эмиграции много катался на велосипеде, излазил Альпы, Татры, исходил горные деревни Швейцарии и Польши. Уже в последние годы жизни он с ребячьим любопытством изучал незнакомые ему края, целыми днями бродил по лесу, с удовольствием, увлеченно охотился.

В том, что он не жалел времени на мелочи, меньше всего можно усмотреть уве-

ренность, будто руководитель единолично способен решить все проблемы стомиллионной страны, которые не решала или решала плохо никуда не годная, а то и враждебная государственная машина, доставшаяся в наследство от царизма. Маловероятно также, что Ленин руководствовался исключительно дружескими чувствами, делая все для выполнения полезных и правильных, но третьестепенных, с точки зрения революции, пожеланий Горького.

Нет, речь шла не о мелочах, а опять-таки о воплощаемых в отношении к ним основополагающих принципах. Одной из самых страшных раковых опухолей царской России было пресловутое *«ничево»*. Именно отсюда — это самое «с пустяками заниматься некогда». Ленину пришлось стать во главе страны, которая в обстановке невиданного в истории хаоса и разрухи строила общество, утверждающее уважение и внимание к человеку. Из России, погруженной в оцепенение спячки, глубокого безразличия к человеку, нужно было создать Россию революционную.

А к чему может привести принцип *«ничево»* в революции? Это образ мыслей, позволяющий равнодушно, без всяких угрызений совести списать любую «отдельную» ошибку за счет развивающегося в правильном направлении целого. Изгнали Керенского, разбили Колчака — кого интересует крестьянская лошадь или жалоба солдатки? Именно такие рассуждения скрываются за формулой «пустяками заниматься некогда». Когда в стране все перевернуто вверх дном, когда на перекрестках говорят пулеметы, когда даже неизвестно, какой город наш и какой — в руках врага, ошибки, заблуждения — даже тяжелые ошибки и серьезные заблуждения — неизбежны. Но горе тому руководителю, который, зная об этой закономерности, равнодушно мирится с ошибками. Видеть одни ошибки, обращать внимание только на ошибки было бы опасной глупостью, но не менее опасно было бы игнорировать ошибки. Еще опаснее затыкать рот тому, кто старается привлечь внимание к ошибкам, ибо бессловесность — лучшая почва для злоупотреблений, для произвола, таящих в себе угрозу для дела революции. Если революция не может решительно этому произволу противостоять, она, как правило, терпит поражение. Ленин, который в самые ответственные моменты, в обстановке решающих побед не терял остроты реакции на мельчайшие ошибки, больше всего ненавидел злоупотребление властью, особо предостерегал революцию от произвола. «По-видимому, Булатов арестован за жалобу мне,— телеграфировал он в мае 1919 года в Новгород.— Предупреждаю, что за это председателей исполкомов, Чека и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела. Почему не ответили тотчас на мой вопрос?»

Было бы грубой ошибкой полагать, что этот исполненный человеколюбия руководитель принадлежал к кроткому семейству будд и христосиков. Когда это оказывалось необходимым, он умел быть и беспощадным.

Он требовал внесения дополнений в новый уголовный кодекс: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революю-

ционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого». В июне 1918 года он писал Зиновьеву: «Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, вполне правильную».

В начале 1920 года многие немецкие рабочие-специалисты и инженеры хотели переселиться в Россию. Эти специалисты могли оказать неоценимую помощь республике, испытывавшей невероятные трудности, не последнюю роль в этом играло бы возможное спасение тысяч людей от голодной смерти. Однако Ленин распорядился сначала принять только одну делегацию: иностранные рабочие должны знать правду, знать, что, приезжая к нам, они обрекают себя на лишения. В одном случае были необходимы самые беспощадные средства, а в другом во много раз меньшая безжалостность была бы неоправданной.

■

Ленин был политиком до мозга костей, всю свою жизнь, каждое свое чувство он подчинял закономерностям политической борьбы. Политика была для него не только тактикой и стратегией, но и таким сплавом теории и практики, подобный которому мы вряд ли найдем в истории. Как все русские революционеры-интеллигенты, он тоже сначала познакомился с теорией и остался верен этой своей первой любви до самой смерти. От революционеров всех других эпох марксистов отличает также и то, что в каждом марксисте, профессиональном революционере-практике скрывается философ. Нераздельность теории и практики, системы взглядов на мир и политики, философии и революционности — одна из основ марксизма. Для Ленина философия была не только путем к познанию истины, но и средством изменения русской действительности. В одном человеке почти уникальным образом соединились величайший мыслитель и величайший деятель. Ленина-практика нельзя отделить от Ленина-мыслителя; без гигантских теоретических знаний он едва ли смог бы добиться осуществления дела всей своей жизни — революции. И в то же время «качества политика» не дали ему потонуть в теории, он понял «душу» марксизма, понял, что это не окостеневшее в своей «законченности» учение, а такая система мышления, которая предполагает постоянное развитие и обогащение. Исследуя законы бытия, он опирался на знание не только диалектики природы, но и принципов современной физики. Осмысляя процессы, происходящие при капитализме, обращался не только к «Капиталу», но и анализировал самые злободневные явления общественной жизни, самые свежие статистические данные. Пророчество Маркса о характере созданного им учения нашло свое воплощение в Ленине: ленинский путь — это философия, ставшая действительностью. Философы излагают открытые ими положения в книгах, Ленин же был таким мыслителем, который воплощал свои представления об истине прежде всего в практических

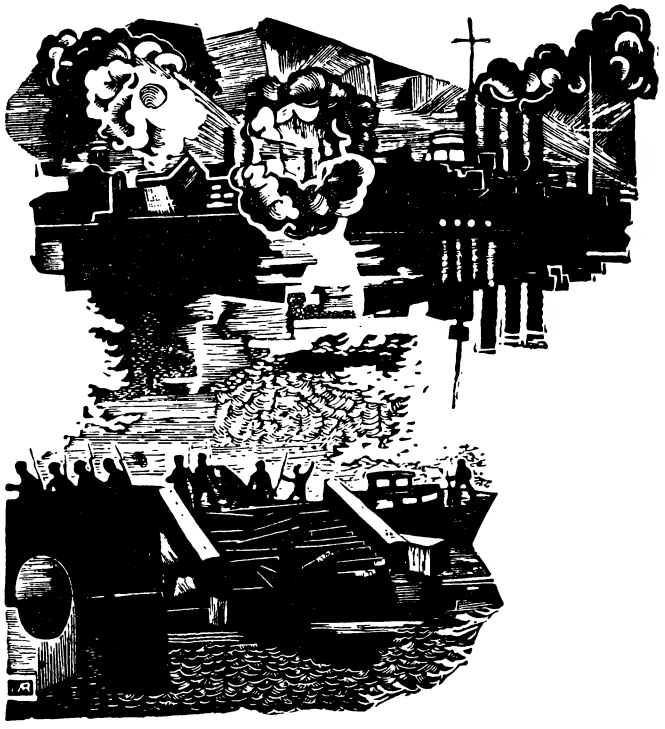
делах. Величайшее творение его философии, оставленное в наследство последующим эпохам,— это революция. Задача философов — сделать теоретические выводы из политики, которую он проводил.

Как же ярко характеризуют эту политику, ленинское мировоззрение его самые непосредственные отношения с товарищами по работе! Ценя своих соратников исключительно высоко, Ленин никогда не закрывал глаза на их ошибки. И если дело доходило до политических принципиальных расхождений во взглядах, упорно настаивал на своем, и даже лучшие друзья не могли заставить его пойти на уступки. Бесконечно уважая Плеханова, Ленин боролся с ним на протяжении почти всей своей жизни, пока не последовал окончательный разрыв, когда «отец русских революционеров» приветствовал добровольцев, отправлявшихся на поля сражений мировой войны. Ленин-политик одержал победу над Троцким-доктринером в таких двух важнейших вопросах, как Брест-Литовск и новая экономическая политика. В связи с заключением мирного договора от всех партийных и государственных постов отказался Бухарин. Ленину пришлось вести нелегкую борьбу со Сталиным по решающему вопросу объединения республик. Зиновьев и Каменев изменили в решающий момент — накануне вооруженного восстания. Луначарский с рыданиями выбежал из зала заседаний Совнаркома, когда узнал, что красногвардейцы обстреливают из орудий Кремль, и в порядке протеста отказался от поста наркома.

Ленин был политиком, поэтому боролся он не против людей, а против их неверных политических взглядов. Его всегда интересовала только сама истина и никогда — стремление утвердить собственную правоту.

Из многих примеров, характеризующих человечность Ленина, наиболее, пожалуй, знаменательна его борьба за Горького в 1919 году. Ленин знал, что Горькому нельзя оставаться в Петрограде, что для пораженного туберкулезом организма писателя губителен петроградский климат, его остро восприимчивой натуре противопоказаны атмосфера бывшей царской столицы, разочарованность и отчаяние окружавших Горького людей. 5 июля он написал ему письмо: «Дорогой Алексей Максимыч! Ей-ей, Вы, видимо, засиделись в Питере. Нехорошо на одном месте. Устаешь и надоедает. Согласитесь прокатиться, а? Мы это устроим». Через три дня телеграмма: «Очень прошу приехать завтра, или не позже четверга. Необходимо переговорить спешно». В тот же день телеграмма: «Нижний Новгород; река телеграфируйте, где пароход Всецика Красная звезда. Запросите его, не может ли он подождать в Казани Горького и дать ему каюту. Очень прошу об этом». Одновременно — записка Каменеву: «12 или 13 приезжает Горький. Можете ли распорядиться дать ему *дров?* Машков пер., д. 1, кв. 16».

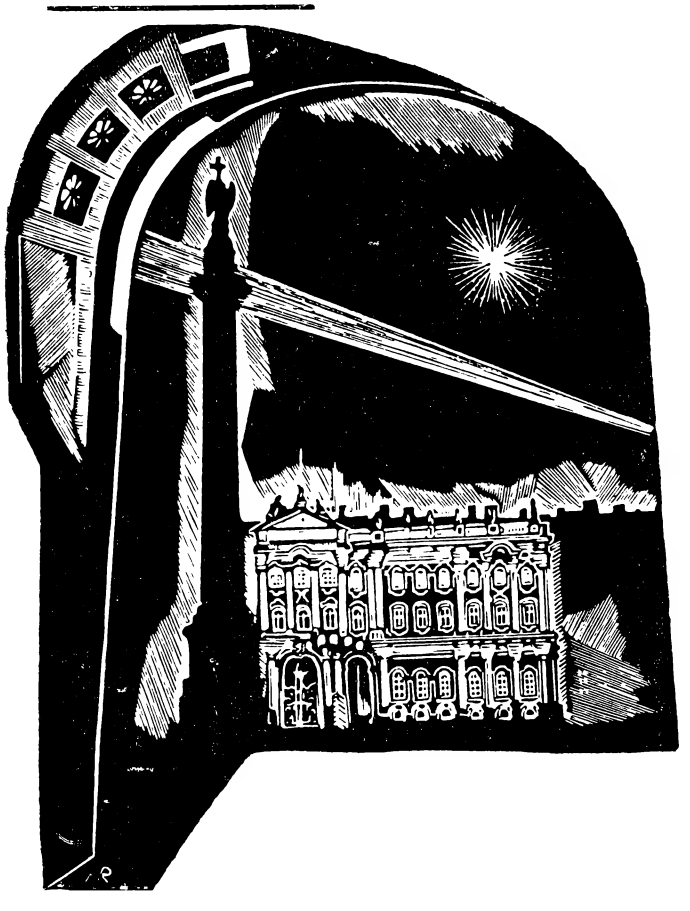
На следующий день он писал Крупской: «Я запросил... нельзя ли на «Красной звезде» дать каюту для Горького. Он приедет сюда завтра, и я очень хотел бы вытащить его из Питера, где он изнервничался и раскис. Надеюсь, ты и другие товарищи будете рады ехать с Горьким. Он — парень очень



милый; капризничает немного, но ведь это мелочь».

И на третий день — телеграмма Крупской: «Сегодня видел Горького, убеждал его поехать на вашем пароходе, о чем уже послал одну телеграмму Нижний, но Горький категорически отказался». Из письма, посланного жене 15-го: «Горького не уговорил поехать, хотя уговаривал усердно». Через три дня Горькому: «Дорогой А. М. Приезжайте отдохнуть сюда, я на два дня часто уезжаю в деревню, где великолепно могу Вас устроить и на короткое и на более долгое время. Приезжайте, право! Телеграфируйте, *когда;* мы вам устроим купе, чтобы удобнее доехать. Немножечко переменить воздух, ей-ей. Вам надо. Жду ответа!»

Едва ли можно было уделить больше времени и забот решению важного государственного дела. Ведь этот «поход» свидетельствует, что Ленин вспоминал о Горьком не от случая к случаю, а думал о нем, занимался его судьбой изо дня в день.



История показала, что во всех решающих для судеб революции вопросах правда была на стороне Ленина, а не на стороне его противников. Он был прав, что Керенского нужно сместить с помощью вооруженного восстания, что в союз следует вступать только с партиями, которые принимают диктатуру пролетариата; прав, что единственным спасением для революции было заключение мира с Германией любой ценой; прав, что нэп был выходом при создавшихся условиях, что советское государство уже достаточно сильно, чтобы не опасаться при этом реставрации капитализма. Если бы в любом из подобных вопросов был избран ложный путь, революция могла бы потерпеть поражение,— вот объяснение того, что Ленин предпочитал стать объектом высекающей искры ненависти, не боялся одиночества и непонимания, не останавливался перед самой ожесточенной борьбой со своими лучшими друзьями, но не хотел ни на йоту уступить в этих вопросах.

Как же удавалось Ленину добиваться проведения в жизнь своей линии даже в тех случаях, когда против нее выступали его соратники? Его правота сама по себе не является достаточным объяснением; сколько людей на протяжении истории оставалось в одиночестве со своей правотой, сколько потерпело поражение, хотя они и были правы! Ленин едва ли мог бы одерживать верх над своими оппонентами, терпевшими поражение одно за другим, если бы кроме правоты на его стороне не было того, что принято называть «чудом русской революции». Ведь империя Николаев и Александров была не только наиболее отсталым государством Европы, не только родиной деревянных плугов, попов и рабства; Россия была также отчизной Толстого и Достоевского, Лобачевского и Пушкина, Пугачева и Павлова, декабристов и Чернышевского, Чехова и Гоголя. Глубочайшая темнота сотен миллионов и ярчайший свет,

собранный как бы под увеличительным стеклом,— вот что такое была Россия. Не только страна мужиков, боящихся черта и возносящих молитвы святым угодникам, но и государство, где росла и мужала все активнее действующая, организованная в десятилетних боях, целеустремленная гвардия революционеров. В моменты, когда решалась судьба революции, Ленин рассчитывал прежде всего на десятки тысяч безымянных революционеров. Основа политики Ленина в том, что она всегда опиралась на эту силу. Самый блестящий ум, самые неотразимые логические выкладки одной личности могут привести к ложному пути скорее, чем интуиция, опыт десятков тысяч. Для Ленина народ никогда не был целью или средством, массой, которую нужно освободить, или неким абстрактным божеством, именем которого клянутся. Нет, это была та самая реальность, которая определяет направление движения, своего рода сигнальная система, которую необходимо постоянно держать в поле зрения. И безошибочной точностью позиции во всех решающих вопросах Ленин был обязан прежде всего своему беспримерному знанию действительности, способности воплощать в своих решениях правду, рожденную и проверенную опытом и чувствами десятков миллионов. В 1903 году Плеханов выступил в «Искре» против опубликования в печати материалов о партийных разногласиях: если мы хотим сделать пролетариат судьей бесчисленных разногласий, возникающих между отдельными кружками, тогда мы перейдем к наихудшему из всех видов псевдодемократизма. Революция в конечном итоге показала, кто может быть чьим судьей: победили ленинская мысль, революционный опыт и революционное сознание десятков тысяч коммунистов.

Сила этих безымянных революционеров не в последнюю очередь состояла в том, что они хорошо знали, чего хотят, на что способны миллионы людей, знали, куда можно вести эти миллионы. Многие соратники Ленина опасались, что с помощью «мужиков с согбенными спинами» невозможно осуществить революцию, в особенности социалистическую. Но Ленин не только понимал, что три года войны оказались гигантской школой для людей даже самого примитивного сознания, что солдат, прошедший окопные университеты, уже не тот крестьянин, который молча переносил розги; он знал также, что революция притягивает к себе многие миллионы людей, на которых при других обстоятельствах вряд ли можно было бы рассчитывать. В ходе удивительнейшего из действ истории, когда свобода, земля, достоинство человеческое за какие-то мгновения из смутных мечтаний превращаются в доподлинную реальность, стремительно быстро формируется и человек: раб может стать бойцом. Не фетишизируя сознательную революционность народных масс, Ленин верил в великую воспитующую роль революционных событий. Жизнь показала, что его расчеты были точны.

Великие люди в конце жизни обычно пишут мемуары, в которых они подводят итог сделанному и прожитому. У Ленина для этого не было времени.

На протяжении тех десяти недель в конце 1922 и в начале 1923 года, когда скованный

параличом Ильич диктовал свое политическое завещание, ему приходилось думать не о прошлом, а о настоящем и будущем. И это завещание, последние ленинские работы — от письма к съезду до «Лучше меньше, да лучше» — представляют собой нечто намного большее, чем просто обобщение накопленного опыта прошлого.

Ленин не только не переехал в покои царя Александра III, как это сделал Керенский, а жил со своей семьей в скромной квартирке, ему было в высшей степени чуждо то, что именуется цезареманией или бонапартизмом, он оставался до конца дней государственным деятелем и революционером. Самый главный вывод, который вытекает из его последних произведений: деспотизм не является неизбежным спутником власти, подлинный революционер так же умеет созидать, как и бороться.

Обстановка, когда они создавались, была далеко не легкой. Правда, белогвардейцы и интервенты были разбиты, но враждебные элементы всех мастей надеялись на раскол в партии. Социализм предстояло строить в стране, где каждый десятый человек голодал, которую ослабляли неорганизованность и рутина, где две трети населения было неграмотно. А между руководителями и народом находился все искажающий, замедляющий и тормозящий аппарат, этот доставшийся от царизма «кнут», против которого так боролся Ленин. И в малочисленной его новой прослойке нет-нет да и давали о себе знать то склонность к бюрократизму, то недостаток знаний и опыта, отсталость, укрывающаяся порой за революционной фразой, оптимизм самообмана, зиждущийся не на анализе реальных фактов, а на упованиях и верхоглядстве, стремление спекуляцией на «благонадежности» компенсировать нехватку профессиональных навыков.

Что должен был чувствовать в Горках угасающий Ильич, когда он смотрел в лицо фактам? И как у него хватало сил не приукрашать ни на йоту окружающую его действительность? Величие его едва ли проявлялось в какое-либо время в большей мере, чем в эту пору, когда он в столь трудных условиях не пытался утешаться огромностью побед. Всей своей жизнью он доказал, что неспособность трезво взглянуть на трудности — удел слабых и маловеров; тот, кто уверен в своей правоте, смело смотрит в лицо самой беспощадной реальности. Даже с порога смерти трудности не казались ему катастрофическими, а задачи — неразрешимыми, ибо он оценивал эти серьезные недостатки, соразмеряя их с уровнем гигантских свершений: за четыре года сметены царь и Керенский, разгромлены Колчак, Деникин, иностранные интервенты, осуществлен раздел земли, национализирована промышленность, организована Красная Армия. Отчаяние не могло овладеть им, ибо он знал, что многие беды и трудности являются прежде всего следствием прошлого и борьбы не на живот, а на смерть. Когда руки были заняты оружием, не было ни времени, ни возможности обучать крестьян грамоте, выметать бюрократию. Самых лучших посылали на фронт, а не оставляли в аппарате.

Тот факт, что в завещании почти не говорится о достигнутых успехах и главное внимание уделено задачам на будущее, свидетельствует о том, что, и будучи парализованным, Ленин

оставался таким же бойцом: того, кто ведет борьбу, будущее всегда интересует больше, чем прошлое.

Своего преемника он видел в той самой силе, которая привела к победе революции. Ленин никогда не терпел личной власти и старался помешать тому, чтобы кто-либо мог подняться над партией, поэтому он предложил увеличить число членов ЦК на 100 человек, создать для оказания помощи Центральному Комитету Рабоче-Крестьянскую Инспекцию из 400—500 членов. К власти должны прийти люди, знающие, что происходит в стране, знакомые с положением народа, его потребностями, бедами и чаяниями. Эта могучая группа руководителей воспрепятствует расколу партии, установлению единой власти того или другого руководителя, она будет способна освежить аппарат, покончить с голодом, осуществить индустриализацию, организовать и возглавить поход против неграмотности, за воспитание образованных и сознательных революционеров. Ленин хорошо знал, что такая гвардия руководителей есть в стране.

Пока Ленин был в состоянии работать, едва ли он много думал о смерти. Лишь одна его фраза позволяет предположить — он знал, что дни его сочтены. «Осенью возложил чрезмерные надежды на свое выздоровление»,— писал он в 1922 году. Но больше, чем эта фраза, говорит нам то, как он собрал все свои силы, чтобы высказать мнение по поводу наиболее сложных проблем, которые можно было предвидеть в будущем. И хотя дело, которому он отдал жизнь, не знает границ, как их не знает сама жизнь, он все же сумел поставить точку: комплекс последних произведений и сегодня — в перспективе почти пяти пройденных с тех пор десятилетий — представляется поистине финальным аккордом его жизни и деятельности. И что еще важнее: они явились таким путеводителем, к которому необходимо обращаться даже спустя все эти десятилетия.

■

Горький, лучше которого мало кто знал Ленина, пишет о нем: «Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражде и ненависти ради осуществления дела любви».

Но больше этого портрета я люблю небольшую, малоизвестную фотографию. Она сделана в Москве в 1921 году, на III Конгрессе Коминтерна. Ленин пишет, присев на лестнице, подперев голову левой рукой, положив шапку на пол рядом с собой. Где-то за его спиной шумит зал заседаний Конгресса, я почти слышу резкий голос оратора, а он скромно присел на лестнице и работает, сосредоточив все свои мысли на своей работе, не обращая внимания на шум и косые взгляды блюстителей строгого этикета.

И еще есть рисунок, сделанный моим другом Яношем Оросом. Этот рисунок висит над моим столом. Характерная кепка закрывает удивительный лоб, отличавший Ленина от всех людей: он кажется более непосредственным, не выступает с речью — один в парке в Горках, среди высоких сосен, которые он настолько любил, что тут же заметил, когда одну из них срубили,— он как бы вопрошает мир о его правде. Выступающий подбородок, удлиненный бородкой, тверд, но его смягчает серьезный задумчивый взгляд: этот человек смотрит на меня, человек, которого товарищи уже в молодости называли «старик». Он всегда видит людей, человека, никогда — просто цифру, факт, теорию.

Это выражают его лоб, подбородок, глаза. Мысль, воля, человечность.

Рисунки чешского художника МИХАИЛА РОМБЕРГА к книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

НОВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ»

Более шести веков существует «Божественная комедия», и в течение этого времени она была неиссякаемым источником вдохновения для многих художников разных эпох.

Известны многочисленные импровизации пером великого Боттичелли, [который не пошел, однако, дальше набросков некоторых сцен, рисунков отдельных персонажей], работы Федерико Дзуккарри, Франческо Скарамуцца, Габриэла Россетти и, наконец, знаменитые иллюстрации Густава Доре. Однако никто из русских художников не иллюстрировал замечательного творения Данте.

Лишь в 1957 году над иллюстрациями к «Божественной комедии» начал работать один из лучших русских граверов — Михаил Иванович Пиков. Обращение к Данте не случайно для замечательного нашего художника, давно уже тяготеющего к эпическим произведениям. Борение страстей, высокие чувства, широкие философские обобщения — вот круг тем, близких М. И. Пикову. За тридцать с лишним лет работы художник обращался к произведениям Гомера, Эсхила, Софокла, Шекспира, Камоэнса, Фирдоуси, Хафиза, Навои, Бо Цзюй-и, армянскому эпосу «Давид Сасунский», к индийской «Махабхарате», к Шоу и Лу Синю. Много внимания уделяет М. И. Пиков русской тематике — он иллюстрировал «Слово о полку Игореве» [совместно со своим учителем и другом В. А. Фаворским], Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Маршака. Гравюры М. И. Пикова экспонировались на многих выставках в Советском Союзе и за рубежом.

Сейчас М. И. Пиков продолжает работу над серией гравюр к «Божественной комедии», начатую семь лет назад. В 1961 году часть гравюр была опубликована, работа художника получила самую высокую оценку.

Перед читателем — шесть гравюр М. И. Пикова к «Божественной комедии».

В ходе работы над образами Данте художник изучил огромный материал: фрески, рисунки, иллюстрации своих предшественников — итальянских, французских, немецких, английских художников, комментарии и толкования текста «Комедии» различными исследователями и многое другое. М. И. Пиков — сам астроном-любитель — проследил и воссоздал систему мира Аристотеля — Птоломея, незыблемую во времена Данте.

В основу изображений самого поэта художник взял известную фреску Джотто. М. И. Пиков считает, что более всех живописных работ отвечают духу Данте фрески Луки Синьорелли из собора в Орвието — они как бы повторяют музыкальный строй дантовской терцины. И в своей работе М. И. Пиков стремится к такому же соответствию: в гравюре должен быть слышен ритм стиха Данте. Кстати, фресками Луки Синьорелли в свое время восхищался А. М. Горький.

Рассматривая гравюры М. И. Пикова, всегда поражаешься глубокому проникновению художника в психологию литературного персонажа, умению найти и выделить основные черты в его характере и выразить все это классически лаконично, облечь свою главную мысль в безукоризненную форму. Именно в этом и заключается мастерство, свойственное лишь большим художникам.

FARINATA
DEGLI
VBERTI

TERRIBIL COME TOLGOR DISCENDESSE
CANTO IX
MIT . . 1964
E NE RAPISSE SUSO IN ETNO AL POCO

1964

DEL BEL NIDO DI LEDA MI DIVELSE
PRIMUM MOBILE
CANTO XXVII
XXVIII-XXIX
E NEL CIEL VELOCISSIMO M'IMPULSE

Ад населен героями и мудрецами древности. Данте и его спутник видят Гомера, Горация, Овидия, Лукана, Электру, Гектора, Энея, «хищноокого Цезаря», Брута, и вот, наконец, они замечают Аристотеля — «учителя тех, кто знает», окруженного «семьей мудролюбивой»: здесь Сократ, Платон, Демокрит, Диоген, Авиценна и другие философы. Именно этот момент и изображен на первой гравюре. Это — свой, пиковский «Диспут».

На второй гравюре — вставший из могилы гордец Фарината, который, «чело и грудь вздымая властно, казалось, Ад с презреньем озирал». Он — фамильный враг, дважды громивший род Данте, дважды изгонявший из Флоренции уцелевших от резни. Он признается, что бессилие потомков, не могущих продолжить его дело, «Болькее мне, чем ложе мук моих». Таким мы его и видим — жестокого, властного, непримиримого.

На следующей гравюре — знаменитый сон Данте. Ему снится, что орел уносит его, как Ганимеда, а это на заре пришла Лючия и вознесла спящего ко входу в Чистилище.

Чтобы найти Беатриче, Данте и его спутники должны пройти сквозь огненную стену. Поэт не решается вступить в огонь, он вспоминает всех людей, горящих в вечном огне. Но вот он собрался с духом и сейчас последует за Виргилием, шествие будет замыкать Стаций.

На восьмом, звездном, небе апостол Петр с лицом рыбаря, гневно потрясая ключами от рая, хулит своих местоблюстителей на земле, римских пап, в частности — Бонифация. Художнику прекрасно удались и неистовый, гневный Петр, и целомудренная Беатриче, и гордо-презрительный Данте.

Девятое, кристальное, небо, Ослепительная точка и девять ангельских кругов. «Свет и любовь объемлют этот свод». Сюда стремительным рывком вознесла Беатриче поэта, где-то далеко внизу созвездие Близнецов — там Данте и его возлюбленная были миг назад, и в глубине — поверженный Люцифер, а они летят к Ослепительной точке. Удивительная по ритму, пластике и композиции гравюра. Вольный, стремительный полет Беатриче и Данте чем-то напоминает полет небожительниц со знаменитых фресок Дуньхуана.

Публикуемые гравюры предназначены для нового издания «Божественной комедии», которое будет осуществлено Государственным издательством художественной литературы.

А. Тишков

Иене Кереньи. Фриз на здании вокзала в Дьере. Камень.

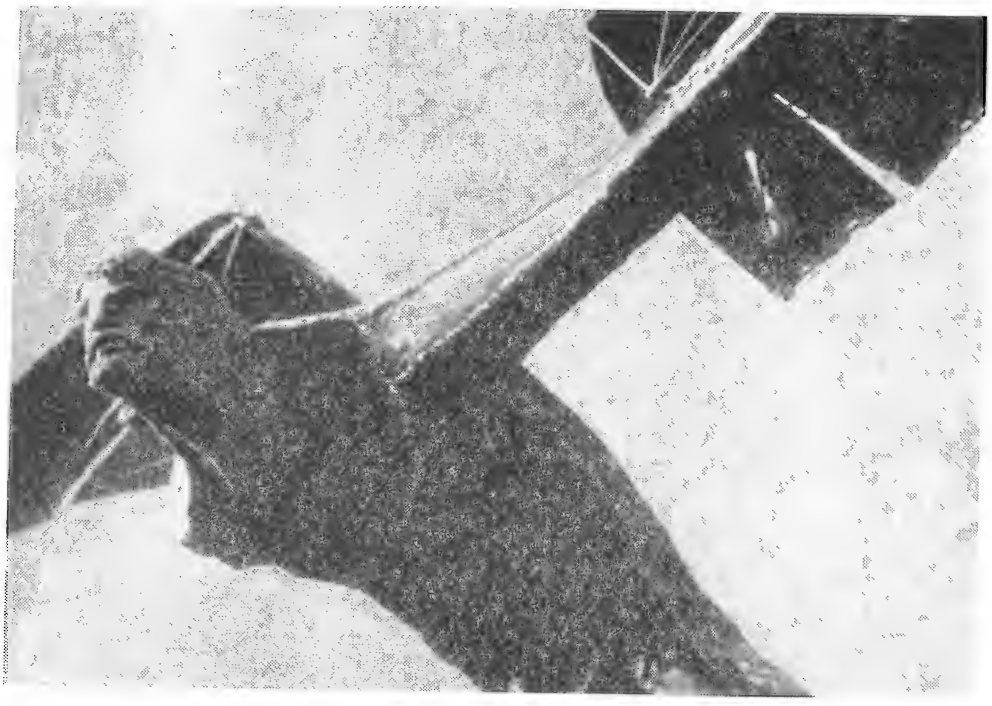
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО *За рубежом*

СКУЛЬПТУРА НАРОДНОЙ ВЕНГРИИ

Иене Кереньи. «Мир». Бронза.

Венгерская скульптура — не камерное искусство, чье бытие ограничено стенами выставочных залов. В последние годы она широко вошла в жизнь, заняла свое место на площадях и улицах, в парках, бассейнах, на заводских территориях и детских площадках. В интерьере современного города развернулось интересное, разнообразное по жанрам монументальное творчество многих и многих художников.

Трудно найти в Венгрии город или поселок, не украшенный произведениями скульптуры. В Дьере на здании городского вокзала я видел мажорный и свободный в своих динамичных ритмах фриз Иене Кереньи, в Пече — одном из древнейших городов Венгрии — конный монумент работы Пала Пацаи, образующий вместе со старинным собором и традиционным памятником жертвам холеры выразительный архитектурный ансамбль, в Дунайвароше имел возможность оценить по достоин-

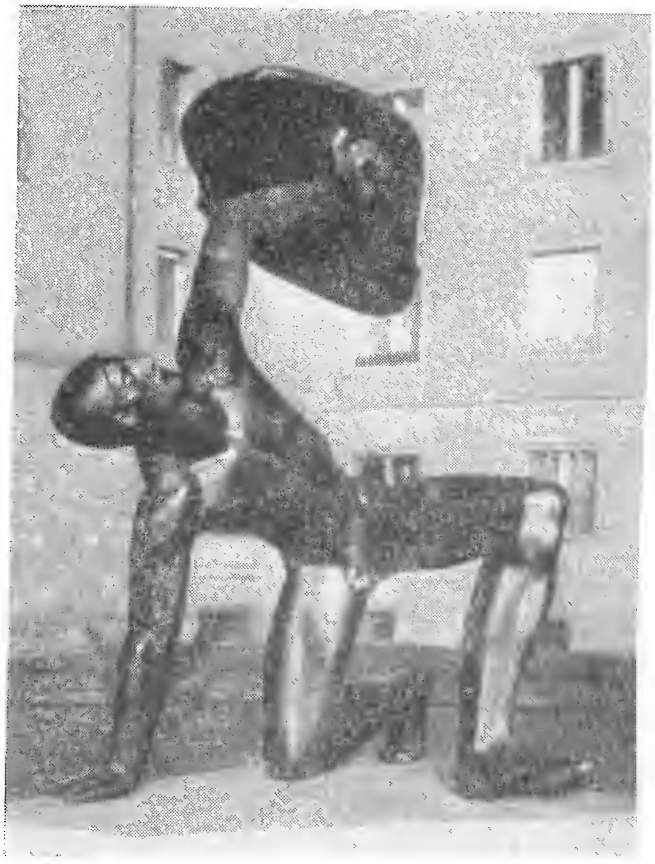


Дердь Шегешди. «Икар». Металлический лист.

ству не только знаменитую роспись Эндре Домановски, украшающую пропилеи металлургического завода, с ее непривычной для современной монументальной живописи чистотой и тонкостью колорита, но и поэтическую гармонию скульптуры Йожефа Шомоди «Металлург». Интересные монументы, декоративные скульптуры установлены в таких крупных городах, как Мишкольц, Дебрецен, и небольших, насчитывающих всего несколько десятков тысяч жителей — как Бекешчаба, Эгер, Кечкемет.

Для венгерских скульпторов сегодня нет второстепенных объектов: превосходна декоративная композиция Кереньи у сельской школы, что расположена у шоссе, соединяющего венгерскую столицу с городом Секешфехервар, выразительны скульптуры старейшего ваятеля страны Миклоша Боршоша у небольшого кафе в Пече...

В 1961 году в зеленом парке сотни тысяч будапештцев смотрели и обсуждали выставку скульптуры — декоративные композиции и монументальные портреты, созданные для площадей, парков, заводских клубов. Это «критическое обозрение» не только дало художникам возможность еще раз проверить



Барнабаш Медьери. «Спартак». Алюминий.

силуэт и пропорции, уточнить выбор материала. Наблюдая, как кипят страсти вокруг одних произведений и как равнодушно проходит зритель мимо других, они задумывались и о многих еще не решенных творческих проблемах. Значение таких выставок огромно: каждый год в различных городах и поселках Венгрии устанавливается более ста произведений скульптуры.

Чтобы понять, сколь активно вторжение скульптуры в современную венгерскую действительность, надо поехать в один из новых районов Будапешта — Ладьманьош. Это совершенно особое впечатление. Не только потому, что в глаза бросается рациональность и практическая целесообразность архитектурной планировки улиц и дворов, внешнего облика строений. Интенсивная — без дисгармонических сочетаний — окраска домов в красные, желтые, синие тона создает настроение праздничное и приподнятое. Строгое искусство ваяния оказывается достаточно выразительным, чтобы вступить в содружество с лаконичными формами и яркой цветностью архитектуры. Свободная композиция микрорайонов сделала возможной многообразную группировку скульптур, а цветные плоскости фасада и торцов зданий оказались великолепным фоном для декоративных выколоток из темной меди, серебристого алюминия и нержавеющей стали.

Однако свернем с улицы и углубимся в один из дворов. В контрасте с мажорным настроением улиц здесь возникает тихий поэтический уголок: свободно раскинулись прихотливые по своим очертаниям зеленые лужайки, а в глубине — в окружении деревьев — приютился небольшой водоем. В этом живописном окружении образы скульптуры получают свое особое истолкование — мысль художника устремлена к фантазии, к ассоциациям, вызывающим в памяти произведения народного фольклора, стиль мастера становится утонченным или, напротив, ярко декоративным... Не все в оформлении Ладьманьоша можно рассматривать как оптимальные решения, лучшие варианты ансамбля. Но в целом это

Кишфалуди Штробл. «Стран ствующий Петефи». Бронза

смелые и интересные поис ки, приобретающие новый смысл в условиях социали стического градостроитель ства.

Гуляя по Будапешту, лю буешься великолепными об разцами новой архитекту ры — зданием Транспортного агентства, Домом профсою за строителей, отелем «Рэй аль». Вновь напоминает о себе скульптура в просторном и светлом интерьере по пулярного кафе «Эмке», что стоит на проспекте Ракоци Керамические вставки Киша очень хороши на фоне полированной поверхности квадрических стен, они от теняют темную зелень пальм Посвященные темам любви юности, эти рельефы изящны, тонки, лиричны. Оформление «Эмке» — отнюдь не исключение. В кафе «Метрополь» можно увидеть выколотку из листовой меди, в гостинице «Геллерт» интересную «космическую» композицию из... медной проволоки.

Современный жилой интерьер — еще одна сфера приложения таланта венгерских ваятелей. Замечательная, почти столетняя традиция мелкой пластики немало способствует успеху их начинаний.

...Мастерская скульптора

Бела Куч. Декоративная ком позиция. Бронза.

Шандор Микуш. «Певцы». Бронза, медь.

Микуша. Здесь собраны модели монументальных композиций, эскизы еще не осуществленных памятников, но самое сильное впечатление производят отлитые в бронзе фигурки обнаженных. Их основные сюжеты: танец, спортивные состязания, игры детей — прославляют гармонию природы, бесконечную динамику жизни. Чистота форм, музыкальность ритмов этих безупречно скомпонованных скульптур рождают ощущение легкости, погружают в поэтический мир. Свобода и смелость в выборе приема выгодно отличают их от некоторых монументальных работ ваятеля.

Не только красота человеческого тела вдохновляет художников. В медалях Миклоша Боршоша, Бени Ференци, Тамаша Вига запечатлены исполненные жизненной силы и духовного порыва образы Рембрандта, Леонардо да Винчи, Гойи, Льва Толстого, мужественных революционеров Лайоша Кошута, генерала Ю. Бема, героев современности.

Много отлично выполненных произведений мелкой пластики можно найти в художественных салонах Будапешта. Ее лучшие образцы — непременные экспонаты любой выставки скульптуры. Жанр, в котором издавно сохранилось живое ощущение мира и реалистическое мастерство, переживает сегодня расцвет.

Арпад Шомоди. «Сидящая дева». Камень.

Венгерская столица украшена десятками монументов. Те из них, что скучны и банальны, созданы на рубеже века, в период упадка монументального искусства. Но есть такие, что в образах, полных боли и мужества, увековечили переломные моменты современной венгерской истории. Надолго запомню я день, когда впервые увидел памятник жертвам контрреволюции. Когда вместе с моим «экскурсоводом» — одним из старейших искусствоведов Венгрии Бела Пицали — мы подошли к площади Республики, началась гроза. В ее ярких отсветах предстала экспрессивная фигура рабочего, словно подкошенная страшным ударом. Превозмогая смертельную боль, последним усилием воли он вытянул вверх мускулистую руку, зовя к яростной и непримиримой борьбе. Публицистическая страстность, напряженная звучность форм — таков почерк автора монумента Виктора Калло, тридцатилетнего скульптора, вышедшего победителем на конкурсе, среди участников которого были все крупные художники Венгрии.

Творческая активность и ранняя зрелость молодежи — характерная черта современного венгерского ваяния. Виктор Калло, Дердь Шегешди, Иштван Киш, Ференц Ковач, Янош Коньорчик известны в стране как авторы многих памятников, монументальных статуй, портретов, скульптурного оформления общественных и про-

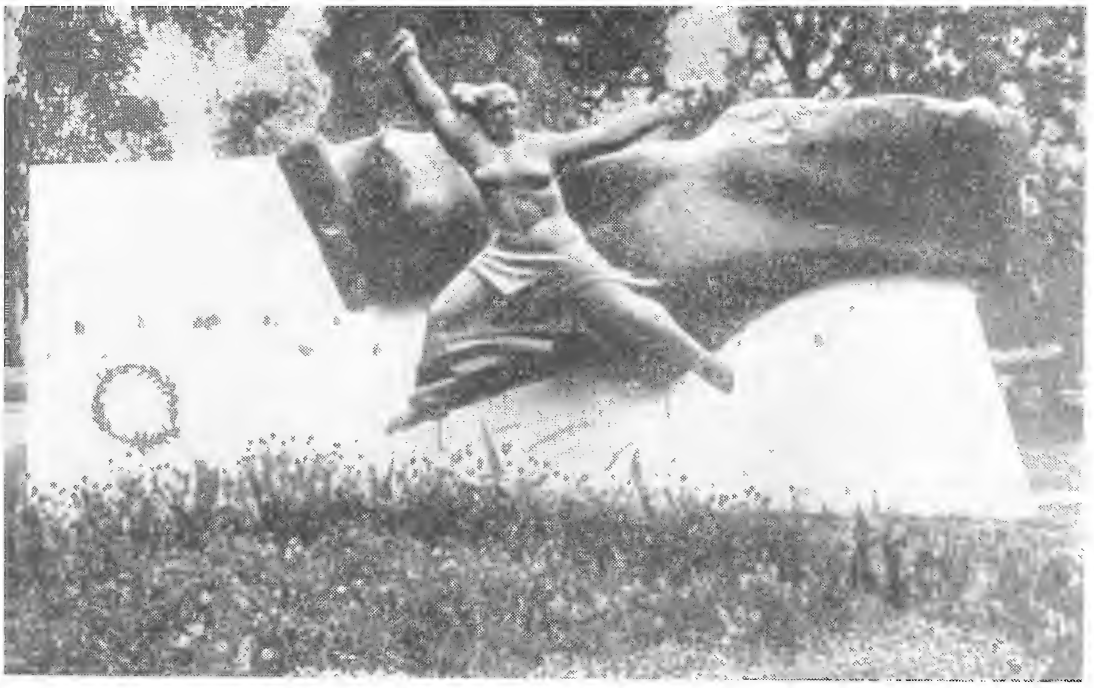
Шандор Надь. Женский портрет. Камень.

мышленных сооружений. Это художники романтического склада. Их волнуют высокие гражданские идеи и чувства. «Икар» Дердя Шегешди — гуманистический образ смелого открывателя неизведанного — кажется особенно современным в эпоху космических полетов. Глубоким и ярким символом защиты завоеваний социалистической демократии является его статуя «Закон». Неудержим порыв бойца революции в памятнике Советской республике 1919 года в Добрецене Иштвана Киша. Могущество человеческого духа прославляет другая работа ваятеля — проект памятника узникам Маутхаузена.

Современное истолкование получают не только гражданские темы, но и лирические раздумья о жизни, молодости, любви. Скульптура Ференца Ковача, изображающая погруженную в размышление молодую женщину, потрясает глубиной проникновения, трепетной силой чувств.

Произведения, которые мы назвали, и многие другие работы молодых скульпторов отмечены зрелостью мастерства. Сказывается солидный запас профессиональных знаний, полученных в годы учебы, благотворное влияние традиций. Но есть и еще один «секрет». В Эрнст-галерее в Будапеште мне пришлось побывать на необычайной выставке. Перед тем как рассказать о ее особенностях,

Шандор Киш. Оформление кафе «Эмке». Керамика.



Агамемнон Макрис. Памятник Советской республике в г. Сексард. Бронза.

несколько слов об экспозиции.

Экспозиция скульптуры возведена в Венгрии в ранг тонкого и увлекательного искусства. Различное по интенсивности освещение, тщательный выбор цвета и фактуры фона, легкость и пропорциональность постаментов — все это способствует глубокому восприятию произведений, к какому бы жанру они ни принадлежали.

...Выставка в Эрнст-галерее — годовой отчет студии молодых художников. Известно, какое множество проблем возникает у художника, только что получившего институтский диплом, — от выбора пути в искусстве до более прозаических: где работать, как достать необходимые материалы или организовать работу с натуры. И далеко не каждый находил верное их решение. Порой и растрачивался талант по пустякам. С созданием несколько лет назад молодежной студии положение существенно изменилось. Работая в ней в течение трех лет, вчерашний студент обретает и творческую среду, и реальную возможность совершенствовать свое мастерство. Наиболее талантливые получают стипендию имени Дерковича и время от времени показывают свои работы специальной комиссии, наблюдающей за творческим ростом художника. Можно найти какие-то изъяны в этой системе, но ее прогрессивное значение уже доказано первоклассными достижениями многих молодых скульпторов.

Шандор Микуш. Фрагмент декоративной композиции. Бронза.

Дердь Шегешди. Портрет Фиделя Кастро. Медь.

Наиболее острая проблема молодых — поиски своего лица. В этой связи принципиально важно отношение к традиции, осмысленное в аспекте социалистической современности. Основой для плодотворных поисков многих художников стало освоение национальной традиции с ее поэтическим восприятием мира, тонкостью и жизненной содержательностью формы (традиции, позволившей венгерским скульпторам успешно преодолеть натуралистические штампы, распространенные в годы культа личности). Классика венгерского ваяния, творчество Ференца Медьяши и Бени Ференци исполнены для них живого содержания и практического интереса. Как школа высокого реалистического мастерства воспринимаются произведения Кишфалуди Штробла и Пала Пацаи. Охотно обращаются эти художники к опыту европейского, в первую очередь французского, реалистического ваяния XX века.

Однако мы серьезно исказим картину, если не скажем и о тех, кто, не испытывая потребности самостоятельно мыслить, работал на потребу моде и предпочитал серьезному изучению прогрессивных традиций некритическое подражание тому или иному новоявленному «мэтру». Такое эпигонство тем более досадно, что во многих случаях оно не исключает безупречного уровня пластического мастерства. Стоит ли тратить годы на его совершенствование, чтобы безропотно отказаться от своего суждения о жизни и современности?

Для некоторых художников младшего и среднего поколения актуальной остается проблема преодоления формализма и абстракционизма. Абстракционизм не получил в Венгрии широкого распространения, но он иной раз наносит ущерб реалистическому искусству, искажая развитие сильного и яркого таланта. Именно эта мысль возникает, когда думаешь о творчестве Барнабаша Медьери. Я видел одну из недавних работ скульптора — декоративную выколотку из алюминия, предназначенную для здания детского сада. Оставаясь в пределах реализма, Барнабаш Медьери нашел острую асимметричную композицию, выявил специфику материала. Яркий поиск современных реалистических форм ощущается и в другой его скульптуре, «Спартак», установленной в новом жилом районе «Керепеши» и воспринимаемой как возвышенный гражданственный образ. Жаль, что в последнее время ваятель много сил отдает отвлеченным опытам и далеким от жизни экспериментам.

Нельзя не заметить известной ограниченности в направлении поиска ряда венгерских скульпторов. Кажется, будто они ведутся «по замкнутому кругу»: тщательно изучая некоторые явления современного западного искусства, они в то же время мало знают о ваятелях Польши, в частности К. Дуниковском, о прогрессивных художниках Италии, таких как Д. Манцу и Ф. Мессина.

Венгрия богата скульптурными памятниками различных эпох. Композиции и портреты — работы римских мастеров IV века н. э., собранные в Аквинкумене, разбросанные в других городах страны, скульптурные украшения уникального романского храма в Яке, соперничающие со знаменитыми химерами Собора парижской богоматери, статуэтки и рельефы, созданные итальянскими скульпторами по

Барнабаш Медьери. Мелкая пластика. Бронза.

Виктор Кадло. Монумент освобождения в г. Бекешчаба. Бронза.

заказу короля Матиаша для Вышеградского дворца, придают особый колорит и облику страны и ее культурной жизни. Раскопки, проводимые археологами, вдохновенный труд реставраторов возвращают современности новые и новые образцы искусства прошлого, открывая простор для творческой мысли художников. Надо надеяться, что с годами благотворное и реальное значение этого наследия в жизни венгерского ваяния будет возрастать.

По-иному встают проблемы современности и традиций в искусстве художников старшего поколения. Здесь нередко мешает стремление «втиснуть» образы нашей эпохи в систему академизма, подменить живую красоту современности салонной изнеженностью. Начало этих явлений — в мещанских взглядах и представлениях об искусстве, в салонных тенденциях, распространенных в период буржуазной диктатуры. Некоторые ваятели, сыгравшие в свое время большую роль в сохранении традиций реалистического мастерства, уже не создают значительных произведений. Их узкое понимание современного искусства, как соединения реальной формы с актуальным сюжетом, крайне далеко от масштабного охвата действительности в ее героике, в ее противоречиях.

Антитезой академизму воспринимается творчество Миклоша Боршоша, Иене Кереньи, чьи первые работы появились еще в 20-х или 30-х годах. С именем Кереньи справедливо связывают самое яркое направление венгерского ваяния. Страстное вторжение в современность, экспрессия образов и приемов определяют притягательную силу его произведений. Остро чувствуя напряженный ритм нашей эпохи, ее драматические конфликты, Кереньи ясно заявляет свою позицию бойца-гуманиста. Темы борьбы, подвига звучат в скульптуре «Демонстранты», в которой конкретный мотив гражданской истории Венгрии стал поводом для широкого обобщения, в проекте памятника партизанам, в многочисленных произведениях мелкой пластики. Стремясь к выразительности, скульптор решительно отвергает привычные каноны, находит свежие отношения пропорций, создает напряженные конфликты светотени.

У Кереньи есть свои проблемы. Мы долго спорили о его приверженности к одному и тому же, несколько архаическому, внешнему типу, о роли портретности в монументальной скульптуре, но даже самые дискуссионные его работы покоряют напряженностью поиска, возвышенным строем мыслей и чувств. Прощаясь, скульптор показал необычайные, слегка раскрашенные статуэтки. Удлиненные по пропорциям, свободно и темпераментно вылепленные, они в своей внутренней гармоничности обнаруживают родство со светлыми образами античности.

Так сопрягаются традиции и современность.

Широкое, многообразное по темам и жанрам творчество, призванное нести прекрасное в жизнь людей, напомнить о героических событиях прошлого и настоящего,— таким предстает современное венгерское ваяние.

Его достижения получили международное признание на Первой выставке социалистических стран, на Всемирной выставке в Брюсселе, на выставке 1963 года в Москве, хорошо принятой нашими зрителями.

И. Светлов

НОВЫЕ КНИГИ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ЖИЗНЬ И ЕЕ ТВОРЦЫ

Вехи. Три десятилетия в зеркале венгерской литературы. Редакторы Миклош Саболчи и Золтан Кеньереш. Перевод с венгерского. Редактор перевода Елена Малыхина. Будапешт, Издательство Корвина, 1965.

Об этой книге, которая вот-вот ляжет на стол советского читателя, нелегко писать. Но еще труднее было ее составителям, задавшимся целью запечатлеть, как отразились «три десятилетия в зеркале венгерской литературы».

Почему же три десятилетия, если книга посвящена двадцатой годовщине освобождения страны, если авторы хотели «ознакомить зарубежного читателя с характерными чертами и атмосферой сегодняшней жизни Венгрии»?

Но разве можно было бы полностью оценить нынешнее положение в республике, не оглянувшись на ее прошлое? Можно доказать (так оно и делается в некоторых вошедших в этот сборник произведениях), что и руины Будапешта и других венгерских городов — достаточно красноречивый итог политики былых хозяев страны. Однако еще более убеждают в исторической обусловленности краха прежнего, полуфеодального, уклада ее жизни страницы, взятые из произведений, написанных о «мирной» полосе ее существования в тридцатые годы.

«Если какой-нибудь западный историк собирался изучать остатки феодализма, ему достаточно было купить железнодорожный билет и приехать в Венгрию»,— говорится в предпосланном этим отрывкам вступлении. Драму, разыгравшуюся в рассказе венгерского классика Жигмонда Морица «Хоть однажды досыта наесться», действительно легче себе представить произошедшей веком-двумя раньше, чем она происходит на венгерской земле. А ужасающие цифры нищеты, обездоленности, смертности (самой высокой в Европе), приведенные во вступлении, помогут нам в полной мере оценить трагическую правду, заключенную в стихах Аттилы Йожефа, которые являются одной из самых удачных поэтических вставок в эту, по преимуществу прозаическую, книгу:

...как безмолвный склеп,
цементный высится завод
и, как второй семейный склеп,
металлургический завод.

(«Ночь окрашены». Перевод Л. Мартынова)

Еще в двадцатые-тридцатые годы среди венгерской интеллигенции возникло так называемое «движение за изучение деревни». Вероятно, именно прочностью этих благородных традиций объясняется то, что и в рецензируемом сборнике немало произведений о деревне, отмеченных духом подлинного исследования и стремлением правдиво запечатлеть сложные этапы пути, которым идут венгерские крестьяне к новой жизни.

Так, запоминается «ожидающая, радующая, плодотворная тишина» на крестьянском собрании, описанном Палом Сабо: «Так замирают в ожидании дождя цветы, деревья, травы». С полным сознанием исторической значимости совершающегося у него на глазах рассказывает Дюла Ийеш про раздел земли крестьянами, причем некоторые из них кажутся ему ожившими персонажами с гравюр о знаменитом восстании Дёрдя Дожи. И в этом мимолетном, казалось бы, наблюдении нельзя не видеть мысли о живейшей связи первых же деяний нового строя с вековыми народными устремлениями.

Даже вникая в сложные конфликты, порожденные в деревне переплетением остатков старой, рабской, психологии с последствиями политики Ракоши, Шандор Чоори в своем «Репортаже из башни» стремится не к легким обличениям «задним числом», а к серьезной и вдумчивой постановке «больных» вопросов, чтобы не повторить допущенных ошибок. Плохи не принципы и намерения сами по себе, убежденно доказывает писатель, они «терпят поражение из-за неуклюжей политики, не считающейся с традициями и психологией».

С этим трезвым выводом перекликаются и размышления Дёрдя Сабо об итогах политической эволюции венгерской интеллигенции. «В современной духовной жизни,— пишет он,— энергия уходит не на разрешение вопроса, «каким путем идти», а вопро-

са, как продвигаться по пути социализма с наименьшими потерями и затратой сил».

В соответствии с этими размышлениями постепенно складывается при чтении книги — из разных и часто весьма не похожих друг на друга персонажей — тип полномочного народного руководителя. Разумеется, это не любитель командовать другими Ласло Чер, с плохо скрываемой неприязнью и даже с некоторой утрировкой нарисованный Лайошем Галамбошем в рассказе «Тирпаки», и не чиновник-бюрократ Коциан, высмеянный Габором Годой («Протокол»). Ближе к этому типу стоят герои Лайоша Мештерхази («Свобода» *), при всей своей наивной доверчивости к чужим мнениям не могущие принять мысли о необходимости мрачной подозрительности, которая пытается подменить собой революционную бдительность. Нет, размышляют они: «Надо верить в людей, в несчастных, беспомощных людей,— только так можно навести порядок, только так можно очистить мир!»

И совсем уже реальные черты вожака, кровно близкого массам, проступают в фигурах старого венгерского коммуниста, погибшего в трагические дни ноября 1956 года («Вдовы» Яноша Фюлёпа); бригадира сельского кооператива Габора Киша, бывшего издольщика, который знает, что «добрый глаз стоит куда больше, чем злое слово» («Испытание» Петера Вереша); руководителей училища, радостно и нежно взирающих на своих учеников, которым новый строй позволил стать студентами: «В воздухе замелькали свежевыученные понятия, причем нередко в совершенно невероятных сочетаниях. Иногда мы с Гезой весело пересмеивались, но и этим мы, пожалуй, прикрывали, насколько трогало нас все происходящее... я не мог оторваться от этого спора, полного аромата весеннего брожения» («Пьяный дождь» Йожефа Дарваша).

Не секрет, что сборники, выходящие к значительным годовщинам, не всегда получаются удачными: стремление осветить все стороны отмечаемого события порой порождает нетребовательность к художественному уровню выбираемых произведений, нередко на таких книгах лежит отпечаток некоторой официальности и парадности.

Русскому читателю трудно судить, насколько безошибочно сделан отбор произведений для данного сборника, хотя, не скрою, некоторые из них возбуждают известное сомнение: по праву ли входят они в такую книгу, или в переводе в них потерялась какая-то живинка, своя интонация и наружу выступила схематичность замысла?

И все же, в отличие от иных сборников этого типа, книга, выпущенная венгерским издательством Корвина на русском языке, радует естественностью, безыскусственностью, с какой она повествует о больших событиях в жизни народа. Жизнь и ее творцы — люди показаны здесь в разных поворотах, в разных ракурсах, что сообщает картине изображаемой эпохи волнующую достоверность.

Только что мы видели гигантски обобщенный «Портрет рабочего», нарисованный поэтом Лайошем Кашшаком:

...эти руки осенены и проклятьем
и благословеньем,
эти руки одновременно возносят
и низвергают,
эти руки хранят кандалов отпечатки,
эти руки не складываются в молитвах...

(Перевод В. Корчагина)

А рядом в рассказе Яноша Фюлёпа мы видим того же героя современности в будничной семейной обстановке, шутливо утешающего жену, когда им, спасаясь от преследования, пришлось бросить все имущество: «Все тут, посмотри,— прошептал он и раскрыл передо мной свои ладони.— Вот этот палец раздобудет шкаф... а этот — два комода... шифоньерку.— Каждому пальцу он дал отдельное задание. Десятому — колыбель». И как будто чтобы мы, читатели, не слишком разнежились, герой кончил свои ласковые уговоры лукавой шуткой.

Но, улыбнувшись этой не лишенной «солености» шутке, мы все-таки уже не забудем прекрасного — доброго, любящего, чуть насмешливого выражения, появившегося на суровом лице борца.

Такой же разной, по-разному прекрасной предстает со страниц книги жизнь сегодняшней Венгрии.

А. ТУРКОВ

* Рассказ печатается в этом номере.

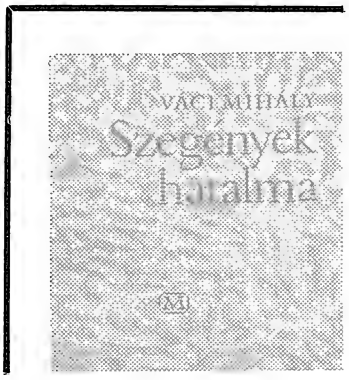
В ПЕРВЫХ РЯДАХ

Váci Mihály. Szegények hatalma. Budapest, «Magvetö», 1964.

Восемь лет назад (ему было тогда 32 года) Михай Ваци своей первой книгой вошел в венгерскую литературу. Его четвертый сборник «Всюду дома»* в течение одного года издали дважды, а пятый — «Власть бедняков» — вышел таким тиражом, который несколько лет назад просто нельзя было себе представить.

С тех пор увидел свет также сборник его статей и очерков, а в ближайшем будущем появится и первое издание избранных произведений. Об успехе произведений Ваци свидетельствует не только двукратное присуждение ему премии Аттилы Йожефа, но и массовый интерес к его творчеству. Ваци безусловно сыграл большую роль в том, что у нас в Венгрии за последние два-три года серьезно возросло увлечение современной поэзией.

* Рецензия на эту книгу была опубликована в «Иностранной литературе» № 9, 1962 г.



Чем можно объяснить столь большой успех? Прежде всего тем, что в своем многогранном творчестве Ваци стремится дать ответ на проблемы современности. Он не просто поэт, он — сознательный революционер. Ваци — пропагандист идей социализма, критикующий неполадки их претворения в жизнь, но образ мыслей, унаследованный от прошлого, он беспощадно бичует. Солдат, сражающийся в первых рядах борцов за прогресс, Ваци по праву наследника ощущает Венгрию своей:

Мы не выбирали это общество и
не могли выбирать,
потому что оно — это мы сами.
(«Сиамские близнецы»)

С сыновней привязанностью он заботится о ней:

Как хлеб, когда его замесят,
поднимается согретая страна,
И ничей ржавый нож
пусть не касается буханки!
(«Как хлеб»)

Ваци — как мы уже сказали — сравнительно поздно вступил на поэтическое поприще. Он сам пишет, что почти два десятилетия, подавленный отсталостью, убогостью представлений той среды, в которой ему пришлось жить, он не решался высказать свои заветные мечты. Эти годы, заполненные трудом сельского учителя, несмотря на болезнь, были периодом созревания, накопления неизгладимых впечатлений, периодом, когда он осознавал свое призвание. «Судьба обошлась со мной хорошо,— писал он впоследствии,— мне удалось миновать ту опасную полосу, которая рано заговоривших и не слишком устойчивых писателей часто вовлекает в беду: они с юных лет застывают в праздных позах кандидатов на бессмертие...»

Поэзия Ваци с самого начала была проникнута верностью народу; это и явилось залогом его успеха. «Для меня главный источник вдохновения — сознание, что мне, ныне здравствующему сыну безымянных батраков и поденщиков, затерянных в пустыне нищеты, мне выпало на долю написать о них, об их исторических судьбах».

Это идущее из глубины души признание выражает главное в поэзии Михая Ваци, определяет наряду с многообразием тем, настроений, интонаций ее существенную черту. Ваци ясно видит — это проходит через всю его поэзию и особенно характерно для последнего сборника «Власть бедняков»,— что в современный период строительства социалистического общества основным является активное участие народа в управлении страной. Поэтому он и пишет об этом постоянно:

Мы — крылья твои, отчизна,
а не ластящийся к сердцу пух;
мы несем тебя, напрягаясь, к небу!
(«Власть бедняков»)

Одним словом, поэт ясно видит, что вместо пассивных пожеланий нужны активные действия, нужно, чтобы народ окончательно почувствовал страну своей.

Хоть жил я в угнетенной стране,
для меня еще недостаточно,
что нищета перестала сжимать
горло моего народа.
. . . . . .
Лишь тот завоюет отчизну,
будущее, людские души,
у кого знания, нравственность
и старание.
(«Достойную власть»)

За это старание, за активную, самоотверженную деятельность и выступает поэт.

Пожалуй, нет в современной венгерской поэзии никого, кто так же резко, прямо, подчас даже агрессивно выступал бы против отсталости, мещанства, карьеризма, бюрократизма — всего, что тормозит, препятствует движению вперед. Перо его клеймит тех, кто преклоняется перед западным образом жизни, пренебрежительно относится к народу, стремится достичь чего-то по знакомству, кумовству: «Мой ранг пусть определяют лишь поступки и ничто другое!» («На приемах»).

Михай Ваци — депутат Государственного собрания, он постоянно принимает участие во встречах с читателями, часто ездит на родину в Ниргеш; его связи с массами тесные и живые, и ему хорошо известно, что

Есть еще горе и нужда — но это лишь
преходящее недомогание, а не
эпидемия,
не заразная болезнь.
. . . . . .
Родич мой с лицом простого батрака...
Новые двери врубает в дом,
Потому что прежние ему уже не по росту.
(«Выздоравливающий»)

Можно было бы сказать об общественно-политической деятельности поэта, без чего портрет его, конечно, не полон; подробнее проанализировать стихотворения Ваци с точки зрения его поэтической индивидуальности, художественных особенностей. Больше всего заслуживали бы этого его описания природы, полные образов, взятых из арсенала самых современных художественных средств, но место не позволяет; да и трудно за это браться без достаточного количества русских переводов. Приведем лишь в пример парижскую зарисовку (к сожалению, тоже в подстрочном переводе):

Ободранные платаны проспекта
глодал кишащий рой огней.
Извиваясь, тени ползали, как гусеницы,
по сладким листьям шелковиц.
(«Золотой»)

Сейчас еще рано определять место в венгерской поэзии этого находящегося в расцвете творческих сил поэта. Вокруг него кипят споры, и мы не говорим здесь о слабостях, безусловно имеющихся в его творчестве. Но есть ли такой поэт, каждое произведение которого было бы написано на одинаковом уровне? Скажу только, что ни в коей мере не правы те, кто порицает Ваци за прямую политическую тенденцию, за то, что мысли свои он выражает без всяких ухищрений, доступно для широких масс.

В стихотворении, которое можно расценить как его поэтическое кредо, он ставит перед собой именно эту высокую цель:

Я хотел бы лишь в нескольких словах
Остаться в устной памяти
Моего народа,
Так сейчас в разговоре
Примером мудрости
Пословицу приводят.

(«Как в притче»)

Михай Ваци идет верным путем к завоеванию этой высоты, доступной лишь большим поэтам.

ПАЛ КОРНИШ

«АРТИСТЫ» ГАБОРА ГАРАИ

Garai Gábor. Artisták. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1964.

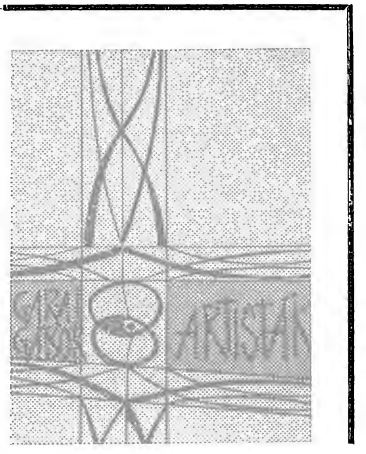
Тридцатипятилетний Габор Гараи принадлежит к группе венгерских поэтов, которые после нескольких стихотворений в журналах и газетах выступили в 1958 году с антологией «Огненный танец». Эта книга, имевшая определенное политическое значение как один из первых сборников социалистической поэзии после 1956 года, была отмечена также поисками новых форм поэтического выражения.

С тех пор пути членов этой группы разошлись, и у некоторых вырисовались четкие индивидуальные черты поэтического облика. Среди последних надо упомянуть прежде всего Габора Гараи. Его поэтическое лицо — после книг «Переуплотненные дни» (1956), «Песнь в честь выздоровления» (1958), «Человечный обряд» (1960) и «Средиземноморская осень» (1962) — ясно определилось в новом сборнике стихотворений «Артисты» (1964).

Почему Гараи назвал сборник именно по стихотворению «Артисты»? Очевидно, потому, что считает его программным для себя. Два акробата показывают свое искусство на трапеции: мужчина висит вниз головой, зубами держа свою партнершу. «Какой поцелуй!.. Под ними пустое пространство, напряженная тишина и нечаянная смерть»,— говорит поэт. Этот цирковой номер для Габора Гараи — образ человеческих отношений вообще: судьба людей, их жизнь зависят от совместных действий, от согласованности движений. «Ах, если бы мы в наших общих делах с таким же железным доверием поддерживали друг друга!» — восклицает он, тут же высказывая свое кредо: «К делам других людей я причастен всем своим существованием».

В этом кредо и коренится та убежденная, глубоко прочувствованная гуманность, которая так характерна для поэтического облика Габора Гараи.

Она ощущается уже в первом, вступительном, стихотворении «Наследие». От Горация до Державина, до Пушкина, Петефи, Шевченко и других великанов всемирной поэзии звучала эта тема на разных языках. «Памятник», воздвигнутый Гараи, ближе всего к мечте великого Кобзаря, что «в семье вольной, новой» его помянут «добрым, тихим словом». В конце стихотворения «Наследие» Габор Гараи тоже просит «навеки свободных людей» вспоминать его, «остающегося с ними...» Ведь поэт — в стихотворении «Да минет меня...» — прямо признается: «Я ничем не лучше любого другого обыкновенного человека». Таково его лирическое отношение к миру.



А гражданское?

Гараи составил свой сборник так, чтобы видно было его гражданское возмужание. Он поместил, например, стихотворение «Танкред», написанное еще в годы культа личности. В нем Гараи, по его собственным словам, «в аллегорической форме требовал того, что теперь уже осуществляется на деле: честному делу можно служить только честными методами». Стихотворение «Конец лета» представляет следующую ступень развития гражданского сознания поэта. Мирные картины начинающейся осени здесь сменяются беспокойством за человечество, живущее в «радиационном поясе угроз»,— беспокойство, над которым в конце концов торжествует светлая уверенность. Ее воплощает символическая радуга, перекинутая через небо как обещание счастливого

будущего; ее подчеркивают и радостные рифмы, начинающие звенеть в конце этого стихотворения, написанного белым стихом.

Поэту близко все то, что происходит в мире сегодня. В «Старинной песне» объединены два события, которые связываются, казалось бы, лишь хронологически. В Испании казнят Хулиана Гримау, и в тот же день подрываются на ржавой мине, оставшейся после войны, трое венгерских детей. Эти два события рождают в душе поэта отзвук революционного гимна: «Если не воспрянет с «Интернационалом», то погибнет род людской». А сухие статистические данные — 40 миллионов во всем мире умирают каждый год от голода, и 60% всех людей живет на грани нищеты — наводят его на мысль об ответственности каждого за судьбы планеты (стихотворение «Голод»).

Гараи не чужда любовная лирика. Но и здесь он остается скромным, деликатным — поэтом одухотворенной любви. Пример тому — драматические сцены в стихах «Рапсодия восхищения», своеобразный вариант «Пигмалиона», где любовная мечта скульптора воплощается в прекрасную статую.

Важная тема у Габора Гараи—путешествия, мысли, вызванные далекими странами. В октябре 1962 года поэт посетил СССР и воспоминания об этой поездке увековечил в шести стихотворениях. Полет на ТУ-104 исторгает у него дифирамб покорению пространства. Спектакль же Ленинградского театра им. Кирова подсказывает жизнеутверждающую тему стихотворения «Бахчисарайский фонтан». А в Разливе он видит лицо «самого обыкновенного, самого безымянного рабочего», в котором вдруг узнает Ленина. Наконец, обращаясь к Маяковскому, просит советского поэта — в интонациях «Разговора с товарищем Лениным» — «священным гневом» окрылить его песню... Тонко сочетаются настроения и образы, навеянные литературой, с мыслями современного путешественника — поэта народно-демократической страны, попавшего во французскую столицу, в цикле «Почта из Парижа».

В стихах Габора Гараи — поэта-гуманиста, застенчиво влюбленного в красоту, нет ни одного слова, ни одной мысли, под которыми не подписался бы и представитель старшего поколения, исповедующий те же принципы. Этой ясностью взглядов и особенно — не частой в наши дни — скромностью выделяется он среди многих своих поэтических ровесников. Томик «Артисты» — важная веха на творческом пути Гараи.

ДЁРДЬ РАДО

г. Будапешт

ПЕРЕВОЖУ НОВЫЕ СТИХИ ГИДАША

Hidas Antal. Megtalálnak. Budapest, «Magvetö», 1964.

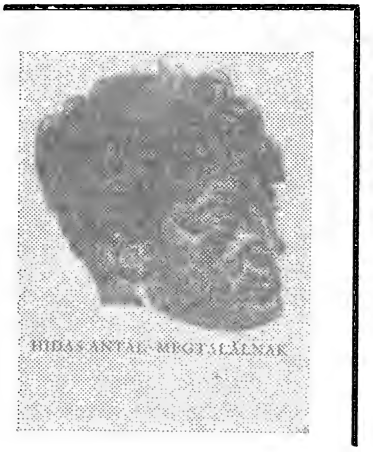
Гидаш — лирик, но самая интимная его лирика — это повесть не только о себе, но и об эпохе. У него, как и у всех больших поэтов, личное неразрывно связано с эпохальным. Его печали и радости — это печали и радости рода людского.

Все это видно по старым его книгам и особенно ясно видно по новой его книге «Найдут меня».

Эта книга, большая, разнообразная по тематике, обнимает период жизни поэта с 1918 года по наши дни — крушение старого мира и сложное, бурное во всех своих противоречиях становление мира нового.

Сейчас я завершаю перевод цикла стихов «Зарницы». Зарницы — это кратковременные вспышки на горизонте от молний отдаленных гроз; самой молнии не видно, и звука грома не слышно. Но в том-то и волшебство поэзии, что у Гидаша и безмольные зарницы звучат. И как звучат! Как трудно воссоздать в переводе всю прелесть этих коротких и звучных стихов!

В них сплошь и рядом поэтическая суть выражается именно в созвучиях, порой — непереводимых, как, например, в стихотворении про весенний лес, где певчая птица (птица — по-венгерски madár) как радар обнаруживает лучи любви. Madár-radar.



Вот и все. А в переводе не обойтись без объяснений...

Часто все стихотворение у Гидаша держится на едином дыхании: «Нет, красоты не будет до тех пор, покуда пирамиды и колонны не перестанут славить калигул и фараонов».

Удивительные по краткости и выразительности стихи «Через 36 лет», «Бела Кун»... Да и все другие стихотворения своеобразны и неповторимы. И я не льщу себя надеждой точно воспроизвести это неповторимое, но все же стараюсь по мере сил своих, чтоб перед читателем предстали такими, как в стихах Гидаша, и будапештские

улицы, и московские бульвары, и дальневосточные снега, и вся Земля.

Переведены мною и многие стихи из других циклов этой книги: «Трудные времена», «Могучий тополь», «Сад моей тетушки». Эти стихи написаны и в Советском Союзе и в Венгрии. Стихи Гидаша — живое зеркало его судьбы; книга достоверна и доказательна, как это всегда бывает со значительными книгами.

В заключение скажу: стихи Гидаша переводятся на русский язык уже давно, более чем четверть века, и переводились и переводятся не только поэтами — ровесниками Гидаша, но и молодежью. Это знак того, что муза Гидаша не стареет, находит понимание и живой отклик в сердцах новых поколений. И я надеюсь, что наши читатели прочтут новые стихи Антала Гидаша в переводе ряда наших поэтов — и близких по возрасту Гидашу, и его молодых советских друзей.

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

ПРАВДИВЫЕ МЕМУАРЫ

Fodor József. Emlékek a höskorszakból. Budapest, «Magvetö», 1964.

В этой книге есть все, что могут дать воспоминания значительного и много прожившего поэта, умеющего, не переоценивая, оценить себя и других: она учит, развлекает, дает пищу для размышлений и, принимая во внимание традиционно-сложный стиль Йожефа Фодора, заставляет читателя и немного потрудиться.

Эпоха, в которую родились эти «Воспоминания»,— поистине героическая и великая в современной венгерской литературе: два с половиной десятилетия между двумя мировыми войнами, эпоха Арпада Тота и Морица, Дюлы Юхаса и Михая Бабича, Радноти и Аттилы Йожефа. С этими гигантами и встречается читатель, ведь воспоминания связаны с небезынтересным явлением в истории венгерской литературы — литературным отделом либеральной газеты «Эшт-лапок» и своеобразной фигурой его редактора — Лайошем Микешем. И в этом особая заслуга автора.

Об Ошвате * писали уже много, о Микеше же говорят мало. Фодору в этом отношении принадлежит приоритет: в своей книге он отводит «дядюшке Микешу» главную роль, создавая достойный памятник этому заслуживающему уважения критику, редактору, писателю и переводчику.

Рядом с ним появляются другие, выдающиеся и менее значительные писатели тех лет. Мы знакомимся с Лёринцем Сабо, Дюлой Круди; нашими близкими друзьями становятся Дёрдь Шаркёзи, Дёрдь Балинт и Ласло Феньо.

Воспоминания сдержанны и мягки, и если у Фодора и были расхождения с некоторыми из крупных писателей — а они, конечно, были,— автор предпочитает этого не касаться, или уж если касается, как, например, полемики с Морицем, то не старается дешевыми средствами привлечь читателя на свою сторону.

Эта книга не пособие «для быстрого и легкого» изучения истории венгерской литературы и не сборник полученных из десятых рук анекдотов из жизни писателей. «Я рассказываю только о тех людях, с которыми у меня была общая судьба в литературе. Я не исследователь истории литературы, а лишь многое понявший писатель и не собирался писать ничего другого, кроме воспоминаний».

Этой цели отвечает жанровое разнообразие мемуаров. Лирическая проза сменяется глубокими философскими раздумьями, веселые анекдоты переходят в конкретные эстетические размышления. Шутка о Каринти, щемящие строки о Карое Папе, размышления о психологии творчества Пала Сеги написаны непринужденно, хотя обладают своей внутренней логикой. Та же непринужденность характерна и для композиции, придающей книге Фодора сходство с увлекательно построенным современным романом.

Перед нами чередуются портреты Михая Саболчи, которого еще Ади бичевал за примитивную идилличность, и Аттилы Йожефа; только начинавшего в то время свой творческий путь Эндре Иллеша и маститого Яноша Араня. Вместе с тем читатель зачастую может встретить и глубокие размышления о неоцененной или недооцененной личности. Это остается достоинством книги, даже когда автор — правда, редко—становится слишком субъективен, например, в том месте, где говорится о Пале Телеки *.

Однако при всех достоинствах книга осталась бы лишь «книгой для легкого чтения», если бы в центре ее не стояла жизнь и работа самого автора Йожефа Фодора — начинающего, а потом признанного поэта, осмысляющего, а позже и принимающего политическую борьбу. Правда, о себе он всегда говорит скромно, и если уж где приходится упомянуть (иногда это действительно неизбежно) о похвалах, раздававшихся по его адресу, то приводит он их словно мимоходом, смягчая и приглушая легкой иронией над самим собой.

Эти роняемые автором ссылки и всплывающие подробности его общественного пути очень интересны. Фодор не подчеркивает

* Эрне Ошват (1877—1929) — критик и редактор известного литературного журнала «Нюгат».

* Речь идет о венгерском политике, у которого были расхождения с реакционным, прогерманским курсом Хорти.

своего участия в социалистической венгерской революции 1919 года, своей активной журналистской и общественной деятельности в 1944 году, как и не бередит он старых ран. Книга его дает ясную, покоряюще искреннюю картину «нетипичного» пути художника, обрисованного с благородной объективностью уважающего себя человека.

ДЮЛА РУЖА

(«Элет эш иродалом»)

ТОЛЬКО В ТРУДЕ КРАСИВ ЧЕЛОВЕК

Szabó István. Varázslat kertje. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1964.

Если объединить все, что написано Иштваном Сабо за десять с лишним лет и дать этому краткое определение, то оно, пожалуй, прозвучит так: «Только в труде красив человек».

Крестьянин по происхождению, тракторист по специальности, Иштван Сабо вступил в литературу в период, предшествовавший контрреволюции 1956 года. Уже первые его рассказы свидетельствовали о том, что он со своим народом, со своим классом словом и мыслью борется и будет бороться за подлинно социалистические преобразования в стране.

В последний сборник Сабо «Волшебный сад», удостоенный литературной премии Аттилы Йожефа за 1964 год, вошли лучшие рассказы, написанные им после 1956 года — года, который стал для Сабо, как и для многих молодых писателей, рубежом духовной зрелости.

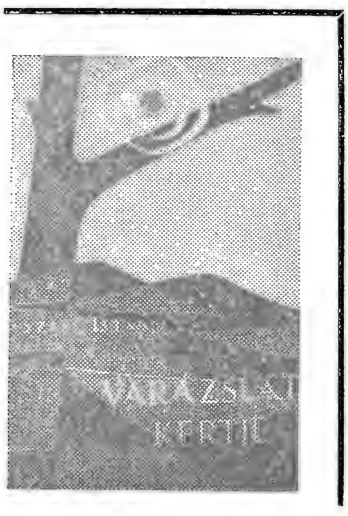
Герои Сабо — крестьяне. Об их думах, чаяниях, душевном смятении, радостях и огорчениях рассказывает Сабо искренне и увлеченно.

Продолжая и развивая лучшие традиции классика венгерской литературы Жигмонда Морица, Иштван Сабо стремится наиболее рельефно показать лучшие качества характеров своих героев: душевную чистоту, жизнерадостность, а главное — трудолюбие.

Труд — лейтмотив его книги. О чем бы ни рассказывал писатель — о создаваемом кооперативе или первом, по-весеннему радостном чувстве любви, отношениях в семье — или философски размышлял над жизнью,— труд у Сабо показатель настоящего в человеке, я бы сказала, критерий человеческой ценности.

...Один из первых трактористов МТС Тиби Бакша в самый разгар сезона вдруг решает взять отпуск — ведь недаром новый закон предоставил ему право на отдых. Недоумевает директор МТС, недоумевают окружающие: никто не припомнит, чтобы в страду даже старики отдыхали. Но и Тиби через несколько дней начинает тяготиться бездельем, он сам с облегчением вздохнул, когда пришел конец его отпуску («Тяжкий крест отпуска»).

...Младший брат из любознательности разбирает часы старшего. По возвращении старшего брата домой возникает ссора, но родители хоть и сердятся, а все-таки на стороне младшего — они понимают его («Не случилось никакой беды»).



Процесс труда И. Сабо воссоздает с такой художественной силой, что чувствуешь запах только что испеченного хлеба («Плач»), слышишь звон лопаты, поднимающей пласты земли («Озорники»), видишь умные, кропотливые движения мальчишеских пальцев, собирающих часы («Не случилось никакой беды»).

Определенной цели подчинено у Сабо и изображение внутреннего мира героев: показать, как сложна борьба старого и нового в сознании людей, и доказать, что новое неодолимо, потому что оно несет с собой счастье и радость. Если проследить за рассказами в хронологическом порядке, можно отчетливо увидеть, как с развитием, изменением и движением самой жизни внутренне изменяются, развиваются и движутся вперед герои Сабо. В рассказе «Озорники» (1957) обладатели индивидуального хозяйства где-то еще очень подспудно понимают, что тяга к собственности мешает им быть свободными людьми. В новелле «Трудный зимний день» (1960) сын прямо говорит отцу, что не может жить только для себя, в четырех стенах собственного дома, а в новелле «Тяжкий крест отпуска» (1962) коллективный труд воспринимается уже как внутренняя необходимость.

Мастерство Сабо-психолога особенно зримо выступает в рассказах на бытовые темы; впрочем, эти рассказы по широте своего обобщения перерастают рамки бытовых и становятся рассказами большого общественного звучания.

Венгерская критика много писала о рассказе «Творение бога». Содержание его предельно просто: маленький мальчик задает отцу бесконечные «почему?».

— А кто создал человека?

— Бог,— отвечает отец.

— Как?

— Слепил из глины человечков, подул на них, и они ожили.

И вот малыш лепит из глины человечков, чтобы вдохнуть в них жизнь. Но мать не понимает его. Торопясь куда-то, она требует, чтобы сын бросил игру и пошел с ней, а когда он не послушался, ударом ноги ломает его работу.

Писатель сумел сказать здесь и о таящейся в душе человека жажде знаний, которая впоследствии определит смысл его жизни, и об уважении к человеку, его мыслям, труду, пусть этот человек еще очень маленький. Эта тема звучит и в рассказе «Завтрак святого семейства», где отец в семейной ссоре встает на сторону сына-школьника, чтобы помочь ему сдержать свое слово перед ребятами из класса.

Выразительна новелла, давшая название всему сборнику,— «Волшебный сад». Рассказ о бесхитростном юношеском чувстве крестьянского паренька к девушке-соседке весь преисполнен радужного солнечного настроения.

Можно было бы еще многое сказать об Иштване Сабо — писателе тонком и наблюдательном, прекрасном стилисте, поднимающем в своих произведениях проблемы сегодняшней Венгрии. Ему по праву принадлежит одно из видных мест в молодой венгерской прозе.

М. УЛЬРИХ

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ БЕЛЫ ИЛЛЕША

Illés Béla. Anekdoták, találkozások, történetek. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1964.

«Когда я решил собрать воедино несколько десятков небольших историй и составить из них нечто вроде автобиографии, то, естественно, прежде всего обратился к матери, чтобы она рассказала мне о детстве...» — начинает свою книгу «Истории, встречи, рассказы» Бела Иллеш. Это второе, значительно дополненное и переработанное издание книги. Первое издание вышло в Венгрии в 1959 году, и многие рассказы из него были переведены на русский язык.

Это действительно своеобразная автобиография, хотя по жанру представляет собой сборник маленьких, часто окрашенных юмором рассказов, расположенных в хронологическом порядке, и автор больше, чем о себе, говорит о людях, с которыми ему приходилось встречаться, вместе жить и работать.

Книгу открывают истории, которые относятся ко времени, предшествовавшему мировой войне: эпизод из забастовки литейщиков в Будапеште, очень смешной рассказ о том, как Иллеш вместе с другими гимназистами выступал статистом в пьесе Мадача «Трагедия человека», описание первой и единственной его встречи с Эндре Ади.

Бела Иллеш в 1916 году окончил юридический факультет Будапештского университета и тут же был призван в армию. Рассказ о военной службе в австро-венгерской армии назван им «Школы», название ироническое, так как «военную учебу» он проходил главным образом на гауптвахте, куда его постоянно сажали за вольнодумство.

В 1918 году Иллеш — член революционного солдатского совета, потом участвует в боях за Венгерскую Советскую Республику и после ее разгрома вынужден эмигрировать в Вену. Небольшие эпизоды из жизни венгерских эмигрантов в Вене, несмотря на шутливый тон, дают представление о перенесенных ими мытарствах. Иллеш продает газеты на улицах Вены и теряет эту «хорошо оплачиваемую должность», когда отказывается выкрикивать названия реакционных газет, помещающих статьи против Советской России. Он задолжал хозяйке за три месяца, она выгоняет его из темной каморки, которую он у нее снимал, и конфискует за неуплату весь его жалкий скарб; на улице Иллеш встречается с крупным деятелем венгерского коммунистического движения Ференцем Мюннихом, который ведет его с собой завтракать, дает денег, а на прощание говорит: «Тебе жить негде? Будет у тебя квартира еще сегодня. А вот дать родину многим миллионам людей... Ну, ничего, выше голову! Мы и это сделаем!»

В Москву Иллеш приехал в 1923 году. Он живо включается в жизнь эмигрантов-коммунистов, которые группировались вокруг вождя венгерской революции Белы Куна, завязывает знакомства с советскими писателями, встречается с зарубежными гостями, приезжавшими в ту пору в Москву. В рассказах об этом периоде своей жизни он не ставит целью дать серию литературных портретов. Это, скорее, беглые зарисовки, воспроизводящие несколькими штрихами встречи, веселые комические эпизоды из жизни литераторов. Мелькают имена Серафимовича, молодого Шолохова, Маяковского, Горького, Луначарского, Барбюса, Роллана, Арагона, Шоу и многих других.

В Москве Иллеш написал такие крупные произведения, как «Тисса горит» о венгерской революции 1918—1919 года (роман вышел в 1929 г.) и «Карпатскую рапсодию» (1939), но об этом он ничего не рассказывает в своих воспоминаниях. Зато с большим юмором приводит эпизод о том, как

ему удалось убедить датскую писательницу Карин Михаэлис, что в городе Горьком действительно существует автомобильный завод. Много рассказывает Иллеш и о своих соотечественниках — Мате Залке, Антале Гидаше.

Рассказы из времен Великой Отечественной войны проникнуты теплом к воинам Советской Армии. В маленьких, казалось бы совсем незначительных, эпизодах Бела Иллеш показывает самоотверженный героизм советского народа, вставшего на защиту своей родины.

И вот Иллеш — офицер Советской Армии — снова на родной венгерской земле. «Я был счастлив,— пишет он,— что снова увидел Будапешт, что участвую в его освобождении, но я чувствовал на себе все его раны с удесятеренной болью, как может чувствовать вернувшийся после долгого отсутствия сын страдания своей матери».

Последняя часть книги — эпизоды послевоенных лет. Иллеш опять очень мало говорит о себе, хотя в эти годы он работал над большим романом «Обретение родины» (1954); к нему снова возвращается мягкий юмор, характерный для первых рассказов книги, он как бы наслаждается сознанием, что вернулся на родину.

Книга Иллеша — необычное и, безусловно, значительное явление в современной венгерской литературе. В давно существующий в венгерской литературе жанр Бела Иллеш вложил свой богатый жизненный опыт писателя-коммуниста, который всю долгую жизнь (недавно отмечалось его 70-летие) отдал борьбе за утверждение социализма.

Е. БОЧАРНИКОВА

СВИДЕТЕЛЬ ПРАВДЫ МИКЛОШ РАДНОТИ

Radnóti Miklós. Összes versei. «Magyar Helikon», 1963.

Каждый раз Будапешт открывает мне своих поэтов. Прошлый раз — Аттилу Йожефа. «Вот улица Йожефа. Здесь он жил. Здесь он любил бродить. Вот ему памятник»,—говорили мне. И с гордостью: «Я знал его живым». На сей раз — Миклош Радноти. В Будапеште, где любят монументы, памятник ему еще не поставлен. Но часто я слышал: «Здесь любил бродить Радноти. Он всегда сидел в этом кафе, за этим столиком». Ожившей тенью бродил Радноти со мной по милому и прекрасному городу.

Почему говорят о Радноти? Почему имя его произносят с почтительным восхищением? Может быть, потому, что после крутого поворота в истории венгерской нации, произошедшего двадцать лет назад, венгры продолжают переоценку своих культурных ценностей в условиях новой действительности, и по-новому предстает перед ними политическая и культурная история страны.

С высоты этих двадцати лет в новом значении предстают перед ними даже хорошо известные, привычные уже в поэзии имена, с новым увлечением перечитываются старые стихи, перелистываются старые книги.

Венгры вообще бережно относятся к своей истории, чутко ощущают преемственность времен. А это совсем еще живая история, незажившая рана,— Миклош Радноти, его поэзия, его гибель.

Поэзия — это не только стихи, это еще и жизнь, и гибель поэта. «Илиада» и «Одиссея» были бы не полны, если бы не было легенды о Гомере. Есть легенда о Байроне или о Рембо. Иногда стихи пропадают. Остается одна легенда о поэте. Но и она принадлежит поэзии. Ибо поэзии принадлежит поэт. Не только стихи, но и жизнь поэта, но и его гибель дают порой толчок новым явлениям, пробуждают вдохновение, как смерть Пушкина пробудила вдохновение Лермонтова.

Миклош Радноти умер тридцати пяти лет в 1944 году. Последние четыре года жизни он неоднократно подвергался заключению в концлагерях. А в 1944 году, когда гитлеровцы оккупировали Венгрию, он был угнан в «лагерь смерти» в Сербию. А потом его снова вернули на родину. А потом погнали пешком в Германию. И убили по дороге.

В «лагерях смерти» он писал стихи. Многие считают, что это лучшее из того, что им создано. Горькая, трагическая похвала. Конечно, жизнь — материал, из которого создается поэзия. Но сколько мужества надо иметь, чтобы из лагерной этой жизни лепить стихи! И лишь очень высокий духом поэт в стихах, вылепленных из лагерной глины и пепла, умеет запечатлеть нечто большее, чем свои страдания, чем свою судьбу.

Это сумел сделать поэт Миклош Радноти. Его «Стихи» — трагическая летопись страшных годов венгерской истории, может быть европейской истории. Даже не летопись, а сама эта история, прочувствованная плотью, выстраданная сердцем, осмысленная мозгом и рассказанная стихом.

Мы чтим мужество Юлиуса Фучика и Мусы Джалиля. Миклош Радноти стоит в этом же ряду.

Может быть, правы те, кто листает его книгу с конца. Конец поэзии Миклоша Радноти бросает особый, высокий отсвет на ее начало. Позволяет отыскать и в начале зачатки будущего поэтического подвига.

Нет смысла пересказывать стихи Радноти. Недавно мы читали интересную статью о его творчестве и некоторые его стихи *. Можно надеяться, что скоро наши читатели снова прочтут и другие стихи Радноти в русском переводе. Я приведу только неболь-

* См. журнал «Иностранная литература» № 11, 1964 г.

шое стихотворение, переведенное Леонидом Мартыновым. Оно скажет о поэте больше, чем любые похвальные слова.

Поэт, я никому не нужен больше тут.
Мурлычу я без слов. К чему они?
Поверьте:
Что надобно напеть, вам в уши напоют
Прелюбознательные черти!
И подозренья осторожный взор
Меня казнит; он правильно заметил:
Поэт, я годен только на костер
За то, что правды я свидетель.
За то, что знаю я, что зелен стебелек,
Бел снег, и красен мак, и кровь, красна.
струится,
И буду я убит за то, что не жесток
И потому что сам я не убийца!

Поэт, он ошибался, что никому не нужен. Он заблуждался, что никто его не слышит. И все же сам перед собой был свидетелем правды и не стал жесток. Он был услышан и вознагражден.

Д. САМОЙЛОВ

ГОНИМАЯ ПОЭЗИЯ

Markovits György. Üldözött költészet. Kitiltott, elkobzott, perbefogott kötetek, versek a Horthy-korszakban. Budapest, Akadémiai kiadó, 1964.

В фашистской Германии неугодные книги сжигались на площадях. Гейне и Томас Манн, Горький и Достоевский летели в костры под улюлюканье новых вандалов со свастиками на рукавах.

В Венгрии между двумя войнами — за вычетом, конечно, месяцев белого террора после свержения венгерской Советской власти 1919 года — такого легального вандализма, публичного линчевания культуры не было. Расправа над нею производилась в рамках «закона», под сенью официального кляузно-бюрократического судопроизводства. Против писателей и редакторов одно за другим возбуждались обставленные всеми полицейско-юридическими заковыками дела по обвинению в «оскорблении» нации, религии или морали. Рукописи и книги с мертвяще казенной методичностью пятнались черными штампами: «Печатать воспрещается!», «Подлежит конфискации» или «Не выдается».

Об этом, не предававшемся обычно широкой гласности, но беспощадном и неуклонном стеснении, удушении передовой венгерской литературы рассказывает небольшая книжка «Гонимая поэзия». Это не очерк, не публицистика, даже не строго литературоведческая или историко-литературная книга (хотя она и вышла в серии «Историко-литературные тетради», издаваемой Венгерской Академией наук). Автор, Дёрди Маркович, большей частью только приводит факты и снова факты, сопровождая их немногословным, строго деловым комментарием. Обвинительные заключения против поэтов, подробности их судебных мытарств, секретные «черные списки» книг и авторов, составлявшиеся венгерским полицейским управлением, страницы конфискованных газет, перечеркнутые титульные листы и вымаранные строки в выдержках и фотокопиях проходят перед нашими глазами.

И, однако, эти только суммированные, сжато освещенные факты и цитаты производят глубокое впечатление. Они словно просятся уже в какую-то более подробную, не просто хроникально-документальную, а литературоведческо-публицистическую, даже литературоведческо-художественную работу — будущий исследовательский «роман» о мучениках и героях венгерского историко-литературного календаря. Кто же они?.. Энтузиасты Венгерской Коммуны 1919 года, растоптанной белыми бандами, поэты Аладар Комьят, Андор Габор, Антал Гидаш и другие, ошельмованные и изгнанные из страны, но и в эмиграции не сложившие оружия, даже еще острей отточившие его. Миклош Радноти, Аттила Йожеф, Дюла Ийеш, Ласло Геребьеш и еще десятки, которые росли и писали под гнетом хортистской реакции, в постоянной нужде, даже форменной нищете; в вечном ожидании ареста и тюрьмы, а то и попадая на недели и месяцы за решетку... И все-таки — душимые нуждой, непосильными штрафами, тюрьмами — жили и писали, не отступаясь от литературы и своих убеждений. Своеобразным моральным пафосом — пафосом упорства веет от этой эпопеи гонимой венгерской поэзии.

Тема исследовательски и публицистически, таким образом, уже задана — и уже несет в себе необходимые семена собственно историко-литературных обобщений, выводов. О единстве литературы самой Венгрии и литературы венгерской эмиграции. О том, что в венгерской поэзии даже в самые трудные годы было революционное течение, которое несмотря ни на какие преследования находило дорогу к читателю. Спрос на иные «крамольные» сборники бывал куда выше, чем на известный либеральный журнал «Нюгат», считавшийся главным прогрессивным литературным форумом, и на его авторов. И опять мыслями невольно возвращаешься к тому, какая это все-таки жестокая, горькая судьба для поэта, чья стихия — слово, жить «со стиснутым намордником ртом», с «задохнувшимися легкими», по выражению уже умершего тогда Эндре Ади... (Кстати, даже классики венгерской поэзии не миновали «проскрипционных» списков: публичное исполнение стихов того же Ади и Шандора Петефи не раз запрещалось в 20—30-х годах хортистской полицией.)

На многие мысли наводит небольшая книжечка Дёрди Марковича. И главная из них: мрачное, душное и позорное то время ушло наконец безвозвратно.

Р. ОЛЕГОВ

ИМРЕ МАДАЧ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

Имре Мадач. Трагедия человека. Перевод с венгерского Леонида Мартынова под редакцией Агнессы Кун. Статья Александра Аникста. Москва, «Искусство», 1964. 239 стр.

В конце 1964 года, к столетию со дня смерти выдающегося венгерского писателя Имре Мадача, в Москве вышло новое издание его драматической поэмы «Трагедия человека». Это философское произведение, в котором автор, стремясь воссоздать историю социального и духовного развития человечества, затрагивает важнейшие проблемы жизни, до сих пор не оставляет людей равнодушными.

Как известно, в русской литературе существует своя предыстория переводов «Трагедии». Ее переводила прозой с венгерского З. Крашенинникова; Холодковский и Мазуркевич переводили ее стихами с немецкого. Но эти переводы, сделанные в начале века, не смогли воссоздать всю красоту и богатство произведения Мадача. Кроме того, сейчас они безнадежно устарели.

И вот за новый перевод поэмы Мадача берется известный советский поэт Л. Мартынов, посвятивший «Трагедии» несколько лет кропотливого творческого труда. Труд поэта-переводчика, воспринятый как дань уважения к классику венгерской литературы, был высоко оценен общественностью Венгрии.

Мы хотим познакомить читателя с выдержками из венгерской прессы, посвященными выходу этого издания.

«С волнением убеждаемся мы в том, что для замечательного советского поэта Мартынова Мадач — прежде всего великий властитель умов, один из тех, кто лучше других знал пути человека, драму его идей и идеалов...

Главное внимание переводчик уделяет мыслям венгерского поэта, их он хочет достойно передать по-русски, и в их системе, в их диалектике ищет и находит творческую индивидуальность Мадача. Он ничего не приукрашивает, а стремится ухватить суть. И если чем-то все же приходится жертвовать, потому что «каждый перевод — компромисс», он жертвует скорее внешней формой, а не ясностью, последовательностью мысли... Советский поэт готов лучше казаться суше, нежели быть фальшивым, он надеется, что философский и этический пафос «Трагедии» уже сам по себе захватит, увлечет читателя. Так достигается единство перевода, гармония языка и чувства... его благородный классически пуританский и возвышенный стиль...

Переводчик необыкновенно восприимчив к окраске характеров. Бог у него действительно говорит языком бога... а его Адам действительно Адам: он рационалистичен, но подчас становится и нежным, чувствительным, беспокойным.

При первом чтении особенно хорошее впечатление производит речь Люцифера. Мартынов ясно чувствует, что Мадач пользуется здесь более жесткой, но вместе с тем изящной кистью, с помощью афоризмов передавая упрямство и иронию Люцифера. В философский текст переводчик вкрапливает будничные выражения, оттеняющие его пылкость и высокомерие, и старается эффектнее заострить концовки строк и фраз. Люцифер у него поистине демоничен, а нередко и дьявольски остроумен...

Русский текст звучит легко и непринужденно. Ямбические строки при всей их патетичности обладают непосредственностью живой речи».

(«Непсабадшаг»)

«Мартынов лирически чутко и логически верно сохраняет все оттенки мыслей Мадача. (В этом, несомненно, сыграла значительную роль помощь редактора перевода Агнессы Кун.) Идейные конфликты в русском тексте столь же драматичны, доводы так же убедительны, как и в оригинале. Дух произведения, которое даже для современников Мадача звенело старинной стилевой чеканкой, Мартынов передает идентичными языковыми средствами, впрочем используя их чрезвычайно экономно...

Русский переводчик выдерживает состязание и с Мадачем-драматургом. Его ритмы, строфические конструкции верны. Где Мадач степенен, там и мартыновские строки медлительны; в начале лондонской сцены, где выступает хор, и русский текст становится более напевным; в первой сцене, когда Люцифер заклинает стихии, строки перевода тоже звучат твердо, отрывисто, властно».

(«Мадьяр немзет»)

«В работе над переводом осуществлен принцип высшей точности, верности тексту, когда передаются не только внешние особенности драмы, но и сам ее внутренний дух».

(«Элет эш иродалом»)

Наряду с анализом перевода венгерская печать как о несомненной удаче говорит и о послесловии А. Аникста к русскому изданию «Трагедии». Статью советского литературоведа называют интересной, продуманной и содержательной. Вполне закономерно, пишет венгерский критик З. Гера, выделение философской и романтической направленности «Трагедии», связи с венгерским освободительным движением прошлого века, а также внимание А. Аникста к светлым тонам поэзии Мадача.

Перевод «Трагедии человека» на русский язык расценивается на родине Имре Мадача, как выход на мировую арену еще одного выдающегося произведения венгерской классической литературы.

За работу над переводом Леонид Мартынов удостоен правительственной награды Венгерской Народной Республики—Серебряного ордена Труда.

Т. ВОРОНКИНА

ПЛУТОВСКОЙ РОМАН, СТАВШИЙ ИСТОРИЧЕСКИМ

Кальман Миксат. Выборы в Венгрии. Роман. Перевод с венгерского и послесловие О. Россиянова. Москва, «Художественная литература», 1965. 291 стр.

Семьдесят лет назад большая будапештская газета «Пешти хирлап» начала публиковать «Письма его превосходительства Меньхерта Катанги». Его превосходительство называло себя депутатом венгерского парламента. Писало оно жене — глупой и хищной провинциалке, небезосновательно подозревавшей депутата в неверности. Письма были посвящены быту парламентских кулуаров, а также тому, как идут в парламенте дела всех масштабов, от введения в Венгрии гражданского брака до устройства депутатского шурина на хлебную должность. Письма пестрели именами венгерской знати — служилой и родовитой. Министры и вожди партий разговаривали с его превосходительством завсяко — запросто. Автор писем не скрывал, что тон их был высокомерным, добродушно-пренебрежительным. Однако обстановка всеобщего амикошонства, взаимного «тыканья» малых и великих, система «родственников», если употребить термин Жигмонда Морица, была представлена в письмах довольно рельефно.

По тем временам кое-что в этих письмах должно было казаться властям предержащим язвительным и неприятным. Скажем, вопрос о Кошуте. Лайош Кошут — вождь венгерской революции 1848—1849 годов не примирился с Австрией, не вернулся на родину и после сорока пяти лет изгнания умер. К тому времени он был признанным отцом нации. Смерть его вызвала во всей стране траур.

Его превосходительство Меньхерт Катанги простодушно выболтал, что властители Венгрии не посмели вытребовать у своего короля Франца-Иосифа самых элементарных знаков внимания к праху великого мадьяра.

Франц-Иосиф — всеми шумно презираемый Ференц-Йошка — сделал по-своему. В этом случае, как и во многих других. Потеряв уважение, он сохранил власть. А Катанги, депутат правящей либеральной партии, на страницах «Пешти хирлап», органа этой партии, основанной, кстати говоря, Кошутом, защищал подлость Ференца-Йошки.

Неприятное правительству должно было в те времена, в 1893—1894 годах, нравиться венгерскому читателю.

Например, описание парламента во время речи премьер-министра Векерле:

«Лишь одобрительные возгласы: «Правильно!», «Ура!» — прерывали изредка ее течение. Так говорил он, пока лица у всех не прояснились — особенно, когда оказалось, что у нас одиннадцать тысяч экономии.

— Вот это да! — одобрил я громогласно. (Первая моя реплика за всю политическую карьеру. Интересно, попадет она в «Немзет»?)

Премьер-министру она явно понравилась: он посмотрел в мою сторону и улыбнулся. В зале закричали «ура!» и зааплодировали».

Однако наряду с критикой венгерского дворянства в «Письмах» было и другое — добродушная улыбка своего человека, уверенного, что жульничество, кумовство, избирательные махинации были и будут, что особенного вреда они не несут. В «Письмах» было больше самокритики, чем критики.

Странное сочетание язвительности и благодушия натолкнуло многих читателей на мысль, что за его превосходительством Меньхертом Катанги стоит другое превосходительство — депутат от той же правящей либеральной партии, знаменитый писатель Кальман Миксат. Благо Миксат уже не в первый раз выступал с парламентскими фельетонами.

Так оно и было в действительности.

«Письма» имели успех. Это был скоропроходящий успех газетного скандала.

Вряд ли стоило бы публиковать переводы писем в 1965 году, если бы не одно обстоятельство. Кальман Миксат понял, что созданная им маска заслуживает не только фельетонной пощечины, но и социального исследования.

В 1896 году он пишет «Беспокойную жизнь и приключения, падение и возвышение его превосходительства господина депутата Меньхерта Катанги» — предысторию «Писем». В 1897 году — «Проделку в Кертвейеше», повесть о том, что случилось с его превосходительством после опубликования писем.

И в первой и в третьей частях этого удивительного трехчленного сочинения, которое составило единый роман под титулом «Выборы в Венгрии», речь идет не о деталях венгерской парламентской системы, а о ее существенных сторонах. Более того, о существенных сторонах старой Венгрии, о типе человека, в старой Венгрии преуспевавшего.

«Письма» читаются с усилием. Они снабжены множеством подстрочных примечаний, притом совершенно необходимых: слишком далеки от нас подробности политики двуединой монархии.

Однако «Письма» составляют не более четверти романа. Три четверти его — блестящая проза, глубокая и тонкая, история плута, заставляющая вспомнить и «Мертвые души», и «Феликса Круля», и лучшие романы Синклера Льюиса.

Перед нами жизнь человека — барчука, лоботряса, великосветского жулика, который становится парламентарием потому, что в 1893—1894 годах (как тридцатью годами раньше и пятьюдесятью годами позже) венгерский парламентарий должен был быть

барчуком, лоботрясом и великосветским хулиганом.

История человека смыкается с историей правившего Венгрией класса — дворянства.

Этот класс с гордостью называл себя на английский лад — джентри. Отец пушкинской «барышни-крестьянки» тоже был англоманом, но это удивляло его соседей. В дворянской Венгрии англомания была массовым явлением. Речь идет, конечно, о массе графов, герцогов, баронов и джентри.

Подобно их британским кумирам, венгерские дворяне правили в результате компромисса. Но договаривались они не с революционной буржуазией, не с генералами Кромвеля, а с Ференцем-Йошкой, с австрийским двором, с Габсбургами.

История венгерского дворянства удивительна.

Еще в 1848 году оно восставало против Ференца-Йошки. В 1867 году договорилось с ним, примирилось, признало его, получив взамен право эксплуатировать своих крестьян, а также словацких, хорватских, румынских.

Парламент в Будапеште не лез ни в иностранные дела, ни в военные. Он добровольно предоставил Вене верховное распоряжение даже внутренними, чисто венгерскими делами. Конституцию венгерские джентри получили, но куцей была эта конституция.

Герой венгерского дворянского романа в 1848 году мог быть действительно героем. После 1867 года, после компромисса с Габсбургами, ему приходилось быть плутом.

Плутами были все эти «ипсилоны», как их называл Кальман Миксат,— венгерские дворянские фамилии писались с ипсилоном на конце. Плутами были все эти Каллаи, Палфи, Эстергази, чьи фамилии мелькают на страницах романа (в ту пору они пресмыкались перед Габсбургами), чьи фамилии мелькали на страницах советских газет военного времени, когда они пресмыкались перед Гитлером.

Лет восемьдесят Венгрия представляла собой царство «ипсилонов» — куцее, нетвердое, плутоватое царство подчинившихся и примирившихся. Мне пришлось наблюдать его конец. В 1945 году в Будапеште была повержена огромная статуя Иштвана Тисы, которого упоминает Кальман Миксат.

Убитый венгерскими солдатами во время буржуазно-демократической революции 1918 года граф Тиса был отлит в бронзе хортистской Венгрией и встал над городом как веское доказательство продолжившегося еще на четверть века царства «ипсилонов».

В 1945 году венгерские рабочие его еще раз низвергли — на этот раз бронзового, на этот раз окончательно.

«Ипсилоны» потеряли землю, потеряли власть, потеряли места в парламенте.

Плутовской роман о Меньхерте Катанги стал для Венгрии историческим романом.

Книга переведена Олегом Россияновым — серьезным ученым и хорошим прозаиком.

Из вышесказанного ясно, какие трудности представляла передача на русском языке фельетонов Миксата — злобы дня, давным-давно переставшей быть злободневной.

Россиянов эти трудности преодолел с честью.

БОРИС СЛУЦКИЙ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Несколько очерков Бориса Галина о В. И. Ленине опубликовал на своих страницах софийский еженедельник «Литературен фронт».

Книга Евгения Мара «Часовые Кремля. Рассказы о В. И. Ленине» выпущена болгарским издательством «Народна младеж».

Болгарское издательство «Народна култура» в библиотечке «Советские поэты» выпустило сборники стихотворений Владимира Маяковского в переводах Гео Милева, Христо Радевского и других, а также стихотворения и поэмы Сергея Есенина, которые перевели Елисавета Багряна, Христо Радевский, Никола Фурнаджиев, Младен Исаев, Тодор Харманджиев, Блага Димитрова, Дамян Дамянов.

Книга «От двух до пяти» Корнея Чуковского вышла на болгарском языке.

Рецензент еженедельника «Литературен фронт» подчеркивает большие заслуги Пламена Цонева, переведшего детские стихи в книге, и переводчика Ивана Жечева, снабдившего текст своими примечаниями, помогающими уяснению некоторых слов и фраз.

В Страсбурге (Франция) в театре «Драматический центр Востока» поставлена пьеса А. Арбузова «Иркутская история».

В издательстве «Ческословенски списовател» вышел сборник стихов Сергея Есенина под названием «Лирика» в переводах Й. Горы, М. Марчановой, Б. Матезиуса и других. К книге приложена пластинка с записью голоса поэта и его стихов в переводе на чешский язык.

Тем же издательством выпущен «Звездный билет» В. Аксенова.

Повесть «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара опубликована Государственным педагогическим издательством Чехословакии.

«Строки любви» Степана Щипачева вышли вторым изданием в словацком издательстве «Словенски списовател».

Роман А. Авдеенко «Черные колокола» выпущен в Берлине, в издательстве «Культур унд фортшритт».

Пьеса В. Пановой «Как поживаешь, парень?» поставлена в дрезденском Государственном театре.

«Кавказская повесть» П. Павленко выпущена издательством «Ферлаг дер национ» (ГДР).

Газета «Берлинер цейтунг» опубликовала рассказ К. Паустовского «Последний черт».

В издательстве «Леонардо да Винчи» (Италия) вышла книга произведений Ильи Эренбурга, в которую включены «Индийские впечатления», «Японские заметки», «Размышления на Крите».

Государственный издательский институт Польши (ПИВ) выпустил в последнее время несколько книг советских авторов. Среди них «Петр Первый» Алексея Толстого, «Материнское поле» Чингиза Айтматова, «Иду на грозу» Даниила Гранина, а также «Книга про стихи. Заметки, наблюдения, выводы» Владимира Огнева.

Под названием «Солнечная долина» издательство выпустило сборник, включающий пятнадцать написанных в последние два года рассказов советских писателей. Это уже пятый по счету сборник, издание которых было начато в 1960 году.

Один из популярнейших в Будапеште театральных коллективов — театр имени Мадача — под руководством режиссера Отто Адамова осуществил недавно постановку пьесы М. Горького «Мещане». Этот спектакль, явившийся значительным событием в культурной жизни Венгрии, достойно увенчал, как писал театральный обозреватель еженедельника «Элет эш иродалом», творческие достижения театра в текущем сезоне.

В Венгрии издан роман С. Воронина «Две жизни».

В издательстве «Гондолат» вышла книга З. Паперного «А. П. Чехов. Очерк творчества». По отзыву рецензента журнала «Надьвилаг», эта книга «открывает перед венгерским читателем возможность более глубокого изучения творчества А. П. Чехова».

В издательстве «Эуропа» вышел сборник рассказов Александра Неверова под заглавием «Я хочу жить». Некоторые рассказы Неверова уже раньше были известны венгерскому читателю («Мария-большевичка», «Я хочу жить» и другие). Отдельным изданием рассказы Неверова выходят в Венгрии впервые. В сборник включены рассказы, написанные в период 1906—1923 гг.

Иллюстрация Курта Циммермана к книге Павла Малькова «Записки коменданта Московского Кремля», вышедшей в издательстве «Диц-ферлаг» (ГДР).

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

МЕМУАРЫ МЭРИ ГИЛМОР

После долгого перерыва вновь изданы автобиографические записки Мэри Гилмор «Старые времена, старые нравы» и «Еще воспоминания». Поэтесса и общественная деятельница, первая женщина — член Австралийского союза рабочих, энтузиастка, создавшая вместе с австралийскими социалистами коммуну в парагвайских дебрях, друг Лоусона Мэри Гилмор (1865—1962) в глазах своих современников была живым воплощением австралийской истории. Ее воспоминания — «не только увлекательное чтение,— пишет Джон Моррисон в журнале «Оверленд»,— это бесценное историческое наследство. Жизнь австралийских зарослей, «буша», воскрешена проницательным наблюдателем, не упустившим ни одной подробности, большой или малой, в ясной и неторопливой прозе, которая так редко встречается в наши дни. Здесь лесные пожары и бандиты - бушрейнджеры, истребление туземцев, колониальная политика, а также множество реалий, которые, оставшись в тени, могли быть утрачены навсегда и без которых полная картина эпохи была бы невозможна».

И все это пронизывает огромная любовь к родине!

Моррисон считает, что Мэри Гилмор — несомненный мастер прозы: отдельные главы ее воспоминаний читаются как самостоятельные рассказы. Так, «Кнут», по выражению Моррисона, «несомненно одна из самых волнующих историй о расовой дискриминации».

ПРЕМИЯ ФРЭНКУ ХАРДИ

Премия имени Мэри Гилмор за лучшее трехактное драматическое произведение 1964 года присуждена Фрэнку Харди за пьесу «Пассажир в трюме». Время действия—тридцатые годы, разгар экономического кризиса; место действия — корабль, куда без ведома команды пробирается преступник, разыскиваемый полицией. Безбилетный пассажир не является главным героем — вокруг него завязывается острая борьба, в которой сталкиваются противоположные взгляды и различные политические интересы. Жюри отметило также последнюю пьесу Дороти Хьюитт «Когда старик домой пришел».

АВСТРИЯ

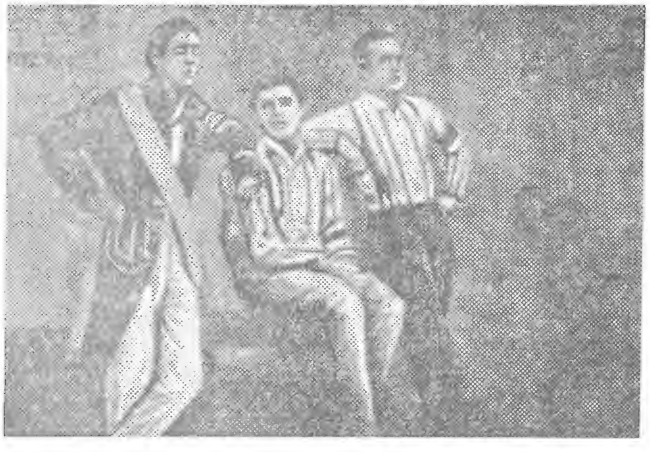
«ПОМЕХИ» ЗАПАДНОГЕРМАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Корреспондент газеты «Фольксштимме» сообщает об очередной провокации западногерманского телеви-

---

В сиднейском «Нью-тиэтр» с успехом прошла премьера музыкальной комедии «Баллада аллеи Ангелов» Джеффа Андерхилла. В ней рассказывается о жизни обитателей сиднейских трущоб. «Этот спектакль свидетельствует о том,— писал в связи с премьерой корреспондент газеты «Трибюн»,— что «Нью-тиэтр» является театром, отстаивающим интересы национальной драматургии, которой приходится сдерживать натиск американского зрелищного импорта». На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Трибюн»)



дения, направленной на то, чтобы внести раздор в отношения между Австрией и Чехословацкой Социалистической Республикой. При попустительстве ответственных лиц австрийского телевидения по нему был ретранслирован «криминальный» западногерманский фильм под названием «Желтый пакет». Содержание его можно передать в двух словах: майор западногерманского бундесвера схвачен и убит «агентами» чехословацкой разведки с целью овладения секретными данными.

Показ этого фильма вызвал глубокое возмущение прогрессивной общественности Австрии, тем более что, как известно, передачи австрийского телевидения могут смотреть и многие телезрители Чехословакии.

В следующий раз организаторы этой провокации решили пойти на прямой обман. В программе было объявлено о демонстрации какого-то нового фильма. Но в самый последний момент телезрителям сообщили, что снова будет демонстрироваться... «Желтый пакет».

«Почему бы австрийскому телевидению не отказаться от подобных передач из Западной Германии?—спрашивает корреспондент «Фольксштимме».—Или, может быть, между австрийским и боннским телевидением существует какой-нибудь тайный сговор? Пора наконец решительно устранить западногерманские «помехи» в австрийском телевидении».

АЛЖИР

БЕЗ ЭКЗОТИКИ

Жители улиц, расположенных у площади Павших борцов в городе Алжире, хорошо помнят прошлое... На углу улиц Эмиля Мопа и Интендантства стоит большое мрачное здание. Во время освободительной войны колонизаторы превратили его в место пыток. Они замуровали окна и маленькую дверь в одной из стен здания, чтобы заглушить крики мучеников.

После освобождения жители города, вооружившись кирками, уничтожили «стену пыток».

Недавно разрушение «стены пыток» было вновь воспроизведено перед кинокамерой. В съемках принимали участие многие жители алжирской столицы.

Это — один из эпизодов документального цветного полнометражного фильма алжиро-итальянского производства, работа над которым сейчас заканчивается. Рабочее название фильма — «Алжирцы», сообщает корреспондент газеты «Альже репюбликэн». В нем нет профессиональных актеров. Создатели фильма запечатлели события, реально происходившие в разных уголках страны. Они хотели рассказать об исторических переменах в Алжире не только зарубежным зрителям, но прежде всего самим алжирцам.

«Большая опасность заключалась в том,— рассказали корреспонденту в съемочном коллективе,— что картину эту легко было превратить в «фильм для туристов» с преобладанием «экзотики». Думается, нам удалось этого избежать. Мы хотели показать наше движение вперед после завоевания независимости и в то же время хотели рассказать правду, поэтому в фильме отражены успехи и трудности на этом пути».

Фильм поставлен студией «Касба-фильм» в сотрудничестве со студией «Фоно-Рома». Он будет озвучен на арабском, французском и итальянском языках.

АНГЛИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ЧАРЛЬЗОМ СНОУ

Чарльз Сноу — известный английский романист, выпустивший недавно девятый по счету роман «Коридоры власти» в задуманной им серии «Чужие и братья»,— с приходом к власти лейбористского правительства получил назначение на пост парламентского секретаря.

«Как вам нравится заседать в палате лордов?» — задал вопрос писателю корреспондент американского еженедельника «Ньюсуик».

«Это одна из английских странностей, которой никто из находящихся за пределами палаты лордов не понимает, и я не думаю, чтобы кто-нибудь из заседающих в ней понимал, кому это нужно,— ответил Сноу.— Начнем с того, что там царит невероятная, преувеличенная вежливость. Я, например, получил инструкцию, в соответствии с которой, находясь в палате лордов, нельзя во время разговора хотя бы случайно показать собеседнику кончик языка. Это, видимо, настолько существенно, что я получил множество длинных, благожелательных записок на эту тему от друзей, восседавших на скамьях тори».

Корреспондент поинтересовался, почему Сноу согласился пойти на государственную службу.

«Две причины заставили меня решиться на это,— сказал писатель.— Первая — весьма старомодная: мне показалось, что это мой долг. Вторая — я подумал, что как писатель я должен к концу жизни получить этот опыт».

Сославшись на критику последнего романа Сноу, особенно со стороны консерваторов, корреспондент поинтересовался: «Некоторые лица, в особенности Иан Маклеод (прежний лидер консерваторов в палате общин), критиковали вашу книгу за то, что она не дает правдивой картины Уайтхолла и Вестминстера. Теперь, когда вы сами находитесь в «коридорах власти», что бы вы ответили на этот упрек?»

«Большинство моих друзей-консерваторов считает, что данная мной картина в основном правдива,— ответил писатель.— Что же касается Иана Маклеода, то мне думается, что он в своей политической деятельности преуспел бы намного больше, если бы прочел мою книгу заблаговременно».

ПРЕМИИ И БИЗНЕС

В Англии ежегодно присуждается несколько крупных литературных премий: премия Хоторнден, премия Джеймса Тейта Блейка, премия имени Кэтрин Мэнсфилд, Сомерсета Моэма. Как правило, однако, присуждение премий не сопровождается в стране такой шумихой и рекламой, как, например, присуждение Гонкуровской премии во Франции или «Американ нэшнл бук эворд» в США. Премии присуждаются здесь без излишнего шума, в газетах об этом сообщается несколькими строчками петита, и никакого влияния на тираж книги и на ее популярность среди читателей они не оказывают. Именно по этой причине английские литературные премии так мало известны.

Но времена меняются... В конце прошлого года в Англии учреждена новая литературная премия Национальной лиги книги («Нэшнл бук лиг прайз»). Она самая крупная: 2 500 фунтов стерлингов. Оговорено, однако, что премия присуждается писателям в возрасте старше шестидесяти пяти лет. Первый лауреат этой премии — известный поэт Джон Мейсфилд.

Как сообщает печать, в настоящее время по инициативе Ассоциации молодых писателей ведутся переговоры с некоторыми издательствами относительно учреждения новой крупной ежегодной премии в размере 5 000 фунтов стерлингов, которую будут присуждать ведущие издательства страны. Эта премия будет, по замыслу инициаторов, иметь ярко выраженный коммерческий характер и сопровождаться грандиозной рекламной шумихой; вручать ее будут в торжественной обстановке.

«Поживем — увидим, удастся ли этот план»,— говорят скептики. А владельцы издательств между тем явно заинтересованы в популяризации литературных премий на американский манер, так как это сулит им оживление книжного бизнеса.

Джеральдина Чаплин

(Журнал «Ревю»)

НЕЛЕГКО БЫТЬ ДОЧЕРЬЮ ЧАПЛИНА

«Быть дочерью Чарли Чаплина... В этом, конечно, много преимуществ, но, пожалуй, и не меньше трудностей — особенно если ты собираешься стать актрисой, ведь публика ждет от тебя многого, даже слишком многого...» — так отвечала двадцатилетняя Джеральдина Чаплин корреспонденту западногерманского журнала «Ревю», напечатавшего недавно обширное интервью с дочерью известного киноактера.

«...Страшно подумать,— продолжала Джеральдина,— что до конца жизни так и не узнаешь: обязана ли ты своим успехом самой себе или фамилии, которая тебе досталась. Что думает отец о моем дебюте в кино (мне предлагают сниматься во многих фильмах), я не знаю, он очень строг и требователен. Но он имеет на это право... В общем, если я провалюсь, я просто приду к нему и скажу: не вышло, папа...

Родителям хотелось, чтобы я окончила университет, но, видимо, наследственность взяла верх... С детства я страстно полюбила музыку и театр. А фильмы отца и теперь смотрю как завороженная, причем у меня такое чувство, что этот образец будет «преследовать» меня всю жизнь, и я никогда не смогу избавиться от его чар. Из домашнего гнезда я «улетела» первой. За мной — Майкл, он сейчас учится в актерском училище в Лондоне. На очереди — Жозефина, самая красивая в нашей семье. Потом Викки, эта наверняка станет актрисой, у нее выдающийся талант.

С десяти до пятнадцати лет я воспитывалась в монастырской школе-интернате— мои младшие сестры тоже не избежали этой участи,— а потом училась в балетной школе. В настоящее время я живу в Париже».

На вопрос корреспондента, почему Ч. Чаплин, никогда не проявлявший особых симпатий к церкви, отдает своих дочерей на воспитание в монастырь, Джеральдина ответила:

«Все дело в дисциплине. Отец — фанатик дисциплины и «заразил» этим всех нас. Дома никто и никогда не говорил ни слова о боге, не молился и не крестился. Отец говорит, что охотно стал бы верующим, но не может им стать. Он человек без иллюзий и нас воспитывал в этом же духе. Я люблю отца и в то же время побаиваюсь. Не только потому, что он строг и настойчив — в конце концов отец всегда оказывается прав,— но главное потому, что он будет для меня вечным укором, примером и вдохновением».

БОЛГАРИЯ

«НЕДЕЛЯ ПИСАТЕЛЯ»

Под таким названием еженедельник «Литературен фронт» публикует цикл бесед своего специального корреспондента Михаила Шакле со старейшими болгарскими писателями: Емилианом Станевым, Димитром Талевым, Илией Волеиом, Ламаром. Недавно Шакле побывал у Марии Грубешлиевой.

— Я только что получила письмо от издательства,— рассказывает писательница.— Вышел из печати мой новый роман «Враги». Эту книгу о народном восстании 1923 года я написала в 1940 году, но лишь теперь она увидела свет. Тогда ее не пропустила цензура. Я восстановила роман по случайно сохранившейся рукописи.

Недавно я подготовила к печати сборник стихов «Каждый день». Это стихи последних трех-четырех лет. Некоторые печатались в журналах и газетах, но есть и совершенно новые. Что получилось — не мне судить. Боюсь, что молодым людям эта книга покажется архаичной — ведь большинство из них поклонники белого стиха; они считают, что стихи без рифмы — это новаторство. А ведь белые стихи писали и 40—50 лет назад. И я их писала. И Дора Габе пишет сейчас белые стихи, но это не стихи-загадки: и мысль в них ясна и глубока, и образы человечны и конкретны. Белые стихи тоже должны быть стихами. Иногда просто невозможно понять, что хотел сказать молодой модный поэт. А если и поймешь его мысль, удивляешься, почему такие простые и очевидные вещи облекаются иногда в туманную и сложную форму.

— Кого из современных поэтов вы цените выше всего?— интересуется корреспондент.

— Меня волнуют стихи Петра Караангова и Дамяна Дамянова, гражданская поэзия Павла Матева и Димитра Методиева. Лирические стихи Божидара Божилова, опубликованные журналом «Пламк», я считаю большим достижением поэта.

— А что вы думаете о модных литературных течениях на Западе?

— Я не люблю читать захваленных модных западных литераторов. Считаю, что увлечение известной части нашей писательской молодежи литературными фейерверками объясняется стремлением во что бы то ии стало найти новое, если даже это новое имеет сомнительную ценность. Я не люблю романов Альберто Моравиа, хотя мне очень нравятся его рассказы. Совсем другое, например, Генрих Бёль. Его роман «Глазами клоуна» произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление самобытностью ви́дения, подлинно новаторской манерой повествования.

Я не собираюсь никому навязывать своего мнения, но считаю, что между Хемингуэем и Колдуэллом, с одной стороны, и Кафкой, с другой,— большая разница. Я не против новаторства. Но думаю, что «зеленую улицу» новаторству открывает только социалистический реализм.

— Каковы ваши ближайшие планы?

— Я давно поняла, *как* нужно писать. Но писать *так* еще не научилась. Считаю, что пришло время поговорить с самой собой. «Разговор с самой собой» — так и будет называться цикл стихов, который я начала создавать. Это будут стихи-исповеди, оценивающие все пережитое, передуманное, выстраданное. А это немало!

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

Главный герой последнего романа Андрея Гуляшки «Семь дней нашей жизни» — инженер-геолог Емилиан. Это убежденный коммунист, человек сильного характера и непреклонной воли, человек необычайной целеустремленности и трудолюбия. Он уверен, что ему предстоит совершить для людей нечто

Заслуженным признанием в Болгарии пользуется творчество художника Стояна Венева: недавно в связи с 60-летием он был удостоен звания Героя социалистического труда. На снимке: работа Венева «Свадебный пир». *(Еженедельник «Народна култура»)*

большое. Однако в своей устремленности в будущее Емилиан порой перестает замечать людей, считаться с их чувствами.

Жизнь доказывает Емилиану, что в новом, социалистическом обществе индивидуалистически настроенная личность терпит крах. По отзывам критики, Андрей Гуляшки выступает в своем романе против индивидуализма, за реальный взгляд на жизнь, за человечность.

«Новое прозаическое произведение А. Гуляшки,— пишет в еженедельнике «Литературен фронт» Орлин Аврамов,— это откровенный, искренний разговор с читателем о современном человеке, о его сложной и часто противоречивой натуре... Писатель сумел сделать читателя своим активным соратником, глубоко проникнув в основные вопросы о смысле и содержании нашей жизни, о месте и роли сегодняшнего человека в строительстве нашего общества».

ВЕНГРИЯ

АРТИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ВСПОМИНАЮТ...

— Это случилось двадцать лет назад. В Будапеште, который тогда был еще ареной военных действий, начал новую жизнь Национальный театр,— рассказывают ветераны театра, артисты Гильда Гобби и Золтан Варкони.— Запомнился первый спектакль. В холодном зрительном зале царила тогда приподнятая, праздничная атмосфера. Но кому-то хотелось сорвать спектакль, однако на помощь тотчас пришли советские воины...

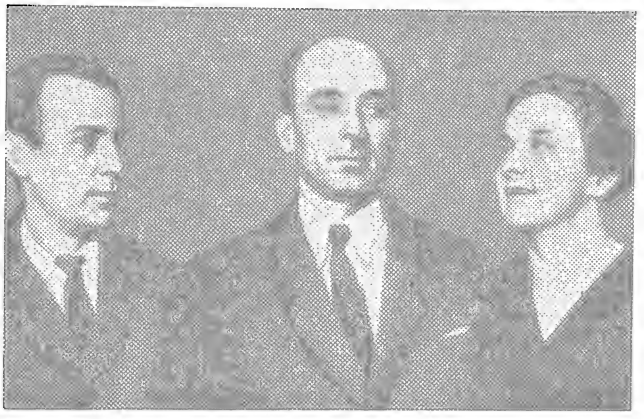
— Скажите, — спрашивает артистов корреспондент журнала «Филм-синхаз-мюжика»,— а как удалось разыскать в те дни артистов?

— Почти все они во время осады Будапешта жили в подвалах. Как только появилась малейшая возможность ходить по городу, начались розыски старой гвардии Национального театра. В первый же день нашелся Тамаш Майор (ныне директор театра). Затем в театр вернулись Иштван Шомло, Геза Абони, Элла Гомбасеги и другие, всего 94 человека, все из Пешта. Когда была освобождена Буда, Гильда Гобби с нашими товарищами получила от советского командования лодку и переправилась через Дунай.

Надо было приступать и к восстановлению здания театра, пострадавшего во время осады, надо было начинать работу с труппой. Трамваи еще не ходили, в городе не было света, не дымили заводские трубы, а в кабинете директора театра уже собрались артисты для распределения ролей в пьесе Мнхая Чоконаи-Витеза «Вдова Каройне и двое ветреников». А вскоре был организован и Совет театра.

Первый спектакль после Освобождения начался с чтения Тамашем Майором стихотворения Михая Чоконаи-Витеза «Вечер». Затем поднялся занавес и начался спектакль «Вдова Каройне и двое ветреников»...

— Многого достигли мы в нашей культуре за двадцать лет,— говорят в заключение Гобби и Варкони,— и мы никогда не забудем трудных, но счастливых дней освобождения в 1945 году.



Артисты Национального театра Золтан Варкони, Тамаш Майор и Гильда Гобби во время работы над первым спектаклем после Освобождения. *(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)*

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

«Рождение слов» — так называется первый сборник стихов молодого поэта Дёрдя Далоша. Читатели знают поэзию Далоша по газетным и журнальным публикациям и уже сумели оценить этого взыскательного и интересного поэта.

Далош вошел в литературу совсем недавно — первые его стихи появились в 1961 году. Главная тема первого сборника поэта — молодость. Герои его стихов — наши современники.

Рецензент еженедельника «Хайду-Бихари напло», приветствуя выход сборника «Рождение слов», писал: «В этой книжке — молодой задор, острое восприятие окружающего, свежесть формы и глубина мысли. Широк ее диапазон: от стихов о любви — до стихов, отражающих сложные вопросы современной эпохи. Самобытность, вдумчивость, глубина чувств и искренность — залог дальнейших успехов. В добрый путь!»

ГАНА

ПРОТИВ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

На сцене театра «Гана плейхауз» поставлена пьеса Дж. Уаймена «День

льва», направленная против расовой дискриминации.

Действие пьесы развертывается в одном из поселений Южной Африки. Молодая африканская девушка полюбила белого батрака, вместе с которым она работала у белого хозяина. Батрак ответил ей взаимностью. Но в условиях апартеида люди с разным цветом кожи не имеют права на личное счастье, на любовь. Хозяин выгнал девушку вместе с родившимся у нее «цветным» ребенком...

По сообщению печати, пьеса имеет успех у зрителей.

ГДР

ПЕВЕЦ РАБОЧЕГО КЛАССА

В связи с шестидесятипятилетием со дня рождения Эрнста Буша в берлинском издательстве «Хеншель-ферлаг» вышла иллюстрированная монография, посвященная жизни и творчеству этого выдающегося певца и актера.

Как сообщает корреспондент газеты «Нейес Дейчланд», еще в 1960 году президиум Немецкой академии искусств постановил выпустить несколько серий грампластинок с записью революционных и народных песен в исполнении Буша. За циклом «Песен интернациональных бригад» последовали «Новые немецкие народные песни» (текст И. Бехера), песни на слова В. Маяковского, Л. Фюрнберга и Ф. Ведекинда. В этом году выйдет серия пластинок с записью песен на текст К. Тухольского, В. Меринга, Э. Мюзама и Б. Брехта.

ЧИТАТЕЛИ ЗНАКОМЯТСЯ С ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Недавно радио ГДР было предоставлено для выступления группе западногерманских авторов: Рейнгарду Баумгарту, Гейнцу Кюпперу, Томасу Валентину, Зигфриду Ленцу, Гансу Бендеру и Александру Клюге. До этого, вопреки противодействию западногерманских противников культурного обмена с Востоком, по радио ГДР выступал Генрих Бёль. По словам литературного обозревателя еженедельника «Зоннтаг», названные авторы прочли свои рассказы и отрывки из повестей и рассказов. Большинство из них представляют собой произведения современного критического реализма. Лучшими обозреватель считает рассказы Зигфрида Ленца и Рейнгарда Баумгарта. «Можно спорить о социальных и психологических концепциях отдельных авторов, например, Александра Клюге,— пишет обозреватель,— важно, однако, то, что выступившие по радио писатели попытались показать все то лучшее, прогрессивное, что сейчас существует в западногерманской литературе».

Как сообщает корреспондент газеты «Нейес Дейчланд», в издательстве «Ауфбау-ферлаг» вышел новый роман Рейнгарда Баумгарта «Домашняя музыка. Немецкий семейный альбом». Писатель подверг в нем резкой критике политику непротивления фашизму. В этом корреспондент усматривает серьезную попытку западногерманского писателя войти в противоречие с бытующим в боннском государстве представлением о так называемом «непреодолимом» прошлом.

Благодаря дружественной культурной политике ГДР читатели на Востоке Германии получают возможность постоянно знакомиться с литературными новинками Западной Германии.

ПЛАНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АУФБАУ»

«Если подсчитать, сколько книг выпустит издательство «Ауфбау» в 1965 году,

---

Известный художник ГДР Вальтер Вомацка — создатель замечательных витражей. Последняя его работа — витраж нового здания Совета Министров ГДР. «Искусство витража — старинное искусство, ныне мало популярное в Германии,— пишет в связи с этим корреспондент газеты «Нейес Дейчланд».— Вомацка много сделал для его возрождения и дальнейшего развития. Но теперь тема его — не христианская мифология, а жизнь людей на земле». Новый витраж Вомацки (фрагмент его мы воспроизводим) посвящен теме строительства нового общества в ГДР.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

Многие произведения дрезденского скульптора Иоганнеса Фридриха Рогге посвящены советско-германской дружбе. Недавно скульптор завершил работу над бюстом В. И. Ленина. На снимке: И. Ф. Рогге в мастерской.

(Газета «Дер морген»).

то получится, что почти каждый день будет выходить по одной книге»,— сообщает корреспондент газеты «Берлинер цейтунг».

В 1965 году исполняется 90 лет со дня рождения и 10 лет со дня смерти Томаса Манна. В связи с этим издательство предполагает выпустить третье, улучшенное издание его произведений в 12 томах и первое полное собрание его писем под редакцией дочери писателя Эрики Манн. Кроме того, в планах издательства — издание переписки Томаса и Генриха Маннов.

Будет продолжена работа над собранием сочинений Горького, готовится восемнадцатитомное собрание сочинений Бехера. В первый раз на немецком языке выйдут стихи и поэмы Некрасова. К 20-летию со дня основания издательства, которое исполняется в будущем году, «Ауфбау» готовит альманах «58 авторов — с 1945 до 1965 года (современная художественная литература)».

Кроме того, выйдут книги зарубежных писателей: О'Кейси, Моравиа, Олдриджа, Драйзера, Мальца, Лэнгстона Хьюза и книги нескольких западногерманских авторов, в том числе Бёля. Издательство предполагает выпустить также «Немецкую книгу мира» — антологию исторических документов, выступлений, стихов и т. д.

ФРГ

«ВРЕМЯ НАКАЗАНИЯ»

На книжном рынке Западной Германии появился роман «Время наказания» молодого писателя Генри Егера, автора романов «Крепость» и «Бунт потерянного поколения». По мысли Егера, «потерянное поколение» — это послевоенное поколение немцев на Западе Германии, которых суровая действительность часто толкает на путь преступлений. Егер подвергся резкой критике со стороны правой печати, и в частности журнала «Шпигель».

Новый роман Егера рассказывает о «быте» тюрем Западной Германии, о применяемых методах наказания. Автор повествует о том, что сам пережил. По словам рецензентов демократической печати, роман не рассчитан на то, чтобы вызвать сенсацию. В нем дана реалистическая картина одной из неприглядных сторон современной западногерманской действительности. Герою романа Роберту Лабицке отвратителен окружающий его мир, который столкнул его на самое «дно» общества.

Основная мысль автора состоит в том, что методы «воспитателей», состоящих преимущественно из бывших гестаповцев, не дают возможности отбывающим наказание вернуться к нормальной жизни.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ...

Как известно, в свое время нацисты вычеркнули Томаса Манна из списка почетных докторов Боннского университета, затем лишили его германского подданства и обвинили в «государственной измене». Ныне в Западной Германии сложились условия, при которых стало возможным повторение почти такой же истории.

Муниципальный совет города Мангейма решил отметить премией имени Шиллера сына Томаса Манна, профессора истории Голо Манна, «признавая его заслуги в толковании современной истории». В ответ на это реваншистский листок «Зольдатенцейтунг» под крупным заголовком «Предательство Германии?» выступил с обвинением муниципального совета Мангейма в «ошибочном» решении, поскольку, мол, в своей публицистической деятельности профессор Голо Манн слишком явно симпатизирует Польше и польскому народу. Припомнили Голо Манну и то, что он сражался на стороне союзников против немецкого фашизма. По этому поводу «Зольдатенцейтунг» выразилась весьма недвусмысленно: «Когда германский подданный выступает с оружием в руках против своих земляков в форме вражеской армии, то мы называем это «государственной изменой».

История повторяется, не правда ли?

«ПРОТИВ ПОЯСА АТОМНЫХ МИН»

Выступая перед студентами Гамбургского университета, писатель Кристиан Гейслер, автор нашумевшего романа «Запрос» и пьесы «Убойный скот» (см. «Иностранную литературу» № 8, 1961 и № 7, 1963), резко осудил третнеровский план создания «пояса атомных мин» и намерение правительства Эрхарда утвердить так называемые «чрезвычайные законы». Гейслер призвал молодежь, пишет обозреватель берлинского еженедельника «Зоннтаг», тщательно продумать и взвесить возможные последствия этой политики... «Как только вы осознаете всю опасность плана Третнера,— сказал писатель,— предпринимайте коллективные действия: пишите листовки, поезжайте в Бонн, организуйте демонстрации!.. Сущность нынешней ситуации выражается в двух вопросах: первый — как общество превращается в убойный скот? второй — какими средствами можно помешать такому превращению?»

Писатель напомнил, как нацисты методически одурманивали сознание немцев, доводя их до отупения, чтобы их легче было превратить в пушечное мясо. «У кого больше мужества: у сыновей или у отцов? — спросил Гейслер.— Знание джазовой музыки и чтение журналов не помогут, если дела снова примут скверный оборот... Личная свобода,— заключил писатель,— находится в нашем государстве в определенной зависимости от власть имущих. Свободе угрожают изнутри, а не извне».

ГРЕЦИЯ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЖУРНАЛА «ЭПИТЕОРИСИ ТЕХНИС»

Выходящий в Афинах литературно - художественный журнал «Эпитеориси технис» («Обозрение искусств») отметил свое десятилетие. Это было десятилетие мужественной, напряженной борьбы с силами духовного мракобесия, против бесчинства цензуры, против черных списков запрещенных книг, против преследования прогрессивных писателей, за свободу слова и другие демократические свободы. Первый номер журнала появился в рождественские праздники 1954 года. Он не остался незамеченным. В небольшую комнатушку, где разместилась редакция журнала, начали приходить читатели. Они знали, что подвергают себя риску, что посещение редакции грозит им вызовом в полицию, и все же они приходили — чтобы поддержать смелое начинание, выразить солидарность с его инициаторами.

Вокруг журнала «Эпитеориси технис» начала группироваться литературная молодежь, его поддержали своим участием известные ученые, писатели и поэты. И несмотря на то, что журнал отказывались рекламировать, несмотря на то, что банки не давали ему кредита и полиция запугивала подписчиков, журнал не только не зачах, а наоборот — вырос в одно из самых крупных литературных изданий страны. Тематические номера журнала, посвященные национальному Сопротивлению, творчеству Брехта и Пикассо, были признаны критикой интереснейшими событиями в культурной жизни Греции. Широкий отклик читателей и прессы вызвал также специальный номер журнала «Эпитеориси технис», посвященный советской литературе.

Приветствуя журнал по случаю его десятилетнего юбилея, демократическая пресса Греции желает ему по-прежнему быть трибуной прогрессивной мысли, наставником молодых литераторов.

ИТАЛИЯ

«БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК В АПРЕЛЕ»

Такое название носит пьеса драматурга и режиссера Франко Антоничелли, премьера которой состоялась в городе Реджо-Эмилия в Болонском драматическом театре. После этой — неофициальной — премьеры и поездки театра по городам Эмилии и Тосканы пьеса будет показана в Турине в дни всеитальянских торжеств в честь двадцатилетия освобождения страны от фашизма. Пьеса необычна по форме — это

Обложки нескольких номеров журналов «Эпитеориси технис».

как бы инсценированная история итальянского Сопротивления, всего периода антифашистской борьбы, вместе с тем история капитуляции части итальянского общества перед фашизмом, соучастия в его преступлениях. Спектакль охватывает два десятилетия — от прихода фашистов к власти в начале 20-х годов до победоносного всенародного вооруженного восстания в конце апреля 1945 года. В какой-то мере эта пьеса по своему характеру напоминает «Страх и отчаяние в Третьей империи» Бертольта Брехта.

Первая часть пьесы состоит из эпизодов, преимущественно сатирических. Предметом сатиры служат трусость и подлость приспособленцев-судей, по приказу фашистов инсценировавших суд над основателем и руководителем Итальянской компартии Антонио Грамши; слепой эгоизм итальянских буржуа, не желавших слышать о фашистской опасности; бесплодная оппозиция части антифашистски настроенной интеллигенции, ограничивавшейся болтовней в кафе и гостиных, и т. д. Эпизоды, высмеивающие существовавшие при фашизме нравы, чередуются с сильными драматическими событиями — такими, как, например, рассказ о безрассудно смелом полете над Римом летчика де Бозиса, сбросившего антифашистские листовки, и эпизод, посвященный трагедии зимнего отступления разгромленной на советско-германском фронте экспедиционной итальянской армии.

По мнению критиков, автору особенно удалась вторая часть пьесы, посвященная собственно Сопротивлению. Здесь Антоничелли показывает, как стихийное возмущение и протест итальянцев — представителей различных слоев трудящихся масс — постепенно приобретают организованные формы и выливаются в партизанскую и подпольную борьбу против гитлеровцев и фашистских предателей.

Спектакль сопровождается музыкой и песнями, написанными и подобранными композитором Серджо Либеровичи — известным собирателем итальянского революционного фольклора.

Успех пьесы Антоничелли отмечен всей прогрессивной печатью, обозреватели и рецензенты считают ее важнейшим событием в итальянской театральной жизни последних лет.

Известный итальянский киноактер Марчелло Мастроянни, сыгравший главную роль в фильме Пьетро Джерми «Развод по-итальянски», вместе с киноактрисой Софи Лорен играет в сатирической комедии Витторио Де Сика «Супружество по-итальянски». На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Ринашита»)

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ РАБОЧИХ

Как уже сообщалось в печати, в Неаполе с большим успехом прошла премьера новой пьесы Эдуардо Де Филиппо «Искусство комедии». Корреспондент газеты «Паэзе-сера» пишет, что накануне официальной премьеры Де Филиппо показал свой спектакль необычной для итальянских театров публике — в зрительном зале находились только рабочие завода «Италсидер» и театральные критики, приглашенные драматургом-режиссером. Показ новых спектаклей рабочим — традиция, которой Де Филиппо недавно положил начало в руководимом им театре «Сан Фердинандо».

«ВЕСЬ МЕД УЖЕ КОНЧИЛСЯ»

Эти слова из старинной печальной песни сардинских крестьян писатель и художник Карло Леви взял в качестве заглавия своей новой книги, посвященной Сардинии. В ней собраны очерки разных лет — с 1952 по 1962 год — о жизни этого большого острова, одной из самых отсталых областей Южной Италии. В очерках 50-х годов Леви показывает послевоенную Сардинию, жителей ее нищих деревень, бездомных, ютящихся в пещерах, передает царившую на острове атмосферу застоя и безнадежности (переводы некоторых из этих очерков были опубликованы в нашей печати). В своих последних очерках автор рассказывает об определенных сдвигах, происшедших в жизни Сардинии: первых шагах по пути промышленного развития, перспективах туризма, постепенном пробуждении сардинской провинции...

Критик Пьеро Далламано в литературном приложении к газете «Паэзе-сера» называет книгу Леви «правдивым портретом Сардинии» и пишет далее: «Этот репортаж об острове — удачная и живо написанная книга; ее страницы свидетельствуют о счастливом даре автора — острой наблюдательности и его страстном интересе к людям». Далламано говорит, что итальянская литературная критика в долгу перед Леви, писателем, соз-

давшим такие значительные, интересные очерковые произведения, как книги о поездках в Советский Союз и Германию, которые теперь пополнились новой книгой о Сардинии.

ПРИЛОЖЕНИЕ К «РИНАШИТА»

Теоретический орган Итальянской коммунистической партии—еженедельный журнал «Ринашита» («Возрождение»)—известил своих читателей, что начинается выпуск ежемесячного приложения к «Ринашита», посвященного вопросам культуры. По существу, это новый общественно-политический и литературно-художественный журнал.

«Новое периодическое издание имеет целью,— говорится в сообщении «Ринашита»,— служить обновлению и углублению связей между боевой марксистской культурой и реальной жизнью современного мира; расширению критического обмена мнениями как в национальном, так и в международном масштабе с другими идеологическими течениями и направлениями; сближению различных точек зрения для поисков возможных решений в области культуры, не замыкаясь в узких рамках какой-либо специализации».

В первых номерах приложения к «Ринашита» — статьи, репортажи, материалы дискуссий на темы: «Что такое модернизм?», «Начался ли уже диалог между католиками и марксистами?», «Как развивается искусство и какие споры об искусстве ведутся в социалистических странах?», «Что представляет собой сегодня связь между искусством и реальной действительностью?».

Журнал, кроме того, имеет критический и информационный разделы, в которых напечатаны отклики на новые произведения и события в различных областях культуры — в литературе, кино, живописи, архитектуре, музыке, театре, на радио и телевидении, а также в экономике, социологии, философии, истории, политике и публицистике.

КЕНИЯ

НА СЦЕНЕ — ПЬЕСЫ АФРИКАНСКИХ АВТОРОВ

Ежегодно в Найроби проходит театральный фестиваль, в котором участвуют обычно любительские труппы. Последний фестиваль ознаменовался появлением на сцене пьес африканских авторов.

Труппа студентов и преподавателей местного колледжа поставила «Шрам» Ребекки Нджау. Это трагическая история молодой женщины из племени кикуйю, которая терпит поражение, когда предпринимает попытку бороться с традициями и суевериями своего племени. Критик газеты «Ист африкен стандард» называет постановку пьесы «интересной, сделанной на профессиональном уровне».

Пьеса Генри Куриа «Я люблю тебя, но...» — первое произведение на языке суахили, показанное на фестивале. Ее поставил драматический клуб Тауси. Интересная деталь: вначале это был клуб молодых футболистов-любителей; финансовые затруднения толкнули спортсменов на поиски средств для своего клуба. Выход был найден в организации самодеятельных спектаклей, сбор от которых должен был идти в кассу клуба. Но постепенно искусство захватило молодых людей — и футбольный клуб превратился в драматическую труппу.

Еще одним примечательным событием фестиваля стала постановка «Сна в летнюю ночь» Шекспира в африканских костюмах. Пьеса шла на открытом воздухе на фоне горы Кения.

ЛИВАН

СТИХИ МИШЕЛЯ ТАРРАДА

С большим интересом в стране был встречен новый сборник стихов под названием «Почему?» известного поэта Мишеля Таррада, пишущего на народном ливанском диалекте. В него вошли стихотворения, созданные поэтом в период между 1937 и 1958 годами.

Писатель Мухаммед Дакруб в рецензии, помещенной в газете «Аль-Ахбар», отмечает, что между прежними сборниками поэта «Колесо», «Гранатовый цвет» и книгой «Почему?» есть существенная разница. По словам Дакруба, вдумчивый читатель новых стихов поэта увидит, что «Ливан — это не только чарующая природа, солнце, зеленые горы, цветы граната и весна. Есть также Ливан трагический, Ливан, который восстает против зла, чтобы солнце светило для всех душ, глаз и сердец».

К числу лучших стихотворений сборника Дакруб относит поэму «Черные дни», в которой Таррад рисует картину народных страданий в годы первой мировой войны, когда в стране царили голод и террор турецких оккупантов. Многие стихи Таррада посвящены природе и патриархальному быту старой ливанской деревни. По мнению Дакруба, известная идеализация поэтом деревни в этих стихах объясняется тем, что город в его глазах олицетворяет все зло современного капиталистического строя.

ОАР

НОВАЯ ПЬЕСА ТАУФИКА АЛЬ-ХАКИМА

Национальным театром в Каире поставлена пьеса известного египетского драматурга Тауфика аль-Хакима «Шамс ан-Нахар».

Действие пьесы происходит в далекие времена. В ней рассказывается о прекрасной принцессе Шамс ан-Нахар, которая отвергла всех домогавшихся ее знатных и богатых женихов и предпочла им нищего, но мудрого бродягу Камар аз-Замана. После многих испытаний молодые люди соединяют свою судьбу...

Критик Махмуд Амин аль-Алим пишет в рецензии, опубликованной журналом «Аль-Мусаввар», что пьеса «Шамс ан-Нахар» по художественному уровню — наиболее значительная во всей драматургии аль-Хакима.

Таха Хусейн.
(Журнал «Аль-Мусаввар»)

ЮБИЛЕЙ ТАХА ХУСЕЙНА

Крупнейшему египетскому писателю и критику, доктору Таха Хусейну, которого арабы называют с почтением «старейшиной арабской литературы», исполнилось 75 лет. Пресса арабских стран посвящает этому событию многочисленные материалы. В них рассказывается о том, как три четверти века назад в небольшой египетской деревушке в семье феллаха родился мальчик, который несмотря на то, что лишился зрения после перенесенной в раннем детстве болезни, стал впоследствии одним из крупнейших общественных и литературных деятелей современного Египта. Превосходно написанные произведения Таха Хусейна переведены на многие языки мира. На русском языке вышли две книги Таха Хусейна — его автобиографическая повесть «Дни» и повесть «Зов горлицы». Таха Хусейну посвящен ряд исследований советских и зарубежных востоковедов.

ПОЛЬША

ДВА ТОМА СОЧИНЕНИЙ МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

Литературное издательство Польши выпустило ценную публикацию: два тома произведений старейшей польской писательницы Марии Домбровской. Издание носит название «Разрозненные сочинения». В нем собраны произведения Марии Домбровской разных лет — репортажи, эссе, воспоминания, путевые заметки, рецензии и публицистические статьи.

Как сообщает корреспондент газеты «Жице Варшавы» Беата Совинская, в первый том вошли юношеские произведения писательницы, которые в свое время были опубликованы в таких изданиях, как «Газета калиска», «Газета роботнича», в журналах «Сполем» и «Тыгодник польский». Здесь помещены также воспоминания писательницы с детских и юношеских лет вплоть до окончания войны.

Один из наиболее интересных материалов первого тома — автобиографический рассказ Домбровской «Как я стала писательницей». В заключительной его части писательница говорит: «То, что в наибольшей степени соответствует моей индивидуальности, выражается, по моему мнению, полнее всего только в повести, в новелле, в драме. Только в искусстве, в котором меня больше всего очаровывает спокойствие эпики. Однако я еще не нашла эпического выражения для нашего патетического и трудного времени. Вероятно, я вообще его не найду— возможно, эпический жанр бесповоротно изжил себя и уже нельзя выразить с его помощью нашу сложную эпоху».

Во второй том вошли статьи и рецензии Марии Домбровской по вопросам литературы и искусства разных лет, которыми писательница живо откликалась на все актуальные события культурной жизни Польши как перед войной, так и после установления народной власти. В последние годы публицистические выступления Марии Домбровской публиковались в таких газетах и журналах, как «Твурчость», «Нова культура», «Жице литерацке», «Проблемы» и «Жице Варшавы».

Пожалуй, наиболее интересные материалы этого тома составили раздел «О писателях», в котором Мария Домбровская пишет о Жеромском, Конраде, Выспянском, Тувиме, Ивашкевиче. В конце раздела опубликованы высказывания писательницы о своем творчестве, о произведениях «Ночи и дни», «Люди оттуда» и «Признаки жизни». Издание иллюстрировано многочисленными фотографиями.

Как сообщает корреспондент, одновременно с «разрозненными сочинениями» на полках книжных магазинов появилась работа Анджея Киевского о творчестве выдающейся писательницы, которая носит название «Мария Домбровская».

ПЯТЕРО ПОД ЗЕМЛЕЙ

Истории польской Силезии и ее настоящему посвящено немало произведений литературы и искусства Польши. «Певцом Силезии» называли покойного писателя Густава Морцинека. Среди пишущих об этом шахтерском крае имя Александра Баумгардтена — одно из самых известных. Жизни Силезии посвящена и его последняя повесть «Берега темноты», в которой рассказывается о пяти шахтерах, засыпанных в шахте во время обвала. Автор раскрывает судьбы своих героев, среди которых — представители самого старшего и самого молодого поколений силезцев. Это дает Баумгардтену возможность рассказать о прошлом и настоящем Силезии, которую в течение мно-

Кадр из фильма «Пятеро».
(Еженедельник «Экран».)

гих лет пытались онемечить германские милитаристы и нацисты. Однако силезцы оставались поляками — и по языку, и по культуре, и по национальному духу, они не раз брались за оружие, чтобы избавиться от чужеземных захватчиков.

Повесть Баумгардтена привлекла внимание молодого кинорежиссера Павла Коморовского, который взялся за ее экранизацию. Вышедший недавно фильм носит название «Пятеро». В нем сохранены основные сюжетные линии повести Баумгардтена. По отзывам рецензентов, фильм «Пятеро» — яркое произведение кинематографии.

События в обрушившемся забое прерываются эпизодами прошлого. Перед зрителем проходят Силезские восстания, участником которых был старейший шахтер по фамилии Валя. Второго шахтера старшего поколения фашисты заставили во время последней войны надеть на себя форму гитлеровской армии (фашисты объявили силезцев «фольксдейчами» — лицами немецкой национальности — и призывали их на военную службу). Прекрасно сделаны батальные сцены в Сахаре и в Италии (съемки оператора Кшиштофа Виневича).

Эпизод гибели сына старого Вали — один из самых выразительных в фильме... В бою встречаются двое: один одет в немецкую военную форму, другой — в английскую. Второй успевает раньше нажать спуск автомата. Как выяснилось, оба они — силезцы, соседи по дому... В этом небольшом эпизоде — вся сложная история Силезии и яркий антивоенный пафос фильма.

Финал картины символичен: Валя гибнет в тот момент, когда подрывает заряд взрывчатки, открыв тем самым для молодых выход на поверхность.

РУМЫНИЯ

ВСТРЕЧА РУМЫНСКИХ И БОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Бухаресте в Доме писателя состоялась встреча румынских и болгарских писателей, посвященная проблеме: «Социалистическое село в современной литературе». В состав болгарской делегации входили — И. Волен, Н. Янков, С. Даскалов, С. Северняк, М. Николов. С румынской стороны в обсуждении участвовали М. Бенюк, И. Брад, П. Симион, Т. Утан, Д. Р. Попеску, М. Гафица, И. Лунгу и другие.

Румынский критик Ион Лунгу дал отповедь тем эстетствующим писателям из числа своих соотечественников, которые утверждают, будто проблемы деревни не представляют интереса для современной литературы. В качестве положительного примера критик назвал творчество Крянгэ, Славича, Садовяну, Ребряну, посвятивших свои лучшие книги сельской жизни.

Переходя далее к творчеству современных писателей Румынии, Лунгу сказал: «Наши писатели стараются правдиво отображать путь, пройденный трудящимся крестьянством, обобщать новую социалистическую практику масс. Темой многих очерков, рассказов, повестей, романов, поэм и театральных пьес явилась величественная историческая эпоха, начало которой положила аграрная реформа, социалистическое преобразование сельского хозяйства, завершившееся весной 1962 года, и, наконец, новая жизнь кооперированного села».

Среди лучших произведений румынских писателей, посвященных селу, критик назвал такие, как «Митря Кокор» Садовяну, «Разворот» Марина Преды, «Жажда» Титуса Поповича (под названием «Земля» опубликована в «Иностранной литературе» №№ 11, 12, 1958 г.), «Бэрэган» Галана, «Дом» Ребряну, «Род Гондашей» Влада, «Олтенское лето» Д. Р. Попеску, а также книги молодых прозаиков — Нягу, Веля, Бэнулеску.

Болгарский критик Минко Николов в своем выступлении рассказал о произведениях болгарской литературы, посвященных селу. «Вся жизнь болгарской нации,— сказал он,— веками концентрировалась в деревне. Социальные отношения, национальные черты и особенности кристаллизовались в живых формах сельской действительности. Болгарские писатели прошлого собирали в деревне богатый материал для художественного творчества». Николов проиллюстрировал свое выступление примерами из творчества болгарских литераторов Страшимирова, Караличева, Петканова, Даскалова.

Литературе, родившейся в годы Сопротивления и в послевоенный период, посвятил свой доклад Серафим Северняк.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭМИНЕСКУ

Издательство «Меридианы» в Бухаресте выпустило отдельной книжкой поэму Михаила Эминеску «Лучафэрул» в весьма оригинальном оформлении. Текст поэмы напечатан параллельно на четырех языках: румынском, русском, немецком и итальянском. Ему предпослано вступительное слово Михая Бенюка, который называет «Лучафэрул» «вершиной творчества Эминеску».

«Ни в одном из других творений Эминеску,— говорится в предисловии,— не сосредоточено с такой силой глубокое знание им поэтического мастерства... нигде с такой напряженностью не передается трагическое восприятие эпохи, ее атмосферы и горечь поэта, обреченного жить в мире, который ему хотелось бы видеть другим...»

Румынский народ бережно относится к наследию поэта, и яркое тому доказательство — нынешнее издание одного из лучших его творений, посвященное 75-й годовщине со дня смерти Эминеску.

США

ЗАГАДКА ЭДВАРДА ОЛБИ

Эдвард Олби — один из самых известных в США драматургов. Им написано несколько пьес, хорошо принятых критикой и зрителями. Одна из них — «Смерть Бесси Смит» — была напечатана в «Иностранной лите-

ратуре» (№ 6, 1964 г.). Большой успех имела пьеса Олби «Кто боится Вирджинии Вулф». Однако в ней автор в известной мере отдал дань модному увлечению «театром абсурда». В нынешнем сезоне Олби поставил пьесу «Малютка Алиса», которая, по отзывам нью-йоркских театральных критиков, представляется «загадкой Бродвея». «Все пытаются разгадать, что автор хотел сказать этой пьесой,— иронизирует обозреватель журнала «Тайм».— Критики бессильны».

В пьесе играют выдающиеся актеры, в том числе известный английский артист Джон Гилгуд, однако и это не помогло зрителю пробиться сквозь густую завесу символики. Пытались проводить аналогии с «Алисой в стране чудес» — не помогло. Осталось неясным, что означает выставленная на сцене маленькая модель средневекового замка, в котором живет мышь. Четыре персонажа пьесы: кардинал, адвокат, викарий и малютка Алиса всячески терзают друг друга, в конце концов викария убивают выстрелом из револьвера. По выражению обозревателя «Тайм», попытки понять символику Олби в этой пьесе превратились в некую игру-«угадайку».

Даже известный театральный критик газеты «Нью-Йорк таймс» Говард Таубмэн признался в своей полной беспомощности: он ничего не мог сказать о смысле пьесы. «Ничего не понял»,— заявил и Джон Чэпмен из газеты «Дейли ньюс». «Сдаюсь»,— сказал Ричард Уаттс из «Дейли пост».

Нью-йоркский корреспондент французского еженедельника «Ар», сообщая в редакцию о пьесе Олби, попытался объяснить все поворотом Олби к ницшеанству или к экзистенциализму, но тоже без особого успеха. «Клубок спутанных мыслей. Сплошная мистификация» — такое заключение сделал обозреватель «Тайм».

О ЖИЗНИ И НРАВАХ БРУКЛИНА

Молодой писатель Хюберт Сэлби дебютировал романом «Бруклин с черного хода».

«Описанных мною людей я хорошо знал,— рассказал Сэлби в интервью для печати.— Некоторое время я жил их жизнью. Прошли годы, и я понял, что жизнь «низов» и есть моя тема. Кто-то должен наконец описать весь этот ужас».

В романе дана мрачная реалистическая картина нью-йоркского «дна», выведены типы скучающих, жестоких подростков-гангстеров, разного рода деклассированных элементов, их беспробудное пьянство, пессимизм, убежденность, что человеческая жизнь ничего не стоит, что существование бесцельно.

Критики усматривают в первом романе молодого писателя влияние Золя и Драйзера и считают «Бруклин с черного хода» началом многообещающей литературной карьеры.

ФРАНЦИЯ

ИНСЦЕНИРОВКА «МАЙОРА ВАТРЕНА»

Французское телевидение показало трехчасовой фильм-спектакль по роману Армана Лану «Майор Ватрен» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 8, 9, 10, 1957). Режиссер спектакля Жан Рутман. В роли майора Ватрена занят известный актер Поль Франкёр, Клод Жиро исполняет роль лейтенанта Субейрака.

Рецензент газеты «Леттр франсез» отмечает, что в спектакле сохранены все основные сюжетные линии и замысел романа. Сцены, снятые на натуре, очень оживили инсценировку, в работе над которой принял активное участие сам автор. По мнению рецензента, благодаря всем этим обстоятельствам телевизионный фильм «Майор Ватрен» имел заслуженный успех у зрителей.

«УИК-ЭНД НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ»

На экранах Франции демонстрируется цветной художественный фильм «Уик-энд на Южном берегу», поставленный режиссером Анри Вернейем по роману Робера Мерля, отмеченному Гонкуровской премией в 1949 году. В фильме воссоздаются трагические события, происшедшие в июне 1940 года в Дюнкерке.

По мнению корреспондента газеты «Юманите», авторам фильма не удалось полностью передать богатый внутренний мир героев романа. Вместе с тем отмечается, что атмосфера войны передана достоверно, массовые сцены очень впечатляющи. Одобрения заслуживает и горький юмор, с которым описаны франко-английские отношения того времени. «И все же,— резюмирует корреспондент, — остается двойственное впечатление... Нельзя описывать поражение как победу. Ведь это история полного социального, физического и морального разгрома, история преступления, катастрофы, не несущей в себе ничего красочного, услаж-

В парижском театре «Модерн» с большим успехом идет пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня» в постановке режиссера Саши Питоева — сына известного режиссера Жоржа Питоева, который пятьдесят лет назад впервые перевел эту пьесу на французский язык и поставил ее на театральной сцене. «Я люблю Чехова,— сказал Саша Питоев корреспонденту газеты «Орор».— Его язык — музыка. Чеховский юмор так мягок и великолепен! А как он человечен! Я уверен, что его пьесы будут играть через пятьдесят лет, что чеховская драматургия и тогда будет современной и прекрасной...» На снимке: сцена из спектакля.

дающего вкус и радующего взор. Роман потерял свою целенаправленность, великолепную суровость и человечность. Внешняя красивость выхолостила сущность произведения».

Рецензия в еженедельнике «Франс нувель» также выдержана в критических тонах. В ней говорится, что на первом плане в картине — война, в то время как в романе война была лишь фоном, на котором прослеживались человеческие судьбы. Рецензент иронизирует: «Дюнкерк — место, где Франция потерпела крах дважды: в 1940 году — в жизни и в 1964 году — в кино».

РАБОЧИЕ ТЕАТРЫ ФРАНЦИИ

Газета «Юманите» опубликовала серию корреспонденций, в которых рассказывается о судьбе рабочих театров Франции, возникших в 30-е годы из любительских коллективов. Самый популярный среди них — «Группа Октября», душой которой был поэт Жак Превер.

Традиции этого театра продолжают и развивают многочисленные современные рабочие театры предместий, опоясывающих Париж.

Из всех театров рабочих предместий Парижа наибольшей популярностью пользуется сейчас «Франк-театр». Театр очень мобилен: он обслуживает 40 небольших городов в окрестностях Парижа. Не менее шестидесяти тысяч зрителей смотрят его спектакли; за последние два года театр дал 150—160 представлений. Недавно состоялась премьера «Время придет» Роллана. Готовится «Бунт женщин» Аристофана.

«Театр де ла коммюн» в Обервиле показал более чем двадцати тысячам зрителей «Оптимистическую трагедию» Вишневского. В нынешнем сезоне ставятся антирасистская пьеса Макса Фриша «Андорра», пьесы Брехта и Миллера.

Театр в Сен-Клэр тоже не имеет своего помещения. Коллектив организует не менее десяти театрализованных вечеров в месяц. На концерты труппы, которые всегда идут при переполненных залах, приходят не только жители города, но и окружающих поселков.

Во Франции 10 тысяч любительских трупп. В общей сложности они дают от 30 до 40 тысяч представлений ежегодно, то есть в пять раз больше, чем 50 театров Парижа.

Все рабочие театры постоянно испытывают финансовые затруднения. Корреспондент «Юманите» подчеркивает, что несмотря на это в рабочих театрах продолжается активная творческая жизнь благодаря инициативе и поддержке их зрителей — французских трудящихся.

«ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Так называется книга Флоримона Бонта, созданная по горячим следам расследования преступлений Ганса Глобке, предпринятого в ГДР, и процесса над палачами Освенцима, проходившего во Франкфурте. Флоримон Бонт, присутствовавший на процессе, собрал огромную документацию об участии крупных германских монополий в преступлениях Эйхмана и его сообщников. В книге представлены также прежде не издававшиеся и малоизвестные документы о гитлеровском проекте расчленения Франции.

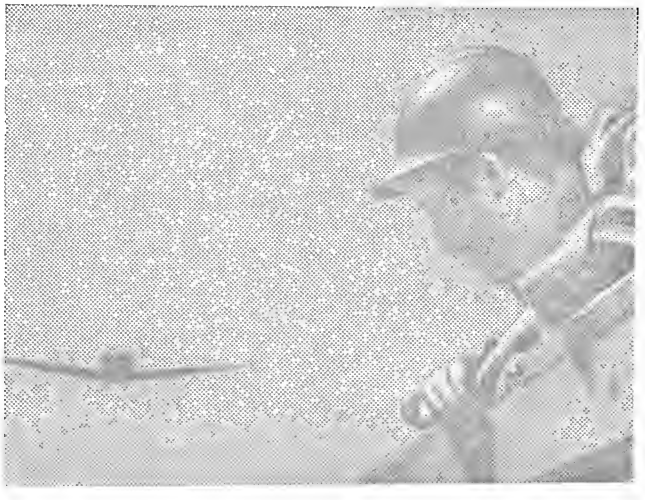
Разоблачая преступления нацизма, Флоримон Бонт показывает в то же время «другую Германию», честных немцев не только из ГДР, но и из ФРГ, где антифашисты ведут мужественную борьбу за то, чтобы преступления нацизма никогда не повторились.

ЕЩЕ ОДНА ФАЛЬШИВКА

Как известно, в последнее время профашистскими элементами делаются настойчивые попытки представить гитлеровских оккупантов друзьями французского народа и спасителями Парижа (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 12, 1964). Лавры фальсификатора истории, видимо, пришлись по вкусу и американскому продюсеру Дэррилу Зануку, который решил снять фильм по книге гитлеровского генерала фон Хольтица, командовавшего немецким гарнизоном Парижа в дни оккупации. В своих мемуарах фон Хольтиц тщится доказать, что именно он, а не французские патриоты спас Париж от разрушения; что касается расстрелов, то в них, мол, повинны сами французы.

Жан-Поль Бельмондо в роли солдата в фильме «Уик-энд на Южном берегу».

(Газета «Юманите»)



Известие о намерении Занука взволновало французскую общественность. Национальная зрелищная федерация выступила с коммюнике, в котором протестует против попыток использовать кино для пропаганды лжи о том, будто герои Сопротивления сыграли ничтожную роль в освобождении родины. В коммюнике подчеркивается, что Федерация сделает все возможное, чтобы пресечь эту новую попытку фальсификации истории.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«СТАРИКИ НА УБОРКЕ ХМЕЛЯ»

Так называется музыкальный фильм режиссера Вратислава Блажека, посвященный чехословацкой молодежи. Критик Владимир Бор в рецензии, опубликованной в журнале «Фильм а доба», обращает внимание на то обстоятельство, что «Старики» (так, разумеется в шутку, называют молодых людей) — первый чехословацкий фильм, в котором значительное место отведено музыке, песням и танцам.

Кадр из фильма «Старики на уборке хмеля». Владимир Пухольт в роли Филипа.
(Журнал «Фильм а доба»)

Некоторые, продолжает Бор, пытаются сравнивать «Стариков» с «Вестсайдской историей», однако следует иметь в виду, что, во-первых, в нашем фильме музыка не является самоцелью. Она в основном подчинена тексту Блажека (музыка к фильму написана композиторами Й. Маласеком, Й. Бажантом и В. Халой). Во-вторых, фильм сделан на сугубо национальном материале и ни в малейшей степени не является подражательным. Больше того, в нем поставлены острые проблемы воспитания современной чехословацкой молодежи.

Фильм рассказывает о труде молодежи на уборке хмеля — этого национального богатства, «зеленого золота», как говорится в одной из песенок.

Критика отмечает большой успех киноактера Владимира Пухольта, который снимался в главной роли Филипа, а также его партнерши Иваны Павловой, исполняющей роль Ханки. По отзывам рецензентов, «Старики на уборке хмеля» — увлекательное и вместе с тем поучительное зрелище.

ЖУРНАЛИСТ, ХУДОЖНИК, БОЕЦ, ЧЕЛОВЕК

Исполняется 80 лет со дня рождения замечательного писателя-коммуниста Эгона Эрвина Киша, писавшего по-немецки. Жизненный и творческий путь писателя был тесно связан с Прагой. Киш оставил людям яркие репортажи с разных континентов, в которых разоблачал буржуазную «демократию»: «Эгон Эрвин Киш имеет честь представить вам американский рай», «Вход воспрещен», «Высадка в Австралии», «Открытия в Мексике» и т. д.

Произведения Киша популярны во многих странах мира. Они многократно издавались в Советском Союзе на немецком и русском языках, а также на национальных языках советских социалистических республик. Недавно издательством Московского государственного университета выпущены «Репортажи» Киша.

Память Эгона Эрвина Киша чтут трудящиеся Чехословакии и ГДР. В течение последних месяцев в Государственном издательстве политической литературы ЧССР вышли две книги его репортажей: «Ярмарка сенсаций» и «Пражский Питавал». Юбилею писателя-коммуниста посвящены публикации в печати, передачи по радио и телевидению.

ЦЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Вышел из печати «Словарь чешских писателей», в котором содержатся сведения как о современных писателях, так и о писателях прошлого.

В связи с выходом «Словаря» Феликс Водичка пишет в еженедельнике «Литерарни новины», что его составители стремились включить в издание то главное, что характерно для творческого пути каждого писателя. Здесь дается характеристика отдельных произведений, указывается, где и в какой форме эти произведения были впервые напечатаны, под какими псевдонимами выступал писатель.

Новый «Словарь», по отзыву рецензента, отличается от аналогичных изданий прошлых лет тем, что стремится дать по возможности полную картину развития чешской литературы, а не только сведения об отдельных авторах. Поэтому, подчеркивает Водичка, правильнее было бы назвать его «Словарем чешской литературы».

Авторы этого номера

СТЕФАН ПОПТОНЕВ (род. в 1937 г.)

Помещенное в этом номере стихотворение болгарского поэта Поптонева взято нами из еженедельника «Литературен фронт».

Последняя большая работа Поптонева — поэма «Суд» («Съд»), посвященная Димитрову и событиям Лейпцигского процесса, вышла в 1964 году.

АДОЛЬФО САНЧЕС ВАСКЕС — ADOLFO SANCHEZ VÁZQUEZ (род. в 1915 г.)

Литературная деятельность этого испанского поэта началась в 30-е годы в Малаге, где он возглавлял журнал «Сур», позже, в Мадриде, он редактировал газету «Аора», орган Объединенной социалистической молодежи Испании, и руководил отделом печати и пропаганды 5-го армейского корпуса. В этот период поэт создал ряд романсов о борьбе испанского народа с фашизмом. После прихода фашистов к власти Санчес Васкес эмигрировал в Мексику, где вместе с группой молодых писателей основал журнал «Романсе».

Стихотворение о Ленине, опубликованное в номере, получено в рукописи.

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ — MESTERHAZI LÁJOS (род. в 1916 г.)

Венгерский писатель Лайош Мештерхази — лауреат премии Кошута, автор многих книг. Среди работ последнего времени надо отметить роман «В двух шагах граница» («Par lèpès a hatàr», 1958) и пьесу «Люди Пешта» («Pesti emberek», 1959), за которые в 1960 году он был удостоен премии Аттилы Йожефа. Последнее крупное произведение писателя — роман «Пора невинности» («Artatlanság») вышел в 1963 году. Рассказ Мештерхази, так же как помещенный в этом номере рассказ Золтана Молнара, входит в сборник новелл венгерских писателей «Вехи», который венгерское издательство «Корвина» подготовило к выходу на русском языке.

ЗОЛТАН МОЛНАР — MOLNÁR ZOLTÁN (род. в 1920 г.)

Основная тема творчества венгерского писателя, лауреата премии Аттилы Йожефа Золтана Молнара — жизнь рабочего класса. В последнее время вышли два сборника рассказов писателя и роман «Тринадцатая девушка» («Tizenharmadik lany», 1963).

ИШТВАН САБО — SABÓ ISTVAN (род. в 1931 г.)

Иштван Сабо известен в Венгрии как мастер короткого рассказа и тонкий юморист. В 1964 году за сборник рассказов «Волшебный сад» («A varázslat kértje», 1963) писатель получил премию Аттилы Йожефа; это была вторая премия, полученная им за рассказы. Рассказ «Весенним днем» взят из сборника «Волшебный сад».

ЯРОСЛАВА БЛАЖКОВА — JAROSLAVA BLAŽKOVA (род. в 1933 г.)

Рассказы словацкой писательницы Блажковой посвящены молодежи и связанным с нею проблемам.

В этом номере мы печатаем рассказ «На попутных машинах» (в оригинале «Автостоп»), который вошел в сборник «Нейлоновый месяц» («Nylonovy mesiac», 1961) — первый сборник рассказов писательницы. В 1964 году вышел еще один сборник ее рассказов «Ягненок и гранды» («Jehné a hrandi»).

ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЛЕНЗ — JOHN OLIVER KILLENS (род. в 1916 г.)

В этом номере мы начинаем публикацию романа американского писателя-негра Дж. О. Килленза «И тогда мы услышали гром» («And Then We Heard Thunder», 1963), в журнальном варианте. Первая его книга «Молодая кровь» («Youngblood», 1954) вышла в свое время на русском языке. Килленз — участник второй мировой войны, активный деятель Фронта африканской культуры США, объединяющего негритянскую интеллигенцию в ее борьбе за равноправие негров.

АРАГОН — ARAGON (род. в 1897 г.)

Имя французского писателя Луи Арагона хорошо известно в нашей стране. В этом номере его творчеству, в частности поэме «Меджнун Эльзы» («Fou d'Elsa», 1963), фрагменты из которой мы предлагаем читателю, посвящена статья критика Б. Песиса.

МОРИС КАРЕМ — MAURICE CAREME (род. в 1899 г.).

Картины родной природы, философские раздумья, стихи о любви — таков круг основных тем в поэзии Карема.

Стихи этого выдающегося бельгийского поэта, известного не только у себя на родине, но и во всех странах французского языка, взяты из его поэтических сборников разных лет.

Карем много пишет для детей. Он автор сказок, повестей, поэтических сборников: «Волшебный фонарь» («La Lanterne magique», 1947), «Белый дом» («La maison blanche», 1947), «Летит голубь» («Pigeon vole», 1958), «Голубой амбар» («La grange bleue», 1961), «Яблоко Ренетт» («Pomme de Reinette», 1962) и др. Поэтический сборник «Белый дом» отмечен премией Французской Академии.

Многие стихотворения Карема переводились на русский язык. В 1962 г. поэт издал в своем переводе на французский язык книгу басен С. Михалкова.

МИКЛОШ САБОЛЧИ — SZABOLCSI MIKLOS (род. в 1921 г.)

Интересные проблемы, связанные с документальной литературой, привлекающей сейчас большое внимание венгерской общественности, ставит в своей статье лауреат премии Аттилы Йожефа, председатель секции критиков СП Венгрии Миклош Саболчи.

Статья Саболчи написана им специально для нашего журнала.

РОЖЕ ГАРОДИ — ROGER GARAUDY (род. в 1913 г.)

Французскому писателю и философу-марксисту Роже Гароди принадлежит ряд работ по теории познания, морали, истории общественной мысли, эстетике: «Литература могильщиков» (1947), «Французские источники научного коммунизма» (1948), «Грамматика свободы» (1950), «Материалистическая теория познания» (1953), «Марксистский гуманизм» (1957), «Перспективы человека. Экзистенциализм, католическая мысль, марксизм» (1959), «Путь Арагона» (1961) и др. В этом номере мы печатаем статью Роже Гароди «О реализме и его берегах», присланную им в редакцию в связи с выступлением Б. Сучкова, который в статье «К спорам о реализме», опубликованной в № 1 нашего журнала за 1965 г., критически рассматривает некоторые положения книги Роже Гароди «О реализме без берегов».

ЛАСЛО ДЮРКО — GYURKO LASZLO (род. в 1930 г.).

Венгерским прозаиком Ласло Дюрко написаны три романа: «Человечество» («Emberiseg», 1960), «Виноватые» («Bűnösok», 1961) и «Четверг» («Csütörtök», 1963). В этом номере он выступает как публицист. Материал, предлагаемый читателю, был помещен в венгерском ежемесячнике «Кортарш».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Художеств. редактор **М. М. МИЛОСЛАВСКИЙ**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 08809. Сдано в производство 20/II-65 г. Подписано к печати 5/V-65 г.
Бумага 70×108¹/₁₆. 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 435.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394